This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4345.8.2

THE SLAVIC COLLECTION

Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner

May 17, 1897

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

СОЧИНЕНІЯ
НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

Повѣсти и Разсказы.

I

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ типографіи И. Фишона.
1851.

Slav 4345.8.2

MAY 17 1897

LIBRARY.

Gift of
W. A. Gardner.
(1-3)

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 23 Іюля 1851 года.

Цензоръ *Ал. Крыловъ*.

Авдотья Петровна

ЛИХОНЧИХА.

—

I.

— «А что, Волчокъ, воротился Тихонъ Никитичъ отъ Государя?...» спросилъ князь Петръ Ивановичъ Прозоровскій у круглаго карлика, который лежалъ на окнѣ, какъ котъ, и прищурясь, грѣлся на солнышкѣ....

— «Охохохъ! Петруша!» отвѣчалъ карликъ:» Такое безвременье! ночи не спимъ; пишемъ, да пишемъ; Государь сто разъ на день спрашиваетъ: а тутъ еще въ монастырѣ такъ тѣсно!... въ одной кельѣ и бояринъ и я думаемъ, и дьяки пишутъ, и допросы чинимъ, а обѣдать изволь въ трапезу: а отецъ Сильвестръ такой скупой; вчера былъ пятокъ, и рыбы не далъ; какъ будто и мы монахи съ Андрюшкой; я еще, чай, проживу, а ужъ дьякъ Андрюшка не выдержитъ. Ужъ когда Успѣніе было!... Отецъ Сильвестръ и на осень не глядитъ; печекъ не топитъ; видишь, у него на монастырѣ лѣто, а за оградой морозъ.»

— «Полно, Волчокъ, стерпится, слюбится; къ Рождеству, дастъ Богъ, въ Москву переѣдемъ....» сказалъ князь, улыбаясь.

— «Къ Рождеству, Петруша?» завопилъ карликъ: »Умру, ей Богу, умру....» И заплакалъ. Вошло нѣсколько человѣкъ и князь оставилъ карлика, который полежалъ, позѣвалъ, да съ горя и заснулъ.

«А, генералъ, давно ли изъ Москвы?

— «Съ часъ съ мѣста» отвѣчалъ Гордонъ.

«Были у Государя?»

— «Былъ....»

«Ну, что въ Москвѣ?»

— «Очень смѣшно, князь.»

«Какъ смѣшно?... то есть, весело, хотѣли вы сказать?»

— «Нѣтъ, нѣтъ! Ни какая ошибка не есть? Очень смѣшно: Царевна велитъ Стрѣльцамъ на походъ, а Стрѣльцы плакаютъ, ломаютъ руки, ходятъ въ церкви; бояры дѣлаютъ одинъ другому визитъ, день и ночь, и ни на какое дѣло рѣшиться не могутъ. Я получилъ указъ и пошелъ кланяться къ Василію Василичу Голицыну. Старшій человѣкъ въ Москвѣ, и отъ Государя еще абшидъ не имѣетъ! Онъ меня посылалъ кланяться къ Софьѣ Алексѣевнѣ и къ Ивану Алексѣевичу.... Я отвѣчалъ: имѣйте милость, князь, меня извинить; я не могу: въ указѣ не есть сказано. И я прямо отъ васъ къ солдатамъ, и потомъ въ Троицкой Монастырь. Адьё!»

Вошелъ бояринъ Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ. За нимъ толпа разнаго рода сановниковъ, стрѣлецкій полковникъ Циклеръ, и другіе.

— «Что, не возвращался Тихонъ Никитичъ?.... спросилъ бояринъ.

— «Нѣтъ еще.»

«Плохо, плохо!... Чѣмъ все это кончится?» сказалъ бояринъ, ходя по узкой комнатѣ, гдѣ едва давали ему дорогу присутствовавшіе, прижимаясь къ стѣнкамъ.

— «Что плохо, бояринъ?» спросилъ князь.

«Плохо, плохо. Миру не будетъ.... Бѣда, какъ человѣкъ въ осьмнадцать лѣтъ, а умъ въ сорокъ!...»

— «Да отчегожъ бѣда?»

«Упрямится! Миру не бывать. Слушать ничего не хочетъ!... Судить всѣхъ, да и только; всѣхъ судить по отцеву закону нещадно; и сестру царевну, и князь-Василья Васильича Голицына, и князь-Алексѣя Васильича Голицына, и Леонтья Романовича Неплюева, всѣхъ, всѣхъ!... Удивилъ! Просто удивилъ! Патріарха хотѣлъ судить, да Іоакимъ покаялся и, что царевна говорила, все выдалъ.... Плохо! плохо!...

— «Да отчего же плохо?»

— «Да оттого плохо, князь, что я за Василія больно боюсь....»

— Свой своему по-неволѣ другъ; оно такъ, Борисъ Алексѣевичъ, да не бойся: князь Василій на честной службѣ выросъ, ума ему не занимать; грѣшнаго совѣта не подастъ.

— «То-то и бѣда, что совѣтовалъ царевнѣ въ Польшу бѣжать....»

— «Въ Польшу! закричали всѣ.

«Ну, нечего сказать!» съ грустью сказалъ князь: «опростоволосился.... Да вѣрно ли это?»

— Патріархъ выдалъ. А какъ патріархъ сказалъ такъ и Татьяна Михайловна, и Марѳа и Марья Алексѣевны повинились, что слышали.... Вся надежда на Тихона Никитича: судить-то придется ему....»

— «Вѣстимо ему; да только Тихонъ Никитичь, какъ самъ знаешь, не милостивецъ: что онъ, что уложенье, всё равно....

— «Авось уломаемъ. Только помогите.»

Двери отворились и всѣ замолчали. Вошелъ боярин Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ. Величіе и доброта, смѣшанныя съ глубокою грустью, осѣняли окладистое, красивое лице боярина; дьяки несли за нимъ бумаги. Волчокъ вскочилъ съ окна и подбѣжалъ къ нему. Стрѣшневъ, гладя его по головкѣ, съ привѣтною, но принужденною улыбкою, сказалъ предстоявшимъ: «Здравствуйте, добро пожаловать!... Не я, неволя задержала.... Богъ милостивъ....» — и усѣлся въ большія кресла, которыя съ трудомъ дотащилъ до него Волчокъ, приговаривая: «Ну кресла! Знать ихъ за трудъ старцы таскаютъ.»

«Полковникъ!» сказалъ Стрѣшневъ грозно, и Циклеръ поблѣднѣлъ. Хотя онъ по суду и остался оправданнымъ, но вѣрность его была сомнительна, и послѣдствія оправдали сомнѣнія:» Знаю, все знаю, да хорошо, что повинился. Грѣхъ великъ, такъ ступай, да Богу молись, да гляди, чтобъ опять не поскользнулся. Видитъ Богъ, подымать

не стану. А за Лихонцевъ, если не суду, такъ Богу, отвѣтишь; всего трое изъ цѣлаго полка; не досмотрѣлъ; гдѣ глаза были?... Андрюшка, роспись!

Дьякъ подалъ большую книгу, гдѣ вписаны были имена преступниковъ, преданныхъ суду, подъ предсѣдательствомъ боярина Стрѣшнева.

«Много крови, много!... Да авось послѣдній разъ. Приложи руку, Циклеръ; смотри, чтобы не отрубили, коли по сыску не то сыщемъ.... Ступай!»

Циклеръ расписался въ справедливости своихъ показаній и ушелъ; за нимъ отпустилъ боярынъ почти всѣхъ гостей. Остались: боярынъ Голицынъ, князь Прозоровскій и генералъ Гордонъ.

—«Князь Петръ Ивановичъ!» сказалъ Стрѣшневъ, обращаясь къ Прозоровскому: «Тебѣ есть нарядъ въ Москву.... Поѣзжай и возьми Шакловитаго....»

— «Да какъ же я его возьму? Онъ въ палатахъ у Царевны. Слышно, спрятанъ; не выдастъ.»

— «Ты ужъ только поѣзжай; а не выдастъ. хуже будетъ. Его на судъ зовутъ: такъ и скажи; а что по суду окажется, Богъ знаетъ, не вѣдомо. Князь Петръ Ивановичъ, подымайся; время не терпитъ....»

— «Да развѣ Государь указалъ?»

— «Не мнѣ же тебѣ указывать! Возьми ратныхъ людей у генерала, а стрѣльцамъ вѣрить нельзя.... Да поклонись отъ меня Голицыну и скажи, что Богъ милостивъ. Пусть прихворнетъ на-время, когда совсѣмъ отстать старику не приходится;

только, чтобы грѣха берегся; а то ужъ никто не поможетъ; а на мой судъ пускай не идетъ; слягу въ постель, а друга не помилую.«

Послѣ такого откровеннаго разговора, Борису Алексѣевичу Голицыну, дальнему сроднику князя Василья Васильевича, нечего было дѣлать у Стрѣшнева, и онъ ушелъ, потупивъ голову, вмѣстѣ съ Прозоровскимъ. Остался одинъ только Гордонъ.

— «Генералъ, что ты снялъ уже начало?»

— «Имѣлъ счастіе.»

— «Къ палатамъ царскимъ Государь стражи указать не изволилъ; такъ ты пожалуй поставь своихъ надежныхъ, знаешь, такъ, гдѣ-нибудь, по близости отъ палатъ; да чтобы мнѣ они съ царскаго порога глазъ не спускали. Понимаешь ли?»

— «Я понимаю» отвѣчалъ Гордонъ.

— «Онъ ничего не боится, а мнѣ старику отъ страха за Него такъ и сна нѣтъ; а не то, я самъ буду торчать на порогѣ.»

— «Мы съ капитанами будемъ не отходить.»

— «Ладно, ладно, генералъ. Да, вотъ, сегодня привезли злодѣевъ: сдадутъ тебѣ по этому списку.... Держи ихъ по-крѣпче....»

— «Они уже есть у капитана фонъ-Энке. Тамъ и три Лихонца.... Матушка ихъ просила меня, чтобы говорить съ Государемъ и съ вами объ нихъ....»

— «Да что тутъ говорить! Надо колесовать, да и только. Такихъ злодѣевъ можетъ миловать Государь, а наше дѣло — законъ. Пускай бьетъ челомъ Государю. Да гдѣ она?»

— «Здѣсь.»

— «Что ты, генералъ, хочешь ей доброе дѣло сдѣлать? Такъ пропусти на монастырь; въ твоей власти; да пусть и сторожитъ Государя завтра у собора передъ обѣдней. Авось помилуетъ!

— «Я буду ей это сказать.»

— «Скажи, скажи.... Богъ милостивъ.... Прощай!»

Гордонъ ушелъ, а Тихонъ Никитичъ погрузился въ чтеніе бумагъ. Безмолвно и недвижно торчали за его креслами два дьяка, а Волчокъ спалъ на солнышкѣ.

—

II.

Троицко-Сергіевскій Монастырь со всѣми посадами и окрестностями, въ половинѣ сентября 1689 года, походилъ болѣе на шумную и многолюдную столицу нежели на тихую обитель иноковъ. Не праздникъ былъ у Троицы, не молельщики стеклись со всѣхъ предѣловъ Руси къ нетлѣннымъ мощамъ чудотворца: нѣтъ, рѣшалось государственное дѣло; большие: рѣшалась судьба Россіи. Въ зданіяхъ на монастырѣ, проживали Петръ Алексѣевичъ съ Государыней родительницей, тетка государева, Татьяна Михайловна, съ двумя сестрами Петра, патріархъ и нѣкоторые важнѣйшіе сановники. Архимандритъ Сильвестръ съ братьею переселился въ служебныя избы, очистивъ гостямъ свои кельи; на посадахъ жили бояре и разнаго рода чиновные люди; стрѣлецкіе полки въ полѣ

простирались станомъ вплоть до Хатькова Монастыря: тамъ, въ монастырской гостинницѣ, тѣснилась разнородная толпа приходящихъ; кто ни шелъ ни ѣхалъ, сворачивалъ къ Хатькову, желая сначала тайкомъ освѣдомиться о троицкихъ дѣлахъ; даже послы царевны Софіи, Бутурлинъ и князь Троекуровъ, не получивъ согласія Петра на свиданіе съ царевной, возвращались тѣмъ же путемъ; но, къ огорченію, не могли набрать добрыхъ слуховъ; напротивъ, они съ трудомъ пробирались и по большой московской дорогѣ, покрытой поѣздами и пѣшеходами; ихъ вездѣ встрѣчали и провожали насмѣшками. Народъ вѣдалъ, что царевна кается и, вмѣстѣ съ Петромъ, не вѣрилъ ея искренности. Актъ обвиненія торжественно и всенародно былъ прочитанъ, въ присутствіи Государя, съ крыльца троицкихъ царскихъ палатъ. Орудія казни давно уже были выставлены въ полѣ, не подалеку отъ монастырской ограды и наводили трепетъ на любопытныхъ Но такова звѣрская природа человѣка: на-завтра любопытные снова тѣснились около страшныхъ орудій и снова съ трепетомъ расходились. Со дня на день ожидали трагическаго представленія; узнавали о времени; каждый произвольно назначалъ день и часъ; но казнь не могла совершиться безъ Шакловитаго, начальника стрѣлецкаго приказа и главнаго орудія честолюбивой Софіи, и — толкамъ не было конца.

Одна только женщина не любопытствовала, не входила въ толки. Поздно за полночь пришла она къ воротамъ Троицкаго Монастыря и всѣ надежды

ея рушились. Въ ворота пропускали только тѣхъ, которые были лично знакомы нѣмецкимъ капитанамъ или старшимъ сановникамъ. Опасеніямъ и распросамъ усердныхъ Нѣмцевъ не было конца: они входили во всѣ подробности домашней жизни, во всѣ отношенія и связи, даже въ генеалогію приходящихъ. Многіе молельщики, случайно попавшіе въ троицкое дѣло, изъ усердія Нѣмцевъ сидѣли подъ крѣпкой стражей, а ночью подвергались подозрительнымъ допросамъ. На однѣхъ женщинъ не падали ихъ сомнѣнія, и вотъ почему Авдотья Петровна Лихончиха могла просидѣть у Троицкихъ воротъ всю ночь и утро. Не мало бояръ, окольничихъ, думныхъ дьяковъ, прошло съ посадовъ на монастырь; каждый затыкалъ уши, когда Авдотья Петровна просила покровительства, и это не риторическая фигура, нѣтъ, просто затыкалъ уши и, пробѣгая въ ворота, кричалъ: «Не слышу, не слышу!» Имя трехъ Лихонцевъ наводило этотъ ужасъ; они, вмѣстѣ съ начальникомъ стрѣлецкаго приказа Шакловитымъ, вмѣстѣ съ Резановымъ, Гладкими, Петровымъ и Чермнымъ, ѣздили въ Преображенское на страшный подвигъ, разрушенный вѣрностью двухъ стрѣльцовъ, Ѳеоктистова и Мельнова, которые увѣдомили князя Бориса Голицына о преступномъ умыслѣ. Розыскное дѣло было уже прочитано; сомнѣній не оставалось; казнь была неизбѣжна. Пріѣхалъ изъ Москвы генералъ Гордонъ и Лихончиха бросилась ему въ ноги.

— «Я буду сказать.... «отвѣчалъ генералъ:»

Тихону Никитичу, а его Величеству не смѣю; не мое дѣло. Я сожалѣю тебя, но помочь не могу; поди на гостинницу; вотъ тебѣ одинъ рубль; тамъ ожидай, я буду за тобой прислать, если Тихонъ Никитичъ будетъ позволять съ нимъ видѣться.»

— «Благодѣтель ты мой, ангелъ ты мой, дай Богъ тебѣ.... дай Богъ всякаго счастія.... благополучія!... дай Богъ тебѣ.... не имѣть дѣтей!...» въ слезахъ вопила Лихончиха; Гордонъ былъ уже далеко; Авдотья Петровна всё-еще его благословляла, цѣлуя рубль и обѣщая положить его на раку чудотворца, если поможетъ преклонить сердце царево на милость.

—

III.

Къ вечеру много людей собралось у монастырской гостинницы, всегда тихаго пристанища смиренныхъ молельщиковъ, а теперь шумнаго вѣча безчисленныхъ толковъ, надеждъ, сказокъ и предсказаній. Вѣче шумѣло на площадкѣ передъ гостинницей, потому что въ комнатахъ жили придворные. Авдотья Петровна грѣла старыя кости на заходящемъ солнышкѣ; то молилась, то глядѣла на дорогу къ монастырскимъ воротамъ; люди скоро замѣтили и старушку и душевную ея тоску и, больше изъ любопытства, нежели изъ состраданія, спросили: «Кого ты поджидаешь, матушка?»

— «Нѣмецкаго боярина; обѣщалъ прислать за мной.»

— «Мало ему и безъ тебя дѣла! Да и за тобой-

то посылать ему какая нужда! Нынче въ монастырь и старицъ не пускаютъ: а ужъ такую старуху!...»

Люди смѣялись.

— «Безъ дѣла и бояръ не пускаютъ, а за дѣломъ и нищаго къ Государю пропустятъ.»

— «За дѣломъ?... за какимъ дѣломъ?»

Лихончиха сказала, и люди разбѣжались.

Старуха качала имъ во-слѣдъ сѣдою головой, но въ то же время увидѣла Гордона, съ трудомъ встала, и, молча, съ невыразимымъ страхомъ, ожидала генерала; въ смущенномъ сердцѣ думала она: «А что, если не за тобой, Авдотья?...»

— «Ну!» сказалъ генералъ: «Тихонъ Никитичъ ни какую надежду не имѣетъ. (Старуха упала на колѣни и воздѣвъ руки къ небу дослушала рѣчь Гордона). А мы будемъ дѣлать такъ. Завтра, передъ обѣдней, приходи къ собору и жди на крыльцѣ Государя. Я прикажу пустить тебя пройти.... Проси государя имѣть милость....»

И старуха безъ словъ повалилась на земь. Гордонъ ушелъ отъ благодарности; но вскорѣ явился нѣмецкій солдатъ, отвелъ Авдотью Петровну въ сторожевую избу, на посадѣ, усадилъ на скамью, накормилъ чѣмъ Богъ послалъ, и старушка, утомленная продолжительною дорогою и душевною бурею, уснула, въ первый разъ послѣ трехъ-дневной безсонницы.

—

IV.

Колокола гудѣли; благочестивые со всѣхъ сто-

ронъ стремились къ разнымъ вратамъ монастыря, но неумолимые Нѣмцы отсылали ихъ въ церкви на посадахъ; не многіе, пользуясь или знакомствомъ или покровительствомъ сильныхъ, успѣли пройти на монастырь, но и отъ этихъ не многихъ было тѣсно и душно, не только въ соборномъ храмѣ, но и вдоль по всей площадкѣ отъ дворца до собора. Ожидали Государя. Архимандритъ Сильвестръ въ полномъ облаченіи приготовился встрѣтить юнаго Царя; народъ жаждалъ увидѣть обожаемую надежду великихъ дѣлъ: тогда еще не видно было ни одного облачка, которое бы обѣщало страшную и благодѣтельную бурю, которая потрясла и освѣжила дряхлую Россію; невѣдали, какими путями вознесется Петръ на престолъ величія, но вѣрили, что юноша Царь есть предназначенный строитель Россіи; вѣрили, не условясь; вѣрили, глядя на красоту Государя, на орлиныя очи, на разумъ рѣдкій, на волю желѣзной твердости.... Безмолвно, съ обнаженными головами, ожидали люди. Вдругъ въ толпѣ раздался крикъ: «Къ самому Государю!» Толпа невольно раздвинулась, и Авдотья Петровна остановилась у паперти.

— «Отойди, старушка, тутъ стоять не приходится....» сказалъ послушникъ.

Лихончиха не повиновалась.

— «Пошла прочь, баба!» закричалъ потѣшный, и замахнулся тростью.

— «Убей, убей!» отвѣчала она: «видитъ Богъ, спасибо скажу; только тебѣ же, радость ты моя, и хоронить меня прійдется.»

— «Ну, ступай съ Богомъ!» примолвилъ потѣшный, смягчая голосъ.

— «Имѣйте милость оставить ее!...» сказалъ Гордонъ подходя къ потѣшному: «Она вамъ и никому не дѣлаетъ ни какое безпокойство.»

Раздался трезвонъ, толпа повалилась на колѣна съ громкими и продолжительными ура! Петръ Алексѣевичъ, безъ шапки, шелъ скорыми шагами, одинъ-одинехонекъ, кланяясь привѣтно на обѣ стороны; архимандритъ Сильвестръ съ духовенствомъ и боярами появился на паперти и, воздѣвъ руки, хотѣлъ начать привѣтственную рѣчь.... Вдругъ изъ толпы поднялась дряхлая, высокая женщина; слезы въ два ручья лились по лицу изрытому морщинами; губы, посинѣвъ, дрожали; протянувъ руки къ Государю, она величественно, тихо, сдѣлала три шага впередъ и рухнулась къ ногамъ Петра безъ словъ, безъ стона.

Государь отступилъ. На лицѣ его было написано недоумѣніе; онъ оглянулся.... возлѣ никого не было.

— «Что тебѣ надо, бабушка?» спросилъ онъ, собственными царскими руками поднимая несчастную; одинъ Гордонъ, сбѣжавъ съ паперти, осмѣлился помочь Государю.

— «Помилуй!...» могла только простонать Лихончиха, и снова повалилась къ ногамъ Государя.

Странно. Государь стоялъ неподвижно, не стараясь освободиться отъ докучливой старухи, съ совершеннымъ спокойствіемъ и спустя нѣсколько мгновеній, спросилъ ласково:

— «Ну, что бабушка, горе маленько отлегло, какъ поплакала? Говори же теперь, что надо?»

— «Помилуй дѣтей моихъ, солнышко наше, Государь православный, ненаглядный ты нашъ! Не оставь старухи сиротой безпомощной! Помилуй дѣтей моихъ!...»

— «Да кто твои дѣти?

— «Лихонцы, батюшка-Государь!»

Царь нахмурился; по лицу пробѣжало судорожное движеніе; Онъ отступилъ и, сказавъ отрывисто — «Не властенъ, не властенъ!» — пошелъ впередъ. Рѣчь архимандрита была очень коротка, и Государь съ духовенствомъ и боярами вступилъ во храмъ.

«Царю Небесный!» кричала старуха, не вставая съ колѣнъ во время рѣчи Сильвестровой и обративъ глаза и руки къ собору: «Царю Небесный! ущедри сердце Царя нашего милостью, да помилуетъ дѣтей моихъ, яко ты помиловалъ враговъ своихъ!»

Въ это время подходили къ собору Государыня родительница, Татьяна Михайловна, Марья и Марѳа Алексѣевны, и нѣкоторые сановники. Нельзя было идти дальше. Старуха на тѣсной мощеной дорожкѣ, по которой только и можно было пройти свободно, продолжала громко молиться. Вдохновенная горемъ, она походила на юродивую; народъ со страхомъ глядѣлъ на нее. Глубокая печаль и сумасшествіе — сосѣди, и часто, не лишаясь разсудка, человѣкъ въ глубокой печали говоритъ несвязно. Старушка усѣлась на мощеной дорожкѣ; глаза

осунило сердечное пламя; она поглядѣла на толпу и улыбнулась.... улыбнулась, и всѣ отворотились. Стало страшно.

«Пошли молиться!» сказала Лихончиха, обращаясь къ толпѣ: «чего зѣваете?» Пошли молиться, а не то и вамъ придется на старости сидѣть на голой плитѣ и плакаться за дѣтей вашихъ! И я ли не молилась? — Сергій Радонежскій, чудотворецъ и заступникъ нашъ!» возвысивъ голосъ, кричала старуха: «повѣдай Государю, какъ я каждый разъ, что подастъ мнѣ Богъ сына, приходила пѣшкомъ изъ Москвы къ честнымъ мощамъ твоимъ и каждый разъ, отъ достатка, все, что можно было, все несла къ тебѣ. И о чемъ я молилась, ты знаешь, чудотворецъ!... скажи Государю!»

Въ это время нѣмецкая стража подошла къ несчастной и тащила ее съ дорожки.

— «Не тронь, Нѣмецъ! Спроси у меня, каково сердцу, когда отъ него дѣтей отрываютъ: а Государь не отецъ, что ли?»

— «Да пропусти Государыню!» толковалъ ей Капитанъ.

Лихончиха не понимала и страшно вопила.

— «Не тронь, не тронь! Государю нажалуюсь.»

— «Оставьте ее!» сказалъ Государь, выходя съ Гордономъ изъ собора:» Скажи мнѣ, что могу тебѣ я сдѣлать добраго, и отпусти меня къ обѣднѣ.»

— «Отдай дѣтей, Государь!»

— «Не могу! Они — злодѣи. По мнѣ, пожалуй! Я и такъ простилъ ихъ и за нихъ же пришелъ

молиться, да отпуститъ имъ Господь грѣхи и не лишитъ царствія небеснаго.... Не могу. Богъ можетъ все, а я не могу. И Богъ меня поставилъ царемъ на то, чтобы въ земномъ царствѣ Его жила справедливость; а отъ прихоти ни казнить ни миловать не смѣю.

— «Батюшка, Государь, за милость Господь не казнитъ. Всѣхъ трехъ дѣтей бояре осудили. Злодѣи они, и жизни не хватитъ, ни ихъ, ни моей, смертный грѣхъ выплакать, и постомъ и молитвою очиститься передъ Богомъ и передъ людьми! Да взгляни, Государь, на мою безпомощную старость! Много ли мнѣ на этомъ свѣтѣ маяться? Милостыни просить не умѣю; а погляди на руки: не до работы.... А умирать придется, что собакѣ въ морозъ, на чистомъ полѣ; некому глазъ закрыть; некому честной землѣ предать.... Батюшка Государь, помилуй!»

Государь обнаруживалъ нетерпѣніе, наконецъ, принявъ грозный видъ, сказалъ: «Слушай старуха! Пеняй на себя. Когда бы изъ-молоду дѣтей въ страхѣ Божіемъ держала, да добру учила, не дожила бы до стыда и горя.»

Старуха до-той-поры сидѣла, не могла отъ слабости подняться; но упрекъ одушевилъ ее; собравъ послѣднія силы, Лихончиха встала, подошла къ Государю и сложивъ руки на груди, сказала тихо:

«Напраслина, Государь! У меня на дому дурнаго слова дѣти не слыхали; какъ умеръ отецъ, я ихъ пуще глазу берегла ото всякаго зла; въ

церковь водила; на домъ дьячокъ ходилъ, грамотѣ училъ, поученья изъ книгъ читалъ, и по всей слободѣ дѣти мои указкой были. Выростила; старшему по осьмнадцатому, младшему по шестнадцатому годку пошло. Полно баловать, сказала я, пора Богу и Государю служить.... Одѣлась, одѣла дѣтей, да въ то же утро и повела ихъ въ приказъ. Всѣхъ трехъ въ Стрѣльцы отдала. «Что ты Авдотья Петровна дѣлаешь?» говорили сосѣди: «такихъ добрыхъ дѣтей, да еще и всѣхъ трехъ, въ Стрѣльцы отдала!» — На то я ихъ добру и учила, чтобы они на царскую службу были годны, говорила я, и Бога благодарила, что помогъ такъ дѣтей поставить и Государямъ угодить. Такъ не я ужъ виновата, что въ Стрѣльцахъ испортились; не у меня подъ началомъ души ихъ грѣхомъ погубили. Отдай ихъ, Государь, матери; вмѣстѣ каяться будемъ.... Государь, помилуй!»

И старуха упала и обвила руками ноги царскія.

«Ну, что дѣлать!» со вздохомъ сказалъ Государь: «Господи, прости моему прегрѣшенію! Всѣхъ не могу простить; выбери себѣ одного, возьми и ступай съ Богомъ. Гордонъ, отпусти съ нею того сына, котораго она выберетъ.»

Государь возвратился въ церковь. Старуха лежала безъ чувствъ. Нѣмецкіе ратники понесли ее къ оградѣ; за ними задумчиво слѣдовалъ Гордонъ.

—

V.

«Что, Порохъ? гремя цѣпями, сказалъ Семенъ

Лихонецъ: я маленько вздремнулъ. Звонили на достойную?»

— «Не мѣшай, Сова, дай «Вѣрую» окончить....» отвѣчалъ Алексѣй, младшій Лихонецъ, и молчаніе водворилось, изрѣдка возвышался шепотъ молитвы, и тотъ скоро затихъ.

«Надо быть сегодня праздникъ какой; цѣлый день служатъ. Такъ, знаешь, непокойно, когда другіе молятся!»

— «Молись и ты Сова....»

«Легко сказать! Не даромъ совою прозвали: цѣлую ночь не вздремнулъ; было время намолиться....»

— «И я тоже!»

— «И я тоже!» сказали другіе два брата.

«Да и не такъ оно легко и заснуть, коли подъ ногами вода, а желѣзо въ бока лѣзетъ. Охъ! хоть бы выспаться передъ смертью....»

— «Нѣтъ, Вьюнъ! По мнѣ, такъ покупать; спать и безъ того выспишься; жаль только, что врознь съ головой.

«Далеко не отскочитъ; не стрѣлецкой рукой снимать будутъ....» отвѣчалъ Сергѣй, или такъ прозваный Стрѣльцами, Вьюнъ.

— «А слышали, братцы....» сказалъ Алексѣй: «какъ дьякъ заикался, когда читалъ поименный розыскъ?»

«Какъ же не слышать! Да меня, знаешь, зависть брала; чай, этотъ дьякъ передъ тѣмъ быка проглотилъ: знай облизывался....»

— «А ужъ правду сказать, мы-то имъ диво показали; на насъ только и смотрѣли....»

«Да чего трусить! А ужъ какъ розыскъ прочли и сказали, что Лихонцамъ только головы прочь, такъ я и рукой махнулъ и не удержался, громко сказалъ: «Ну коли только, такъ спасибо» и набольному боярину въ поясъ поклонился.»

Изверги! они смѣялись; они шутили надъ смертью, когда уже пришли къ ней на очную ставку и можетъ-быть, одно мгновеніе осталось до послѣдней улики. И для нихъ бѣжала бѣдная старуха изъ Москвы въ Троицу, боясь опоздать, распрашивая въ каждой деревушкѣ: «Что? у Троицы еще ни чего не было?» И за нихъ она молила такъ настойчиво Государя!... Нѣтъ! не за нихъ, за дѣтей родныхъ молила Авдотья Петровна, въ душѣ проклиная преступниковъ и преступленье.

«Слышъ, Порохъ, ѣсть несутъ! Издали чую.»

И въ самомъ дѣлѣ люди приближались къ желѣзной двери; ключъ щелкнулъ: двери не отворялись....

«Не могу, не могу! Дай, бояринъ, схожу къ Государю; авось всѣхъ трехъ помилуетъ.»

Гордонъ улыбнулся, и качая головою, примолвилъ:

— «Нѣтъ, больше ни какая милость не есть; я и на это не имѣлъ ни какую надежду. Пойдемъ. Время дорого....»

«Постой! постой! не отворяй. Одного обрадую, двухъ убью. Дай съ духомъ собраться....»

— «Точно, матушка, время нѣтъ.»

Гордонъ сказалъ, махнулъ рукою; желѣзныя двери завизжали, и Авдотья Петровна уже висѣла на шеѣ Алексѣя: онъ первый попался ей на пути.... Злодѣи, по невольному чувству, услышавъ голосъ матери, встали; смертная блѣдность покрыла ихъ страшныя лица; слезъ не было: они давно уже разучились плакать.

Нѣсколько времени продолжалась нѣмая встрѣча.... Отступивъ и держа сына за плечи, старуха старалась всмотрѣться въ лицо и спросила едва слышно: «Алексѣй, ты ли!» Въ отвѣтъ ни слова. «Семенъ! Семенъ!» И старуха обвила руки около старшаго, и раздались рыданія, и полились слезы. «Сережа?» И третій извергъ былъ въ объятіяхъ несчастной. Но они не чувствовали сладости свиданія, горечи раскаянія: одинъ ужасъ вселялъ въ нихъ присутствіе грознаго ангела, пришедшаго казнить ихъ небеснымъ оружіемъ. Они молчали.

Гордонъ былъ тронутъ; но свиданіе было слишкомъ продолжительно, и Гордонъ отворачиваясь, чтобы скрыть слезу, дурно украшающую воинственное лице, сказалъ: — «Ну, матушка, надо кончить. Котораго?...»

— «Котораго?» закричала она, опомнилась и неописанный ужасъ разлился по старому челу: «Котораго!... Котораго!... (Вопросъ какъ-будто постепенно возсталъ въ душѣ несчастной старухи; съ нимъ росъ и ужасъ). — Семена, Семена! закричала она и снова бросилась обнимать его. Первенецъ ты мой; отецъ въ походъ пошелъ, какъ ты родился; ты былъ мнѣ все; и мужа тобой по-

минала, и Богу при тебѣ молилась, и сна не знала у твоей колыбели...»

«Ну, такъ Семена!» сказалъ Гордонъ.

— «Нѣтъ, нѣтъ; постойте! А Сережа? а Алеша.... Чѣмъ виноваты, что не первенцы? А ужъ какъ я любила Сережу! И какой умница былъ! И лучше бы мнѣ добрыхъ людей послушать, въ приказъ отдать, чтобы дьяки письму учили.... И онъ то-меня больше всѣхъ любилъ! Бывало въ церковь; тѣ пойдутъ или нѣтъ, а Сережа всегда удосужится; на рынокъ, тоже. Къ сосѣдямъ кто проведетъ, кто за старухой прійдетъ? Сережа! Не было ни у кого въ околицѣ другаго Сережи....

«Ну, такъ Сережу!

— «Алешенька, голубчикъ ты мой! И отецъ тебя благословить не успѣлъ; за мѣсяцъ до родовъ отошелъ: и ужъ плакала я съ тобой и надъ тобой!... Не отдамъ я тебя, Алешенька, будь покоенъ; ты мое послѣднее ненаглядное дитятко: ужъ вмѣстѣ намъ и умирать!...»

«Да рѣшай же, старуха!» нетвердымъ голосомъ сказалъ Гордонъ.

— «Бояринъ! не могу; не могу, бояринъ; видитъ Богъ, не могу. Пусти къ Государю, пусти къ нашему солнышку. Что они ему!... У него столько народу; пусть мнѣ дѣтей отдастъ. Пусти!...»

И старуха рвалась къ дверямъ.

«Нельзя!» сказалъ Гордонъ, оправясь. И старуха задрожала всѣмъ тѣломъ. «Одного, и скорѣй, а то я самъ буду выбирать и съ дѣломъ конецъ!»

— «Одного! одного!... и скорѣй! А то и этого, пожалуй, отымутъ! Сеня мой, Сережа, Алеша!...»

И старуха металась отъ одного къ другому, обнимала, цѣловала, но рѣшиться не могла. Любовь матери, какъ благодать, проникаетъ въ души самыя черныя, и Алексѣй не выдержалъ, глядя на свою старуху: долго боролся съ сердцемъ, наконецъ громко заплакалъ и какъ-будто всѣ условились: старуха, Гордонъ, нѣмецкіе ратники, Семенъ и Сережа, разомъ зарыдали.

Услышавъ плачъ генерала, чуткая мать уже стояла передъ нимъ на колѣнахъ и жалобно стонала:

— «Умилосердись!»

«Нѣтъ, я не могу, матушка. Если бы я былъ государемъ, ни одного бы не простилъ, милость велика, и я буду все кончить. Жребій!...»

Бросили жребій, три камня: Гордонъ сдѣлалъ насѣчки на каждомъ, положилъ ихъ въ свою шляпу и, подавая старухѣ, сказалъ:

— «Вынимай.

Старуха вынимала камень, съ выраженіемъ странной надежды: ей казалось, что Богъ поможетъ ей вынуть всѣхъ трехъ.... Вынула, вскрикнула — Алексѣй! и упала безъ чувствъ.

«Уходи, Порохъ, сказалъ Семенъ, да мать возьми; не то очнется, опять ударится въ слезы; чего добраго, умретъ.

Гордонъ приказалъ вынести старуху на чистый воздухъ и не пускать въ темницу. Съ Алексѣя между-тѣмъ снимали цѣпи, расклепывали кандалы

на норахъ; мрачный, онъ молчалъ, не радовался, не глялѣлъ на братій.

— «Что, Порохъ?» сказалъ Семенъ: «Веселое дѣло — воля?»

«Помѣняемся, Сова. Ей! даромъ волю уступлю!»

— «Спасибо.... Приходи на лобное проститься.»

«Охъ, кабы не матушка!... Божья страха ради.... иду. Знаешь, какъ ея голосъ заслышалъ, такъ морозомъ по кожѣ повело. Что мнѣ безъ васъ на волѣ?... Да ей нужно: старость пришла; а умретъ, на себя же руки наложу....»

— «Братъ!... а братъ! сказалъ Сергѣй: а что матушка говорила, какъ мы дома-то еще были?

«То-то и мнѣ наумъ пришло....»

— «Обмолвился, братцы! Простите! Стану безъ васъ горе мыкать, пока самого не уходятъ.»

«Ну, прощай, Порохъ! До свиданья!...»

— «Какъ бы поскорѣе!...

Обнялись, и Алексѣй вышелъ на монастырь....

—

VI.

Погода была осенняя, пасмурная, мелкій дождикъ сыпался густой сѣткой; кругомъ грязь: только по дорожкамъ, мощенымъ камнями, кое-какъ можно было пробираться. Гордонъ велѣлъ нести старуху по-дальше отъ темницы. Алексѣй не говорилъ ни слова, только оглядывался, а иногда и прислушивался, не зовутъ ли братья, не хотятъ ли какого совѣта дать. Вдругъ старуха очнулась, стала на-ноги.... Опомнясь, она снова принялась

плакать и просить Гордона о допущеніи къ Царю: неумолимый отвѣчалъ по-прежнему и торопилъ идти старуху далѣе.... Достигли воротъ. Авдотья Петровна еле ноги передвигала; Алексѣй поддерживалъ старушку.

«Пропускай!» сказалъ Гордонъ потѣшному, стоявшему у воротъ на стражѣ.

— «Митька!» заревѣлъ не-человѣчьимъ голосомъ Алексѣй, и старуха чуть не повалилась, такъ быстро онъ вырвалъ руку, которою поддерживалъ мать, и сталъ шарить около себя; по движеніямъ было замѣтно, что онъ искалъ оружія; злоба, ярость пылали во всѣхъ чертахъ злодѣя; зубы стучали.—«Нарядили чучелу!» кричалъ онъ: «я-те сведу со свѣта!»

Ни Гордонъ, ни старуха, не могли понять причины его бѣшенства. Но потѣшный былъ Дмитрій Мельновъ, Стрѣлецъ, который, вмѣстѣ съ Ѳеоктистовымъ, увѣдомили Государя о намѣреніяхъ Шакловитаго. Царь, кромѣ другихъ наградъ, перевелъ обоихъ въ потѣшную роту.

«Что съ тобою, Алена?» заботливо спросила Авдотья Петровна, и Алексѣй кинулся къ ней и сталъ ее обшаривать, говоря:—«Нѣтъ ли матушка у тебя?.... Нѣтъ! Такъ я и безъ ножа слажу.»— И бросился на Мельнова. Ноги измѣнили злодѣю на влажной мостовой: онъ опрокинулся, головa ударилась объ острый камень, и духъ вонъ....

Всѣ остолбенѣли: никто, даже старуха, не хотѣли подать помощи мертвому, не потому что уже было поздно: нѣтъ, другое чувство говорило

во всѣхъ свидѣтеляхъ этого страшнаго случая. Несчастная мать, какъ-будто свыше пораженная неописаннымъ ужасомъ, выпрямилась и бодро, безъ слезъ, безмолвная, долго стояла надъ мертвецомъ. Медленно рука ея отдѣлялась отъ груди и остановилась, какъ-будто указуя на трупъ злодѣя.

Первый началъ говорить Гордонъ.

— «Погоди, старушка! Дѣло очень трудно. Я пойду и буду докладывать Его Величеству. Ты не виновата. Государь, вѣрно, будетъ тебѣ прощать другаго сына.»

«Не надо!» съ величественною простотою сказала Авдотья Петровна.»

— «Какъ, не надо?...»

«Окаянная грѣшница!» продолжала она совершенно покойно, покачивая головою: «На старость вѣры не хватило! Вздумала мѣшаться въ дѣла Господнія! Понимаешь ли, бояринъ....» прибавила она, показывая на небо: «дѣти мои осуждены уже и тамъ! Разумѣешь ли? Это судъ Божій....»

— «Чего же ты хочешь, матушка?»

— «Ничего, добрый бояринъ, ровно ничего! Нѣтъ, есть просьба! Позволь мнѣ взять тѣло сына.... Да что я?... Вѣдь оно и такъ мое.»

И бросилась подымать Алексѣя; но Гордонъ не допустилъ: приказалъ нести тѣло своимъ ратникамъ въ гостинницу, далъ старухѣ три серебренные рубля на похороны, и пошелъ къ палатамъ царскимъ. Ворота отворились: начался выносъ; дождь ударилъ ливьмя, и скоро кровь преступника

не вѣдомо куда понесли быстрыя волны удалой Кончуры.

—

VII.

Государь съ Государыней родительницей, теткой Татьяной Михайловной, сестрами и бояриномъ Тихономъ Никитичемъ Стрѣшневымъ сидѣли за обѣденнымъ столомъ. Не было веселія и въ царской бесѣдѣ. Государь былъ пасмуренъ, и на всѣхъ отпечатывалась тѣнь тоски государевой.

— «Не хвали меня, Тихонъ Никитичъ! «сказалъ Петръ:» Не подумалъ. Старуха разжалобила. Мнѣ всё какъ-то не ловко. Такой вины я отпустить не могъ, не долженъ. Лихонцы преступники *не раскаянные*. И на допросахъ, какъ разбойники оставались нечувствительными; и съ духовникомъ были не искренни.... И прощенный умножитъ только зло; ему добромъ не жить....»

Государь не успѣлъ кончить: вбѣжалъ любимецъ Его, Иванъ Михайловичъ Голицынъ, тогда еще нѣжный юноша, отъ котораго перешла къ потомству повѣсть, нами описанная.

— «Что съ тобой, Ваня?» спросилъ Государь съ безпокойствомъ.

Блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ, Голицынъ ничего не могъ сказать; слова путались.

— «Я видѣлъ.... головой о камень.... умеръ на мѣстѣ....»

Государь всталъ. Вошелъ Гордонъ, и объяснилъ дѣло. Петръ упалъ на колѣни передъ образомъ

Спасителя, и всѣ невольно, вставъ, крестились. Послѣ краткой молитвы, Государь сказалъ:

— «Наука! Но горе вамъ, *не раскаянные* злодѣи! Вѣдайте, яко справедливость, довѣренную мнѣ Господомъ, сохраню строго до конца жизни. Помози Господи!... Позовите старуху! Умница!... И добрая мать! Она исполнила свой долгъ; надо ее утѣшить ..» — Но старухи нигдѣ не отъискали; не знали даже въ какую сторону она отправилась: изъ гостинницы она уѣхала на подводѣ съ трупомъ сына, но куда, не вѣдомо.

—

VIII.

Гордонъ ходилъ по комнатѣ скорыми шагами. Надо было идти на казнь, быть спокойнымъ свидѣтелемъ картины ужасной. Вошелъ капитанъ и доложилъ, что какая-то старуха хочетъ его видѣть.

— «Пустить!» сказалъ отрывисто генералъ, и вошла Авдотья Петровна Лихончиха.

Непріятное свиданіе! Она знала, куда собирается нѣмецкій бояринъ.

— «Что надо?» спросилъ онъ, скрывая смущеніе.

— «Сегодня дѣтей моихъ казнятъ.»

— «Да, казнятъ....»

— «Отдай мнѣ, бояринъ, тѣла ихъ.»

— «Изволь! хорошо!.. прощай. Мнѣ некогда...» торопливо отвѣчалъ генералъ и почти бѣгомъ пустился въ путь отъ горькой благодарности горькой матери.

—

IX.

Прошло около мѣсяца. Въ Москвѣ царствовали Іоаннъ и Петръ, порядокъ и спокойствіе; народъ отдохнулъ отъ смутъ; всѣмъ казалось, что время бурное миновалось безъ возврата; но въ кельи Новодѣвичьяго монастыря новопостриженная монахиня, Сусанна, еще сохраняла мірскія надежды, еще обдумывала пути возвращенія къ земному величію. Петръ считалъ вмѣстѣ съ народомъ, что все кончилось, и спокойно предавался обученію новаго войска. Тринадцатаго октября, въ полѣ подъ Алексѣевскимъ, Государь назначилъ собраться потѣшнымъ и Стрѣльцамъ для выбору людей изъ старыхъ полковъ въ новые регименты. Утро встало какъ будто съ умысломъ такое ясное, румянное, свѣжее, съ легкой изморозью. На валахъ и на улицахъ отъ Краснаго крыльца до заставы, волновались пестрыя толпы народа, ожидая царскаго поѣзда. Послѣ ранней обѣдни у Спаса за золотой рѣшеткой, Государь выѣхалъ верхомъ въ сопровожденіи Ромодановскаго, Гордона, Лефорта, Головина, Прозоровскаго, и многихъ другихъ. Миновали заставу, ѣхали лѣскомъ, какъ вдругъ на встрѣчу страшная старуха: мочалой, въ видѣ обруча, обвязана голова; сѣдые съ желтизной волоса бросало вѣтромъ; босыя ноги бодро несли дряхлую бабу: она опиралась, не на клюку, но на цѣлую березку съ вѣтками, только безъ листьевъ; старыя плечи были безъ покрова. Она шла скоро, размахивая рукой, иногда пощелкивая пальцами и громко говорила сама съ-собою.

Государь и спутники остановились; старуха приметила ихъ, узнала Царя, и пала ницъ.

— «Богъ помощь, матушка!... куда и откуда?.. вставай, полно чиниться» сказалъ Государь.

— «Домой съ могилы, надёжа-Государь...» отвѣчала старуха.

— «Съ какой могилы?»

— «Да у дѣтокъ была!»

— «А кто твои дѣтки?

— «Лихонцы батюшка-Государь!»

— «А гдѣ же они?

— «Въ сырой землѣ, ненаглядный ты мой: вотъ ужъ надо быть четвертая недѣля пошла; стара стала, батюшка, и память плоха; да у меня на косякѣ зарублено.... Каждый день, какъ прійду, и зарублю.»

— «Зачѣмъ же ты къ нимъ ходишь?»

— «Что ты это, батюшка Государь! Да кто же за нихъ молиться-то будетъ?... А тебѣ вѣдомо, какіе они злодѣи: такъ ужъ если я ихъ у Бога не вымолю, то навѣрное съ ними на томъ свѣтѣ не увижусь....»

— «Чѣмъ же ты живешь сама?»

— «Щенки по улицамъ собираю, да бѣднымъ ношу, кому на дрова денегъ не хватаетъ.

— «А гдѣ живешь сама!»

— «Домъ свой, батюшка Государь; мужнинъ домъ; вчера я была въ приходѣ и попу сказала: какъ умру, такъ возьми, батюшка, домъ нанъ на церковь, да молись за души грѣшниковъ Лихонцевъ.»

— «Послушай, старуха, мнѣ жаль тебя; я хочу тебя пристроить!»

— «Богъ пристроитъ, надёжа-Государь, а тебѣ деньги по-нужнѣе нашего. А за милость твою царскую благодарствую.... Позволь ножку поцѣловать.»

И не ожидая дозволенія, старуха почтительно коснулась устами царскаго сапога и отступила съ глубокимъ благоговѣніемъ.

— «Какъ хочешь, матушка, а я къ тебѣ буду!...» сказалъ Государь и тронулся въ путь.

— «Милости просимъ, солнышко мое! милости просимъ!... На похороны!» сказала старуха во слѣдъ Государю, и пошла своей дорогой.

—

X.

Поздно ввечеру, когда совсѣмъ уже смерклось, къ дому Лихончихи подкатилась новая царская одноколка, впослѣдствіи единственный любимый экипажъ Петра Великаго. Въ домѣ всѣ двери были отперты; пронзительный холодъ и сырость обдали гостей. Сосѣди, примѣтивъ, что Государь вошелъ въ домъ Лихончихи, гдѣ съ нѣкотораго времени вовсе не видали огня, поспѣшили, кто со свѣчей, кто съ фонаремъ къ старой Авдотьѣ. Но ея уже не было, ни дома, ни внѣ дома. Она переселилась въ лучшую обитель.

— «Примѣрная мать!» сказалъ Государь. «Генералъ, Богъ лишилъ ее дѣтей: заступимъ ихъ мѣсто!»

— «Я буду съ этимъ заниматься, Ваше Величество! Позвольте мнѣ принимать похороны на мой коштъ!»

— «По-поламъ, генералъ!» отвѣчалъ Государь, крѣпко сжавъ руку вѣрнаго своего слуги: «Мы и проводимъ ее на могилу дѣтей, и первые бросимъ землю на гробъ *доброй матери.*»

ЖАНЪ БАТИСТЪ ЛЮДО.

Историческая Повѣсть.

ГЛАВА I.

ТРИСТА ЛИВРОВЪ.

Казимиръ д'Аворъ скончался въ 1735 году, въ небольшомъ Французскомъ городкѣ Троа, оставивъ сыну своему, шестилѣтнему Антонію д'Аворъ, огромное наслѣдство, состоявшее изъ многихъ помѣстій и домовъ въ Парижѣ, Троа и другихъ городахъ и въ движимости, простиравшейся цѣною на нѣсколько сотъ тысячъ ливровъ. При смерти почтеннаго Казимира д'Авора находились ближайшіе два его сосѣда: съ правой стороны улицы: Парламентскій Адвокатъ Жанъ Батистъ Людо, ученый человѣкъ, о которомъ ниже, а съ лѣвой: также Парламентскій Адвокатъ Симонъ Пуккаръ, о коемъ также будетъ говорено ниже.... Оба попали къ умирающему нечаянно; прибѣжали на плачь и крикъ отчаяннаго ребенка и прислуги; Людо изъ любопытства, Пуккаръ не безъ расчета и немного пораньше Людо.

— «Любезные сосѣди!...» только и успѣлъ сказать имъ умирающій слабымъ голосомъ: «Не оставьте вашимъ покровительствомъ и совѣтами бѣднаго моего Антонія!»

— «Хорошо, хорошо!» отвѣчалъ разсѣянный Людо́: «Вотъ какъ умрете, такъ увидите какой я чудесный сосѣдъ! Мнѣ еще не случалось быть сосѣдомъ сироты. Я сдѣлаю опытъ и напишу трактатъ о послѣдствіяхъ. Что это вы? Умираете, совсѣмъ умираете? Это любопытно! Станемъ наблюдать.»

— «Ахъ г. Людо́!» замѣтилъ шепотомъ Пуккаръ: «Какой вы счастливый человѣкъ! Вы можете сносить самыя сильныя ощущенія безъ малѣйшаго признака, что вы ихъ чувствуете.»

— «За чѣмъ же я философъ и ученый! Мнѣ некогда чувствовать, мнѣ надо наблюдать!»

— «Вотъ то-то и есть, г. Людо́! Вамъ некогда чувствовать, вы должны наблюдать, а я, по званію опекуна, долженъ озаботиться, чтобы ни булавка не пропала изъ достоянія сироты. Въ подобныхъ случаяхъ, вы знаете, слуги, посторонніе люди, всѣ спѣшатъ воспользоваться!»

Пуккаръ говорилъ съ такимъ простодушіемъ, что всякій, а тѣмъ болѣе Людо́, не могъ бы ему не повѣрить.

— «Такъ чего же вы зѣваете!» сказалъ Людо́, не довѣрчиво оглядываясь; но въ комнатѣ никого небыло: «Бѣгите, распоряжайтесь и не мѣшайте мнѣ наблюдать надъ разлукой души съ тѣломъ. Вотъ видите, я и невидѣлъ какъ душа почтеннаго сосѣда улетѣла. И представьте, это сомной случается не впервые. Всякій разъ я прозѣваю душу.»

— «Въ слѣдующій разъ, г. Людо́, въ слѣдующій

разъ вы непремѣнно ее увидите.... Но теперь приступимъ къ опечатанію имѣнія, согласно съ волей усопшаго, которую онъ намъ объявилъ на одрѣ смерти....»

— «Да, покойникъ говорилъ что-то объ этомъ. Не припомните ли, что онъ говорилъ!»

— «Какъ вы забывчивы, г. Людо! Право удивительно, что съ такими учеными свѣденіями, вы ни мало не соединяете житейскихъ знаній....»

— «Да, это со мной случается!» сказалъ Людо, нѣсколько смутясь и покраснѣвъ: «но, сдѣлайте милость, напомните, что говорилъ покойникъ, я тотчасъ вспомню....»

— «Какъ же! Просилъ васъ не оставлять покровительствомъ и совѣтами бѣднаго Антонія....»

— «Точно такъ, точно такъ! Слово въ слово! Удивительная память! Вотъ мнѣ чего недостаетъ, чтобы блистать въ парламентѣ краснорѣчіемъ; я сочиню рѣчь дома очень хорошо, отмѣнно хорошо, приду въ парламентъ: посторонніе предметы, то, другое... и я не помню уже ни одного слова. Но я теперь принимаю противу моей памяти дѣйствительныя предосторожности. Сдѣлайте милость, потрудитесь повторить, что говорилъ покойникъ, а я запишу въ памятную книжку.»

Пуккаръ сталъ диктовать, останавливаясь на каждомъ словѣ, такъ что Людо не могъ ни какъ собрать полнаго смысла, да впрочемъ о томъ и незаботился. Неуспѣлъ Людо спрятать въ карманъ памятной книжки, въ спальню вошелъ медикъ въ сопровожденіи Поля и другихъ слугъ покойнаго.

Поздняя помощь! Поль не мало удивился, увидавъ незванныхъ гостей въ спальнѣ своего господина. Особенно не нравилось ему присутствіе Пуккара. Но взглянувъ на трупъ д'Авора, Поль бросился съ крикомъ къ постели покойнаго и предался отчаянію. Медикъ также подошелъ къ мертвецу, пощупалъ пульсъ, пожалъ плечами, какъ будто говорилъ: «Что дѣлать! спасенія не было! Онъ умеръ по всѣмъ правиламъ медицины....» и подошелъ къ Людо.

— Ахъ, мой добрый Жоржъ!» воскликнулъ Людо́, съ примѣтнымъ удовольствіемъ: «Я потерялъ сосѣда, но за то нашелъ удивительное средство очищать бараній жиръ; пойдемъ ко мнѣ, я вамъ покажу рисунокъ моей машины....»

— «Позвольте, г. Людо́!...» прервалъ Пуккаръ: «Потрудитесь исполнить послѣдній долгъ, которымъ вы обязались покойнику....

— «Я очень хорошо помню г. Пуккаръ: не оставлять покровительствомъ и совѣтами бѣднаго Антонія.»

— «Ахъ Боже ты мой, а описать и опечатать его бумаги и движимость....»

— «Признаюсь....» отвѣчалъ Людо́, опять покраснѣвъ: «я сегодня все забываю; виноватъ не я, а бараній жиръ. Но еслибъ вы знали, какой простой механизмъ!»

— «Я готовъ слушать васъ цѣлую ночь, но прежде исполнимъ нашу обязанность....»

— «Такъ вы ко мнѣ зайдете?»

— «Непремѣнно....»

— «И вы, г. медикъ?»

— «Если позволите!»

— «Такъ давайте-же описывать и опечатывать поскорѣе!»

— «Главное кабинетъ, а тутъ слуги пускай займутся съ покойникомъ....»

Всѣ трое ушли въ кабинетъ. Поль воспрянулъ, поднялъ голову, но скорбь была слишкомъ сильна и подавляла въ немъ всѣ силы мышленія. Голова Поля опять упала на холодныя ноги д'Авора и слезы полились, ударили ручьемъ....

—

На другой день, рано поутру, Парламентскій Адвокатъ Симонъ Пуккаръ представилъ въ Магистратъ описи всей наличной движимости покойнаго, которую неразсматривая, онъ опечаталъ, до дальнѣйшихъ распоряженій правительства. Все это было подписано тѣмъ же Пуккаромъ, а засвидѣтельствовано другимъ Парламентскимъ Адвокатомъ Людо́, и медикомъ, яко третьимъ. За симъ Пуккаръ объявилъ послѣднюю волю покойнаго на счетъ опеки, ссылаясь на свидѣтельство Людо́; магистратъ все утвердилъ, безъ особенныхъ затрудненій, но потребовалъ чтобы Людо́ засвидѣтельствовалъ послѣднюю волю умершаго лично. — Послали за Людо́; но посланный воротился и объявилъ что г-ну Людо́ некогда, потому что онъ сидитъ на собственной крышѣ и дѣлаетъ физическія наблюденія надъ дымомъ. Второй посланный воротился, уже вмѣстѣ съ Людо́, который пришелъ безъ парика и шляпы, съ банками въ обѣихъ рукахъ.

— «Что вамъ угодно, господа?» спросилъ онъ съ неудовольствіемъ: «Ну, вотъ я здѣсь! Что вамъ угодно?»

Голова объявилъ въ чемъ дѣло....

— «А знаю.... помню....» отвѣчалъ онъ быстро и схватился за карманъ: «Ахъ, Боже мой, я былъ вчера въ синемъ кафтанѣ.... Посидите, господа, минуточку. Я сейчасъ ворочусь.»

И Людо́, поставивъ обѣ банки передъ самымъ носомъ Прево или головы, ушелъ; и точно воротился; развернулъ памятную книжку и прочелъ продиктованное Пуккаромъ: «Любезный сосѣдъ! Я не успѣлъ сдѣлать завѣщанія; но воля моя, надѣюсь, будетъ уважена правительствомъ. Васъ, г. Пуккаръ, прошу быть единственнымъ и полнымъ опекуномъ моего бѣднаго сына Антонія и всего моего имѣнія, до совершеннаго его возраста; награду за труды ваши предоставляю благодарности Антонія, а васъ, любезный Людо́, свѣтило нашего города и честь всего отечества, прошу не оставлять моего сына покровительствомъ и совѣтами. Сказано на смертномъ одрѣ Казимиромъ д'Аво-ромъ, 1735 года Мая 12 дня въ 9 часовъ пополудни.»

— «Неужели онъ все это говорилъ?» спросилъ самъ Людо́, обращаясь къ Пуккару....

— «Не я, вѣдь вы записывали!»

— «Точно такъ, точно такъ! И хорошо, что я все это записалъ. Иначе....»

— «Иначе....» прервалъ Прево: «мы бы не

ямѣли достовѣрнаго ночнаго свидѣтеля и великолѣпнаго завтрака!»

Пуккаръ кланялся, а между тѣмъ магистратъ сдѣлалъ приличное постановленіе, приказалъ показаніе Людо́ внести въ регистры, словомъ, въ одинъ день всѣ юридическія формы были исполнены и Пуккаръ угостилъ Прево и Эйевеновъ на славу. Одинъ Людо́ не участвовалъ въ пирушкѣ; онъ воротился къ покойнику, который уже, по распоряженію Пуккара, лежалъ въ великолѣпномъ гробѣ, окруженный всѣми блистательными принадлежностями послѣдняго земнаго торжества....

— «Послушайте, любезный д'Аворъ!» сказалъ Людо́ покойнику: «Право, мнѣ кажется, что вы вчера успѣли намъ сказать гораздо меньше, нежели сколько у меня записано въ памятной книжкѣ.... Вы молчите? Ахъ да, вы умерли!.... Я не могу на вѣрное сказать, хорошо ли вы сдѣлали, что умерли. Вамъ надо было дождаться совершеннолѣтія вашего сына, и тогда уже умереть.... А теперь вы только запутали меня въ самое несносное дѣло; терпѣть не могу дураковъ и дѣтей. Но будьте покойны, любезный д'Аворъ, я далъ слово и постараюсь исполнить обѣщаніе. Гдѣ Антоній?

— «Ахъ, г. Людо́! Его отняли у насъ!» сказалъ Поль, отирая слезу: «Увели еще вчера къ г. Пуккару, а это не къ добру, право не къ добру. Покойный всегда отзывался о г. Пуккарѣ самымъ неблагопріятнымъ образомъ, называлъ его жаднымъ скупцомъ, интригантомъ, завистникомъ

и когда у покойнаго случалось дѣло въ судахъ, онъ всегда бралъ себѣ въ адвокаты своего истиннаго друга Роберта Модюи, не смотря на сосѣдство съ Пуккаромъ!... И если бы Робертъ былъ здѣсь, онъ бы непремѣнно былъ онекуномъ нашего Антонія.... Я имѣлъ счастіе быть неразлучнымъ спутникомъ г. д'Авора, во всѣхъ его поѣздкахъ, даже прогулкахъ; я въ немъ видѣлъ больше благодѣтеля, осмѣлюсь сказать, друга, нежели господина! Не разъ, предчувствуя близкую кончину, чему по наружности нельзя было вѣрить, не разъ, говорю, онъ намекалъ про онеку и Роберта....»

— «А гдѣ же этотъ Робертъ?»

— Онъ уѣхалъ по фамильнымъ дѣламъ Герцогини Люневильской, въ Германію; и уѣхалъ за нѣсколько дней до болѣзни г-на д'Авора. Трогательное прощаніе! Покойный успокоивалъ Роберта и обѣщалъ поддерживать его семейство! И представьте, г. Людо, въ какомъ положеніи это семейство! Мать Роберта въ постели, больна, а жена Роберта, Люція, беременна; со дня на день ожидаютъ....»

— «А! Это любопытно!» сказалъ Людо и отправился къ г-жѣ Модюи. Но тамъ его не приняли..

— «Почему-же нельзя!»

— «Г-жа Модюи вчера въ девять часовъ разрѣшилась отъ бремени дочерью....»

— «И безподобно! Этого требуетъ равновѣсіе натуры. Въ девять часовъ умеръ г. д'Аворъ и родилась дѣвица Модюи! Позвольте, я запишу это въ памятную книжку....»

— «Неужели г. д'Аворъ скончался?» воскликнула служанка съ сильнымъ огорченіемъ....

— «Балансъ натуры!» отвѣчалъ Людо, записывая чтото въ книжку....

— Хорошъ балансъ! У насъ вся надежда оставалась на г. д'Авора. Кто теперь поможетъ бѣдной моей госпожѣ! Но онъ вѣрно не забылъ ее въ завѣщаніи.»

— «Позвольте, позвольте! Мы справимся....» сказалъ Людо въ торопяхъ, вынулъ записную книжку, посмотрѣлъ, покачалъ головою и продолжалъ: «Нѣтъ! Видно по сильной болѣзни забылъ. Ничего не сказано.... Но позвольте, я сейчасъ схожу къ опекуну; онъ теперь долженъ сдѣлать для госпожи Модюи все, что сдѣлалъ бы покойникъ, если бы не былъ покойникомъ.»

И Людо отправился къ Пуккару....

— «Кто знаетъ....» разсуждалъ онъ дорогой: «гдѣ живетъ этотъ Пуккаръ? Скупецъ, жадный скупецъ, онъ поселился гдѣ нибудь на предмѣстьи, на выѣздѣ! Станетъ онъ жить въ порядочной улицѣ....» и Людо пошелъ на ближайшее предмѣстье. Замѣтивъ самый дрянной, полуразвалившійся домъ, Людо постучался въ двери.

— «Здѣсь живетъ г. Пуккаръ, опекунъ?»

— «Нѣтъ!»

— «Такъ гдѣ-же?»

— «Пуккаръ, парламентскій адвокатъ, что ли?»

— «Ну да!»

— «Г. Пуккаръ живетъ на большой улицѣ въ собственномъ домѣ.»

— «Позвольте, позвольте! И я живу на больной улицѣ въ собственномъ домѣ!...»

— «А какъ васъ зовутъ!»

— «Жанъ Батистъ Людо!»

— «Помилуйте, г. Людо, да Пуккаръ вамъ сосѣдъ; черезъ одинъ домъ.»

— «Правда, правда, сосѣдъ, и покойный такъ началъ: любезные сосѣди!»

Людо побѣжалъ рысью въ больную улицу, по дорогѣ забылъ за чѣмъ шелъ туда такъ поспѣшно; и проходя мимо своего дому, повернулъ въ калитку, раздѣлся и сталъ обѣдать.

Историческія подробности о г. Людо покажутся странными, но не менѣе того — эти подробности историческія, засвидѣтельствованы многими учеными его современниками и внесены въ похвальное слово Людо, произнесенное по смерти его, извѣстнымъ Гроссемъ.

У Людо не было дома не только слуги, но ни одного дикаго, ни домашняго животнаго; всѣ комнаты, числомъ до шести, составляли его библіотеку, потому что во всѣхъ были разбросаны книги, или спальню, если угодно, потому что Людо засыпалъ тамъ, гдѣ приходилось и обыкновенно съ книгою въ рукахъ; во всемъ домѣ замки отъ ржавчины уже не запирались; Людо не ѣлъ ничего вареного, кромѣ хлѣба, который пекъ самъ; на кухнѣ у него постоянно горѣлъ огонь для химическихъ опытовъ. Нѣсколько овощей и соленая говядина составляли весь его столъ; изъ этого матеріала онъ приготовлялъ себѣ обѣдъ на всю

недѣлю. Одежда его соотвѣтствовала пищѣ; онъ всегда ходилъ въ грязномъ бѣльѣ и разорванномъ платьѣ; часто надѣвъ парикъ, забывалъ шляпу; чаще оставлялъ парикъ въ покоѣ и ходилъ въ одной шляпѣ; а иногда во все не безпокоилъ себя этими принадлежностями туалета и ходилъ по улицамъ и окрестностямъ Троа съ открытой головою. Грослей справедливо говорилъ, что Людо представлялъ въ себѣ и древность и новый вѣкъ; въ древности онъ соперничалъ съ Діогеномъ Синопскимъ; въ новыя времена, онъ не отставалъ отъ Козимо, флорентійскаго философа. Но не смотря на странности, Людо, въ 30 лѣтъ, былъ уже однимъ изъ самыхъ ученѣйшихъ людей во Франціи XVIII вѣка; постоянное одиночество и размышленіе доставили ему огромныя свѣденія по части Естественныхъ наукъ и Математики. Жажда любознанія развита была въ немъ въ высочайшей степени. Онъ хотѣлъ все подвергнуть наблюденіямъ, опытамъ; старался испытывать многое собственными силами и личностью; про Людо можно сказать, что онъ прочелъ все, что только можно было прочесть, и не разъ онъ читалъ по три дни сряду, безъ сна и пищи. Слава его распространялась довольно медленно, но въ это время, когда умеръ г. д'Аворъ и родилась дѣвица Модюи, Людо былъ извѣстенъ только въ Троа, какъ отмѣнно ученый и честный чудакъ и весьма плохой парламентскій адвокатъ. Не должно забыть, что по наслѣдству достались Людо: порядочный домъ въ Троа, и два помѣстья, съ коихъ доходъ онъ по-

лучалъ исправно; половину онъ обращалъ на опыты, другую пряталъ подъ полъ, въ кухнѣ. Пообѣдавъ, Людо́ принялся читать Саллюстія, и читалъ до тѣхъ поръ, пока не смерклось; онъ положилъ книгу и предался размышленіямъ. Рѣдко участвуя въ дѣлахъ житейскихъ своихъ сосѣдей, онъ нашелъ весьма страннымъ, какимъ образомъ попалъ онъ въ исторію д'Авора; какой тяжкій долгъ принялъ на себя покровительствовать шестилѣтнему ребенку и давать ему совѣты. Въ такомъ возрастѣ надо пріискивать для дитяти няньку, а не ученаго человѣка, но какъ ученые люди всегда умѣютъ открыть дѣйствительный смыслъ въ самой безсмыслицѣ, то Людо́ очень скоро догадался, что покойный говорилъ все это изъ учтивости и не хотѣлъ сказать Пуккару въ глаза непріятную правду; что д'Аворъ просилъ Людо́ не оставлять совѣтами не Антонія, а г. Пуккара, тѣмъ болѣе что Робертъ Модюи уѣхалъ... Модюи!... Содружество понятій приводитъ въ порядокъ самую безтолковую память; при имени Модюи, Людо́ вспомнилъ и объ родильницѣ; вскочилъ, одѣлся и пошелъ къ Пуккару. —

Пуккаръ сидѣлъ въ гостинной комнатѣ у небольшаго стола, который составлялъ весь кабинетъ Адвоката и съ довольнымъ видомъ перебиралъ бумаги покойнаго: въ той же комнатѣ сидѣла жена его, Луиза Добиньи Пуккаръ, по случаю недавнихъ магистратскихъ гостей разодѣтая и раскрашенная, и вязала колпакъ; возлѣ сидѣлъ Антоній, а по другую сторону Эмилія, дочь Пуккара, дѣвочка лѣтъ

одиннадцати. Дѣти уже дремали, когда, съ шумомъ, безъ доклада, вошелъ Людо́ и не на шутку перепугалъ спящихъ и неспящихъ.

— «Ахъ какъ я радъ, что застаю васъ дома...» сказалъ Людо́, взялъ стулъ и усѣлся возлѣ Адвоката. «Вы вѣрно слышали, что г-жа Модюи родила?»

— «Нѣтъ! Не имѣлъ чести!»

— «Такъ я вамъ объявляю, и какъ по завѣщанію г. д'Авора, я долженъ подавать вамъ совѣты, то я и совѣтую вамъ, г. Пуккаръ, немедленно послать ей триста ливровъ.»

— «За что!»

— «Это не наше дѣло. Покойный хотѣлъ оказать ей помощь; такъ свидѣтельствуютъ люди, такъ говоритъ и г-жа Модюи.»

— «Помилуйте, г. Людо́! Вы хотите раззорять сироту за грѣхи его отца. Онъ могъ имѣть къ г-жѣ Модюи тайныя обязанности; но до того какое дѣло сыну, а тѣмъ болѣе опекѣ, которая обязана отчетностью. Шутка ли, триста ливровъ?...»

— «Не триста!» закричалъ маленькой Антоній: Папа ей готовилъ тысячу ливровъ; жалѣлъ, что не можетъ дать болѣе. И это его очень мучило.»

— «Вотъ видите!»

— «Я думаю, вы видите г. Людо́, что покойный нанъ другъ...»

— «Ну, ужъ это не правда! Ни вашимъ, ни моимъ другомъ онъ никогда не былъ; онъ всегда васъ называлъ жаднымъ скупцомъ, интригантомъ, завистникомъ...»

— «О нѣтъ!« прервалъ маленькій Антоній: «Чаще называлъ плутомъ.»

— «Вы слышите!»

— «И вы не понимаете, г. Людо́, что ребенокъ подученъ людьми, которымъ мы не позволили расхитить сиротскаго имущества!»

— «Это не мое дѣло! Но г жѣ Модюи вы должны подать помощь...»

— «Не могу, хотя бы и желалъ. Это противно законамъ. Вы сами правовѣдецъ, и можетъ быть ученѣйшій во всей Франціи. Подумайте сами, могу ли...»

— «Можете, да не хотите. Воля покойнаго на лице; тутъ сомнѣнія бытѣ не можетъ...»

— «Но я въ такомъ случаѣ обязанъ доложить магистрату. А самъ собою, я не смѣю...»

— «А больная покуда умретъ отъ недостатка? Ну хорошо, докладывайте магистрату; плутуйте; оправдывайте мнѣніе объ васъ покойника; я съ вами нехочу имѣть никакого дѣла! Прощайте!»

Г. Людо́ побѣжалъ прямо въ свою кухню, поднялъ половицу, отсчиталъ триста ливровъ и отнесъ къ г-жѣ Модюи... Хотя и въ постели, хотя и больная, г-жа Модюи рѣшилась принять чудака и деньги. Но не успѣла изъявить своей признательности. Людо́ положилъ деньги на столъ, поклонился и ушелъ; усѣлся въ своей кухнѣ, предъ огромнымъ огнемъ, на которомъ кипѣли двѣ кострюли съ травами, да жарилась реторта, и продолжалъ читать Саллюстія. —

—

ГЛАВА II.

РИМСКІЙ СТАДІЙ.

Спустя три года, г. Людо́ сидѣлъ въ той же кухнѣ и читалъ: «Замѣчанія двухъ благородныхъ Шведовъ объ Италіи» сочиненіе соотечественника и друга его Грослея. Въ комнатахъ кто то ходилъ, но Людо́ не обращалъ на то никакого вниманія; посѣтитель наконецъ догадался, что Людо́ въ своей лабораторіи и вошелъ въ кухню. Людо́ спокойно продолжалъ чтеніе. Г. Пуккаръ сталъ кашлять, Людо́ не слышалъ. Вдругъ, начитавъ какое то непріятное мѣсто, Людо́ вскочилъ со скамьи и закричалъ неистово: «Вретъ Грослей! вретъ безстыдно, безстыдно! А здравствуйте, я васъ и незамѣтилъ, но такая ложъ превосходитъ всякое описаніе. Я ему докажу, Грослею! Будетъ онъ чувствовать!... Въ такой ученой матеріи нельзя, не должно руководствоваться догадками. Факты! Факты! А всѣ факты противъ Грослея!... Не правда ли?»

— «Безъ всякаго сомнѣнія!» отвѣчалъ Пуккаръ утвердительно: «Кто другой, но ужъ вы въ этомъ отношеніи неможете ошибиться...»

— «А такъ вы со мной согласны?»

— «Совершенно согласенъ!»

— «Да и кто съ перваго взгляда не согласится, что это ужасная ложь. Піаченца городъ древній; столько монументовъ временъ стараго Рима; самое положеніе и все... А Грослей утверждаетъ, будто бы Піаченца лежала совершенно на дру-

гомъ мѣстѣ!... Аннибалъ во вторую Пуническую войну разбилъ консула Семпронія именно возлѣ нынѣшней Піаченцы, а эта Піаченца — старая Піаченца. Я готовъ биться объ закладъ...»

— «И я также, г. Людо́, и я также! Берите меня въ долю. Мы непремѣнно выиграемъ...»

— «Могу поручиться!... Да вотъ вы увидите, я вамъ прочту завтра мои замѣчанія. Вы увидите, какъ я его отдѣлаю. Извергъ! А я его считалъ человѣкомъ правдивымъ! Не правда ли, это скверно?»

— «Ужасно!»

— «Я очень радъ, что вы раздѣляете мое мнѣніе; но бросимъ этотъ разговоръ; подобныя выходки меня злятъ, огорчаютъ... Помилуйте, Консулъ Семпроній вышелъ изъ Рима...

— «Бросьте, г. Людо́, этого консула! Онъ не стоитъ, чтобы объ немъ говорить, когда позволилъ себя разбить кому бы то нибыло...»

— «Э, извините! Это придворные льстецы только сравниваютъ Тюреней и Конде съ Кесаремъ и Аннибаломъ. Невѣжество, ужасное невѣжество, непростительное незнаніе самыхъ обыкновенныхъ классическихъ авторовъ... Мнѣ даже стыдно, когда я читаю эти сравненія. Не правда-ли?»

— «Смѣшно было бы вамъ противорѣчить, г. Людо́! Но согласитесь, что вамъ рѣшительно не должно сердиться, потому что здоровье ваше отъ того въ опасности, а вы можете написать трактатъ и не только разбить, но положить на мѣстѣ и Консула Семпронія и самаго Аннибала...»

— «Я такъ и сдѣлаю!» прервалъ Людо́, не вслушавшись: «Я такъ и сдѣлаю! Но перестанемъ говорить объ этомъ... Что, каково идутъ дѣла ваши? Про себя могу сказать, что я очень доволенъ и покоенъ. Меня перестали безпокоить докучные кліенты; совершенно отстали. Вотъ уже два года, я думаю, какъ никто меня не видалъ въ Парламентѣ.» —

— «Будетъ больше!» подумалъ Пуккаръ, потому что разсѣянность Людо́ сдѣлалась въ эти три года извѣстною не только въ Троа́ и въ Шампаньи, но и во всей Франціи, вмѣстѣ съ его заслуженною, ученою славою; не смотря на то, что Людо́ защищалъ прибѣгающихъ къ нему даромъ, ни кто не рѣшался довѣрить своего дѣла такому забывчивому адвокату. — Пуккаръ былъ правъ. Не два, а болѣе пяти лѣтъ невидали въ Парламентѣ Людо́, но напоминать объ этомъ ученому адвокату было бы не ловко и Пуккаръ своротилъ на свое:

— «Ахъ ужъ не говорите вы мнѣ объ этомъ Парламентѣ. Я и самъ теперь такъ занятъ священнымъ долгомъ, который взвалилъ на меня покойный д'Аворъ, такъ много хлопотъ съ его помѣстьями, домами, арендаторами, капиталами, а пуще всего съ сыномъ, что право некогда подумать о себѣ и о собственномъ семействѣ. Вотъ и теперь, г. Людо́, я въ отчаяньи. Здоровье малолѣтняго Антонія очень плохо; я совѣтовался съ медиками, всѣ единогласно признали, что надо прекратить ученіе и отослать его куда нибудь въ деревню; городской воздухъ ему вреденъ... угрожаетъ...

— «Чего же вы медлите?» закричалъ Людо́. «Отправьте его, если можно, сегодня.»

— «Но я не хотѣлъ безъ вашего совѣта...»

— «Совѣтую, совѣтую!»

— «Такъ не угодно ли вамъ записать въ памятную книжку...

— «Извольте... Что же я долженъ писать?»

— «Апрѣля 10-го, 1738-го года, я присовѣтовалъ Пуккару отправить Антонія д'Авора въ деревню, для возстановленія здоровья...»

— «Записано...»

— «Простите г. Людо́, что я васъ прервалъ въ драгоцѣнныхъ занятіяхъ...»

— «Ничего, ничего! Мы люди! Должны помогать одинъ другому совѣтами, состояніемъ, чѣмъ кто можетъ.»

— «Вы истинно великій человѣкъ! — Доброй ночи!»

— «На сегодняшнюю надѣюсь. До утра я буду писать противъ Грослея. Честь Аннибала и Піаченцы будутъ возстановлены!... Прощайте!» —

Не прошло и полугода. Людо́, по осени, въ окрестностяхъ Троа́ искалъ разныхъ травъ, необходимыхъ, по его мнѣнію, для нѣкоторыхъ опытовъ. Надо было переходить большую дорогу, на которой во всей брадатой дряхлости торчалъ Римскій стадій, облѣпленный мхомъ и обросшій высокою травою; на немъ, какъ на дерновой скамьѣ, обыкновенно отдыхали пѣшеходы, которыхъ Людо́ если завидѣлъ, то бѣжалъ на дорогу сколько силы было и сгонялъ путниковъ съ проклятіями и угро-

зами... Не должно смѣяться надъ этой маніей къ древностямъ. Ей только мы обязаны сохраненіемъ множества истинно драгоцѣнныхъ монументовъ. И конечно, эта крайность гораздо лучше нежели безтолковое стремленіе къ уничтоженію священной старины, безъ разбора и самопроизвольно. Можно сломать памятникъ древности, почему же и нѣтъ, если онъ не заключаетъ никакой исторической важности, не напоминаетъ событія, ничего не объясняетъ и повторенъ во многочисленныхъ экземплярахъ, но если съ нимъ связана малѣйшая, само собою разумѣется, характерная черта вѣка, тогда лишать потомство этого дорогаго наслѣдія, право, грѣхъ и Антикваріи XVIII столѣтія достойны истиннаго уваженія, хотя нерѣдко защищали отъ разрушенія Римскіе стадіи, хотя ихъ простымъ надписямъ давали иногда смыслъ монументальныхъ эпитафій. Людо раздѣлялъ со всѣми учеными страсть вѣка и завидѣвъ на мохнатомъ камнѣ незваннаго гостя, какъ орелъ бросился на свою жертву.

— «Procul!» кричалъ онъ еще издали «Infandum Scellus! Прочь!»

Но путникъ сидѣлъ спокойно и глядѣлъ съ любопытствомъ на приближающуюся грозу.... Людо добѣжалъ запыхавшись и не могъ вымолвить отъ усталости слова.

— «Что съ вами?» спросилъ Поль, знакомый намъ слуга д'Авора.

— «Прочь, нечестивый! И ты не боишься чтобы Iupiter Stator неотомстилъ тебѣ за осквернѣніе своего камня?»

— «Помилуйте, г. Людо́! Да этотъ камень никому непринадлежитъ; онъ тутъ и поставленъ отъ города для того, чтобы люди отдыхали....»

— «Можетъ быть и для того, только не такіе люди, какъ ты. Понимаешь ли? Онъ поставленъ для подданныхъ Римской Имперіи, понимаешь ли, Римской, а не какого нибудь глупаго Шампаньяра.»

— «Куда намъ понимать это! Въ невѣдѣніи нѣтъ грѣха. Вы знаете, такъ и не садитесь, потому что вы Шампаньяръ, а я изъ Нормандіи. Я самъ слышалъ, какъ отецъ Сильвестръ разсказывалъ, что Нормане когда то цѣлымъ свѣтомъ владѣли. Парижъ, самъ Парижъ не зналъ куда отъ нихъ спрятаться!....»

— «Да это были первые разбойники въ свѣтѣ...»

— «Э, полноте, г. Людо́! Ваши Римляне развѣ не тѣже разбойники? Вы думаете, что я уже, ничего не читалъ. Въ двухъ Альманахахъ объ этомъ писано; да еще не то я слышалъ на проповѣдяхъ; говорятъ ваши Римляне христіанъ мучили; правда ли это, г. Людо́? Сдѣлайте милость, скажите! Вамъ я повѣрю....»

Людо́ смутился и незналъ, что отвѣчать на простой вопросъ Поля.

— «Послушай, любезный!» наконецъ сказалъ онъ ласково: «Сдѣлай мнѣ одолженіе, лично мнѣ, сойди ты съ этого камня; право я не могу на тебя смотрѣть хладнокровно. Это профанація въ высшей степени!»

— «Если вамъ, г. Людо́, это будетъ пріятно, извольте, я могу сѣсть и на травѣ.... Но г. Лю-

до́, позвольте и вамъ напомнить, что вы дурной Римлянинъ!»

— «Это почему!

— «А помните, что́ вы обѣщали г-ну д'Авору?..»

— «Г-ну д'Авору? Какому д'Авору?»

— «Вашему покойному сосѣду; вы были при его смерти....»

— Ахъ да!... Что же обѣщалъ я? Право не помню, но это все равно. У меня записано въ памятной книжкѣ....»

— «Жаль что вы читаете этихъ еретиковъ, а не просматриваете вашихъ записныхъ книжекъ. Вспомните, г. Людо́, что вы обѣщали заботиться объ его сынѣ, Антоніѣ.»

— «Ну, да, да! Я и забочусь! Вотъ весьма недавно, вчера или третьяго дня, я присовѣтовалъ г. Пуккару отправить нашего питомца въ деревню, для возстановленія здоровья!»

— «Вчера! Ну вы изъ рукъ вонъ! Полгода онъ уже на дрянной мызѣ съ простыми людьми, гоняетъ куръ и гусей, играетъ во всѣ игры, неприличныя его званію, подъ присмотромъ арендаторши, которой приказано пуще глаза беречь здоровье здороваго ребенка. Этотъ острый, умный мальчикъ глупѣетъ, дичаетъ не по днямъ, а по часамъ, а покойникъ всегда говаривалъ, что онъ будетъ какимъ то Фонтенелемъ. Видно тоже какой нибудь знаменитый Римлянинъ.... Что могу я несчастный сдѣлать? Я конечно не упустилъ случая; опредѣлился на мызу мельникомъ; втерся въ дружбу къ арендаторшѣ, а надо вамъ знать

что эта арендаторша была года два любовницей г. Пуккара. Подумайте сами, каково мнѣ старику за нею ухаживать. Ну, да усердіе помогло. Принялъ въ руки арендаторшу, приму и ребенка. Да что я несчастный сдѣлаю?... Что самъ знаю, тому научу и моего Антонія, да самъ то я не много знаю; читать, писать—и кончено. Вотъ и теперь иду въ Троа закупить кое какихъ книгъ, букварей, альманаховъ.... да что это за чтеніе? Я знаю способности моего Антонія. Въ одну ночь все то прочтетъ, что я читалъ всю жизнь мою, — а тамъ гдѣ средства, гдѣ книги?...»

— «О! ты Римлянинъ!

— «За что, г. Людо́? Что я сдѣлалъ худаго!»

— «О, ты настоящій Римлянинъ, и если бы всѣ Римляне имѣли твою душу, повѣрь мнѣ любезный другъ, Консулъ Семпроній не проигралъ бы сраженія подъ Піаченцой, могу поручиться. Но это самое печальное время Рима; они были еще далеки отъ Римской доблести. Virtus тогда имѣла еще совершенно другое значеніе.... Надо тебѣ замѣтить, что многія слова въ латинскомъ языкѣ имѣли одно значеніе, напримѣръ, въ третьемъ вѣкѣ республики и совершенно другое въ послѣднемъ. Самыя обыкновенныя названія предметовъ, напримѣръ, matrona — въ третьемъ вѣкѣ значила просто женщина т. е. не дѣвица, а въ послѣднемъ только первая жена Римлянина; прочія рабыни уже не назывались матронами, хотя безпрекословно небыли уже дѣвственницами.»

— «Покорнѣйше васъ благодарю, г. Людо́, за

просвѣщеніе, но мнѣ пора въ городъ. Постараюсь узнать, не пріѣхалъ ли Модюи? Онъ вѣроятно приметъ участіе въ судьбѣ бѣднаго Антонія, выведетъ наружу всѣ плутни Пуккара, освободитъ его достояніе отъ гнусной опеки скупца и корыстолюбца, а на первый случай вѣроятно снабдитъ меня приличными книгами.»

— «Книгами? Это мое дѣло. Пойдемъ въ городъ вмѣстѣ. Книгами! Надѣюсь, у г. Модюи нѣтъ такихъ книгъ! Я нарочно ѣздилъ за Эльзевирами въ Амстердамъ и Лейденъ: у меня есть даже утрехтскія изданія Петра Эльзевира! Надѣюсь, такихъ книгъ у г. Модюи нѣтъ.... Любезный другъ! Такъ и быть! Дамъ тебѣ Эльзевировъ, но незабудь, я довѣряюсь Римскому твоему характеру. Прошу беречь. Теперь и въ Амстердамѣ не легко найти подлинные Эльзевиры; только опытный глазъ можетъ отыскать разницу и я тебѣ открою секретъ...»

Людо́ и Поль пошли въ городъ. На этотъ разъ путешествіе совершилось благополучно; Людо́ подробно разсказывалъ сраженіе подъ Піаченцой и нещадно честилъ своего друга Грослея самыми обидными словами. Въ домѣ, вмѣсто того, чтобы снабдить Поля книгами, Людо́ усадилъ его въ кухнѣ и сталъ читать сочиненіе свое, тогда еще ненапечатанное: recherches sur le lieu où le Consul Sempronius fut mis en deroute par Annibal, dans la seconde guerre punique.

— «Покорнѣйше васъ благодарю» сказалъ Поль, когда кончилось чтеніе. «Это сочиненіе скучновато, но за то стремится къ доказанію правды, а

правда прежде всего. Вотъ и я про себя скажу, г. Людо́, если бы я былъ ученымъ, я все писалъ бы правду....»

— «Римлянинъ! Истинный Римлянинъ!»

— «Теперь г. Людо́, пожалуйте книжекъ, потому, что мнѣ въ городѣ пропасть дѣла....»

— «Изволь, изволь, любезный другъ!... Вотъ тебѣ во первыхъ Плутархъ. Парижское изданіе Этіенна, но очень хорошее; во вторыхъ Цицеронъ, удивительное изданіе Даніила Эльзевира: въ свѣтѣ не было, нѣтъ и не будетъ подобнаго! Повѣришь ли? Три ошибки!! и тѣ поправлены на полѣ.... постой, вотъ я тебѣ отыщу....»

Людо́ искалъ поправленнаго мѣста. Поль заглянулъ въ книгу и сказалъ:

— «Да по каковски же это писано?»

— «Какъ по каковски? По латынѣ.... И какой языкъ! Послушай, напримѣръ, какъ Цицеронъ исчисляетъ богатства Верреса....

— «Помилуйте, г. Людо́, да какже будетъ читать ваши книги Антоній, когда и учитель ничего не понимаетъ....»

— «А! ужъ безъ латынскаго языка нѣтъ спасенія; какъ хочешь. Ничему не выучишься. Дѣло рѣшеное. Нѣтъ образцовъ. Надо учиться. Надо. Нечего дѣлать. Не пугайся труда. Мнѣ самому стоило лѣтъ десять....»

— «Такъ видно, мнѣ ужъ никогда не выучиться этому языку. Да и на что Антонію латынь; онъ же ни монахомъ, ни аптекаремъ не будетъ.

Пожалуйте лучше хорошихъ французскихъ книгъ съ доброю моралью.»

— «Ну, братъ, извини! Во французскихъ книгахъ я морали не замѣтилъ.... А постой, постой, вотъ тебѣ Бюффонъ, чудо не книга для начинающихъ... Тутъ все есть и сказки и дѣло.... Все, все.... Но береги! Этой книги нѣтъ еще и въ продажѣ.... Я получилъ ее изъ Парижа по дружбѣ.... Тайна, секретъ....»

И Поль, захвативъ четыре тома Бюффона, поспѣшилъ избавиться отъ ученой бесѣды, которая не на шутку становилась ему въ тягость. Людо́ также былъ радъ, что его оставили въ покоѣ, пообѣдалъ и сѣлъ писать.

—

ГЛАВА III.

ЗАГОВОРЪ ВЪ ЖУЖУ.

Частенько сталъ навѣщать Поль нашего Діогена; часто не заставалъ его дома, ставилъ прочитанные томы на полку, бралъ новые и уходилъ къ г-жѣ Модюи справиться: скоро ли пріѣдетъ г-нъ Модюи? Но дѣла герцогини Люневильской, запутанныя, запущенныя, требовали многолѣтнихъ и неусыпныхъ усилій; въ каждомъ письмѣ адвокатъ утѣшалъ жену, что надѣется все кончить то къ Рождеству, то къ Пасхѣ, а между тѣмъ годы проходили; время летѣло. Одно еще утѣшало добрую Люцію; вниманіе признательной герцогини; семейство Модюи получало значительный пенсіонъ и съ необыкновенною исправностью. Троасскій ея повѣренный

являлся весьма правильно каждые три мѣсяца и платилъ деньги, на которыя г-жа Модюи могла жить не только безбѣдно, воспитывать дочь со всѣмъ тщаніемъ, но еще и откладывать кое что на черный день. Прошло такимъ образомъ шесть лѣтъ; г. Людо́ въ это время успѣлъ побывать два или три раза въ Парижѣ, написать множество диссертацій, познакомиться со всѣми ученѣйшими людьми Франціи и пріобрѣсти славу, которая доставляла всему городу много удовольствія и чести. Во все время отсутствія, домъ его былъ какъ и прежде не запертъ; библіотека его сдѣлалась публичною; но магистратъ и даже парламентъ, получивъ изъ Парижа извѣстіе, съ какою честью былъ принятъ Людо́ въ кругу ученыхъ, какъ милостиво былъ обласканъ королемъ, какъ оригинальностью своею возбудилъ любопытство и удивленіе всего Парижа, *постановили:* назначить надъ домомъ и всѣмъ имуществомъ г-на Людо́,— Прокуратора, который бы и занимался дѣлами Діогена, до его возвращенія на родину. Прокураторъ немедленно распорядился о приведеніи въ порядокъ библіотеки и о починкѣ замковъ. Всѣ спѣшили возвратить книги, которыя было забрали, за отсутствіемъ хозяина. Пришелъ и Поль, съ четырьмя томами какихъ то ученыхъ изслѣдованій какого то Аббата. Но увы! двери заперты.

— «Чтобы это значило?...» подумалъ Поль и отправился къ г-жѣ Модюи....

— «Боже ты мой! Боже ты мой!» спросила г-жа Модюи: «Неужели это правда? Бѣдный Антоній!»

— «Что такое?» спросилъ Поль.

— «Какъ же, ты мнѣ говорилъ; Поль, что изъ твоего Антонія вышелъ умный, прекрасный мальчикъ; что ты вознаградилъ ему всѣ потери чтеніемъ, что онъ у тебя въ эти шесть лѣтъ до того дочитался, что самъ по себѣ безъ наставника сталъ учиться и выучился по Латынѣ; что остается только пріѣхать моему мужу и ты представишь нашему городу молодаго человѣка умнаго, вполнѣ образованнаго. За чѣмъ же ты отъ меня скрывалъ это несчастіе?»

— «Да какое несчастіе?» съ нетерпѣніемъ прервалъ Поль.»

— «Да вѣдь твой Антоній полуумный, что называется, дурачекъ....»

— «Это кто вамъ сказалъ?»

— «Магистратъ, приговоромъ по всѣмъ формамъ... Мнѣ сегодня разсказывалъ мой братъ; ты знаешь онъ приготовляется въ адвокаты, каждый день ходитъ въ суды... Магистратъ поручилъ двумъ медикамъ освидѣтельствовать молодаго человѣка; тѣ освидѣтельствовали и донесли: что Антоній д'Аворъ находится въ положеніи совершеннаго разслабленія разсудка и наравнѣ съ дѣтьми долженъ оставаться всю жизнь подъ опекой г. Пуккара.»

— «А, г. Пуккаръ! Это ваша штука!» воскликнулъ Поль: «но Богъ за невиннаго! Это ложь, обманъ, но облеченъ всѣми законными формами; только вашъ мужъ въ состояніи раскрыть истину и обличить злодѣя.... О мой бѣдный Антоній! Намъ остается молчать и терпѣть пока не придетъ часъ

воли Божіей! Да нѣтъ, я не жалѣю о прошедшемъ, я не боюсь будущаго. Намъ остается еще много читать; а все что прочли мы, это явныя твои благодѣянія, Господи! Твой медъ, собранный твоими трудолюбивыми пчелами, на пользу человѣчества, на славу твою! г. Пуккаръ, вы ошиблись, вы ужасно ошиблись въ адскомъ расчетѣ. Вы хотѣли сдѣлать насиліе природѣ, вы старались погрузить умъ благорожденнаго человѣка во тму, изъ которой нѣтъ выхода; безъ помощи Божіей, вы бы остались правы предъ судомъ людскимъ... Но вы ошиблись! Антоній не одичалъ.... Образцы, которымъ должно слѣдовать, правила жизни, пріятныя и блистательныя свѣдѣнія, знанія основательныя и положительныя, мы васъ нашли въ мертвыхъ книгахъ.... И я, старикъ, на закатѣ моей жизни, согрѣтый благодарностью и любовью, я выпилъ чашу лучшаго наслажденія въ этомъ мірѣ!... я пресытился человѣческою мудростью, чтобы пасть съ благоговѣніемъ и благодарностью, предъ Твоею Премудростію, Создатель.... Нѣтъ! Она еще не допита, эта сладкая чаша! И, неистощимая, она не допивается въ этой жизни! На днѣ ея уже предѣлы неба!... Далекъ ли срокъ, назначенный Богомъ нашему ученію, не знаю; но я не боюсь будущности; я боюсь только разлуки съ Антоніемъ!»

— «Добрый Поль!» сказала Люція съ чувствомъ, отирая одною рукою слезу, а другою прижимая къ себѣ девятилѣтнюю Люцію. «Какъ мнѣ досадно, что я не могу раздѣлить съ тобою подвига благодарности.... Я не менѣе, а можетъ быть и

больше обязана нашему покойному другу. Я не могу вспомнить безъ слезъ о послѣдней помощи. Онъ не забылъ объ насъ на одрѣ смерти; можно сказать, что послѣ кончины онъ еще хотѣлъ благодѣтельствовать.... и эти триста ливровъ спасли цѣлое семейство!...»

— «Триста ливровъ! Какіе триста ливровъ! Покойный ничего не говорилъ объ этомъ, а ужъ Пуккаръ вѣрно не прислалъ ихъ изъ своего кармана. Покойный назначалъ вамъ тысячу ливровъ: объ этомъ слышалъ я, слышалъ Антоній; Людо́ даже требовалъ, чтобы воля покойнаго была исполнена, но г. Пуккаръ отказалъ на отрѣзъ...»

— «Что это значитъ? Неужели Людо́ изъ собственнаго кармана...»

— «Никакого сомнѣнія. Подобные припадки благотворенія за нимъ водятся. Разсѣянность мѣшаетъ ему быть истиннымъ благотворителемъ и даже человѣкомъ. Примѣръ Людо́ послужилъ въ пользу моему Антонію; я употреблялъ всѣ мѣры и предосторожности, чтобы не сдѣлать изъ него педанта — и, кажется, Богъ благословилъ мои усилія....»

— «Все это прекрасно!» сказала Люція: «но мнѣ бы не хотѣлось остаться въ долгу г-ну Людо́.»

— «Когда у васъ есть лишнія деньги, не худо бы отдать и поблагодарить добраго чудака. Онъ и самъ не богатъ; можетъ въ нихъ нуждаться. А если чего у васъ не достанетъ, мельникъ Поль доложитъ изъ доходовъ своей мельницы, а вы ихъ отдадите моему наслѣднику... Удостойте

меня вашимъ довѣріемъ. Мы съ вами все таки одна семья, а г. Людо́ человѣкъ посторонній и, главное, не богатый.» —

— «Благодарю тебя, добрый Поль... Точно, мы одна семья, но по милости герцогини, я могу заплатить мой долгъ съ процентами.»

— «Вотъ ужъ этого не дѣлайте. Лихва пріятна ростовщику, а человѣку — она обида...»

— «Еще разъ благодарю тебя, и прошу потрудиться отнести деньги г-ну Людо́.» —

— «Не лучше ли потрудиться самимъ. Отъ благодарности краснѣть не стыдно.»

— «Еще, еще разъ благодарю тебя, Поль! Завтра, непремѣнно завтра я отправлюсь къ Людо́..»

— «Простите, добрая госпожа, простите и вы милый Ангелъ! Молитесь за бѣднаго Антонія; ваши молитвы дѣйствительны.. »

— «О! я буду молиться всю ночь сегодня...» отвѣчала маленькая Люція.

Старикъ поцѣловалъ маленькую Люцію въ чело, большую въ ручку и отправился на свою мельницу. На рубежѣ красивой мызы Жужу, его ожидала пріятная встрѣча: Антоній, арендаторша и два сына ея сидѣли въ бесѣдкѣ, построенной на углу сада при большой дорогѣ. Передъ ними стоялъ во всей сельской роскоши, здоровый ужинъ; Антоній, несмотря на лѣта, былъ высокій, здоровый юноша; въ цвѣтѣ лица замѣтны были признаки южнаго солнца, но это не скрывало его нѣжности и придавало выразительность чернымъ большимъ глазамъ. Онъ еще, какъ говорятъ не сло-

жился, но по статности своей превосходилъ уже многихъ зрѣлыхъ юношей, которыхъ въ Троа считали красавцами; дѣти арендаторши отъ перваго брака, Лукіанъ и Рене, почти однолѣтки съ Антоніемъ, были также красивые, здоровые мальчики. Антоній по лѣтамъ былъ между ними средній и можетъ быть по этому обстоятельству любилъ ихъ равно. Несмотря на простое платье, всѣ трое были одѣты опрятно, чисто и одинаково. Поль подошелъ къ рубежу своей мызы въ самое то время когда юноши вели ученый споръ о нѣкоторыхъ положеніяхъ Ѳеофраста. Арендаторша также заслушалась и собесѣдники прозѣвали Поля. Онъ тихо подошелъ къ бесѣдкѣ, и ни кѣмъ не замѣченный, усѣлся внизу на камнѣ....

— «Какъ хотите...» говорилъ Антоній: «но хитрость иногда позволительна, если цѣль ея честная, не предосудительная. Развѣ грѣхъ, если я употреблю хитрость противу разбойника, когда онъ напалъ на меня и хочетъ зарѣзать; развѣ грѣхъ, когда, посредствомъ хитрости, мнѣ удастся спасти невиннаго человѣка отъ неминуемой и несправедливой гибели? Не употребляемъ ли мы каждый день тысячу невинныхъ хитростей, чтобы убить дикаго звѣрка, поймать рыбу? Хитрость въ человѣкѣ качество врожденное, данное по житейскимъ нуждамъ его, а во зло употреблять не только хитрости, да и ни чего негодится. Можно лучшія добродѣтели обратить въ презрѣнные пороки; и неумѣренная добродѣтель часто хуже умѣреннаго порока...»

— «Справедливо, справедливо, милый сынъ!»

закричалъ Поль и бросился на верхъ обнимать Антонія.

— «Ахъ мой добрый Поль!» закричала арендаторша: «И мы невидѣли какъ пришелъ ты! Это непростительно!»

— «Весьма простительно, милая Гертруда, если ты заслушалась, что говорятъ наши дѣти. Кстати, ужинъ готовъ... Лукіанъ, читай молитву!»

Лукіанъ прочелъ моливу и всѣ усѣлись за столъ.—

— «Что, Папа?» спросилъ нетерпѣливый Рене: «Какихъ же ты намъ книжекъ принесъ?...

— «Старыя воротились. Въ нашей школѣ завтра отдыхъ. За то мы будемъ сочинять. Благо и тема есть.»

— «Какая тема?»

— «Объ хитрости. Мы должны тщательно разсудить объ ней; обстоятельства заставляютъ къ ней прибѣгнуть. Послѣдствія оправдали мою предусмотрительность; случилось точно такъ, какъ я думалъ. Пуккаръ хотѣлъ изъ тебя, Антоній, сдѣлать дурачка, и успѣлъ бы въ этомъ непремѣнно, если бы мы съ доброй Гертрудой, не приняли всѣхъ нужныхъ предосторожностей. Онъ и не замѣтилъ нашихъ занятій; каждый разъ, всѣ трое, вы мастерски притворялись глупенькими, невѣжами, и эти гости, что пріѣзжали на прошедшей недѣлѣ, были медики. Они будто освидѣтельствовали твой разсудокъ и объявили тебя слабоумнымъ. Вотъ первый плодъ нашей благоразумной хитрости.»

Антоній съ грустію опустилъ голову на грудь

и задумался, но Лукіянъ, яко старшій, счелъ себя въ правѣ разгорячиться.

— «За чѣмъ же мы это сдѣлали?» говорилъ онъ: «Положимъ, что намъ слѣдовало притворяться предъ г. Пуккаромъ, для того, чтобы онъ не услалъ Антонія въ другое мѣсто, чтобы не разлучилъ насъ навсегда, и не достигъ бы своего адскаго замысла. Но, передъ этими господами, мы бы могли обличить его...»

— «А онъ бы оправдался лишними двумя-тремя стами ливровъ; пользы никакой; вышло бы только больше д'Аворовскихъ денегъ, а все таки медики подали бы въ магистратъ тоже свидѣтельство. Тогда уже г. Пуккаръ навѣрно упряталъ бы Антонія куда нибудь въ больницу, а чего добраго и въ темницу. — А теперь пусть себѣ онъ наслаждается непродолжительнымъ торжествомъ. Развѣ намъ здѣсь скучно? До совершеннолѣтія остается только одинъ годъ; а тамъ... Вотъ мы завтра и обдумаемъ: до какой степени дозволена хитрость съ г. Пуккаромъ? А сегодня вечеркомъ поѣдемъ ловить рыбу съ огнемъ, если хотите!...»

— «Поѣдемъ, поѣдемъ!» закричала молодежь и Гертруда.

—

ГЛАВА IV.

ВЕЛИКАЯ НОВОСТЬ И ВЪ ПОВѢСТИ, И ВЪ ЖИЗНИ Г-НА ЛЮДО.

Вечеръ наступилъ темный, но тихій: въ окрестностяхъ Троа нигдѣ въ тотъ вечеръ не было дож-

ди, но за то въ городѣ дождь обливалъ мостовую и крыши и бѣжалъ по улицамъ шумными ручьями. У воротъ г-на Людо́ стояла почтовая повозка. Людо́ изовсѣхъ силъ стучался въ калитку, но никто неоткликался....

— «Что за дьявольщина!» закричалъ Людо́: «Да это, полно, мой ли домъ? Кажется, мой! А можетъ быть въ Троа кто нибудь выстроилъ по образцу моего дома.... Это очень возможно. Поѣдемъ дальше!...»

Въ это время какая-то обмокшая фигура пробѣгала черезъ улицу...

— «Милостивая государыня!» закричалъ Людо́: «Скажите пожалуйста, гдѣ домъ Людо́?..»

Фигура указала рукой и скрылась...

— «Да и я такъ думалъ Только кто же смѣетъ запирать чужую калитку, когда хозяина нѣтъ дома?!»

«Позвольте доложить....» сказалъ почталіонъ: «Не угодно ли вамъ сегодня зайти къ знакомымъ и переночевать, а завтра днемъ ключь отыщется.»

— «Очень благоразумный совѣтъ, только у меня здѣсь нѣтъ никого знакомаго.»

— «Какъ никого знакомаго? А президенты, а Прево́, вѣрно кого нибудь, да знаете?»

— «Ровно никого...»

— «Такъ сосѣдей...»

— «Сосѣдъ мой давно умеръ.»

— «Что за чудакъ! Имѣетъ въ городѣ свой домъ и ни кого знакомаго! Да можетъ быть вы знаете кого нибудь изъ адвокатовъ?..»

— «Говорятъ тебѣ: никого! И не хочу знать. Все это плуты, скупцы, интриганты, завистники.»

— «Ну, нѣтъ, г. Людо́, извините! Я самъ прежде служилъ у г. Модюи, такъ честнѣе человѣка и не видывалъ.»

— «Модюи?... такъ вези же меня къ Модюи!»

Людо́ сѣлъ въ повозку, но почталіонъ что то медлилъ и почесывался. —

— «Ну, что же ты!» сказалъ Людо́: «Ступай!»

— «Позвольте доложить....» замѣтилъ почтальонъ: «г. Модюи въ отлучкѣ....»

— «Не твое дѣло!»

— «Г-жа Модюи — одна...»

— «Говорю тебѣ не твое дѣло! Ступай!»

Почталіонъ покачалъ головой, но повиновался и скоро Людо́ выскочилъ у воротъ красиваго дома... На стукъ, выбѣжала служанка со свѣчей....

— «Ахъ, г. Людо́! Откуда?..»

— «Изъ Парижа!»

— «На долго ли?»

— «На ночь!»

— «Какъ на ночь?»

— «Не твое дѣло!» отвѣчалъ Людо́ и сбросивъ мокрый плащь, отправился прямо въ комнаты. По счастію у г-жи Модюи были гости, которыхъ задержалъ дождь. Появленіе Людо́ не произвело ужаса, но удивленіе. Не смотря на то, что на немъ небыло сухой нитки, Людо́ усѣлся въ первыя пустыя кресла; вынулъ изъ кармана дыравый платокъ, обтеръ лицо и сказалъ съ удовольствіемъ:

— «Слава Богу! Наконецъ я дома. Проклятая

дорога. Франція, великое королевство, образецъ просвѣщенія, а не могутъ починитъ старой Римской дороги, которая, безъ порчи, простояла тысячу триста лѣтъ!... Варвары! Но довольно! Хорошо и такъ, что я дома. .»

— «Какъ дома?» спросила г-жа Модюи....

— «Ахъ, да! Я еще не дома! Сдѣлайте милость прикажите вашимъ людямъ выломать мою калитку.... Кто то заперъ и спряталъ ключь, котораго не было.... Право не было! Лѣтъ двадцать тому назадъ, я потерялъ ключь и не имѣлъ времени заказать другаго.»

— «Ключь у вашего Прокуратора!» сказалъ кто то изъ гостей....

— «Прокуратора! Это что такое? Право, не помню, но, мнѣ кажется, я не назначалъ Прокуратора. Право, не помню.»

— «Это распоряженіе Парламента и Магистрата...»

— «За долги, что ли? Право, не помню, но у меня, кажется, никогда небывало долговъ....»

— «Напротивъ, г. Людо! Это почетное распоряженіе изъ уваженія къ вашей учености и славѣ...»

— «Покорнѣйше благодарю за честь! Такъ я могъ совершенно растаять. Вы знаете что въ водѣ все растворяется.»

— «Поэтому вы никогда не купаетесь?»

— «Никогда! Но сдѣлайте милость, скажите, гдѣ этотъ Прокураторъ? Пусть покажетъ документы; я заплачу завтраже, а мнѣ право некогда! Я долженъ взять двѣ три книги и ѣхать въ Мар-

сейль.... Всѣ они ничего непоминаютъ. Парижской Академіи не слѣдовало и задавать такой пустой задачи?!»

— «Какая же это задача?...

— «Помилуйте, посудите сами, академическое ли это дѣло: написать диссертацію о лучшемъ устройствѣ корабельнаго ворота....»

— «Въ самомъ дѣлѣ не важная задача!»

— «Не важная! А позвольте васъ спросить, какое, по вашему мнѣнію, лучшее устройство корабельнаго ворота?»

— «Я въ частности никогда не занимался механикой.»

— «Ну, такъ съ вами и говорить нечего. Пора въ Марсейль. Пройдетъ лѣто, а я не люблю осеннихъ бурь.... Впрочемъ, два года сроку.... Да гдѣ этотъ Прокураторъ!»

— «Да онъ передъ вами, г. Людо́!» сказалъ тотъ же гость, вынимая изъ кармана огромный ключь: Вотъ и стражъ вашей драгоцѣнной библіотеки, которую я нашелъ почти расхищенною...»

— «Расхищена! Моя библіотека! А Эльзевиры? Ихъ было ровно пятьдесять.«

— «Всѣ на лицо. Но я собралъ ихъ съ большимъ трудомъ.»

— «О, и я не съ меньшимъ! Теперь вы понимаете, чего стоитъ собирать Эльзевиры?...»

— «Чужіе? Еще непріятнѣе, нежели свои!»

— «Такъ пойдемте-же, пойдемте, дайте мнѣ взглянуть на нихъ....»

— «Куда вы, г. Людо́! Вы слышите, какой

дождь?» сказала Люція: «Посидите съ нами! Къ томуже у меня есть къ вамъ весьма важное дѣло.... Я хотѣла завтра же къ вамъ ѣхать....»

— «Вы, ко мнѣ?»

— «Потрудитесь пожаловать за мной на два слова!»

Людо́ выпучилъ глаза и немогъ понять, какое можетъ имѣть къ нему дѣло женщина? Но Люція взяла со стола свѣчу, и такъ умильно, такъ увлекательно, жестами, приглашала его въ другую комнату, что Людо́ не могъ устоять противу такого соблазна. Онъ ничего не понималъ, что говорила ему Люція. Какой то особеннаго рода столбнякъ набѣжалъ на бѣднаго Людо́: онъ смотрѣлъ на нее съ удовольствіемъ, никогда неиспытаннымъ и очнулся тогда только, когда Люція положила предъ нимъ триста ливровъ....

— «Что это?» сказалъ онъ: «за что?»

— «Возьмите, это ваши деньги.»

— «Мои? Я никакъ немогъ думать, чтобы у васъ были мои деньги. За что-жъ я вамъ ихъ далъ?... Право не помню, развѣ очень давно....» прибавилъ онъ, покраснѣвъ до ушей: и ужъ вѣрно не вамъ, а развѣ вашей матушкѣ, когда я былъ еще повѣсой, мальчишкой. Право не помню. Но съ тѣхъ поръ, клянусь вамъ, я веду себя лучше Іосифа, хотя и не такъ благообразенъ, какъ онъ.»

— «Что онъ вретъ!» подумала Люція и съ улыбкой взяла со стола свѣчу....

— «Куда?» вскричалъ Людо́. «А мнѣ такъ было

весело съ вами! Въ первый разъ въ жизни слышу, что женщина умѣетъ говорить и вы бѣжите!»

— «Что это съ вами, г. Людо! Вы, кажется, говорите мнѣ любезности!»

— «Я!» вскочивъ, закричалъ Людо, совершенно испуганный замѣчаніемъ Люціи: «Какъ это? Я говорю любезности! Быть не можетъ! Какую же любезность сказалъ я вамъ? Нѣтъ, не повторяйте.... Вѣрно я сболтнулъ что нибудь лишнее по разсѣянности! Пожалуйте, не вѣрьте! Вы не вѣрите? Да? Нѣтъ, вы надо мной смѣетесь! Прощайте!»

— «Да посидите съ нами!» сказала Люція ласково: «Вы такой рѣдкой гость, мы поужинаемъ вмѣстѣ; между тѣмъ пройдетъ дождь и прокураторъ сдастъ вамъ на руки драгоцѣнную библіотеку. А я прикажу заложить лошадей; васъ отвезутъ; люди мои проводятъ васъ съ фонарями; я думаю у васъ и свѣчи нѣтъ.»

— «Я всегда читаю при огнѣ у печки....»

— «Вотъ видите!... Возьмите свои деньги и пойдемте, перестаньте капризничать.»

Людо повиновался, спряталъ деньги, пошелъ за Люціей, какъ приговоренный къ смерти; онъ не смѣлъ, покрайней мѣрѣ не имѣлъ духа отказаться отъ обязательнаго приглашенія. На бѣду, за столомъ, Люція усадила его возлѣ себя; смущеніе Людо описать трудно; онъ выбиралъ самыя шумныя мгновенія, чтобы взглянуть на Люцію и каждый разъ какъ нарочно встрѣчалъ ея взоры; извѣстно, что Людо не ѣлъ ничего варенаго, и по-

тому рѣшительно отказывался ото всѣхъ кушаньевъ; ѣлъ только хлѣбъ; съѣлъ хлѣбъ и у своей сосѣдки, которая, примѣтивъ странный вкусъ чудака, безпрестанно ему подкладывала новые ломтики; эти ломтики исчезали съ необыкновенною быстротою и запивались добрымъ виномъ. Напрасно хозяйка и гости старались вовлечь его въ разговоръ; онъ на все отвѣчалъ: *право не помню*, искоса поглядывалъ на красивую хозяйку, ѣлъ хлѣбъ и запивалъ виномъ.

— «Что весело было въ Парижѣ?» спросила хозяйка.

— «Право не помню!» отвѣчалъ Людо́.

— «Видѣли Короля? Говорятъ, онъ принялъ васъ отмѣнно милостиво....»

— «Право не помню....»

Нечего дѣлать; надо было оставить упрямаго гостя въ покоѣ. Даже отвернуться, а ему только того и хотѣлось; онъ пересталъ пить и ѣсть и не сводилъ глазъ съ Люціи. Надо замѣтить, что Людо́ въ это время не былъ еще такъ старъ, чтобы хорошенькая женщина не могла на него сдѣлать сильнаго впечатлѣнія; ему было ровно сорокъ лѣтъ; природа его не обидѣла и тѣлесными качествами; онъ бы показался весьма пригожимъ мужчиной, если бы сколько нибудь заботился о своемъ туалетѣ; но отросшая борода, волоса въ безпорядкѣ, грязное бѣлье, диравое платье, и проч. и проч., конечно не могли доставить ему счастія въ любви, чего онъ впрочемъ и не искалъ на этомъ свѣтѣ. И онъ палилъ въ свое время, но больше изъ то-

варищества и то одинъ только мѣсяцъ; потомъ какъ-то забылъ про любовь и въ продолженіи двадцати слишкомъ лѣтъ объ ней и не вспомнилъ. Г-жа Модюи съ своей стороны была способна и достойна возбудить самую пламенную страстъ въ комъ бы то ни было, соблазнить Аристотеля; ей не было еще и тридцати лѣтъ; продолжительное отсутствіе мужа, безпрерывные гости мужескаго пола, которые расточали лесть и любезности предъ одинокой и молодой женщиной.... все это располагало къ невинному кокетству, послѣднему для нея утѣшенію въ одиночествѣ. Но весьма ошибались тѣ, которые питали какія нибудь дальнѣйшія надежды; кокетство для Люціи было забавой, препровожденіемъ времени, отнюдь не занятіемъ; у нея была дочь — и въ ней сосредоточивались вся дѣятельность, всѣ страсти, всѣ чувства г-жи Модюи. Людо́ этого ничего не зналъ. Да и за чѣмъ? Возвратясь къ своимъ пенатамъ, онъ не спалъ; разложилъ огонь и при бѣгающемъ пламени очага, сталъ ходить по кухнѣ съ особенною живостью.—

— «А что, если бы написать дисертацію объ женщинахъ?» спросилъ Людо́ такъ громко, какъ будто бы въ комнатѣ сидѣлъ собесѣдникъ и этотъ собесѣдникъ былъ глухъ.... «Фи! Ученая слава можетъ пострадать!... Будутъ смѣяться, будутъ говорить что я пустой человѣкъ; занимаюсь бездѣлицами!... Только право эта госпожа не бездѣлица.... Жаль, что я не живописецъ! Жаль, что въ Троа́ нѣтъ порядочнаго живописца. Какъ бы это было хорошо! Повѣсилъ портретъ противъ

самаго очага и гляди себѣ сколько хочешь, безъ свидѣтелей.... Впрочемъ, мнѣ кажется, я занимаюсь предметами, недостойными моего вниманія!.. Вино, вино! Я отвыкъ отъ этого соблазнительнаго напитка! Мудрые Римляне пили вино пополамъ съ водою! Вотъ я не принялъ этой предосторожности и попался.... Надо спѣшить противуядіемъ....»

Но воды не было ни въ кухнѣ, ни въ другихъ комнатахъ, хотя Людо́ обыскалъ всѣ полки. Во время этого обыска, произведеннаго человѣкомъ, котораго мучила жажда, слѣдственно и нетерпѣніе, съ высокой полки слетѣла толстенькая книжка въ собачьемъ переплетѣ.

— «Это что?» спросилъ Людо́, поднялъ книгу, развернулъ и сталъ читать.

«Кто между вами еще искуства любить не имѣетъ,
Пусть читаетъ меня, — и станетъ любить, какъ ученый.

Мы осмѣлились перевести эти два стиха на русской языкъ, ради всеобщаго употребленія; а въ толстенькой книжкѣ они были написаны по латынѣ. *)

«Да это прекрасно....» сказалъ Людо́: «потому что я рѣшительно не умѣю любить, а тутъ принуждаютъ. Хоть плачь, а люби.... Важное пособіе!» И Людо́, со свѣчкой и съ книгой въ рукахъ, стоя, предался увлекательной наукѣ увлекательна-

*) Si quis in hoc artem populo non novit amandi,
Me legat, et lecto carmine, doctus amat.
Овидій, Art. Amat. lib. 1.

го Овидія... Только по временамъ онъ восклицалъ: Чудо! Чудо! Прелесть! Удивительно! Право находка! Едва ли кто изъ Римлянъ современниковъ проглотилъ съ такою жадностью эти три книги любовныхъ рецептовъ. Римлянинъ Людо былъ внѣ себя отъ удовольствія и тогда уже кончилъ, когда прочелъ послѣднее полустишіе: Naso magister erat, бросилъ книгу и закричалъ....

— «Да это Овидій! Все это я зналъ когда-то на изустъ, но не понималъ ни слова; теперь дѣло другое!...» продолжалъ онъ самодовольно, ходя по комнатѣ и потирая руки: «Теперь и я, не хуже Овидія, сложу стихи въ честь Хлои, Пирры, что я вру?... Люціи! Кажется, эта госпожа такъ называется.... И кстати! Самое латынское имя!»

Сказано, сдѣлано. Къ утру онъ успѣлъ сочинить латинскую оду ad Luciam. Такъ какъ онъ стиховъ не писалъ также давно, какъ давно не влюблялся, то эта ода, въ тридцать строчекъ, размѣромъ Асклепіада, обошлась ему очень дорого. На другой день онъ не забылъ даже обриться и отнести оду къ г-жѣ Модюи....

— «Эти стихи я написалъ собственно для васъ!» говорилъ онъ самодовольно: «двадцать лѣтъ не писалъ; вы будете снисходительнымъ критикомъ и не обратите вниманія на нѣкоторыя солецизмы, которыхъ я не умѣлъ избѣжать въ поэзіи; но дайте срокъ, когда я набью руку на стихахъ, я напишу цѣлую поэму....»

— «Покорнѣйше васъ благодарю, г. Людо! Должно быть очень хорошо! Я прикажу ихъ пе-

ревести на французскій языкъ, а подлинникъ пошлю мужу.... Ему будетъ очень пріятно... »

— «Мужу! Да развѣ у васъ есть мужъ! Представьте, я этого не зналъ. Такъ отдайте же мнѣ стихи назадъ; я человѣкъ не модный; въ замужнихъ влюбляться предосудительно. Хотя очень жаль, но мы должны разстаться.... навсегда!» Послѣднія слова Людо произнесъ съ важностью трагическою, истинно трогательною.

— «Не ужели такія правила должны меня лишить вашего знакомства?...»

— «Какъ? Мы останемся знакомыми, но видаться не будемъ. Увѣряю васъ, что къ этому принуждаетъ меня одна необходимость....»

— «Почему же?...

— «О! Ваши прелести превосходятъ всякое описаніе, и если въ оду мою закрались солецизмы, то потому только, что я не нашелъ для выраженія вашей красоты ни однаго образца! Дидона Виргилія ближе прочихъ подходитъ къ вамъ, и я буду Энеемъ, бѣгу въ Марсейль!...»

— «Погодите, Эней, погодите, не женитесь ли вы въ Марсейли?»

— «Какъ это можно! Я теперь уже не могу жениться....»

— «Почему?»

— «Infandum, Regina, jubes renovare dolorem *). Нѣтъ! Я не скажу моей тайны.... простите на вѣки!...»

*) Царица! Ты велишь мнѣ возобновить въ памяти ужасное горе.

Людо́ ушелъ, но не со всѣмъ; а только изъ гостиной; въ столовой онъ увидалъ газеты, еще свѣжія, только что присланныя съ почты.... Съ нетерпѣніемъ развернулъ онъ первый листъ и углубился въ чтеніе; сначала читалъ онъ сто́я, потомъ усѣлся на софѣ, поставилъ на столъ шляпу; г-жа Модюи слѣдовала за всѣми движеніями своего обожателя; присѣла по другую сторону софы и также занялась газетами. Вдругъ Людо́ расхохотался....

— «Что вы тамъ нашли любопытнаго?» спросила г-жа Модюи.

— «Плутовство! Они думали, что я объ этомъ и не узнаю! Перемѣнили срокъ! Къ 1-му Октября! Да у меня все давно готово. Сегодня же сдѣлаю модель и отправлюсь въ Марсейль! Корабельный во́ротъ у меня готовъ въ головѣ, прежде нежели они объ этомъ вздумали. Вы будете сегодня ввечеру дома?»

— «Непремѣнно!»

— «Я очень радъ! Я покажу вамъ моде́ль!»

— «Забудете....»

— «Какъ можно!» И Людо́ отправился прямо къ столярамъ. Ввечеру онъ явился къ г-жѣ Модюи по обѣщанію; принесъ модель корабельнаго ворота, объяснилъ преимущества изобрѣтеннаго имъ механизма; спустя два или три дня послѣ того, прочелъ латинскую диссертацію объ этомъ предметѣ и Люція, снисходительная Люція, слушала, хотя не понимала ни слова, одобрила изложеніе и привела въ восторгъ счастливаго Людо́. Онъ за-

былъ объ Марсейли; каждый день навѣщалъ домъ г-жи Модюи; насильно сталъ учить маленькую Люцію латинскому языку и обѣщалъ выучить, со временемъ, и греческому. Не рѣдко случалось, что отыскавъ, въ древнихъ авторахъ противорѣчіе, онъ бѣгомъ отправлялся къ г-жѣ Модюи, и совѣтовался, какимъ образомъ исправить или объяснить несходство показаній классиковъ; г-жа Модюи была всѣмъ для него: совѣтникомъ, царицей души, другомъ, ученицей, даже кассиромъ: онъ притащилъ къ ней нѣсколько мѣшковъ ливровъ; Люція не отказалась ихъ спрятать, особенно узнавъ, что казначейство Людо находилось въ кухнѣ, подъ поломъ. Но замѣчательно, что Людо никогда ни обѣдалъ ни ужиналъ у Модюи. День онъ посвящалъ обѣимъ Люціямъ; ѣздилъ съ ними гулять за городъ, объяснялъ древности Трои, игралъ съ дочерью г-жи Модюи въ дѣтскія игры; и только ночью предавался чтенію или опытамъ. Не рѣдко поутру къ нему являлся цирюльникъ....

— «Садитесь!» говорилъ обыкновенно цирюльникъ, подходя къ нему съ салфеткой и мыльникомъ. Людо, продолжая читать избраннаго на тотъ день автора, садился, цирюльникъ покойно брилъ его, подстригалъ, потомъ подавалъ чистое бѣлье и опять просилъ садиться: Людо повиновался; цирюльникъ укладывалъ на немъ парикъ и подавалъ ему одѣваться. Людо надѣвалъ новое, прекрасное платье....

— «Теперь извольте идти....»

— «Куда?»

«Вы вѣрно забыли, что обѣщали сегодня посѣтить г-жу Модюи!»

— «Благодарю, мой другъ! Ты мнѣ напомнилъ пріятный долгъ.»

И весь городъ Троа заговорилъ о чудной метаморфозѣ своего Діогена. Никто не зналъ, да и не могъ догадаться о тайной хозяйкѣ Людо, которая оставалась неизвѣстною и для самаго хозяина. Самые злые клеветники и завистники могли только сказать, что Людо страстно влюбленъ въ Люцію; но это не составляло никакой тайны; только одинъ Людо, незналъ, или лучше сказать, забылъ объ этомъ; въ немъ уже дѣйствовала не страсть, а привычка. Такимъ образомъ промелькнулъ еще годъ; однажды вечеромъ, г-жа Модюи писала записки, всѣ одинаковаго содержанія. «Милости просимъ завтра ко мнѣ откушать. Люція Модюи....» Она взяла въ руки двадцатую бумажку и не успѣла написать первыхъ двухъ словъ, явился Людо, подошелъ къ письменному столу, сталъ за спинкой и покойно читалъ, что пишетъ Люція. Она, замѣтивъ это, не остановилась на общемъ содержаніи всѣхъ пригласительныхъ билетовъ и продолжала писать: «Я написала бы вамъ еще нѣсколько словъ о причинѣ моего праздника, но у меня за стуломъ стоитъ Людо и читаетъ, что я пишу!...»

— «Ахъ Боже мой! Какъ вамъ не стыдно?» воскликнулъ Людо: «я никогда не читаю чужихъ писемъ! Это клевета!...»

— «Простите, мой другъ, мнѣ такъ показалось!»

— «А если бы эта записка пошла въ ходъ?»

— «Повѣрьте, никакихъ послѣдствій!... Эта записка назначалась вамъ.»

— «Но какая же причина праздника?»

— «Приходите, увидите! Да, кстати не знаете ли вы: Г. Пуккаръ въ городѣ?»

— «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ въ городѣ; теперь не знаю.»

— «Я пошлю узнать. А вы помогите мнѣ запечатывать эти любовныя записки и надписывать адрессы....»

— «Неужели у васъ такъ много любовниковъ?»

— «Любовника ни одного; мужъ — одинъ, другъ, — одинъ (улыбка); дочь одна (вздохъ, и преглубокій) — и множество враговъ и обожателей. Я хочу обратить ихъ въ орудія добраго дѣла.»

— «И надѣетесь?»

— «Несомнѣваюсь!»

— «Въ такомъ случаѣ давайте печатать и надписывать эти любовныя записки. Но позвольте спросить въ какой категоріи имѣетъ честь состоять Жанъ Батистъ Людо?»

— «А во всѣхъ тѣхъ, что я исчислила, вы не нашли для себя мѣста. Если такъ, я приму васъ на свободную вакансію моего сына!»

Людо захохоталъ, схватилъ печать и сургучь, и давай печатать записки.

— «Удивительное дѣло!» сказалъ онъ:» Какъ это древніе не знали сургуча! А ужъ что они писали письма, въ томъ есть великіе свидѣтели:

Цицеронъ и Плиній. И знаете ли, письма Плинія для меня интереснѣе....»

— «А для меня во все нѣтъ!»

— «Неужели вамъ больше нравятся Цицероновы!

— «Нѣтъ!

— «Такъ чьи же!

— «Письма моего мужа! Бѣдный Робертъ, вотъ скоро десять лѣтъ, какъ мы въ разлукѣ! Онъ не видалъ своей Люціи, своего женскаго и нравственнаго портрета. Вы, мой другъ, своею латынью, довершаете это рѣдкое сходство.»

— «Вы шутите!»

— «Шучу, но удивляюсь, какъ меня еще стаетъ на шутку!»

Люція задумалась, но скоро пришла въ себя, отерла слезу и молча стала надписывать адрессы на билетахъ, запечатанныхъ Людо́, а Людо́, запечатавъ всѣ, взялъ въ руки послѣдній, посмотрѣлъ, сказалъ: *этотъ ко мнѣ!* и спряталъ въ карманъ...

— «Это зачѣмъ?» спросила Люція.

— «Я собираю автографы великихъ людей.»

— «Что же, неужели и я, также великій человѣкъ!»

— «Для меня великъ тотъ, кого я люблю!»

— «По этому и маленькая Люція.

— «Ужинать готово!» закричалъ маленькій великій человѣкъ изъ столовой....

— «Сейчасъ, мой другъ! Что это, вы уже бѣжите, Людо́.»

— «Пора!»

— «Незабудьте же навѣстить меня завтра!»

—

ГЛАВА V.

СОВЕРШЕННОЛѢТІЕ.

На другой день рано поутру, въ домѣ г. д'Авора, при громкомъ лаѣ двухъ цѣпныхъ собакъ, растворились ставни, послѣ многихъ лѣтъ тмы и пустоты, царствовавшихъ на д'Аворовскомъ подворьѣ. Въ первые годы послѣ смерти Казимира д'Авора жилъ въ немъ полковникъ линейнаго полка, что допущено было Пуккаромъ, изъ угожденія мѣстнымъ властямъ, но когда полкъ и полковникъ отправились на войну, домъ д'Авора стоялъ впустѣ, потому что въ Троѣ нанять было некому, по слишкомъ высокой цѣнѣ, назначенной опекуномъ. На лай собакъ прибѣжали изъ дома Пуккара лакей и служанка.

— «Что это значитъ?» кричалъ лакей: «Кто тутъ распоряжается?»

— «Хозяинъ!» отвѣчалъ Поль, отворяя послѣднюю ставню.

— «Какой хозяинъ? Тутъ хозяинъ—г. Пуккаръ!»

— «Г. Пуккаръ — опекунъ, но сего дня ударило г. д'Авору шестнадцать лѣтъ и царство ваше кончилось.»

— «Что ты бредишь, старикъ? Ты вѣрно изъ ума выжилъ! г. д'Аворъ — слабоумный....»

— «Это, любезный другъ не наше дѣло; пусть

господа между собою разсудятся, а мы должны исполнять ихъ волю. Прощай!...»

Поль ушелъ въ комнаты, а лакей побѣжалъ доложить о странномъ событіи г-жѣ Добиньи-Пуккаръ, которая въ огромномъ чепцѣ, въ сопровожденіи единородной дщери, стояла на крыльцѣ и съ ужасомъ внимала разговору слугъ....

— «Вотъ новость, Эмилія!» кричала она: «Ты слышишь, полуумный умничаетъ! Піерръ, ступай сейчасъ къ г-ну Прево, пусть пришлетъ полицію; полуумный можетъ еще убить кого-нибудь: тогда мы отвѣчай! Слышишь, скажи всѣмъ, забѣги въ парламентъ! Тутъ надо скорой помощи! Это неслыхано! И какъ его выпустили, и кто смотрѣлъ за нимъ? Чего добраго, еще къ намъ пожалуетъ.... Такъ и есть, выходитъ, идетъ, спрячемся, Эмилія! А то неравно онъ увидитъ насъ, да еще влюбится.... Запирайте двери! Піерръ, бѣги поскорѣй! Генріэта, баррикады, баррикады!...» Голосъ г-жи Пуккаръ исчезъ, двери захлопнулись, но растворилось окно въ мезонинѣ и оттуда показался огромный чепецъ....

— «Я хотѣлъ видѣть г. Пуккара, моего опекуна....» отвѣчалъ Антоній, красиво одѣтый и сопровождаемый Полемъ, который нарядился въ ту самую ливрею, въ какой ходилъ за покойнымъ господиномъ, десять лѣтъ тому назадъ.

— «Г. Пуккаръ въ Парижѣ....» отвѣчала г-жа Добиньи-Пуккаръ: «Ждемъ его сегодня, завтра, а ты, братецъ, лучше бы воротился туда, откуда

сбѣжалъ, такъ я ужъ мужа уломаю; ничего тебѣ за проказы твои не будетъ, право ничего....»

— «Извините, г-жа Пуккаръ, что я васъ обезпокоилъ! Какъ пріѣдетъ вашъ супругъ, потрудитесь доложить, что я его ждалъ и жду съ нетерпѣніемъ, и безъ него, позволю себѣ повидаться только съ ближайшими друзьями покойнаго моего родителя. До пріятнаго свиданія и знакомства! Постараюсь заслужить милостивое ваше расположеніе....»

Г-жа Пуккаръ такъ была поражена учтивостію полуумнаго, что присѣла въ окнѣ, при чемъ разорвала чепецъ и повредила прическу.

— «Боже ты мой. Боже ты мой!» закричала она, не спуская однакожъ глазъ съ отходящаго Антонія. «Надо начинать снова мой туалетъ; убрать голову не шутка, а тутъ еще и чепчикъ чинить надо.»

— «Да вы надѣньте, мой другъ, розовый съ тюльпанами!» замѣтила Эмилія....

— «И въ двадцать лѣтъ, а какая ты глупая!..»

— «Вы, мой другъ, кажется, забыли, что папа запретилъ вамъ говорить на этотъ счетъ....»

— «Правду? Дура я, что ли? Стану ли я говорить про твои годы; чѣмъ больше лѣтъ тебѣ, тѣмъ больше и мнѣ, и покуда ты не выйдешь за мужъ, дальше шестнадцати не выростешь. А между собою, почему же не сказать?...»

— «Да вы такъ дома привыкнете мой другъ, а потомъ и сболтнете при г-нѣ Серюрье, или при Жоржѣ Кутильи.»

— «Ну, ужъ какъ угодно г-ну Пуккару, а послѣдній тебѣ не женихъ.»

— «Почему же и нѣтъ! А если Серюрье не женится, такъ я и сиди въ дѣвкахъ. Покорнѣйше васъ благодарю; мнѣ и такъ надоѣло жить съ вами.»

— «Безподобно, удивительно, превосходно! Вотъ образецъ дочерьней почтительности! Хороша дочка, нечего сказать....»

— «Вы хотите, чтобы мужчины только и любезничили съ вами. Многіе, очень порядочные, женихи отстали по этому. Говорили, въ цѣломъ городѣ кричали: не возможно ухаживать за двумя, силъ не станетъ!»

— «Да отстань ты несносная! Ты мнѣ во свемъ мѣшаешь; только бы мнѣ тебя съ рукъ сбыть.... Этотъ молодой человѣкъ сдѣлалъ на меня такое пріятное впечатлѣніе, а она все испортила.... Розовый съ тюльпанами! И къ кому же? Къ Модюи!.. Богъ знаетъ, что она о себѣ задумаетъ! Когда и ея мужъ и мой — были адвокатами, тогда мнѣ позволительно было наряжаться къ г-жѣ Модюи, какъ угодно. Но съ-тѣхъ-поръ, какъ г. Пуккаръ — совѣтникомъ въ парламентѣ, такъ ужъ и въ одеждѣ надо показать, какое между нами разстояніе.»

— «Умничайте, умничайте, мой другъ! Доумничаетесь!» сказала Эмилія и усѣлась къ зеркалу. Позвали Генріэту; бѣдная служанка разрывалась; то одна зоветъ къ себѣ, то другая; то та ругнетъ, то другая пріударитъ. Неудивительно, что туалетъ продолжался до самаго обѣда и когда г-жа Пук-

каръ съ дочерью пріѣхали къ Модюи, тамъ уже были всѣ приглашенные гости.

— «Я уже теряла надежду....» сказала очаровательная Люція: «что г-жа Пуккаръ насъ удостоитъ посѣщеніемъ.»

— «Почта, моя милая, почта! Не повѣрите, сколько набралось писемъ въ эту недѣлю; мое правило никого не оставлять безъ отвѣта....»

— «Прибавьте: безъ милостиваго отвѣта....» замѣтилъ Серюрье, раскланиваясь съ новоприбывшими дамами. Мужчины улыбнулись, но г-жа Пуккаръ приняла насмѣшку за наличную монету и продолжала шутить по своему. Между тѣмъ къ крыльцу подъѣхалъ кабріолетъ г-жи Модюи.... Въ гостиную вошелъ Антоній. На лицѣ юноши вспыхнулъ яркій румянецъ; онъ смутился: впервые въ жизни случилось ему попасть въ такое блистательное общество; онъ не смѣлъ поднять глазъ и стоялъ у дверей, какъ изваянный, а пестрая толпа, полъ, красивыя мебели — все это кружилось въ глазахъ его, все, какъ будто въ вихрѣ, стремилось свалить его съ ногъ.... Люція поспѣшила на помощь.

— «Антоній!» сказала она, взявъ его за руку: «Не забудьте, что вы вступаете въ общество, гдѣ вы должны занять мѣсто соотвѣтственное вашему званію и личнымъ достоинствамъ. Первый шагъ важнѣе многихъ годовъ; онъ составляетъ мнѣніе, которое съ трудомъ передѣлывается въ послѣдствіи. Вотъ что мнѣ говорила моя матушка и я употребила всѣ усилія, чтобы, при первомъ вступ-

ленiи въ свѣтъ, не показаться дикой, застѣнчивой, необразованной.»

— «Вы были иначе воспитаны!» сказалъ тихо Антоній.

— «Полно, полно! На воспитаніе вамъ грѣхъ пожаловаться. Господа...» продолжала Люція, обратясь къ гостямъ: «г. д'Аворъ былъ другомъ и опорой всего нашего семейства. Рекомендую вамъ его сына, Антонія, который, по милости Божіей, достигъ совершеннаго возраста. Я была столько счастлива, что Антоній позволилъ этотъ пріятный день праздновать въ моемъ домѣ.... Не сердитесь, г-жа Пуккаръ, если я перебила у васъ это право!..»

Невозможно описать какое непріятное впечатлѣніе произвели на большую часть гостей появленіе Антонія и рѣчь г-жи Модюи. Многіе закусили губы отъ досады, другіе притворно радовались и насмѣшливо поздравляли Антонія, которому по ихъ расчету не долго оставалось жить на свободѣ. Нѣкоторые мысленно представляли его въ больницѣ или въ домѣ умалишенныхъ; за исключеніемъ *немногихъ*, всѣ были увѣрены, что онъ слабоумный, и что этому недостатку должно приписать самовольное его появленіе въ домѣ г-жи Модюи; а тѣ *немногіе*, на оборотъ, вполнѣ были убѣждены, что слабоуміе Антонія вымышленно; чувствовали что сами участвовали въ намѣреніяхъ Пуккара, и занимая первыя мѣста въ городѣ, досадовали и предвидѣли, что вся эта исторія подастъ поводъ къ непріятному и соблазнительному процессу. — Они бы не замедлили на мѣстѣ противустать такому

нарушенію опекунскихъ правъ и судебныхъ приговоровъ, но протекція Герцогини Люневильской, а у многихъ красота и любезность г-жи Модюи наводили немоту на языкъ и страхъ на сердце. Люція очень хорошо знала и свое положеніе между сановниками Троа, и всѣ вѣтви заговора; но какъ будто и не замѣчала, что между ними происходитъ; обратилась къ г-жѣ Пуккаръ и сказала съ тою наивностью, которая уничтожаетъ малѣйшее подозрѣніе въ притворствѣ:

— «Признаюсь! Если бы у меня былъ сынъ, а не дочь, я отдала бы его на воспитаніе г. Пуккару. Но съ его стороны все кончено; теперь надо заняться съ новичкомъ — намъ, дамамъ; я хотѣла выпросить у васъ это право; но боюсь, вы его не уступите.»

— «Ахъ, моя милая, ревность нашихъ мужей иногда не допускаетъ до исполненія самыхъ священныхъ обязанностей. Но на этотъ разъ я принимаю его подъ свою опеку и надѣюсь, наши дамы будутъ довольны моими стараніями....»

— «Постарайтесь, постарайтесь, г-жа Пуккаръ! Антонію недостаетъ только свѣтскихъ пріемовъ.»

Двери отворились; вошелъ Поль въ нарядномъ лакейскомъ платьѣ и торжественно возгласилъ: «Къ столу подано!»

— «Поль!» сказала Люція, растроганная до глубины души: «Я этого не позволю!...»

Но Поль приложилъ къ губамъ палецъ и ушелъ; мужчины повели дамъ въ столовую; какъ младшій, Антоній подалъ руку маленькой Люціи.

— «Вы и за обѣдомъ возлѣ меня сядете?» спросила маленькая Люція на пути.

— «Покрайней мѣрѣ я этого желаю!»

— «Ахъ, какіе вы добрые! Недаромъ Maman такъ васъ полюбила и когда вы сегодня по утру отъ насъ ушли, Maman ужасно была рада, цѣловала меня, плакала и все говорила: «Добрый д'Аворъ! Богъ заплатилъ за твои благодѣянія и на землѣ. Твой сынъ спасенъ чудомъ! Правда ли это?..»

— «Ужасная правда!...»

— «Отъ чего же ужасная? Вы мнѣ разскажете за обѣдомъ, какъ было это чудо?...»

Антоній не успѣлъ отвѣчать; г-жа Пуккаръ его отозвала.

— «Что дѣлать?...» сказалъ Антоній маленькой Люціи: «Въ другой разъ мы будемъ сидѣть вмѣстѣ!...»

Г-жа Пуккаръ усадила Антонія между собою и дочерью. Сановники качали головою и презрительно улыбались; нѣкоторые поглядывали на Люцію и старались догадаться, что она думаетъ. Но Люція только и занималась однимъ Антоніемъ, старалась ободрить его, втянуть въ разговоръ и скажите: что̀ неудастся прекрасной и умной женщинѣ? Антоній, со всею приличною его возрасту скромностью, вступилъ въ разговоръ; рѣчи его дышали молодостью, свѣжестью, но съ тѣмъ вмѣстѣ обнаруживали столько ума, знаній, игривости, даже этой свѣтской остроты, которая принадлежитъ только однимъ Французамъ, что, за исключеніемъ *тѣхъ же немногихъ*, все общество пришло

въ непритворный восторгъ, а Люція, со слезами на глазахъ, смотрѣла на преображенное радостью лице Поля, который съ тарелкой подъ мышкой стоялъ за стуломъ своего ученика. Тѣ *немногіе* постоянно больше и больше дулись, хмурились и послѣ обѣда, одинъ за другимъ, непримѣтно исчезли; остались только непричастные заговору и дамы.

— «Ахъ, г-жа Модюи!» пѣла г-жа Пуккаръ, прощаясь съ Люціей: «вы меня сегодня подарили истиннымъ счастіемъ. Неправда-ли какъ бы пріятно, если бы у насъ были такія дѣти?»

— «Я не жалуюсь, но, кажется, и вы не можете пожаловаться!»

— «Конечно, конечно! Что ты заболталась тамъ Эмилія?»

— «Я говорила съ нашимъ Антоніемъ!»

— «Ужъ и съ нашимъ! Прощайте моя милая! Навѣстите насъ! Вы всегда дома! Ужъ и съ нашимъ!» продолжала г-жа Пуккаръ, на улицѣ: «Извини, Эмилія, ужъ Антонія никому не уступлю!..»

— «И я то же?» отвѣчала Эмилія.

— «И я то же!» шепнула Люція, слушая черезъ окно нескромный разговоръ сосѣдокъ. «Ну, слава Богу, всѣ разъѣхались. Первый шагъ сдѣланъ. Но, любезный Антоній, надо спѣшить, пока не пріѣдетъ Пуккаръ. Надо подать просьбу въ магистратъ и въ другія мѣста; Поль, я надѣюсь, ты уже изготовилъ всѣ эти бумаги....»

— «Я написалъ просьбы, какъ умѣлъ; надо

просить знающихъ людей, чтобы исправили и согласили съ судебными формами.»

— «А вотъ, кстати, идетъ Людо́.»

— «Плохая надежда!» замѣтилъ Поль.

— «Почему же? Онъ адвокатъ....»

— «Плохой адвокатъ....»

— «Что съ вами, г. Людо́! Вы какъ то разстроены.»

— «Ужасно!» отвѣчалъ Людо́, въ шляпѣ прогуливаясь взадъ и впередъ по гостинной: «Это тридцать шестая диссертація, посланная въ ученое общество. Тридцать пять пропали; тридцать шестая увѣнчана; но я не одинъ остался побѣдителемъ; я раздѣлилъ славу доброй догадки съ Бернули и Маркизомъ Полени!... Наконецъ проклятый корабельный во́ротъ вытянулъ меня въ компаніи съ другими....«

— «Чтоже васъ огорчаетъ?»

— «Тридцать пять диссертацій! У меня съ нихъ не осталось даже копій.»

— «Вольно же вамъ посылать диссертаціи безъ подписи и даже безъ псевдонима. Не разъ случалось мнѣ начитывать: «увѣнчано сочиненіе безъименнаго, присланное изъ Шампаньи; многіе полагаютъ, что оно принадлежитъ ученому перу извѣстнаго Людо́, но академія должна уважить волю ученаго мужа, желающаго скрыть свое имя.»

— «Кто имъ сказалъ, что я желаю скрыть свое имя? Кто имъ это сказалъ?...»

— «Чтоже? Вы можете объявить себя сочинителемъ этихъ диссертацій!»

— «Какихъ?»

— «Вотъ ужъ этого я незнаю.»

— «И я то же! Ни одной не помню; я забылъ и про воротъ, да академія напомнила.»

— «Надо объ этомъ, мой другъ, подумать и посовѣтоваться; а между тѣмъ позвольте васъ познакомить съ Антоніемъ д'Аворомъ.

— «Очень радъ! Давно изволили пожаловать къ намъ, въ Троа?»

— «Сегодня утромъ!»

— «Откуда?

— «Изъ Жужу....»

— «Жужу! что это я не припомню такого города; въ какой же это провинціи?...»

— «Да полно, г. Людо!» прервалъ Поль: «Это мыза наша, любимая мыза покойнаго вашего сосѣда, которому вы обѣщали на смертномъ одрѣ: не оставлять его сына покровительствомъ и совѣтами. Вотъ вамъ Антоній на лицо! Посмотримъ, гдѣ ваше покровительство и совѣты?»

Людо смотрѣлъ съ изумленіемъ то на Антонія, то на Люцію, то на Поля.

— «Что вы это мнѣ разсказываете! Тотъ Антоній былъ ребенокъ; ростомъ вотъ такъ, не больше, а этотъ....»

— «Да вспомните, г. Людо, что съ тѣхъ поръ прошло десять лѣтъ!»

— «Неужели?»

— «Ровно десять! Сегодня ударило ему шестнадцать лѣтъ, а вы ни разу не потрудились удостоить его вашимъ совѣтомъ.»

— «Вздоръ, вздоръ! Я теперь себѣ припоминаю, я ему далъ самый спасительный совѣтъ: учиться по латынѣ.»

— «Мы и послѣдовали этому спасительному совѣту; выучились....»

— «Неужели? И читаете классиковъ?...»

— «Помаленьку, съ лексикономъ. Что же вы намъ теперь присовѣтуете....»

— «Теперь я дамъ два совѣта. Само собой разумѣется, учиться по гречески и жениться!»

— «Жениться?» вскричали всѣ трое.

— «Да, жениться, непремѣнно жениться, въ цвѣтѣ лѣтъ, въ полной силѣ.... О, я никогда не перестану жалѣть, что я не женился въ молодости; только любимая женщина, неотступная спутница въ жизни, можетъ исправить въ насъ врожденные недостатки; я увѣренъ, я убѣжденъ, что я не былъ бы такъ разсѣянъ и забывчивъ, еслибы.... да и теперь, я самъ это чувствую, я говорю по опыту, и теперь въ присутствіи Люціи, память моя свѣжѣе.... Можно все забыть, только не любимую женщину. Повѣрьте Люція, я дома безпрестанно объ васъ думаю. Да, жениться, непремѣнно жениться! Конечно женитьба женитьбѣ рознь; такихъ женщинъ, какъ г-жа Модюи, и въ исторіи не много; Сократъ женился и жизни не былъ радъ; чортъ не женщина; Александръ Македонскій вѣрно бы не умеръ такъ рано, еслибы Аристотель женилъ его въ молодости, тотчасъ послѣ школы. Впрочемъ и не удивительно, что онъ этого не сдѣлалъ. Аристотель былъ больной пе-

дантъ, схоластикъ; а сколько противурѣчій?! Какъ можно сравнить съ Платономъ или даже съ нашимъ Декартомъ. Не спорю, есть нѣкоторыя положенія—вѣрныя, замѣчанія—удачныя....»

— «Ахъ, любезный Людо́!...» перебила Люція: «Видно и мое присутствіе не всегда помогаетъ.... Поговоримъ о важномъ дѣлѣ» — и г-жа Модюи пересказала Людо́ всѣ обстоятельства, въ какія вовлеченъ былъ Антоній; Поль показалъ ему свои бумаги; Людо́ все прослушалъ, все прочелъ съ особеннымъ вниманіемъ.

— «Дѣло правое, чистое!» сказалъ онъ: «Извольте! Я готовъ быть вашимъ адвокатомъ: сегодня же ночью я справлюсь съ законами, завтра подадимъ просьбу и дѣлу— конецъ!»

Такъ думалъ Людо́; Люція, Поль, Антоній думали также, но не такъ думалъ Пуккаръ, который въ ту же ночь возвратился въ Троа́ съ милостью отъ перваго министра и съ новымъ значеніемъ въ отечественномъ городѣ; онъ мрачно и внимательно слушалъ восторженный разсказъ жены и дочери; тихо двигался по комнатѣ и потиралъ то лобъ, то руки....

— «Какой вздоръ!» заворчалъ Пуккаръ, когда сожительница разсыпалась въ похвалахъ насчетъ ума и образованія молодаго Антонія: «Хорошо, что не произошло никакого несчастія! Въ этотъ день съ нимъ случился припадокъ ясновидѣнія, но завтра онъ впадетъ въ обычное разслабленіе ума и памяти.... Ну, прощайте! Пора вамъ спать, а мнѣ еще много возни съ бумагами. Прощайте!»

Дамы ушли, а Пуккаръ усѣлся за столъ и просидѣлъ добрыхъ два часа въ глубокой думѣ:

— «Кто бы могъ вести....» разсуждалъ Пуккаръ: «такой хитрый заговоръ съ такимъ искусствомъ и тайною?»

Пуккаръ зазвонилъ. Вошелъ лакей.

— «Кто пріѣхалъ въ городъ съ г. д'Аворомъ?»

— «Старый Поль, что служилъ при покойномъ, арендаторша съ обоими дѣтьми и лягавая собака...»

— «А гдѣ же этотъ Поль скрывался до этихъ поръ?»

— «Онъ не скрывался, а сначала нанялъ мельницу въ Жужу, а потомъ женился на арендаторшѣ...»

— «На Гертрудѣ?...»

— «Я не вѣдаю, какъ ее зовутъ. И объ этомъ обо всемъ мы узнали только сегодня...»

— Хорошо! Ступай! Теперь все ясно. Можно писать.» И г. Пуккаръ сталъ писать, вставалъ не разъ и опять садился къ письменному столу. Едва къ утру бумаги были изготовлены; еще всѣ спали въ домѣ Пуккара, когда хозяинъ съ пучкомъ бумагъ подъ мышкой, въ сопровожденіи лакея, обремененнаго разнаго рода ящиками и узелками, пѣшкомъ отправился съ визитами. Воротились они едва къ обѣду, г. Пуккаръ безъ бумагъ, лакей безъ ноши. Дома Пуккаръ засталъ Антонія въ пріятномъ разговорѣ съ женою и дочерью; онѣ наперерывъ старались отбить другъ у дружки добычу; неопытный склонился на сторону Эмиліи, которая, надо правду говорить, наружностью во все на себя не походила; могла бы даже считать-

ся красавицей, если бы не имѣла слишкомъ широкаго рта, но Антоній не могъ быть столько разборчивъ, и хотя онъ уже видѣлъ прелестную Люцію, но сравнивать еще не умѣлъ. При томъ же глаза Люціи смотрѣли на него какъ на сына; а Эмилія вовсе не была одарена этими качествами; напротивъ, глаза ея сверкали соблазнительнымъ пламенемъ; грудь такъ сильно волновалась; уста улыбались такъ лукаво, такъ много обѣщали чего то неиспытаннаго, сладкаго. Г-жа Пуккаръ уже кусала губы, уже приходила въ бѣшенство, но приходъ г-на Пуккара помирилъ и усмирилъ соперницъ; обѣ, какъ кошки, свернулись въ обыкновенныя, хладнокровныя зрительницы.

— «А это ты!» сказалъ г. Пуккаръ строго.

— «Я уже давно здѣсь...» отвѣчалъ Антоній нѣсколько смутясь: «Я спѣшилъ принести моему опекуну чувствительнѣйшую признательность за всѣ хлопоты и пожертвованія, которыя онъ для меня дѣлалъ въ теченіи десяти лѣтъ. Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ этого дорогаго дня, когда я получилъ право говорить о моей благодарности....»

— «Довольно, довольно!» прервалъ Пуккаръ: «Я очень жалѣю, что вы поспѣшили изъявленіемъ вашей благодарности. Оставивъ мѣсто, предписанное для вашего жительства правительствомъ, вы навлекли этимъ на себя преслѣдованіе законовъ. Я имѣлъ непріятность получить за васъ, выговоръ и это предписаніе. Прочтите!»

— «Какъ?» воскликнулъ Антоній, пробѣжавъ бумагу: «Я долженъ жить въ вашемъ домѣ, ни-

куда не отлучаться, ни съ кѣмъ невидѣться, даже не говорить ни съ кѣмъ безъ вашего позволенія? О, да я съ ума сойду!

— «Того мнѣ и нужно!» подумалъ Пуккаръ: «Я не виноватъ....» продолжалъ онъ громко: «вы видите, что и я вмѣстѣ съ вами подвергся непріятностямъ. Мнѣ, почти старшему сановнику въ здѣшнемъ городѣ, низшіе — дѣлаютъ замѣчаніе, за чѣмъ я не содержалъ васъ во всей строгости и не имѣлъ за вами надлежащаго надзора. Конечно, я подобнымъ выговорамъ болѣе не подвергнусь и вы будете жить вотъ въ этой комнатѣ; изъ ней нѣтъ другаго выхода, кромѣ въ мою спальню. Я все устрою, я все передѣлаю, но пока прошу повиноваться, чтобы не навлечь и на себя и на меня еще худшихъ послѣдствій....»

— «Ахъ г. Пуккаръ! Мнѣ смѣшно и досадно васъ слушать. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что все это — дѣло вашихъ рукъ и расчета?»

— «Вы можете клеветать на меня сколько угодно, но это не поможетъ. Я самъ совѣтникъ въ Парламентѣ и долженъ подавать примѣръ повиновенія законамъ.. Вы не выйдете отсюда, покрайней-мѣрѣ нѣсколько дней, пока я не успѣю дать этому дѣлу другаго оборота.

— «Извольте! Я повинуюсь!» сказалъ Антоній рѣшительно: «но позвольте мнѣ переговорить съ Полемъ....»

— «Съ нимъ то вамъ и запрещено видѣться!»

— «Съ моимъ другомъ, воспитателемъ, истиннымъ опекуномъ!»

«Я не ошибся!» подумалъ Пуккаръ и продолжалъ громко: «Съ возмутителемъ и нарушителемъ общественной тишины и гражданскаго порядка.... Но довольно объ этомъ. Займите вашу комнату. Меня отзываютъ дѣла по службѣ....»

Повѣся голову, не имѣя еще достаточной энергіи, чтобы воспротивиться съ успѣхомъ ударамъ опытнаго злодѣя, Антоній вошелъ въ назначенную ему комнату; Пуккаръ безъ церемоніи заперъ темницу на ключь, потомъ свою спальню и покойно усѣлся обѣдать....

— «А что же будетъ ѣсть Антоній?» спросила г-жа Пуккаръ.

— «Собаки и дѣти должны ждать.» Отвѣчалъ Пуккаръ покойно, но спокойствіе его было прервано ужаснымъ крикомъ въ прихожей; Пуккаръ узналъ голосъ и сталъ самъ кричать: «не пускайте, не пускайте, я самъ выйду!» Напрасно; лакей съ одной пощечины повалился на земь и въ столовую ворвалась бѣшеная Гертруда.

— «Извергъ, злодѣй!» кричала она: «За что ты отправилъ въ темницу моего добраго мужа, моего несчастнаго Поля. Изъ ревности, чтоли? Да вѣдь не я, ты измѣнилъ, ты обольстилъ невинную вдову, мать двухъ дѣтей; ты мнѣ самъ навязалъ въ безплатную аренду проклятое Жужу; побывалъ два-три раза, и завелъ себѣ Маргариту на другой мызѣ, а меня сдѣлалъ нянькой дитяти, у котораго ты задумалъ оттягать достояніе. Котъ, да мы тебѣ не мыши; весь городъ узнаетъ, каковъ ты. Теперь я молчать не буду....»

И Гертруда послѣ этой краткой рѣчи, съ проклятіями и угрожающими тѣлодвиженіями, бросилась на улицу; голосъ ея еще долго раздавался не только въ ушахъ Пуккара, но въ дѣйствительности.

— «Прекрасно, г. Пуккаръ, безподобно, покорнѣйше благодарю!» заговорила было жена, прикидываясь обиженною.

— «Не зачто!» прервалъ мужъ: «У тебя любовниковъ, я думаю, побольше! И если ты, или Эмилія, пикнетъ слово, я васъ упрячу на мызу и отдамъ подъ присмотръ Маргаритѣ. Отъ нея не уйдете; это не Гертруда! Глупо я сдѣлалъ, что не поручилъ сорванца Маргаритѣ.... Чортъ возьми! Далъ же я маха. И забылъ про эту вѣдьму. Надо ее припрятать.»

И Пуккаръ бросилъ салфетку, взялъ шляпу и ушелъ.

—

ГЛАВА VI.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИСТУПЪ.

Г. Людо у себя дома занимался своимъ дѣломъ. Передъ нимъ лежала цѣлая почта латинскихъ и французскихъ писемъ. Кому-то изъ членовъ Французской академіи заблагоразсудилось умереть и многіе знаменитые люди предложили г-ну Людо занять свободныя кресла. Больше другихъ настаивали Жюсье, д'Аламбертъ, Мерань, Кассини и Бугеръ и безъ сомнѣнія выборъ новаго члена, при такихъ защитникахъ, палъ бы на Людо; но для

того, чтобы занимать мѣсто дѣйствительнаго члена академіи, надо жить въ Парижѣ — и это первое условіе не понравилось Людо: оставить Троа, гдѣ онъ наслаждался уединеніемъ столько лѣтъ, гдѣ душа его обрѣла новую, во всю жизнь неиспытанную радость.... Это поколебало Людо и честь ему показалась ничтожною въ сравненіи съ пожертвованіемъ. Вдругъ свѣтлая мысль блеснула въ его воображеніи; онъ побѣжалъ было полуодѣтый, но какъ съ нѣкотораго времени, Людо принималъ предосторожности противу своей памяти и всегда ставилъ стулъ съ своимъ платьемъ у главнаго входа, то и въ этотъ разъ, уже у дверей вспомнилъ о своемъ туалетѣ, поспѣшно пріодѣлся и отправился къ г жѣ Модюи.

— «Послушайте!» сказалъ онъ не совсѣмъ рѣшительно.

— «Слушаю!»

— «Вамъ должно быть очень скучно въ Троа!»

— «Ужасно!»

— «Поѣдемъ въ Парижъ!»

— «Зачѣмъ?»

— «Я буду членомъ академіи, я останусь въ Парижѣ, я предамся всѣми моими средствами и силами наукѣ.... Я буду счастливъ.»

— «Да я-то что буду тамъ дѣлать?»

— «Это правда. Да развѣ не все одно? Вы будете жить въ Парижѣ, какъ живете здѣсь; воспитывать дочь; я скоро начну съ ней и греческій языкъ; а тамъ высшія математическія науки, но ужъ извините, философіи не начну, пока ей не

ударитъ шестнадцать лѣтъ. Вотъ видите, какъ это будетъ все хорошо!»

— «Прекрасно, но любезный Людо́, я теперь немогу ѣхать въ Парижъ; развѣ послѣ возвращенія моего изъ Германіи....»

— «Изъ Германіи!»

— «Не дальше какъ сегодня, я получила письмо отъ герцогини; она пишетъ, что дѣла ея, хотя и приходятъ къ окончанію, благодаря неусыпнымъ стараніямъ моего мужа, но счеты и расчеты продолжатся болѣе года и входя въ мое непріятное положеніе, предлагаетъ мнѣ всѣ средства поѣхать къ мужу. Сами согласитесь, глупо было бы отказаться!...»

— «Вотъ видите, Люція, какія вы! Вы любите мужа больше, нежели меня, а я васъ люблю больше, нежели вашего мужа!»

— «Весьма естественно, потому что вы его незнаете!»

— «И это можетъ быть.»

— «А вотъ что я вамъ скажу въ утѣшеніе. Блистательный успѣхъ дѣлъ герцогини Люневильской надѣлалъ много шуму въ Парижѣ. Роберту предлагаютъ выгодныя мѣста; и безъ сомнѣнія черезъ годъ мы совершенно переселимся въ Парижъ.»

— «Чудесно! А я между тѣмъ окончу мой комментарій на Плинія. Превосходно! Конечно этотъ годъ будетъ для меня цѣлымъ вѣкомъ; вся надежда на Плинія!

— «Вся надежда на васъ, г. Людо́? Пуккаръ

уже успѣлъ наплутовать и напутать; Поль и Гертруда въ темницѣ, а бѣдный Антоній исчезъ! Такъ мнѣ разсказывали дѣти Гертруды; я беру этихъ несчастныхъ съ собою, но помочь Антонію не въ силахъ! Заклинаю васъ, любезный Людо, нашей дружбой, неоставьте Антонія! Бросьте на время Плинія и займитесь дѣлами сироты! Умоляю....»

«Къ чему это? Довольно вашего одного слова— и горе Пуккару....»

Людо опрометью бросился къ Пуккару. Почти насильно вломился въ гостиную; но тамъ не было Пуккара; онъ пошелъ къ Антонію съ завтракомъ.

— «Напрасно, г. Пуккаръ, изволите безпокоиться! Я не буду ѣсть!» сказалъ слабымъ голосомъ Антоній; глаза его были красны; примѣтно было, что онъ всю ночь не спалъ.

— «Какъ не будешь ѣсть!»

— «Да не буду! Я не могу жить въ этой душной темницѣ, въ которую проникаетъ свѣтъ только сверху, такъ, что я немогу даже видѣть какая погода. Всю ночь я размышлялъ объ моемъ положеніи, понялъ, что расчетъ вашъ вѣренъ, и я рѣшился умереть.»

— «Умереть!» Пуккаръ поблѣднѣлъ и тарелки повалились изъ рукъ его.... «Какъ умереть!...»

— «Голодною смертью.... Если уже судьбою мнѣ не дозволено пользоваться свободою и обществомъ людей, если эти адскія средства вы придумали для того, чтобы воспользоваться моимъ достояніемъ, я лишу васъ этого удовольствія. Я умру.... умру безъ покаянія, какъ грѣшникъ, са-

моубійца, и этотъ грѣхъ не на мнѣ, на васъ, г. Пуккаръ; а достояніе мое перейдетъ моимъ родственникамъ, которые не имѣли счастія быть подъ вашею опекой и найдутъ средства раскрыть ваше плутовство и обличить похитителя. Оставьте меня, уйдите, не то я буду прежде убійцей, а потомъ уже самоубійцей....»

Пуккаръ дрожалъ всѣмъ тѣломъ.... Если бы Антоній безъ шутокъ вздумалъ исполнить половину своего обѣщанія, т. е. умереть съ голоду, то всѣ труды Пуккара пропали бы безвозвратно. Пуккаръ зналъ, что въ случаѣ смерти Антонія, невозможно будетъ удержать въ своихъ рукахъ даже части д'Аворовскаго достоянія; онъ уже имѣлъ дѣло съ этими родственниками д'Авора, и ему обошлись дорого ихъ проводы изъ Троа. Онъ видѣлъ ясно, что при характерѣ Антонія, насиліе поведетъ не къ безумію, а къ опасному отчаянію. Надобно искать другихъ средствъ, чтобы не выпустить изъ рукъ огромнаго имѣнія, а пока эти средства представятся, вступить въ мирные переговоры и заключить трактатъ на выгодныхъ условіяхъ.

— «Никогда не подумалъ бы я....» сказалъ Пуккаръ съ видомъ состраданія: «чтобы страсть къ деньгамъ, къ богатству, могла уже обитать въ такомъ юномъ сердцѣ.»

— «Вы считаете эту страсть принадлежностію вашего возраста и не ошибаетесь. Мнѣ дорога моя свобода; мнѣ ничего не нужно; я довольствовался бы тѣмъ, чтобы вы мнѣ ни дали; жилъ бы въ моихъ книгахъ и въ бесѣдѣ съ умными людьми;

а на счетъ моего имѣнія, я и не сомнѣвался что вы гораздо лучше можете управлять имъ, нежели я. И не подозрѣвалъ я въ васъ ни какого злаго умысла, но теперь, извините, все сдѣлалось для меня яснымъ....»

— «Напротивъ, вы въ глубочайшемъ мракѣ невѣденія; вамъ неизвѣстны враги вашего отца и ваши. Вы не хотѣли покориться мѣрамъ, которыя я придумалъ, чтобы обезоружить этихъ злыхъ людей....»

— «Ахъ г. Пуккаръ! Какъ бы я желалъ вамъ вѣрить!»

— «Клянусь вамъ всѣмъ, что ни есть на землѣ святаго, я иначе и не думалъ дѣйствовать; я не отнималъ бы у васъ и теперь свободы, если бы могъ понадѣяться на вашу скромность и содѣйствіе....»

— «О, пойдемте противу этихъ злодѣевъ, пойдемте вмѣстѣ!...» сказалъ Антоній съ мастерскимъ притворствомъ, которому научилъ его продолжительный опытъ: «Назначьте условія, какія хотите; я буду слѣпо вамъ повиноваться. Но только не запирайте меня, какъ дикаго звѣря; не отнимайте у меня утѣшенія въ наукѣ....»

— «О Антоній!» и Пуккаръ бросился обнимать своего питомца: «Ты будешь жить у меня сыномъ, другомъ; объ одномъ прошу, не выходи безъ меня ни куда; тогда я уже не могу поручиться за намѣренія твоихъ враговъ.»

— «Помилуйте! Да кому не дорога жизнь и будущность! Злоба людей мнѣ извѣстна по на-

слышкѣ; я не хочу съ нею встрѣчаться лицемъ къ лицу! Я готовъ прятаться отъ всякаго посторонняго лица, съ которымъ обхожденіе будетъ вамъ непріятно. Иначе, — я и не оглянусь, какъ буду уже въ сѣтяхъ моихъ враговъ. Я слышалъ и объ нихъ, но теперь не хочу болѣе слышать. Но скажите, безопасенъ ли я здѣсь, въ вашемъ домѣ?»

— «Только въ этомъ домѣ.»

— «Я вашъ! Но конечно я не останусь въ этой темницѣ!»

— «Нѣтъ! ты, сынъ мой, займешь свое мѣсто въ моемъ семействѣ.»

Пуккаръ и Антоній вошли въ гостинную. Людо стоялъ у письменнаго столика и покойно перекидывалъ бумаги.

— «Что это значитъ!» закричалъ Пуккаръ.

— «Ахъ да, что это значитъ, г. Пуккаръ?» прикрикнулъ въ свою очередь Людо: «Гдѣ Антоній? Куда вы его запропастили?»

— «Вотъ онъ на лицо!»

— «Живъ, здоровъ?... Такъ чегоже она такъ перепугалась? Что, Антоній, вамъ ничего не дѣлаютъ худаго?...»

— «Враги отца моего усиливаются.... Но, г. Пуккаръ съ помощію Божіей, разрушитъ ихъ козни. Это его дѣло. Я только думаю объ томъ, какъ бы заняться устройствомъ библіотеки. Смерть читать хочется; представьте, господа, я не читалъ уже больше недѣли!...»

— «По этой части надо просить г-на Людо́...» сказалъ Пуккаръ съ улыбкой....»

— «Да, меня, именно меня!» сказалъ Людо́ самодовольно: «Правду сказать, есть что прочесть! Каталоговъ у меня нѣтъ; а въ памяти удержать всѣхъ этихъ сокровищъ не возможно. Лучше всего пойдемъ и посмотримъ!»

— «Пойдемъ, Антоній, надо жить въ дружбѣ съ добрыми сосѣдями, но остерегаться лисицъ, которыя принимаютъ на себя видъ дружбы....»

— «Этихъ то людей я и ненавижу, потому что не могу терпѣть никакой хитрости, даже въ шутку. А знаете ли, г. Пуккаръ....» продолжалъ Антоній уже на улицѣ: «что́ мнѣ пришло въ голову? Вѣдь намъ съ вами приходится вѣкъ жить вмѣстѣ: неправдали?»

— «Это зависитъ отъ тебя, Антоній! Покрайней мѣрѣ съ моей стороны не будетъ повода къ разрыву. Ну чтоже тебѣ пришло въ голову?»

— «Домъ вашъ и домъ моего отца, почти смежны; у вашего дома крыльцо съ правой стороны, у нашего съ лѣвой; сдѣлаемъ изъ двухъ домовъ одинъ, построимъ галлерею, потому что, право, мнѣ совѣстно стѣснять васъ: я люблю книги, собакъ; я устроилъ бы лабораторію; и въ одномъ домѣ, какъ это пріятно!... Не правдали?»

— «Удивительный проэктъ и мы на этой же недѣлѣ приведемъ его въ исполненіе. Какъ увлекательна свобода!...» подумалъ Пуккаръ: «она сама на себя выдумываетъ цѣпи.»

Охъ нѣтъ, г. Пуккаръ! Эта увлекательная сво-

бода подсказывала Антонію средства, какъ бы усыпить опекуна; питомецъ упражнялся въ той невинной хитрости, о которой писалъ разсужденіе на мызѣ.

Людо́ не могъ надивиться дружбѣ опекуна и питомца; скоро онъ позабылъ обо всемъ, что ему говорила г-жа Модюи, особенно, когда сталъ показывать Антонію свою библіотеку; оказалось, что Антоній прочелъ всѣ эти книги, за исключеніемъ греческихъ и еврейскихъ. Людо́ былъ внѣ себя отъ восторга, Пуккаръ отъ изумленія.

— «Безподобно, прекрасно!» закричалъ Людо́: «я очень радъ, что вы не знаете по гречески и по еврейски. Мы займемся этими языками!...»

— «Неужели вы будете столько милостивы!»

— «Сдѣлайте одолженіе не говорите подобныхъ комплиментовъ; они недостойны ученаго. Я далъ вашему батюшкѣ слово и сдержу его; возьмите на первый случай Геродота и прочитывайте по маленьку, а я завтра по утру прійду съ моимъ коментаріемъ и приступимъ къ дѣлу....»

— «Но, г. Людо́, я еще не умѣю читать по гречески!»

— «Ничего, прочитывайте, прочитывайте, во всякомъ случаѣ возьмите съ собою; я могу забыть.... Я ужасно разсѣянъ, тѣмъ болѣе что Люція увѣзжаетъ; мнѣ будетъ скучно; прежде, этого со мной не случалось; да, вы должны замѣнить мнѣ на время и маленькую и большую Люцію, а тамъ, пожалуй, поѣдемъ всѣ четверо въ Парижъ; я васъ предложу въ члены академіи,

познакомлю съ Жюсье! Чудесный человѣкъ; вотъ голова! Бѣдный Турнефортъ, несчастный Линней, ваши системы полетѣли съ утлыхъ подножій; а какъ просто, натурально, какъ сама натура. Удивительный человѣкъ. Пожалуй, я васъ подружу и съ д'Аламбертомъ. Великій геній, но плоды его носятъ ядъ, надо умѣть съ ними обходиться. Впрочемъ, я его люблю и уважаю.... Я васъ представлю и Королю, и первому министру. Хорошіе люди!...»

— «Ну этотъ не опасенъ!» подумалъ Пуккаръ...

— «Я васъ поведу прямымъ путемъ....»

— «Къ сумасшествію....» сказалъ про себя Пуккаръ: «туда ему и дорога!»

— «Да, да, я буду вашимъ менторомъ и свѣтъ удивится способностямъ ученика и методѣ учителя!»

— «Сдѣлайте одолженіе!» сказалъ Пуккаръ умоляющимъ голосомъ: «Вы окажете Антонію истинное благодѣяніе....»

— «Непремѣнно, непремѣнно!... И мы начнемъ завтра же. Когда, то есть въ какое время вамъ свободнѣе!...»

— «Я думаю по утрамъ, г. Пуккаръ?...»

— «Да, по утрамъ, часовъ въ девять и хоть до обѣда. Пусть себѣ....» подумалъ Пуккаръ: «философствуютъ на свободѣ, пока я въ Парламентѣ, а тамъ ужъ я начну давать уроки....»

Расчетъ Пуккара оправдывался на самомъ дѣлѣ. Антоній утонулъ въ греческой литературѣ и началъ уже бредить по ученому такъ сильно, что въ скоромъ времени можно было надѣяться, что юный

умъ его потерпитъ существенныя поврежденія. Г. Пуккаръ исполнялъ малѣйшіе капризы Антонія, покупалъ ему самые дорогія книги; одинъ счетъ за эти книги простирался на нѣсколько тысячъ ливровъ; соединилъ свой домъ съ домомъ д'Авора красивой галлереей, которая по счетамъ обошлась въ двѣнадцать тысячъ франковъ; устроилъ ему лабораторію, физическій кабинетъ, словомъ, все что ни затѣвало уже больное воображеніе Антонія; питомецъ былъ совершенно счастливъ; минуты отдыха онъ посвящалъ дамамъ; Пуккаръ удивлялся, какъ онъ еще имъ не наскучилъ; но съ дамами Антоній во все не былъ педантомъ; напротивъ, съ каждымъ днемъ становился любезнѣе, увлекательнѣе, такъ что и мать и дочь влюбились въ него по уши, что и было поводомъ весьма многихъ живыхъ и одушевленныхъ сценъ въ мезонинѣ.... Такъ прошли два года. На третій, когда Антоній изучалъ уже еврейскій языкъ и занимался высшей математикой, когда пожималъ безъ церемоніи ручки и г-жѣ Пуккаръ и Эмиліи, а онѣ искали только случая по ближе познакомиться съ Антоніемъ, но не успѣли потому только, что одна другой мѣшали на каждомъ шагу, — въ это время случись Эмиліи захворать подъ вечеръ такимъ страннымъ образомъ, что она улеглась на диванъ въ столовой и не могла встать; отецъ очень безпокоился, Антоній также, одна г-жа Пуккаръ казалась равнодушною и говорила: «Оставьте ее; пройдетъ.» — Но Эмилія не оправлялась, приказала себѣ подать подушки, одѣяло и рѣшительно объявила, что будетъ

ночевать внизу, въ столовой.... Г-жа Пуккаръ приметно этому обрадовалась; помогла ей улечься и всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ....

Антоній долго ходилъ по своимъ комнатамъ и мечталъ о дѣйствительной свободѣ; время было зимнее, и такое холодное, что и незапомнятъ въ Шампаніи; каминъ пылалъ, но не могъ согрѣть морознаго воздуха; одинъ Антоній не чувствовалъ стужи. Вдругъ кто-то изъ сада постучался въ окно; Антоній вздрогнулъ. Стукъ повторился; онъ подошелъ и увидалъ.... кого же? Поля! Старикъ стоялъ у окна въ рубищѣ и съ открытой головой....

— «Ты ли это, Поль?»

— «Я, мой милый Антоній, я! Мнѣ удалось уйти изъ темницы на честное слово.... Чтоже ты медлишь, Антоній? Годы уходятъ! Я былъ у Людо! Я настоялъ, чтобы вы завтра же подали просьбу. Постарайся ее подписать, чтобы никто не видѣлъ. Хуже не будетъ. Парламентъ назначитъ слѣдствіе, можетъ быть выборъ падетъ на честнаго человѣка.... Боже мой! успѣю ли я все сказать? Я обѣщался вернуться въ темницу передъ полуночью.... Потомъ когда подана будетъ просьба...»

— «Поль! Идутъ! Бѣги! Мы открыты...» закричалъ Антоній и дрожа отъ холода и страха, бросился въ кресла къ камину. Антоній не ошибся. Двери одни за другими тихо проскрипѣли и въ спальню Антонія вошла г-жа Пуккаръ.

— «Наконецъ....» сказала она: «я избавилась отъ ужаснаго аргуса! Она больна, лежитъ; и я

могу тебѣ сказать все, что такъ давно и съ такимъ трудомъ скрывала....»

— «Право, я не знаю, г-жа Пуккаръ, прилично ли....»

— «Не время теперь думать о приличіяхъ; часы не въ нашей власти.... Боже мой, куда мнѣ спрятаться?... Идутъ.... Вѣрно это мой ревнивецъ!» и г-жа Пуккаръ спряталась и притаилась за каминомъ.... Вошла Эмилія.

— «Наконецъ, мы безъ свидѣтелей!» сказала она шепотомъ.

— «Богъ знаетъ! Не совсѣмъ....» подумалъ Антоній.

— «Что съ тобой, мой другъ, ты такъ печаленъ?... Неужели тебя не радуетъ мое посѣщеніе; неужели я обманулась! Какъ хочешь Антоній, но намъ должно объясниться. Я не могу скрывать болѣе моего пламени. Ты умѣешь притворяться.... Но я не въ силахъ.... Не правда-ли? Ты мой и никто тебя отъ меня не отниметъ....»

— «Врешь!» закричала г-жа Пуккаръ и выскочила изъ засады....

— «А вы здѣсь, мой другъ? Наша хитрость удалась; надо позвать скорѣе папа....»

— «О, я сейчасъ догадалась, что болѣзнь твоя притворство и спряталась за каминъ, чтобы все видѣть собственными глазами. Постой, я раскажу отцу.... будетъ тебѣ!»

И обѣ соперницы бросились изъ дому, но въ галлереѣ помирились, одна другой опасаясь и снова поссорились, но уже въ мезонинѣ.... Не смотря

на миръ, болѣзнь и всѣ предосторожности, г. Пуккаръ видѣлъ, или лучше сказать слышалъ нѣкоторые эпизоды этой романической поэмы....»

— »А что!» подумалъ онъ лежа: «Это было бы недурно. Конечно, Эмилія крѣпко постарше, но Антоній влюбленъ въ нее; наконецъ, если и не влюбленъ, такъ все одно; соблазнилъ невинную дѣвушку; честь дома; долженъ жениться. А если....» И Пуккаръ не могъ заснуть цѣлую ночь; планы его мучили; онъ всталъ въ этотъ день ранѣе обыкновеннаго и дрожа отъ усилившейся стужи, отправился къ Антонію; въ дверяхъ прихожей, откуда галлерея имѣла свое начало онъ повстрѣчался съ г-мъ Людо́ ...

— «Что такъ рано?» спросилъ г. Пуккаръ....

— «Надо спѣшить, некогда!» отвѣчалъ Людо́ и побѣжалъ къ Антонію.. .

— «Отчего же некогда?...

— «Право некогда! Вотъ мы съ нимъ прочтемъ тутъ только одно сочиненіе, надъ которымъ я трудился цѣлую ночь и я уйду; можетъ быть и приду не скоро; можетъ быть захвораю и захвораю сильно; но все равно, я рѣшился; подобный случай въ Шампаніи можетъ быть уже никогда не представится. Чуть не градусъ морозу. Неслыханное дѣло!...»

— «Да что же вы хотите дѣлать?»

— «Купаться!»

— «Въ такую стужу!»

— «Именно въ такую стужу. Въ жаркіе лѣтніе дни каждый купается, а зимою, въ морозъ. .. Это

дѣло трудное, на это можетъ рѣшиться только ученый человѣкъ, естествоиспытатель, натуралистъ, физикъ, и — я рѣшился.... Садитесь, Антоній!...»

— «Послушайте, г. Людо́, за кого вы меня принимаете?» сказалъ Антоній: «Не ужели вы думаете, что Платонъ отстанетъ отъ Сократа, ученикъ отъ учителя. Я иду съ вами! ..»

— «Такъ пойдемъ же, Платонъ! Не то взойдетъ солнце. Термометръ подымается.»

— «Куда?» заревѣлъ Пуккаръ.

— «Купаться!» закричали оба.

— «Да ты умрешь, Антоній!»

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше!» сказалъ онъ съ отчаяніемъ: «Я не могу долѣе жить затворникомъ.»

— «Да за чѣмъ же купаться; развѣ тебѣ жарко?...»

— «Ахъ, г. Пуккаръ!» прервалъ Людо́: «Вы этого не понимаете, вы человѣкъ не ученый; мы хотимъ испытать на себѣ: долголи можетъ пробыть человѣкъ въ водѣ съ морозомъ.»

— «А я просто умереть!» закричалъ Антоній: «но умереть съ пользою для науки!»

— «Браво, браво, Антоній! Такъ пойдемъ же!»

— «Да отъ чего же ты хочешь умереть! Развѣ тебѣ у насъ худо?»

— «Скучно, душно.... Я не могу снести такой жизни....»

— «Да вѣдь ты самъ хотѣлъ! Скажи — и все будетъ по твоему; только неходи купаться....»

— «Вы должны мнѣ позволить прогуливаться по городу, ходить за городъ на гербаризацію, въ театръ, вездѣ, куда мнѣ угодно!»

— «Ахъ, Господи! да кто же тебѣ запрещаетъ? Ходи себѣ, куда хочешь....»

— «Вы слышите, г. Людо́! Будьте свидѣтелемъ! И такъ я иду въ театръ!»

— «Днемъ?»

— «Все равно! Я осмотрю театръ днемъ, чтобы покойнѣе насладиться представленіемъ ввечеру..»

— «Ахъ Боже мой, ты бы только сказалъ; я возьму ложу; мы поѣдемъ вмѣстѣ....»

— «Такъ возьмите же ложу! А я теперь иду въ церковь?»

— «Съ удовольствіемъ, мой другъ, и я съ тобою; закажу обѣдню....»

— «Хорошо! Такъ закажите же обѣдню, а я пока осмотрю древній рынокъ....»

— «И я съ тобой! Я давно его невидалъ...»

— «Такъ ты неидешь купаться?» спросилъ Людо́ съ досадой.

— «Ахъ, Людо́! Мнѣ улыбнулась свобода, а сложеніе у меня такое слабое.»

— «Такъ прощай же, Антоній! Приходи ко мнѣ поговорить о послѣдствіяхъ опыта!...»

— «О, я теперь свободенъ! Я могу дать слово....»

— «Прощайте!» И Людо́ ушелъ.

— «Пойдемте за нимъ!» сказалъ поспѣшно Антоній, схвативъ шляпу и плащъ: «Пойдемте! Съ нимъ можетъ случиться несчастіе. Пойдемте!»

— «Сей часъ, мой другъ, сей часъ!» И Пукаръ едва бѣгомъ поспѣвалъ за быстрымъ юношей. «Нѣтъ другаго средства!» думалъ онъ, за-

дыхаясь отъ быстроты шествія: «Надо женить его на Эмиліи. Иначе совсѣмъ вѣбьется изъ рукъ!... Это средство — послѣднее!»

И опекунъ и питомецъ подошли къ рѣкѣ въ самое то время, когда Людо раздѣвался съ особенною поспѣшностію, боясь, чтобы солнце не обогрѣло воды; эта сцена привлекла множество зрителей. Такъ какъ зрѣлище происходило у самаго моста, то и повозки, проходившія черезъ мостъ, остановились и загромоздили дорогу огромной каретъ, нагруженной и облѣпленней всякаго рода и вида чемоданами. Дамы съ ужасомъ спрятались въ глубину кареты; мужчина, хотя и пожилыхъ лѣтъ, но прекрасной наружности, опустилъ окно и любовался натурой и подвигомъ Людо. Философъ торжественно вошелъ въ воду, держа въ рукахъ и читая книгу... Въ такомъ видѣ Людо погрузился въ воду по самую шею.

— «Что, г. Людо?» спросилъ Антоній.

— «Немѣшайте!» отвѣчалъ Людо: «Интересное мѣсто... Чтеніе недаетъ мнѣ чувствовать боли...»

Не смотря на эту ученую предосторожность, Людо сталъ задыхаться; руки задрожали такъ, что нельзя было продолжать чтенія; скоро застучали и зубы.

— «Посмотрите на часы!» сказалъ Людо голосомъ, въ которомъ слышались всѣ голоса отъ самаго низкаго баса, до высочайшаго сопрано...

— «Четыре минуты, сорокъ двѣ секунды...»

— «Немогу больше!» закричалъ Людо и бросился бѣгомъ изъ воды... «Ровно пять минутъ!»

сказалъ онъ, посмотрѣвъ на часы: «Ровно пять минутъ можетъ человѣкъ оставаться въ морозной водѣ и не задохнуться. Надо записать.»

Пока Людо́ одѣлся, пока записалъ свое наблюденіе, мостъ освободился отъ баррикадъ и мимо толпы зрителей и главнаго актера, пронеслась дорожная карета.

— «Здравствуйте, проказникъ!» закричалъ ему знакомый голосъ изъ кареты и Людо́ остолбенѣлъ...

— «Это она!» закричалъ онъ не своимъ голосомъ: «Это г-жа Модюи!...» и со всѣхъ ногъ бросился за каретой.

— «Г-жа Модюи!» воскликнулъ Антоній: «О, и я побѣгу къ ней сей часъ же; благо свобода есть...»

— «Другъ мой!» сказалъ Пуккаръ, взявъ Антонія за руку: «Если ты хочешь со мной разсориться, изволь, иди; это злѣйшіе враги мои! Кажется, я дѣлаю для тебя всѣ возможныя жертвы, а ты!...»

— «Я исполню ваше желаніе!» сказалъ Антоній тихо, душевно раскаиваясь, что обнаружилъ влеченіе, котораго впрочемъ и самъ онъ непонималъ; ему стало скучно; почти машинально послѣдовалъ онъ за Пуккаромъ, и разсѣянный, недовольный, усѣлся за завтракъ; даже вчерашнія посѣщенія имъ были какъ-то забыты; на всѣ вопросы дамъ, онъ отвѣчалъ какъ-то нехотя, разсѣянно, такъ, что г-жа Пуккаръ не утерпѣла и сказала: «Ну, Антоній, вы сегодня ни дать, ни взять, Людо́...»

— «Людо́! Ахъ, Боже мой, а я и забылъ его навѣстить.»

— «Да не теперь же!» сказалъ Пуккаръ: «Теперь надо подкрѣпиться пищею, отдохнуть и тогда уже идти къ Людо́... Да его и дома теперь нѣтъ. Опять онъ будетъ возвращаться домой только на обѣдъ и на ночь; а я безъ часовъ всегда буду знать когда полдень...»

Позавтракали.

— «Ну, жена!» сказалъ Пуккаръ: «Антоній пойдетъ къ себѣ, а мы съ тобой запремся и поговоримъ о весьма важномъ дѣлѣ....»

Пуккаръ значительно взглянулъ на Эмилію и Антонія. Дамы вздрогнули.

— «И Эмилія съ нами?» спросила г-жа Пуккаръ...

— «Нѣтъ! Это дѣло не до нее касается. Она можетъ дѣлать, что хочетъ; конференція наша продолжится добрый часъ. Пойдемъ, жена! Ступай себѣ на верхъ Эмилія....»

— «Да, да, ступай на верхъ... только постой, мой другъ, я мезонинъ на замокъ запру....»

— «Полно дурачиться! Кто ее оттуда украдетъ.... Пойдемъ.»

— «Право, Пуккаръ....»

— «Полно, пойдемъ; время дорого.» И Пуккаръ почти насильно утащилъ свою жену въ другую комнату; Антоній пошелъ въ задумчивости въ свою спальню и бросился на постель. Эмилія какъ будто угадала, чего хотѣлось отцу. Побѣжала въ галлерею, и уже, получивъ смѣлость отъ вчерашняго путешествія, безъ дальнихъ околичностей прямо въ спальню, къ Антонію.

— «Что вамъ угодно?» спросилъ Антоній, немало испуганный неожиданнымъ посѣщеніемъ.

— «Неблагодарный, и тебя не трогаетъ моя любовь !...»

— «Очень трогаетъ, сударыня, но я весьма хорошо помню, чѣмъ я обязанъ моему опекуну и не нарушу правилъ чести.»

— «Что такое! Что такое! Правила чести! Да что же можетъ быть чище, священнѣе чувства двухъ сердецъ, взаимно любящихъ ..»

— «Да кто вамъ сказалъ, что я васъ люблю...»

— «Какъ? А ваши вчерашнія клятвы?»

— «Какія клятвы?»

— «Да вы развѣ не клялись любить меня вѣчно..»

— «Это вы говорили, а я молчалъ...»

— «Да это развѣ не все одно; значитъ вы согласились любить меня также вѣчно. По этому вы уже не думаете на мнѣ жениться?...»

— «Жениться! Никогда и недумалъ!...»

— «О, измѣнникъ! А я для него отказала и Серюрье и Кутильи.»

— «Напрасно поспѣшили.»

— «Нѣтъ, не напрасно! Вы меня обезчестили, унизили, довели до того, что я у васъ сижу въ спальнѣ... а теперь вдругъ, ни съ сего ни съ того отказываетесь на мнѣ жениться!...»

— «Да кто же вамъ велитъ ходить въ спальню? Милости просимъ въ библіотеку...»

— «Да что я книга, что ли?»

Двери съ шумомъ отворились, и явилась грозная фигура Пуккара...

— «Что я вижу! Дочь моя въ твоей спальнѣ. Антоній, Антоній! За всѣ труды мои и хлопоты, ты погубилъ меня, обезчестилъ, безъ ножа зарѣзалъ...»

— «А что? Не говорила я, что сбѣжитъ!» кричала г-жа Пуккаръ вбѣгая въ спальню: «Ее надо держать на цѣпочкѣ... Хорошъ питомецъ! Удался въ опекуна! Ни дать, ни взять на такую штуку сманилъ меня Пуккаръ и съ тѣхъ поръ я такъ несчастна!...»

— «Боже великій!» кричалъ лакей: «Генріэта, Генріэта, а погляди, гдѣ барышня... Господи, стыдъ какой!»

— «Э, господа!» сказалъ Антоній, выведенный изъ терпѣнія: «Это второй заговоръ! Хотѣли меня сдѣлать просто дуракомъ; неудалось; такъ вздумали женить меня насильно на тридцатилѣтней дѣвѣ. Неудастся, право неудастся!... *Я готовъ прежде взлетѣть на воздухъ*, нежели жениться на Эмиліи! Прощайте!»

— «Куда, куда ты, Антоній? Держи его!»

Но приказаніе г. Пуккара не такъ было сильно, какъ пощечина отвѣшенная Антоніемъ дерзкому лакею. Антоній бросился прямо къ г-ну Людо. —

—

ГЛАВА VII.

ОБРАЗЦЕВАЯ ПРОСЬБА.

Г. Людо въ шляпѣ и плащѣ, съ особенною торопливостью, шарилъ въ бумагахъ и искалъ карандаша.

— «Удивительное изобрѣтеніе!» говорилъ онъ:

«Чудо, не выдумка! Я даже не успѣлъ побывать у моей Люціи: только и видѣлъ ихъ на крыльцѣ. Выросла! Ужасно выросла! Боже ты мой, гдѣ этотъ карандашъ. Они меня еще пожалуй не дождутся.... А! Вотъ онъ!... Прощайте!»

— «Куда вы?» спросилъ Антоній.

— «Ѣду на небо! Ахъ, да! Вамъ неудалось подписать просьбы! Подпишите скорѣе, мнѣ право пора; спѣшу, спѣшу!»

Пуккаръ вбѣжалъ въ самое то мгновеніе, когда Людо̀ пряталъ въ карманъ подписанную Антоніемъ бумагу....

— «Ну, теперь прощайте! Чертовское изобрѣтеніе!» И Людо̀ пошелъ, за нимъ Антоній, за Антоніемъ Пуккаръ....

— «Да куда же вы, г. Людо̀?» кричалъ Антоній: «Я отъ васъ не отстану.»

— «И прекрасно сдѣлаете! Потому что надо ѣхать вдвоемъ, а во всемъ Троа̀ отыскался только одинъ охотникъ: я!»

— «Да куда ѣхать?»

— «Говорятъ вамъ на небо!»

— «Какъ на небо?» воскликнулъ Пуккаръ, съ трудомъ догнавшій скороходовъ....

— «Покрайней мѣрѣ по выше облаковъ. Изобрѣтена машина моими добрыми знакомыми, братьями Монгольфьерами; называется аэростатъ *);

*) Утверждаютъ, яко бы аэростаты изобрѣтены въ 1782 году, но я этому показанію не вѣрю, и нахожу важныя причины думать, что первые опыты произведены были именно около 1744 года.

подымается выше облаковъ, опускается по волѣ человѣка; привезена въ Троа лично для моего удостовѣренія и замѣчаній — и я ѣду самъ, потому что все люблю испытывать лично. Такъ вы ѣдете Антоній? Очень радъ!»

— «Какъ на воздухъ!» закричалъ Пуккаръ: «Да такъ можно голову сломать.

— «Можно....» отвѣчалъ Людо покойно.

— «Можно упасть съ облаковъ и разшибиться...»

— «Въ дребезги....»

— «Помилуйте! Такъ за чѣмъ же умирать двоимъ, когда можно одному?

— «Для компаніи! Вдвоемъ веселѣе!»

— «Г. Людо! Перестаньте шутить! Я не позволю Антонію...»

— «Въ шестнадцать лѣтъ люди уже не дѣти. Въ 16 лѣтъ я уже написалъ третіе или четвертое мое сочиненіе, и очень порядочно. Латынь была опрятна, не могу сказать чиста, но именно опрятна. И это уже достоинство.... А, вотъ и наши!..»

Въ самомъ дѣлѣ, на небольшой площадкѣ нѣсколько человѣкъ держали тафтяный ящикъ; другіе подъ этимъ ящикомъ жаровню, на которой горѣла бумага. Толпа любопытныхъ зрителей окружала это удивительное изобрѣтеніе. Нѣсколько человѣкъ ученыхъ стояли по ближе и недовѣрчиво качали головами. Людо подошелъ къ машинѣ, пощупалъ тафту въ самое то время, какъ она начала сама по себѣ шевелиться въ рукахъ людей...

— «Пора садиться, г. Людо!» сказалъ прислужникъ. Людо вскочилъ въ лодку.

— «Прекрасно!» вскричалъ онъ: «Весьма удобно. Садитесь, Антоній!»

— «Боже сохрани!» сказалъ Пуккаръ: «Я тебя не пущу....»

— «А отказываетесь ли вы отъ вашихъ гнусныхъ притязаній?» спросилъ Антоній громко: «Не будете меня неволить жениться на вашей дочери?..»

— «Могу ли я, подумай Антоній! Ты обесчестилъ мое имя....»

— «Да неправда!»

— «Право обесчестилъ!»

— «Такъ я уѣду!...»

— «Да развѣ женитьба хуже, нежели воздушное путешествіе!...»

— «Тысячу разъ! Лучше вдругъ сломать голову, нежели всю жизнь таскать тяжелые, позорные рога....»

— «Но за чѣмъ ты соблазнилъ невинную дѣвушку?»

— «Э, что васъ слушать! Прощайте!»

— «Право не пущу!» закричалъ Пуккаръ не своимъ голосомъ и схватилъ Антонія за длинныя полы кафтана; Антоній уже стоялъ въ лодкѣ, откинувъ руки назадъ. Шаръ наполнился гасомъ и сталъ подниматься, а кафтанъ опускаться съ плечъ Антонія; Пуккаръ пригнулся и, что силы было, тянулъ, тянулъ и съ кафтаномъ упалъ на земь....

— «Гдѣ онъ? гдѣ мой Антоній! Пропало все, онъ не воротится.... Наслѣдники!...» кричалъ Пуккаръ, но Антоній уже неслыхалъ его криковъ. Аэростатъ быстро уходилъ въ небо. Съ кафтаномъ

въ рукахъ, Пуккаръ бѣгалъ по улицамъ Троа и кричалъ: «Ловите, ловите!» — «Кого?» спрашивали горожане.... «Антонія!...» — Гдѣ же онъ?— «Вонъ тамъ, за облаками! Ловите, ловите! Гдѣ полиція!...»

— «Какъ мнѣ легко!» говорилъ Антоній, сидя въ нѣжной лодкѣ и не помышляя объ опасности...

— «Удивительное изобрѣтеніе!» сказалъ Людо; «Чудо не выдумка, я готовъ выпрыгнуть отъ радости!»

— «Нѣтъ, не дѣлайте этого, г. Людо!» замѣтилъ шутя Антоній: «Можно сломать ногу...»

— «Конечно, если попадешь на скалу, а если въ воду, я думаю ничего? Жаль, что подъ нами нѣтъ моря. Стоило бы испытать....»

— »Нѣтъ, несовѣтую! А если, по силѣ стремленія, вы долетите до самаго дна морскаго?..»

— «А чтоже? И то любопытно...»

— «А какъ вы воротитесь назадъ?

— «Да вѣдь мы на лодкѣ; отрѣжемъ канаты и поѣдемъ куда нибудь въ пристань.... Все это мечты, но вотъ, что любопытно: смотритъ ли на насъ г-жа Модюи?»

— «Вѣрно смотритъ!»

— «Жаль, что нельзя управлять этой машиной по волѣ, а то бы я опустился прямо на крылечко, а еще лучше на балконъ Люціи... Милая женщина! А какая у нея стала большая дочь; ростомъ уже съ маменьку.... Я видѣлъ на крыльцѣ...»

— «Надо мнѣ исполнить обѣщаніе. Я далъ сло-

во малюткѣ сидѣть возлѣ нея за столомъ.... Но, г. Людо, кажется, наша прогулка кончилась....»

— «Да, мы летимъ назадъ.... Гляди, гляди, какая панорама!... Вотъ и домъ Люціи, вотъ и балконъ ея, противу магистрата.... Весь городъ на улицахъ.... Чудо!... Чудо!... Вотъ и она!»

И Людо сталъ кланяться дамамъ. Народъ, приведенный въ восторгъ невиданнымъ зрѣлищемъ, хлопалъ въ ладоши и кричалъ: браво, браво! Одинъ только Пуккаръ, протянувъ кафтанъ въ верхъ, свисталъ, что было силы. Передъ самымъ магистратомъ стояли двѣ вѣтвистыя липы; лодка ударилась объ вѣтви и отскочила въ сторону, такъ, что путешественники едва въ ней удержались; вся тола ахнула; въ это время Пуккаръ раздѣлилъ ощущенія публики и ревнулъ во все горло; но опасность разрѣшилась смѣшнымъ зрѣлищемъ; тафтяный ящикъ увязъ въ вѣтвяхъ раскидистыхъ липъ и путешественники повисли на нѣсколько футовъ отъ земли. Первый прибѣжалъ на помощь Пуккаръ съ кафтаномъ.

— «А, наконецъ ты мой! Я поймалъ тебя....» кричалъ Пуккаръ: «ты хотѣлъ улетѣть отъ меня на луну, такъ я же тебя спрячу подъ землю.»

Но Антоній довольный своимъ воздушнымъ путешествіемъ, схватилъ Пуккара за голову, и соскочилъ на мостовую. Пуккаръ не успѣлъ опомниться, какъ Людо послѣдовалъ примѣру ученика и употребилъ совѣтника вмѣсто лѣстницы. Въ рукахъ Пуккара, кафтана уже неоказалось. Антоній

надѣлъ его, поклонился рукоплещущей публикѣ и пошелъ прямо въ домъ г-жи Модюи....

— «Гдѣ онъ? гдѣ онъ?» опять кричалъ Пукаръ.

— «Видно ушелъ по вашему приказанію подъ землю!» сказалъ Людо: «Ахъ, да это магистратъ! Занесу я кстати мою просьбу и тогда уже къ Люцін.»

Сказано, сдѣлано. Превò принялъ просьбу со всею почтительностію, какой заслуживала слава Людо; философъ, не ожидая послѣдствій, поклонился и ушелъ....»

— «Прочтите! сказалъ Превò секретарю: «О чемъ проситъ почтенный и знаменитый нашъ согражданинъ? Только погромче!...»

Секретарь громко и рѣчисто прочиталъ слѣдующее:

— Достопочтеннѣйшіе судьи! Я родился въ 1729 году, въ Троа, столицѣ богатой и благословенной провинціи Шампаніи, въ городѣ, который былъ Римскимъ поселеніемъ, въ глубокой древности славился многими мѣстными качествами и былъ украшенъ памятниками Римскаго зодчества, которые до нынѣ зримъ какъ внутри, такъ и внѣ города. Есть недоученные антикваріи, которые думаютъ, что не только древній городъ Троя, но и самая Піаченца, при которой былъ разбитъ Римскій консулъ Семпроній безсмертнымъ Аннибаломъ, находились не на своихъ мѣстахъ, но это противно здравому слыслу и достаточно опровергнуто въ разныхъ сочиненіяхъ. Отецъ мой, Казимиръ д'Аворъ....»

— «Что это?» спросилъ Прево: «просьбу подалъ Люпо.... но читайте дальше.... Надо выслушать все »

— «Казимиръ д'Аворъ принадлежитъ къ благороднѣйшей фамиліи во всей Шампаніи. Предки мои служили при дворахъ многихъ королей Франціи. Исчислимъ главнѣйшихъ: Антоній д'Аворъ служилъ придворнымъ дворяниномъ при великомъ Королѣ нашемъ, Генрихѣ IV и былъ съ нимъ три раза на охотѣ, какъ явствуетъ изъ журнала Генриха IV, изданнаго Этоалемъ, томъ 1 стр. 26. Филиппъ д'Аворъ посыланъ былъ въ качествѣ повѣреннаго кардиналомъ Ришльё къ разнымъ Германскимъ владѣтелямъ, какъ явствуетъ изъ многихъ нумеровъ Французскаго Меркурія, въ то время издававшагося. Жанъ Батистъ д'Аворъ пользовался расположеніемъ Кольберта и написалъ весьма замѣчательный трактатъ на Economies royales безсмертнаго Сюлли, находящійся въ рукописи въ Королевской Парижской библіотекѣ, подъ No 2, 637 и Апендикса къ нему, тамъ же, подъ слѣдующимъ нумеромъ. Жанъ Батистъ д'Аворъ, по смерти Кольберта, возвратился въ Троа, женился на дѣвицѣ Долли, дочери ученѣйшаго адвоката своего времени, и неусыпными попеченіями довелъ свое состояніе до самой цвѣтущей степени, такъ что оставилъ своему сыну нѣсколько домовъ въ разныхъ городахъ, отлично устроенные виноградники, образцевыя по тогдашнему времени мызы, какъ изъ прилагаемой описи явствуетъ. Надо замѣтить, что въ то время, какъ политическая экономія во-

обще, такъ и сельское хозяйство въ частности, были въ такомъ же плачевномъ состояніи, какъ и нынѣ; городская управа была нѣсколько лучше; покрайней мѣрѣ чиновники не дѣлали такихъ явныхъ притѣсненій, какъ нынѣ....»

Секретарь запнулся.

— «Продолжайте, продолжайте!» сказалъ Прево: «Дослушаемъ эту чепуху... изъ любопытства. .»

Секретарь продолжалъ: «Взятки брали, но уже покрайней мѣрѣ не такъ явно и, если дѣлали попущенія, то иногда по ошибкѣ, а если съ умысломъ, то уже и съ искусствомъ, умѣли облекать все въ законныя формы. И тогда сильные имѣли свой вѣсъ и вредное вліяніе; но эти сильные были Герцоги, Перы Франціи, люди, уважаемые королемъ и королевствомъ, а не какой нибудь совѣтникъ Пуккаръ.... При такихъ обстоятельствахъ, честнымъ образомъ нажитое добро не всегда дѣлалось добычею сильнѣйшаго. Право гражданское, какъ и народное, со времени Вестфальскаго мира, получившее дѣйствительное значеніе и силу, существовало, хотя въ нѣкоторой степени. При сынѣ его, Казимирѣ д'Аворѣ, гражданскій порядокъ значительно измѣнился; порядочные люди стали удаляться отъ юридическаго поприща, потому что порядочные люди много денегъ не имѣютъ, а въ это время юстиція сдѣлалась продажною. Казимиръ д'Аворъ, по обширности дѣлъ своихъ, старался избѣгать столкновенія съ судами и судьями, что, при помощи г. Модюи, честнѣйшаго человѣка и весьма искусснаго дѣльца, ему почти всегда

удавалось. Казимира д'Авора всѣ помнятъ. Если исторія въ чемъ либо можетъ упрекнуть сего достойнаго мужа, такъ только въ томъ, что онъ на мызѣ Люціанѣ, такъ названной въ честь г-жи Модюи, которую онъ любилъ почти столько же, сколько и я.... Такъ на этой то мызѣ, г. д'Аворъ разрѣшилъ темнаго арендатора употребить на мельницу три огромные камня, которые, по всѣмъ, вѣроятіямъ, помнили Римлянъ. Но пусть же его съ этими камнями разсудитъ исторія, а сынъ за историческіе грѣхи отца не отвѣчаетъ. Не смотря на то, по смерти г. д'Авора, магистратъ, упустивъ изъ виду, что г. д'Аворъ всегда называлъ г-на Пуккара — скупцомъ, интригантомъ, завистникомъ и плутомъ, не имѣя никакихъ удовлетворительныхъ документовъ, кромѣ *моего* свидѣтельства, списаннаго со словъ того же Пуккара, поручилъ ему же Пуккару надо мной опеку, мимо ближайшихъ родственниковъ, служащихъ въ королевской арміи и мимо истинныхъ друзей покойнаго, какъ-то, г-на Модюи, которому самъ покойный предназначалъ сіе мѣсто, какъ явствуетъ изъ показаній роднаго его сына, всей прислуги покойнаго и другихъ достовѣрныхъ лицъ. Всѣ сіи попущенія нельзя приписать невиннымъ и неумышленнымъ поводамъ, что послѣдствія и доказали. Г. Пуккаръ....»

— «Довольно!» сказалъ Прево.... «Нѣтъ силъ слушать! Вы видите, господа, что эта просьба явственно обнаруживаетъ поврежденное состояніе разсудка, исполнена непозволительныхъ выраженій,

неумѣстныхъ выходокъ — и, только принимая въ уваженіе болѣзненное состояніе просителя, мы можемъ оставить его безъ законнаго преслѣдованія. Просьбу, по моему мнѣнію, должно передать въ архивъ, для храненія при дѣлѣ, а г-ну Пуккару строжайше предписать усилить надзоръ за полуумнымъ и отнять у него всѣ средства къ писанію подобныхъ предосудительныхъ бумагъ.»

— «Мнѣ кажется....» сказалъ Эшвенъ Леро, бывшій прокураторомъ у Троасскаго философа: «Это дѣло до насъ не касается; объ этомъ жалобу проситель долженъ подать въ парламентъ...»

— «Вотъ еще что выдумали? Не должно слѣпому давать въ руки огня. Запретить писать, усилить надзоръ и—кончено!»

— «Позвольте, г. Превó!» И пренія продолжались весьма долго. По окончаніи засѣданія, многіе члены магистрата потянулись къ Модюи, чтобы поздравить съ пріѣздомъ и взглянуть на прелестную Люцію I; о Люціи II никто еще не думалъ. Одинъ только Антоній не иа шутку на нее засматривался; Люція вторая была уже портретомъ во весь ростъ Люціи первой, написаннымъ самымъ льстивымъ живописцемъ, во всей свѣжести первой юности, во всей прелести простодушной невинности и очаровательной простоты. Молодые люди спѣшили встрѣтиться, какъ старые знакомые, но встрѣтясь, оба невольно смутились. Модюи принялъ Антонія, какъ роднаго сына; обнялъ Людó, какъ истиннаго стариннаго дрýга; благодарилъ, что онъ доставлялъ Люціи пріятное развлеченіе и

просилъ жить съ ними по прежнему въ совершенной дружбѣ и согласіи.

— «Я знаю обо всѣхъ обстоятельствахъ вашего дѣла!» говорилъ Модюи, обратясь къ Антонію: «Неслыханное плутовство не останется безъ наказанія. Сегодня завтра пріѣдетъ новый королевскій генеральный прокуроръ, человѣкъ испытанной честности; должно ожидать въ Трóа важныхъ перемѣнъ. Будьте покойны. Хорошо, что я знаю...»

— «Ахъ, г. Модюи, вы еще всего не знаете!» сказалъ Антоній: «Пуккаръ хочетъ женить меня на своей дочери!»

— «Возможно ли?» воскликнула Люція первая. Вторая такъ сильно покраснѣла, что и отецъ и мать не могли воздержаться отъ улыбки. Даже Людó удивился необыкновенному цвѣту лица своей питомицы и спросилъ съ участіемъ: не жарко ли ей? Одинъ Антоній ничего не замѣтилъ и продолжалъ:

— «Я не знаю, г. Модюи, какъ вамъ это все и разсказывать....»

— «Пожалуйте, ничего не скрывайте!»

— «Мерзавцы!» сказалъ Модюи, когда Антоній кончилъ разсказъ свой: «Они за все поплотятся!..»

— «Ахъ Антоній!» прервалъ Людó: «Зачѣмъ же ты мнѣ не разсказалъ вчера; я пропустилъ это обстоятельство въ просьбѣ, которая, могу похвалиться, написана съ необыкновеннымъ краснорѣчіемъ, снабжена всѣми возможными историческими показаніями и ссылками и безъ хвастовства скажу, можетъ служить образцемъ дѣловаго слога...»

— «Куда же вы подали эту просьбу?»

— «Въ магистратъ!»

— «Напрасно! Надо было подать въ парламентъ. Во всякомъ случаѣ это жалоба на магистратъ и опеку. Но ничего! Мы все поправимъ. Только надо поскорѣе выручить Поля и бѣдную Гертруду. И это надо сдѣлать сегодня. Надѣюсь, что мнѣ на поруки ихъ отдадутъ. Прощайте! Медлить нечего. Не прошло и получаса, Модюи возвратился съ Полемъ и Гертрудой. Поль только постарѣлъ нѣсколько, впрочемъ не перемѣнился ни на волосъ, но за то Гертруда съ трудомъ сносила заключеніе и страшно измѣнилась.

— «Боже мой, Боже мой!» кричалъ Антоній обнимая своихъ друзей? «И все это за меня!»

— «Другъ мой!» сказалъ Поль: «Молитва подкрѣпляла насъ и эта молитва услышана?»

— «Послушайте, милая!...» сказалъ Людо Люціи второй: «Они занимаются теперь своими дѣлами, мы почти лишніе.... Не займемся ли и мы съ вами? Я ужасно любопытенъ знать, какіе вы сдѣлали успѣхи въ латынскомъ языкѣ въ ученой Германіи....»

— «Ахъ, любезный Людо!» прервала Люція I: «Дайте ей поотдохнуть съ дороги.»

— «Ваша правда, но я боялся, не скучно ли ей слушать эти юридическіе дрязги...»

— «Ахъ нѣтъ, г. Людо!» отвѣчала Люція II: «Мнѣ такъ жаль Антонія, что, кажется, я пошла бы сама въ парламентъ защищать его!»

— «Браво, браво, Люція!» замѣтилъ отецъ:

«Я думаю такого адвоката слушали бы съ бо́льшимъ удовольствіемъ, нежели насъ стариковъ. Присядемъ, любезные друзья. Я полагаю, Лукіанъ и Рене также скоро пріѣдутъ. Ахъ, Поль, я во все время душевно восхищался твоимъ подвигомъ; твои питомцы удивляли своею ученостью Нѣмцевъ; съ небольшимъ въ годъ они сдѣлались превосходными секретарями и если, Богъ продлитъ мнѣ жизнь, они будутъ отличными адвокатами. Я не могъ ихъ помѣстить въ каретѣ; нанелъ имъ почтовый экипажъ и они ѣдутъ со всѣми моими бумагами и съ старымъ твоимъ другомъ, съ веселымъ Августомъ... Боже мой, гости! Какая скука, а нельзя не принять....»

И гостинная наполнилась разнаго рода и званія должностными лицами. Всѣ поздравляли Модюи съ благополучнымъ возвращеніемъ, разсказывали какъ много слышали о его судебныхъ подвигахъ въ Германіи, объ отказѣ его продолжать служеніе въ Парижѣ.

— «Меня призвала сюда священная обязанность, оскорбленная тѣнь моего единственнаго друга, и собственныя темныя, необъяснимыя надежды. Мы съ женой живемъ уже не для себя. Конечно, на старость намъ грѣшно пожаловаться, но есть обязанности.... Что́ слышно у васъ въ Троа́?... да кстати, что положилъ магистратъ по просьбѣ Антонія д'Авора?»

Эшевенъ Леро́ смутился....

— «Не скрывайте отъ меня, любезный Леро́, прошу васъ! Не все ли одно? Завтра я обо всемъ и самъ узнаю....»

— «Повѣрьте, Модюи, я представлялъ Прево, что разсмотрѣніе просьбы принадлежитъ не намъ, а парламенту, но Прево и нѣкоторые члены....

— «О не говорите! Я знаю ихъ....»

— «Впрочемъ, я не долженъ скрыть отъ васъ, Модюи, что просьба написана....»

— «А что?» прервалъ Людо: «Худо написана? Я надѣюсь, возбудила всеобщее удивленіе?»

— «Охъ нѣтъ, не совсѣмъ, то есть, если хотите, было и удивленіе, но.... я не смѣю.... право совѣстно....»

— «Говорите, говорите!...»

— «Найдена безтолковою, галиматьей, чепухой!»

— «Что? Безтолковой, галиматьей, чепухой! Просьба, написанная по великимъ образцамъ Демосѳена и Цицерона! По всѣмъ правиламъ Квинтильяна! О, я докажу этимъ невѣжамъ, что они рутинеры; завтра, въ парламентѣ, я самъ буду защитать твое дѣло, Антоній!... »

Людо схватилъ шляпу и ушелъ. На улицѣ онъ повстрѣчалъ Пуккара, который ходилъ взадъ и впередъ возлѣ воротъ Модюи и не зналъ, на что рѣшиться....

— «Ахъ г. Людо!» закричалъ Пуккаръ: «Умилосердитесь! Отдайте мнѣ моего Антонія!...»

— «Помилуйте! Я у васъ никогда не бралъ никакого Антонія и такого Автора незнаю. При томъ же, у меня правило: книгъ и денегъ въ займы не брать. А что касается до просьбы, я васъ попрошу завтра пожаловать въ Парламентъ

по утру въ часовъ десять. Вы услышите новаго Цицерона противу новаго Верреса....»

— «Ахъ г. Людо́, вы меня непонимаете! Отдайте моего питомца Антонія д'Авора, который осмѣлился обезчестить мой домъ, и теперь скрывается у сообщниковъ своего гнуснаго заговора...»

— «Какъ! Такъ Антоній соблазнилъ вашу дочь не одинъ, а вмѣстѣ съ другими. Это непростительно! Молодость! Не имѣетъ еще твердыхъ правилъ, но, впрочемъ, и вамъ нельзя вѣрить. Никому нельзя вѣрить, даже Титу Ливію. И тамъ много басенъ! Но Тита Ливія трудно подвергнуть критическому розыску, а вашу дочь можно. И я на этомъ настою завтра въ парламентѣ... Прощайте!»

— «Что такое? что такое?» кричалъ Пуккаръ: «Подвергнуть розыску дочь парламентскаго совѣтника! Впрочемъ, это выдумано не глупо! Это не Людо́ изобрѣлъ; его на такую юридическую хитрость нестанетъ; это лукавый Модюи; но постой же! Не отнимешь ты у меня ни одного су изъ достоянія Антонія! Оно удвоилось моею бережливостію; имѣнія устроились моими стараніями, всѣ счеты мои въ порядкѣ, а все таки ни су не отдамъ! Не выиграешь ты, проклятый, въ парламентѣ ни одного процесса. Президентъ — баба; другіе совѣтники — деньги любятъ; генеральный прокуроръ — новичекъ; пусть пріѣдетъ, приберемъ въ руки! Говорю тебѣ не отдамъ ничего! Умру прежде! Вотъ тебѣ!...»

Пуккаръ плюнулъ на ворота Модюи и ушелъ....

—

ГЛАВА VIII.

ОРАТОРСКАЯ РѢЧЬ.

Того же вечера пріѣхалъ въ Троа королевскій генеральный прокуроръ, г. де-Бри, уроженецъ Шампаніи, служившій съ честію на судебномъ поприщѣ въ Парижѣ. Ему уже было подъ 50 лѣтъ, но нравомъ де-Бри былъ веселъ, шутливъ и даже насмѣшливъ. Не смотря на усталость отъ дороги, прокуроръ не могъ уснуть; всѣ сановники, въ томъ числѣ и Пуккаръ, перебывали у него съ визитами и Троа успокоилось едва позднею ночью. Поутру парламентъ собрался раньше обыкновеннаго. Генеральный прокуроръ вступилъ въ должность. Засѣданіе открылось и — первый проситель былъ Антоній который явился въ парламентъ въ сопровожденіи Модюи, Поля, Гертруды, Лукіана и Рене. Прошеніе изумило генеральнаго прокурора, навело ужасъ на Пуккара и его сочленовъ; дѣло Антонія было изложено со всею юридическою сухостію, но подкрѣплено такими законами, доказательствами и свидѣтельствами, что не оставалось ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ плутовства не только Пуккара, но всего парламента и магистрата. Чтеніе просьбы приходило къ окончанію; въ заключеніе написано было, отъ имени Антонія д'Авора, что защиту своего дѣла онъ Антоній, поручаетъ парламентскому адвокату....»

— «Жану Батисту Людо!» закричалъ нашъ философъ, который въ это время пробивался сквозь

толпу просителей и любопытныхъ; пробился, взошелъ на адвокатскую каѳедру и возгласилъ такъ:

— «Quousque tandem, Catilina, abutêre patentia nostra? *) Если я говорю: Катилина, то прошу разумѣть Пуккара, который съ Катилиной имѣетъ великое сходство. Заговоръ, ужасающій человѣчество, едва не былъ приведенъ имъ къ постыдному исполненію. И онъ еще ходитъ между нами! И онъ живетъ еще къ вѣчному стыду Трои и Франціи, и генеральный прокуроръ все видитъ, парламентъ разумѣетъ, народъ вѣдаетъ, а сей живетъ! Живетъ! О времена! О нравы! Но, Катилина, пришелъ конецъ твоему безчестному торжеству; уста, никогда не осквернившіяся ложью, раскрылись и неумолкнутъ, пока обвиненіе и казнь твоя не совершатся. Удостойте, высокопочтенные судьи, обратить правосудное вниманіе на слѣдующія обстоятельства!...»

Людо хотѣлъ вынуть платокъ, чтобы отереть потъ, выступившій на челѣ его, но платка неоказалось.

— «Видно мальчишки украли!» сказалъ онъ въ полголоса, отеръ лобъ рукою и продолжалъ съ ораторскимъ жаромъ:

«Что можетъ быть для насъ драгоцѣннѣе гражданской свободы, даруемой каждому благодѣтельными законами; просвѣщенія, орошающаго душу небесной росою, и пользованія достаткомъ, пріобрѣ-

*) «Доколѣ, Катилина, ты будешь употреблять во зло терпѣніе наше?» Такъ переводилъ мой учитель.

теннымъ трудами или полученномъ чрезъ наслѣдство?!... Отымать то или другое или третіе — не есть ли преступленіе? Катилина стремился къ отнятію у Антонія д'Авора всѣхъ трехъ даровъ неба.... Онъ втройнѣ преступенъ и долженъ понести тройную казнь, т. е., быть повѣшенъ, обезглавленъ и сосженъ!! Но, приступая къ обличенію сего, неслыханнаго ни въ древней, ни средней ни въ новой исторіи тройнаго преступленія, съ которымъ трудно сравнивать даже злодѣйство Герострата, мы должны разсмотрѣть всѣ періоды сего заговора, продолжавшагося болѣе двѣнадцати лѣтъ. Во-первыхъ, обратимъ вниманіе: какимъ образомъ Катилина достигъ опеки, какимъ образомъ стремился отнять у питомца пути къ просвѣщенію, похитилъ свободу, присвоилъ достояніе....

— «На чемъ основалъ онъ притязаніе свое на опеку?... На запискѣ Адвоката Людо, который, по слабости памяти своей, не можетъ ручаться, точно ли говорилъ покойный на одрѣ смерти то, что въ памятной книжкѣ записано. По справкамъ, наведеннымъ мною сего дня ночью, оказывается, что Людо не могъ обратить вниманія на послѣднія рѣчи умирающаго и вовсе посторонняго ему человѣка, потому что въ это время Людо былъ занятъ гораздо важнѣйшимъ предметомъ, именно машиной для очистки бараньяго жира, машиной введенной нынѣ во всеобщее употребленіе. Но, какъ по опытамъ оказалось, машина эта требуетъ значительныхъ усовершенствованій, чѣмъ я и займусь, тотчасъ по окончаніи процесса съ Катилиной. ..

Явственно, что Людо́ не могъ съ точностью помнить словъ умирающаго, а магистратъ не могъ основаться на показаніи человѣка разсѣяннаго и совершенно оставившаго юридическое поприще. Магистрату слѣдовало собрать всѣхъ тѣхъ людей, кои съ покойнымъ имѣли какое либо обхожденіе, чего Людо́ не имѣлъ, а попалъ въ спальню умирающаго только изъ любопытства, какъ человѣкъ, наблюдающій всякія явленія природы. Но магистратъ сего неисполнилъ, утвердилъ безъ всякаго законнаго основанія опекуномъ Катилину, а сей угостилъ ихъ великолѣпнымъ завтракомъ и одарилъ, вещами принадлежавшими покойному, какъ то, Прево́ досталась карета г. д'Авора и четыре лошади; эшевенамъ: кому кабріолетъ, кому японская ваза, кому бильярдъ.... Завтракать, положимъ, еще позволительно, но ужъ такихъ подарковъ принимать магистрату не слѣдовало....»

Въ залѣ раздался одобрительный шепотъ. Пукаръ всталъ и хотѣлъ было что то сказать, но генеральный прокуроръ указалъ ему рукою на скамью, гдѣ обыкновенно сидятъ отвѣтчики: Людо́ закричалъ:

— «Умолкни, Катилина! Твой часъ ударилъ, мечь Немезиды надъ головой твоей!... Совершилось беззаконіе и шестилѣтній птенецъ очутился въ когтяхъ злобнаго коршуна! Катилина, встань и скажи намъ, какъ ты его воспитывалъ? Три года прожилъ онъ въ твоемъ домѣ; ты старался укрѣпить его здоровье, но за чѣмъ? Что бы долѣе наслаждаться доходами съ его достоянія. Но былъ

ли во всѣ три эти года букварь въ рукахъ Антонія, приходилъ ли къ нему какой либо учитель или посылалъ ли ты его самого въ школу? Скажи: зналъ ли Антоній хотя одну молитву; даже Pater Noster, который онъ выучилъ въ домѣ отца, былъ забытъ въ домѣ Катилины; съ утра до вечера, Антоній оставался на дворѣ, съ дѣтьми Генріэты, съ которыми онъ дрался, игралъ и даже нерѣдко спалъ съ ними на сѣновалѣ. Ужасающая картина! Я самъ нерѣдко сплю въ кухнѣ, но для ученыхъ наблюденій, не ради разврата и растленія нравовъ.... Подобное обхожденіе возбудило ропотъ горожанъ и сосѣдей.... Ты видѣлъ необходимость спрятать Антонія, ты вымыслилъ недугъ, котораго даже назвать не могъ, донесъ о томъ магистрату, а магистратъ, снова одаренный вещами изъ достоянія покойника, повѣрилъ Катилинѣ на слово, хотя и долженъ былъ прежде сдѣлать слѣдствіе, а потомъ уже утвердить его представленіе — и Антоній отправленъ былъ въ вѣчную ссылку и сданъ на руки женщинѣ, которой было поставлено въ обязанность воспитывать Антонія въ совершенномъ невѣденіи, не допускать къ нему кого бы то ни было, какъ эта женщина въ присутствіи вашемъ и засвидѣтельствуетъ. Вонъ она! — И на этомъ еще не остановилась злоба твоя, Катилина! Прошло слишкомъ шесть лѣтъ; совершеннолѣтіе Антонія приближалось и страхъ, преслѣдующій нечистую совѣсть, возмутилъ душу твою. Ты хотѣлъ похищеніе утвердить за собою всѣми законными формами, и магистратъ послалъ медиковъ удосто-

вѣриться въ слабоуміи Антонія. Дерзкій, онъ смѣялся надъ властію, онъ уже управлялъ ею! Медики принесли ложное показаніе, ложное, потому что слабоуміе не излѣчается, а Антоній нынѣ не слабоуменъ, слѣдственно вылѣчился; если и былъ боленъ, то ужъ вѣрно не слабоуміемъ!... Но онъ во все не былъ боленъ, а притворялся невѣжей, желая согласоваться съ желаніями опекуна, чтобы не огорчить человѣка, заступающаго мѣсто отца! Истинно умилительный примѣръ смиренія и доброты сердечной! Взглянемъ, на чемъ основали медики свое показаніе: На краткомъ разговорѣ; вотъ онъ:

Людо вынулъ лоскутокъ бумажки и прочелъ:

Медикъ: Въ какомъ государствѣ живешь ты?

Антоній: Не знаю.

Медикъ: Сколько свѣтилъ небесныхъ.

Антоній: Много; я несчиталъ ихъ?

Медикъ: А можешь ли счесть?

Антоній: Могу, да скучная работа....

Медикъ: Сколько тебѣ лѣтъ?

Антоній: Не помню. Я у себя на крестинахъ не былъ и т. д. и т. д. —

— «Гдѣ же тутъ слабоуміе? Невѣжество и только! Но сами скажите, достопочтенные судьи, кто виноватъ въ невѣжествѣ Антонія? Катилина! Тутъ кажется нѣтъ никакого сомнѣнія....

«Ударило юноши шестнадцать лѣтъ и онъ испивъ чашу горчайшаго притѣсненія въ свободѣ, по закону, счелъ себя вправѣ свергнуть тягостное иго. Переѣхалъ въ свой домъ, посѣтилъ семейство

опекуна, появился въ домѣ г-жи Модюи, которая, надо сказать правду, умнѣе всего Троа.... Для чего вы, гг. сановники, были приглашены къ обѣду? Неужели вы думаете, что бесѣда ваша приноситъ г-жѣ Модюи большое удовольствіе? Вы ошибаетесь! И моя — ей часто въ тягость.... Но я, повѣрьте, умѣю цѣнить ея самопожертвованіе. — Такъ для чего же васъ позвали обѣдать? Не для того ли, чтобы вы всѣ in corpore могли удостовѣриться въ подлогѣ Катилины лично, и вы слышали Антонія; многіе изъ васъ удивлялись уму его; другіе поспѣшили уйти, чтобы не видать, не слыхать упрековъ собственной совѣсти. Какъ же поступилъ магистратъ? Horrendum! Посадилъ въ темницу вотъ этого самого Поля и эту самую.... Ахъ, Боже мой, я позабылъ какъ ее зовутъ....»

— «Гертрудой!» закричало нѣсколько голосовъ.

«Да, Гертруду. За что? — Зато, что эта Римская чета была орудіемъ высшей воли, покровительствующей невиннымъ страдальцамъ и единственнымъ источникомъ просвѣщенія Антонія. Отъ чего же вы не посадили въ темницу моей библіотеки? Она преступна столько же, сколько и эта чета!....»

(Хохотъ и аплодиссементъ).

— «Мои книги читалъ Антоній, и если изъ него образовался добродѣтельный человѣкъ, то потому только, что въ моей библіотекѣ нѣтъ ни одной пустой книги. Допустимъ, что Катилина самъ собой ошибался: былъ убѣжденъ въ слабоуміи Антонія; то какже онъ не перемѣнилъ убѣжденія въ

теченіи послѣдующихъ трехъ лѣтъ, когда я самъ приводимъ былъ въ удивленіе необыкновеннымъ умомъ и способностями Антонія, какъ свидѣтельствуютъ многіе мои письма къ Жюсье, д'Аламберту и другимъ извѣстнымъ людямъ, въ конхъ я между прочимъ пишу: *Благодарю васъ за приглашеніе удостоиться чести быть вашимъ сочленомъ. До возвращенія г-жи Модюи, я не могу ни на что рѣшиться, и если она не поѣдетъ въ Парижъ, я останось въ Трои; безъ нея я не могу жить на этомъ свѣтѣ! Это идеалъ ума и добродѣтели! Это украшеніе Міра....* вотъ что я пишу! Да! а объ Антоніѣ: *Вмѣсто себя я вамъ скоро поставлю удивительнаго ученаго и убѣжденъ что Академія не будетъ въ потерѣ....* Вы знаете мое ученое самолюбіе и поймете, что такая похвала чего-нибудь да стоитъ. Какъ же Катилина ничего въ три года не замѣтилъ и спокойно владѣлъ чужою собственностію? Положимъ, что и въ эти три года, по собственному невѣжеству, онъ не могъ измѣнить своего убѣжденія; но если Катилина продолжалъ считать Антонія слабоумнымъ, за чемъ же допускалъ его къ сообществу съ своею женою и дочерью; слабоумный за свои поступки не отвѣчаетъ, и не только за обольщеніе дѣвицы, но и за смертоубійство не подвергается наказанію. По словамъ Катилины, такъ и случилось: Антоній обольстилъ его дочь и Катилина требуетъ, чтобы Антоній на ней женился. Видано ли, слыхано ли, чтобы отецъ насильно выдавалъ дочь свою за слабоумнаго.

«Пропускаю безъ вниманія картины, потрясающія человѣческую чувствительность, какъ напримѣръ, заключеніе Антонія въ темную комнату подъ замо́къ, равно доказательства глубокаго невѣжества самаго опекуна, который воспрепятствовалъ Антонію раздѣлить со мною славу ученаго опыта надъ морозною водою, въ которой человѣкъ можетъ пробыть ровно пять минутъ; такъ же усилія его не допустить Антонія къ воздушному путешествію, и тѣмъ лишить меня подъ облаками надлежащаго равновѣсія. Обращу ваше вниманіе только на послѣдніе подвиги Катилины. Испуганный прибытіемъ въ Трои г-на Модюи и генеральнаго прокурора, освобожденіемъ Поля и супруги его, видя приближеніе послѣдняго часа, скажи, Катилина, что дѣлалъ ты? Скажи, гдѣ ты былъ сегодня, съ кѣмъ имѣлъ обхожденіе, кого упрашивалъ, кого чѣмъ дарилъ, къ чему уговаривалъ? Уже не къ магистрату обратился ты, а пошелъ къ консулу, т. е. лучше сказать къ президенту и подарилъ ему....»

Людо́ сошелъ съ каѳедры, приблизился къ президенту, взялъ въ руки золотую драгоцѣнную табакерку, и поднявъ ее въ вверхъ, возгласилъ:

— «Вотъ, что ты подарилъ президенту!» Взгляните и судите сами; вотъ шифръ Казиміра д'Авора, вотъ гербы его!... O tempora, o mores!...»

Единогласное браво разразилось въ обширной залѣ, и сопровождалось продолжительнымъ рукоплесканіемъ; самъ Модюи хлопалъ. — Людо́, съ поднятою вверхъ табакеркою, стоялъ долго непо-

движный. Публика, полагая, что онъ намѣревается говорить, стихла, не безъ труда однакоже. Тогда Людо положилъ табакерку на мѣсто, взошелъ опять на каѳедру, и торжественно сказалъ: «Dixi!» Потомъ поклонился судьямъ, и ушелъ изъ парламента трагическимъ шагомъ, при громкихъ крикахъ и рукоплесканіяхъ публики.

Генеральный прокуроръ отпустилъ публику.

Модюи съ друзями своими нашелъ Людо у жены и бросился обнимать его....

— «Я имъ доказалъ....» кричалъ Людо: «что я умѣю защищать невинность; я не спалъ всю ночь; я ходилъ по слѣдамъ Катилины; я заглядывалъ въ окна; цѣлое утро перечитывалъ бумаги Поля.... А не уймутся, я ѣду въ Парижъ и представлю все дѣло первому министру, напечатаю весь процессъ. Я имъ дамъ за чепуху, галиматью и безтолковщину!... Изверги!»

— «Довольно будетъ и сегодняшняго урока...» замѣтилъ Модюи: «Я думаю имъ никогда неудалось посмотрѣться въ такое странное, но правдивое зеркало. Ваша рѣчь образецъ ораторскаго искусства.»

— «Надѣюсь! Тотъ же Цицеронъ, только я измѣнилъ нѣсколько порядокъ. Вы согласитесь, этого требовало существо дѣла. Признаюсь, я долго колебался между рѣчью за Росція и противу Катилины.... Но, увидавъ самаго Пуккара въ парламентѣ, я рѣшился.... Ну, теперь мы освободили Антонія отъ опеки; надо приниматься за вторую половины его жизни. Ужъ если помогать, такъ

помогать дѣйствительно, существенно, радикально. Да! Надо женить его, женить поскорѣе и само собою разумѣется, на Люціи, моей ученицѣ....»

Всѣ вздрогнули и обрадовались, только одинъ Модюи опечалился.

— «Что вы это хотите дѣлать, г. Людо?» сказалъ онъ съ грустію: «Такъ и про меня станутъ говорить, что я Катилина!»

— «А кто же это докажетъ, кромѣ меня? Я беру на себя защищать васъ! Будьте покойны! И мнѣ право иначе нельзя; я неимѣю столько времени, чтобы давать имъ уроки, каждому отдѣльно. А какъ женятся, тогда дѣло другое. Неизвольте г. Модюи капризиться; неизвольте стѣснять свободы.... Мы только что ее защищали, а теперь сами дѣлаемся Неронами, Геліогабалами! Впрочемъ это и не ваше дѣло. Антоній, говори правду: любишь ты Люцію, мою ученицу?»

Антоній молчалъ, жалобно глядя на Модюи.

— Антоній! Именами всѣхъ философовъ и ученыхъ, заклинаю, говори правду!...»

— «Г. Людо, подумайте!...» прервалъ Поль....

— «За чѣмъ думать, когда требуютъ правды! Думаютъ, когда хотятъ солгать; а тутъ, что на сердцѣ, должно быть и на языкѣ. Говори, Антоній, или прощай навѣки!...

— «Ахъ простите, простите, мой благодѣтель!» сказалъ Антоній, бросаясь къ Модюи: «Я несмѣю сказать, я боюсь васъ огорчить, но въ сердцѣ моемъ я не властенъ....»

— «Безъ отступленій, Антоній!» кричалъ Людо:

«Никогда не надо впутывать въ дѣло посторонних вещей! На прямки, любишь или нѣтъ?»

«Онъ уже сказалъ, г. Людо́....»

— «Вѣрно вамъ на ухо, г. Модюи. Все равно. Сказано! Ну, теперь ты Люція: любишь ли ты Антонія, моего ученика?»

Та перепугалась и бросилась на грудь матери...

— «И эта хочетъ сказать что-то по секрету. Да добьюсь ли я толку, господа! Что же вы, любите другъ друга? Хуже, если станете скрываться, потому что я, спасая Антонія отъ дочери Катилины, постановилъ женить его сегодня....»

— «Обожаю!» закричалъ Антоній.

— «Люблю!» сказала едва слышно Люція.

— «То-то-же!» возгласилъ Людо́ торжественно: «г. Модюи, сдавайтесь!...»

«Я согласенъ....» тихо произнесъ Модюи:» но...

Никто уже его не слушалъ; всѣ обнимались, цѣловались и плакали отъ радости. Людо́ также растрогался, давай обнимать всѣхъ и единственный разъ въ жизни вкусилъ сладость поцѣлуя съ устъ любимой женщины. Но, смѣю поручиться, тутъ не было умысла; Людо́ былъ увлеченъ общею радостію и въ этомъ поцѣлуѣ излилась только одна пріязнь....

— «Но... » повторилъ Модюи, когда восторги нѣсколько поутихли: «пожалѣйте и меня! Сохраните все это въ тайнѣ, пока не кончится процессъ, а Люція не встрѣтитъ пятнадцатаго своего года...»

— «Пожалуй, пожалуй!» кричалъ Людо́: «Я на все согласенъ, только чтобы свадьба была сегодня...»

Пріѣздъ генеральнаго прокурора прервалъ эту сцену. Онъ объявилъ о постановленіи парламента, вполнѣ согласномъ съ справедливостью, заявленіи и требованіями Антонія. По словамъ его, приговоръ этотъ будетъ приведенъ въ исполненіе завтра и завтра же Антоній можетъ вступить во владѣніе своею собственностію.... Между тѣмъ подали завтракъ; Люція стала приглашать прокурора позавтракать вмѣстѣ.

— «Не могу, не смѣю!» отвѣчалъ де-Бри улыбаясь: «Боюсь г-на Людо.»

— «Это почему?»

— «Онъ пожалуй обвинитъ и меня въ пристрастіи.»

— «Да вы развѣ Катилина? Не бойтесь, г. прокуроръ, не бойтесь! Кушайте себѣ на здоровье! Я и самъ ужасно проголодался. Удивляюсь, какъ древніе ораторы могли говорить по три по четыре часа сряду и на тощакъ!»

— «На тощакъ!»

— «На тощакъ, для чистоты голоса! Я сдѣлалъ сегодня тоже и, не правдали, голосъ у меня былъ чистый, звучный, мягкій.... Но за то теперь ужасно ѣсть хочется. Прощайте!»

На другой день къ Людо явился давно невиданный цирюльникъ; по прежнему нарядилъ философа и напомнилъ, что онъ обѣщалъ сегодня поутру навѣстить г-жу Модюи....

— «Благодарю тебя, мой другъ, я было совсѣмъ забылъ....»

И Людо вышелъ на улицу, но тамъ было ужас-

ное стеченіе народа; магистратскій швейцаръ стоялъ на крыльцѣ; но его въ домъ не пускали. Дали знать Превò и генеральному прокурору; оба пріѣхали, но двери не отворялись; изъ мезонина въ окно выскочилъ розовой чепецъ съ тюльпанами...

— «Г-на Пуккара....» сказала нарядная хозяйка: «нѣтъ дома!»

— «Все равно!» отвѣчалъ де-Бри: «Потрудитесь отворить двери; магистратской швейцаръ отдастъ бумаги вамъ, а вы ихъ передадите мужу!»

Окно внизу отворилось и раздался голосъ Пуккара: «Жена, не смѣй принимать бумагъ! Не твое дѣло!» и окно захлопнулось....

— «Да и не могу, если бы и хотѣла. Я, Эмилія, служанка, Піерръ, мы всѣ со вчерашняго дня заперты на ключь въ этомъ мезонинѣ и непонимаемъ, что все это значитъ?»

— «А вотъ мы сейчасъ узнаемъ!» сказалъ прокуроръ: «Ломай двери!»

Двери были сломаны, но и это не помогло; надо было ломать шесть дверей, пока достигли до той комнаты, гдѣ нѣкогда сидѣлъ въ заключеніи нашъ Антоній.

— «Перестаньте дурачиться, г. Пуккаръ!» сказалъ Людò: «Мы всѣ здѣсь. Не увернетесь. Извольте отворить двери!»

— «Низачто!» раздался изъ-за-дверей отчаянный голосъ Пуккара: «Что жъ вы это думаете, что я напрасно трудился двѣнадцать лѣтъ, чтобы въ одинъ день отдать даромъ молокососу, дурачку, все мое стяжаніе?! Слышите, это золото! Слы-

ните, это серебро! слышите! Видите, вотъ пукъ государственныхъ квитанцій, вотъ другой! Видите! А вотъ всѣ мои бумаги, вотъ тутъ у сердца! Ничего не получите! Ступайте вонъ! Слышите, вонъ!»

— «Краснорѣчивый человѣкъ!» замѣтилъ Людо: «Выражается съ жаромъ и чувствомъ.»

— «Но поступаетъ какъ жидъ!» отвѣчалъ де-Бри: «Ломайте двери!

— «Не троньте!» закричалъ Пуккаръ «А не то, я повѣшусь!»

— «Погодите! Г. Пуккаръ, погодите!» возопилъ Людо: «дайте выломать двери. Право, я никогда не видалъ, какъ люди вѣшаются....»

Но раздался стукъ лома; двери были желѣзныя; за дверьми послышалось хрипѣнье; удары лома усилились; дверь лопнула; Пуккаръ исполнилъ слово и уже висѣлъ бездыханный на крючкѣ отъ картины; подъ ногами его лежалъ опрокинутый стулъ; въ обѣихъ рукахъ держалъ онъ пучки векселей и другихъ денежныхъ бумагъ; одна, какъ оказалась, самая значительная вылетѣла изъ устъ его вмѣстѣ съ душою. Пуккаръ казался отмѣнно дороднымъ, не смотря на то, что кафтанъ его былъ плотно застегнутъ на всѣ пуговицы.... Люди бросились снимать Пуккара съ крючка.

— «Не трогайте, не трогайте!» кричалъ Людо: «Дайте мнѣ сдѣлать всѣ нужныя наблюденія. Это явленіе въ высшей степени любопытно!»

Но никто не слушалъ философа. Трупъ Пуккара сняли; разстегнули кафтанъ и съ груди его посыпалось множество бумагъ; въ томъ числѣ и дѣй-

ствительное завѣщаніе Казиміра д'Авора, котораго Пуккаръ не уничтожилъ, потому что въ этомъ завѣщаніи, написаномъ на имя Модюи, находилось подробное исчисленіе не только богатствъ покойнаго, но и всѣхъ большихъ и малыхъ дѣлъ его. Не малаго труда стоило освободить изъ окостенѣвшихъ рукъ Пуккара векселя и билеты. Медицинскія средства оказались безполезными и трупъ Пуккара переданъ на руки отчаянной женѣ и дочери. Комната съ бумагами и большею частію достоянія Антонія опечатана и всѣ разошлись. Законныя формальности задержали дѣло еще на нѣсколько времени. Наконецъ, въ день рожденія Люціи второй, по-утру, въ присутствіи генеральнаго прокурора, Модюи, Людо, многихъ сановниковъ и Поля, — Антоній былъ введенъ во владѣніе домомъ и всѣмъ имуществомъ своего отца. — Антоній просилъ, чтобы этотъ драгоцѣнный день позволено было отпраздновать въ его домѣ. Модюи легко на это согласился. Поль и Гертруда принялись за хозяйство и пиръ отошелъ на славу... Поздно ввечеру въ сосѣднемъ домѣ, послышалась музыка. «Что это значитъ?» сказалъ Людо и, по привычкѣ, отправился узнать въ чемъ дѣло. Домъ Пуккара былъ освѣщенъ; Людо нашелъ тамъ много гостей, а хозяйку въ цвѣтахъ.

— «Поздравьте меня, г. Людо!...» кричала она.

— «Съ чѣмъ, г-жа Пуккаръ?»

— Я уже не г-жа Пуккаръ. Я не могла снести этого ненавистнаго имени и вышла за мужъ за г. Серсо. Онъ тоже должностной человѣкъ, но

очень молодъ и бѣденъ.... Я сжалилась надъ его бѣдностью и надъ пламенною его страстью...»

— «А гдѣ же дочь Катилины?»

— «Эмилія, хотите вы сказать? О, она еще на прошедшей недѣлѣ сбѣжала съ морскимъ офицеромъ. Скоро она ему надоѣстъ; вы увидите, онъ броситъ ее въ воду; туда ей и дорога!...»

— «О! Это Катилина въ юбкѣ!» сказалъ Людо и поспѣшилъ удалиться.

Наступилъ и день свадьбы Антонія съ Люціей. Послѣ церемоніи, за великолѣпнымъ ужиномъ, Антоній обратился къ Полю, который сидѣлъ возлѣ него, по правую руку....

— «Милый другъ и наставникъ!» сказалъ Антоній: «Благодарность моя безконечна; но я желалъ бы, чтобы ты принялъ отъ меня что нибудь, какъ знакъ, какъ памятникъ моей признательности, не для тебя, — я знаю ты во мнѣ увѣренъ, — но для другихъ.—Ты не откажешься!...»

Поль молча пожалъ ему руку.

— «Жужу — твое!» сказалъ Антоній: «Пусть оно напоминаетъ всѣмъ и каждому твой великій подвигъ. Друзья мои, Лукіанъ и Ренé, поступятъ вмѣстѣ со мною на службу и не будутъ оставлены; а вамъ, г. Людо, на память, я досталъ первое изданіе Цицерона....»

— «Котораго года?»

— «Ну, ужъ этого теперь не вспомню, но знаю что это первое изданіе Павла и Альда Мануціевъ!..»

— «Что я слышу? И ты не шутишь? Ты даришь?!.. О я счастливѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ!»

И Людо почувствовалъ отъ удовольствія сильный аппетитъ, съѣлъ двѣ булки и выпилъ вина до трехъ бутылокъ. Наступила послѣдняя минута, молодые отправились въ спальню.

На другой день рано по утру, когда молодые, въ присутствіи Модюи, его жены и домашнихъ, сидѣли за завтракомъ, вошелъ Людо, съ огромной книгой подъ мышкой.

— «Кушайте, кушайте поскорѣе...» сказалъ онъ: «Пора приниматься за Софокла!»

Всѣ разсмѣялись и съ трудомъ убѣдили его отложить ученіе на мѣсяцъ....»

— «Хорошо, хорошо!» сказалъ онъ: «Но, когда минетъ мѣсяцъ, уроки пойдутъ по два раза въ день, для вознагражденія потеряннаго.»

Людо сдержалъ слово. Но ни Антоній, ни Люція не жаловались на учителя и съ удовольствіемъ занимались Греческой поэзіей... Дальнѣйшую жизнь всѣхъ нашихъ героевъ можно назвать Аркадскою; ничто не нарушало ихъ спокойствія; многіе называли ихъ всѣхъ—колоніей добродѣтельныхъ счастливцевъ. Уже и въ глубой старости Людо не оставлялъ своихъ странностей и постоянно, безъ измѣны, любилъ свою Люцію. На смертномъ одрѣ, въ маститой старости, онъ почиталъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ, потому что Люція, также уже порядочная старушка, сидѣла у его постели. 1771 года, 11 Января въ 9 часовъ вечера, Людо приподнялся не безъ труда на своей постели:

— «Ахъ Боже мой! Я забылъ....»

— «Что такое?» спросила Люція.

— «Какъ это досадно! Въ рѣчи моей противъ Катилины, я забылъ сказать....»

— «Что вы забыли сказать?»

— «Послѣ вспомню!...» Людо легъ и уснулъ на вѣки.

НОВЫЙ ГОДЪ.

Историческій разсказъ.

—

I.

ЗНАКОМСТВО.

Horrenda visu et auditu tragœdia, какъ говоритъ Корбе, кончилась. Стрѣльцевъ не стало. Бояринъ Шеинъ смирилъ послѣднюю стрѣлецкую бурю; но, дозволивъ себѣ жестокости, поплатился за нихъ бородою, въ присутствіи самого Государя, Петра Алексѣевича. Царь вчера только, двадцать четвертаго августа, прибылъ въ Москву изъ перваго своего путешествія. Прошло нѣсколько часовъ, и ему были подробно извѣстны всѣ обстоятельства дѣла, всѣ отрасли преступныхъ намѣреній, всѣ соучастники, вмѣшательство даже царицы и тогда еще невинное участіе шести-лѣтняго сына. Меньшиковъ въ это время былъ уже въ силѣ и управлялъ домашними дѣлами Государя. Поздно ввечеру пріѣхалъ Государь изъ Москвы въ Преображенское. У воротъ смѣняли часоваго. *Новый* сдѣлалъ на Государя пріятное впечатлѣніе, по благородному виду и важной осанкѣ.

— «Какъ тебя зовутъ?» спросилъ Государь.

— «Александрой...» отвѣчалъ часовой.

— «Хорошее имя. А по отцу?»

— «Ивановымъ.»

— «Не дурно. А есть прозвище?»

— «Дворянинъ безъ прозвища, павлинъ безъ хвоста...» отвѣчалъ часовой.

Государь разсмѣялся и кликнулъ сержанта: «Анкудимовъ, поставь другаго часоваго, этотъ мнѣ нуженъ. Александро Ивановичъ, ступай за мной!»

На крыльцѣ встрѣтили Государя Головинъ, Лефортъ, Карловичъ и Меньшиковъ.

— «Данилычъ! я тебѣ тезку привезъ. Знатной будетъ денщикъ..... Ужинать!»

И всѣ удалились, кромѣ Меньшикова и новаго денщика...,

— «Ступай въ избу!» сказалъ Меншиковъ: «Вѣдь тебѣ не сегодня очередь. Погости, да къ службѣ присмотрись!»

— «А въ чемъ служба? Потѣшную я знаю; а въ царскихъ хоромахъ не бывалъ. Знашь, Данилычь, али какъ тебя тамъ зовутъ: мнѣ въ избу не хочется! Тутъ слуга, тамъ солдатъ; тутъ на посылкахъ, тамъ на честномъ дѣлѣ; тутъ ночи безъ очереди не спи, тамъ очередь, что молитва. Скажи Государю, что въ денщики не хочу. Когда бы зналъ, отъ воротъ бы не пошелъ; мать и отецъ меня въ капитаны прочили, а не въ истопники. Слышь, Данилычь, или какъ тебя зовутъ: поди, доложи!»

— «Ты съ ума спятилъ, тезка! Да вѣдь если я твои рѣчи Государю передамъ, такъ тебя, зна-

ешь, куда: къ Прозоровскому отошлютъ, подъ стрѣлецкій указъ подведутъ какъ ослушника.»

— «Я не ослушникъ, а челобитчикъ; ты только ступай, доложи. Ты развѣ не докладчикъ, что ли? Есть старшіе? Такъ ты поди, старшимъ скажи, а я отъ своихъ словъ не отступлюсь.»

— »Глупая ты голова....»

— «Слышь, не ругайся! Ты кто таковъ? Я солдатъ, да всё таки дворянинъ. Такъ не изволь важничать; а теперь, я пока и не солдатъ, и всё таки дворянинъ. Такъ бережно, гляди!... А не хочешь докладывать, такъ я и грамотѣ знаю, напишу.»

— «Э! такъ ты съ норовомъ. Постой же, я тебя! Ступай въ избу, да тамъ и жди Государева отвѣта.»

— «Я и здѣсь обожду.... Тутъ по-слободнѣе.»

Меньшиковъ ушелъ. Не прошло пяти минутъ, Государь съ собесѣдниками вышелъ на крыльцо.

— «Что ты это, Александръ Ивановичъ, противу милости упрямишься?» спросилъ Государь.

Солдатъ повторилъ свою просьбу.

— «Правъ Данилычъ!» отвѣчалъ Государь: «Глупая ты голова. Изъ солдатъ дай Богъ до капитана дотянуть, а изъ денщиковъ и до генерала не далеко. Ступай! Только усердно да исправно служи, генераломъ сдѣлаю.»

— «Стыдно тебѣ, Государь, бѣднаго дворянина въ дураки сажать. Ну, статное ли дѣло, чтобы Сашкѣ, сыну дворянки, у которой приданаго три угла въ трехъ крестьянскихъ домахъ, а у отца огородъ въ десятину, генераломъ быть!»

— «А въ чьихъ рукахъ генеральство?» спросилъ Государь.

— «Въ Божьихъ.»

— «Какъ въ Божьихъ?»

— «Да если Богъ не пошлетъ солдату пушку взять, такъ не быть ему капраломъ, а и подавно сержантомъ; а не попуститъ у Турки знамя съ древка сорвать, такъ не быть ему офицеромъ; а не дастъ ему города, не дастъ и капитанскаго чина; безъ большой побѣды и самъ царь его генераломъ не сдѣлаетъ.»

— «Умная ты голова, да царскаго дѣла не знаешь.»

— «Вѣстимо, не знаю, не мое дѣло.»

— «Ну, такъ слушай. Быть тебѣ генераломъ за службу: не изъ милости али прихоти, а за добрыя и честныя заслуги.»

— «Вотъ такъ, пожалуй, идетъ!»

— «Такъ ступай же на службу, безъ очереди.«

— «На первыхъ порахъ учи, Государь; а тамъ и самъ, съ помощью Божіей, смѣкну.»

—

II.

СЛУЖБА.

Тяжкую службу понесъ Александро Ивановичъ! Съ утра до вечера при Государѣ, безъ очереди; ночью вставай, подавай доску и грифель: Государь что-то новое придумалъ; поутру сходи въ такой приказъ, да развѣдай про плутовство подьячаго, да на обумъ, ради выслуги, не доноси, а

узнай докладно, чтобы Государя въ обманъ не ввести. А Царь—земной Богъ на Руси: второй разъ послѣ Бога людей творитъ. Былъ Данилычъ потѣшный солдатъ: надо, за умъ, смѣтку, изъ него думнаго боярина сдѣлать; тутъ простой нѣмецъ подвернулся, Государь взглянулъ въ душу и смекнулъ: быть ему храбрымъ воеводой; тамъ въ лавкѣ сидѣльника встрѣтилъ; знаю, знаю, говоритъ Государь, знатный будетъ посолъ. На то царское дѣло; людей искать, да на иску на людей попадать, чтобы разумомъ и волею были богаты, царскому дѣлу помогать охочи. Ступай, Александро Ивановичъ; старый бояринъ спѣсивится, скажи ему горькою правду, а нужно, бороду сними! — Тамъ старый рубль чванится, ходитъ по міру, да хвастаетъ, что ему, рублю, за сто лѣтъ. Поди, Александро Ивановичъ, старый рубль свѣсь; старъ-то онъ старъ, да рублеваго вѣса въ немъ не хватаетъ; лѣтъ много, серебра мало. А тамъ въ полку невзгода, зеленымъ сукномъ конницу, вмѣсто синяго, бояринъ обидѣлъ: розъищи, что боярину на умъ пришло государевъ указъ оборачивать?... А тамъ цесарскій посолъ пріѣхалъ.... Поди, Александро Ивановичъ, озаботься, чтобы для посла избу вымели, пологи повѣсили, ковры подослали, бочку стараго меда, да бочку добраго пива, да заморскихъ винъ малую толику къ послу на погребъ втащили; да присмотри за всѣмъ своими глазами. На то ты царскій ближній денщикъ, не поденщикъ. Царскій трудъ — твой трудъ. Царское веселіе — твое веселіе.... Что безъ работы си-

дишь? Вотъ тебѣ клееная бумага, вотъ тебѣ порохъ: ракеты и бураки дѣлай. Скоро новый годъ, сентябрь на носу. Государь огнемъ тѣшить и себя и православныхъ будетъ.... — Государь пріѣхалъ, въ рабочую пошелъ, бумаги привезъ. Ступай, Александро Ивановичь читать да писать: на то тебя отецъ и мать грамотѣ учили.... — И умное слово Царю любовно. Видишь, слушаетъ; а тамъ, гляди, и послушался, и потвоему писать велитъ отповѣдь думѣ царской.... — Пришелъ и Лефортъ и Головинъ и Александро Ивановичъ и ну служить: часы завелъ; то и дѣло луковицу свою вынимаетъ, въ часъ семъ дѣлъ дѣлаетъ, въ день годъ служитъ; до того дошелъ, что Государь глазкомъ мигнетъ, а у Александры Ивановича ужъ и дѣло на столѣ: знай только подписывай!... Стали бородатые бояре съ Александрой Ивановичемъ разговаривать. «Э, дѣти!» подумалъ отъ:» не велика въ рѣчахъ вашихъ честь послѣ царской рѣчи...» Стали бояре и покланяться, а онъ только приговариваетъ про себя: «Пониже, пониже! Не мнѣ вы кланяетесь, а милости царской!» Стали и челобитчики — проселками къ нему заходить: то шубку соболью подъ полой занесутъ, то посудину серебряную; а онъ за ухо выдеретъ, да въ сѣни и проводитъ, а Государю и не сказываетъ; за чѣмъ людей несчастныхъ еще больше несчастными дѣлать? Вѣдь съ подаркомъ не всегда идетъ виноватый; часто, съ горя да бѣды, грѣхъ на умъ взойдетъ и правому. Александро Ивановичъ подмѣтилъ, что правый въ та-

кой соблазнъ лѣзетъ, когда судьи неправы, и Государю не говорилъ, а думалъ: «За такой грѣхъ челобитчика, съ судей бы слѣдовало взыскивать...» Умный былъ Александро Ивановичь и стала милость Государева къ нему больно велика, а онъ, бѣдняга, всё денщикомъ оставался. Пришло дѣло къ расчету.

—

III.

МАРІЯ АНДРЕЕВНА.

Громы, потрясшіе Россію нравственно, уже раздавались. Указъ за указомъ, по всѣмъ концамъ разнонароднаго и разнообычнаго царства, ломали дряхлую старину и омертвѣлыя части стали оживать и сближаться. Богу единному на небесахъ, да единному на землѣ было извѣстно, что творится въ пятой части свѣта. Кругомъ тоска и смута. Даже приближенные нерѣдко качали головами, читая царскіе указы о рекрутскомъ наборѣ, о гербовой бумагѣ, о бородѣ, о путешествіяхъ и другіе, принадлежащіе къ этому времени. Но Александро Ивановичъ не считалъ себя въ правѣ качать головою надъ тѣмъ, что было уже подписано державною рукою Преобразователя, и часто говорилъ сомнѣвающимся: «Не умничайте! Даромъ разумъ расходуете; лучше его сберегите на то, какъ бы получше исполнить, что указано.»

И на долю Александра Ивановича достался день льготный, первый день сентября, первый день новаго года. Государь съ утра уѣхалъ съ Голови-

нымъ въ Москву, къ боярину Шеину. Александръ Ивановичъ, тотчасъ послѣ отъѣзда Государева, вынулъ новый казенный мундиръ, который изъ милости сшилъ ему Головинъ, бывшій не задолго предъ тѣмъ генералъ-кригскомиссаромъ; тщательно почистилъ его царскою щеткою, вылощилъ ботфорты, и, одѣвшись какъ слѣдуетъ, по-праздничному, отправился на Красную Площадь. Народъ стоялъ въ глубокомъ унынiи, ожидая царскаго поѣзда изъ палатъ боярина Шеина въ Успенскiй Соборъ. Причинъ народной скорби было много: тысячи родственниковъ изъ стрѣльцовъ погибли на плахахъ; тысячи въ темницахъ ожидали неминуемой казни; многiе изъ не-стрѣльцовъ были соприкосновенны къ постыдному стрѣлецкому бунту, по родству, пріязни или глупости. Другая причина, едва-ли не сильнѣе прочихъ, огорчала глупый и невѣжественный народъ: война, объявленная бородамъ и старому платью, наводила паническiй ужасъ; многiе держались за бороды, какъ-будто опасаясь, чтобы царскiй шутъ въ тихомолку не подкрался и не лишилъ ихъ сокровища. Наконецъ чернь на площади не видѣла двумѣстнаго трона для Царя и Патрiарха, обыкновенной принадлежности перваго дня новаго года. Смѣсь ужаса и удивленiя двигала волнами народа: то пестрыя волны черни приливались къ дому боярина Шеина, то вся толпа пятилась назадъ, при малѣйшемъ движенiи на дворѣ боярина. Наконецъ раздались колокола, и народъ, безъ шапокъ, повалился на землю. На ногахъ остались только солдаты но-

выхъ полковъ, которые, не бывъ въ тотъ день на службѣ, пришли поглядѣть на празднество. Между старыми своими товарищами, стоялъ и Александръ Ивановичъ.

Государь шелъ пѣшкомъ, и велъ за руку шестилѣтняго сына; за нимъ шла царица Евдокія Ѳеодоровна, въ костюмѣ, составлявшемъ смѣсь европейскаго съ азіатскимъ; за нею, по-парно, слѣдовали дамы новаго двора, въ европейскихъ костюмахъ, безъ покрывалъ; за ними, бояринъ Шеинъ, первые чины, генералы и офицеры, наконецъ, разной формы и разной упряжи экипажи. Громкое «ура» привѣтствовало Государя; но когда русскія барыни показались безъ покрывалъ, въ невиданныхъ платьяхъ, а еще болѣе когда увидали боярина Шеина и нѣкоторыхъ другихъ сановниковъ безъ бородъ, громкія восклицанія радости превратились въ глухой и единоустный стонъ. Во многихъ мѣстахъ раздался плачъ и рыданія. «Ахти, Господи!» всхлипывая, кричала старуха изъ народной толпы: «какъ нашего бѣднаго боярина окарнали по-нѣмецкому!...»

Государь, проходя мимо солдатскаго кружка, дружески кивнулъ головой, приговаривая: «Съ новымъ годомъ, товарищи!» Царица Евдокія Ѳеодоровна отвернулась отъ нихъ и плюнула въ противную сторону, полагая, что повстрѣчалась съ Нѣмцами, главными виновниками неудовольствій, возникавшихъ между вѣнценосными супругами, потому что всѣ нововведенія приписывались членами царской фамиліи женскаго пола вліянію гостей

заморскихъ. Сестры и тетки Государя также прошли отвернувшись. За ними шли попарно, какъ мы уже сказали, дамы новаго двора. Съ покрываломъ не могла слетѣть такъ скоро съ русскихъ женщинъ и дѣвушекъ укорененная воспитаніемъ застѣнчивость: всѣ до одной проходили въ толпѣ народной, опустивъ глаза и головки, но красныя обшлага синихъ мундировъ уже начинали имѣть свое магическое вліяніе, подобно золотому шитью и эполетамъ временъ позднѣйшихъ: всѣ до одной изъ подъ густыхъ рѣсницъ взглянули на кружокъ потѣшныхъ, и были испуганы дерзостью молодежи, которая смотрѣла на нихъ въ оба.

— «Всѣхъ знаю!» сказалъ солдатъ преображенскій, князь Лука***

Прочіе посмотрѣли на него съ почтеніемъ; Александро Ивановичъ съ недовѣрчивостью. Солдатъ того же полка, Гульминъ, сказалъ съ улыбкой: «Вотъ, я думаю, Александро Ивановичъ такъ и плясалъ уже совсѣми съ ними.

— «Что я за плясунъ такой?» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ: «На то Государь держитъ особую челядь, въ чулки въ башмаки одѣваетъ; а мы денщики — народъ сапожный: по угламъ стоимъ, когда плящутъ. Да и смотрѣть не приходится. Чего добраго! Вотъ чортъ и попуталъ, взглянулъ, и самъ не радъ. Важная барыня! Перестану думать. Не дай Господи, еще приснится....

— «А которая это, Александро Ивановичъ, вамъ приглянулась?» спросилъ Гульминъ.

— «Отвяжитесь вы, зубоскалы! Чего добраго,

еще разболтаете, на смѣхъ подымутъ; а надъ служебнымъ человѣкомъ до смѣха не допускай...»

— «Да мы и такъ знаемъ, которая?» сказалъ князь.

— «Да что ты, князь, колдунъ, что-ли?»

— «Колдунъ ли, нѣтъ, а знаю. Въ третьей парѣ, съ лѣваго боку: такъ и сгорѣла дѣвка, какъ Александра Иваныча увидала.»

— «Да говорю вамъ, отвяжитесь! Что за шутки, право, прости Господи....» покраснѣвъ, говорилъ денщикъ.

— «Да что худаго? Нынче, дай Богъ здоровья батюшкѣ Государю, любиться всякому можно. Не то, что прежде! А Марья Андреевна — кровь съ молокомъ.»

— «Говорятъ тебѣ, не та!» съ запальчивостью сказалъ Александръ Ивановичъ: «Та по-выше...»

— Ростомъ....» отвѣчалъ неотвязный князь:» да не родомъ. Отъ Марьи Андреевны, слышишь братъ, отваливай! Такая невѣста и князю въ пору.»

— «Слышишь, Орловъ?» сказалъ Александръ Ивановичъ, обратясь къ молодому, красивому солдату: «Видно, на мое вышло. Князь-то всѣхъ знаетъ; вотъ, его Марья Андреевна и пришибла. Пойдемъ, Орловъ; что глядѣть даромъ!

— «Да ужъ у Марьи Андреевны взятки гладки!» говорилъ князь вслѣдъ отходящимъ:» Видишь, царскою милостью какъ его чванится. Дай только Богъ въ сержанты, а тамъ и въ женихи.... А денщику въ боярскомъ домѣ честные проводы, да коробъ шутокъ, что орѣховъ. Щелкай на здоровье!»

— «Куда ты?» спросилъ Орловъ, видя что Александръ Ивановичъ поворачиваетъ къ Кремлю.

— «Да хотѣлъ-было въ Успенскій. Статься-можетъ, Государь....»

— Или Марья Андреевна, не такъ ли?» перебилъ Орловъ: «Пойдемъ лучше къ Пятницѣ: тамъ купечество, да наши дворяне служебные, да приказные. И по-вольнѣе обѣдню слушать....»

— «Пойдемъ!» грустно отвѣчалъ Александръ Ивановичъ.

Но у Параскевы Пятницы народъ и на паперти тѣснился. Церковь биткомъ набита; новымъ гостямъ не было мѣста.

— «Пойдемъ къ Казанскій!» сказалъ Орловъ.

— «Нѣтъ! «отвѣчалъ Александръ Ивановичъ:» и тамъ, чай, полно; вездѣ церковь, только молиться умѣй.»

И, снявъ шляпу, онъ сталъ противъ дверей.

—

IV.

СДѢЛКА.

— «Ну, куда теперь?» спросилъ Орловъ послѣ отпуска, когда народъ сталъ расходиться.

— «Куда? Погулялъ; пора домой, въ Преображенское....

— «Что ты это, Александро! Гляди, заслужишься! Новый годъ надо по-русски встрѣтить.... Пойдемъ къ Лукинишнѣ, въ харчевню.»

— «Что ты это, Богъ съ тобой!»

— «Да вѣдь это дворянская харчевня....

— «Да хоть разбоярская! Всю службу въ одинъ день опозоришь, а дѣло идетъ къ расчету. Нѣтъ, братъ, въ Преображенскомъ Александръ Данилычъ, ради новаго года, нити съ ветчиной и съ уткой приказалъ отварить, да не безъ жареннаго, и не безъ вина. Я думаю, сегодня противъ порціи дадутъ.... Да правду молвить, и денегъ ни гроша.»

— «Неужто?»

— «А ты думалъ!... И прибавки не дали; все попрежнему. На семи рубляхъ жалованья вотъ ужъ сколько маячусь.. .»

Въ это время выходили почетные прихожане, между ними и купецъ Петровъ.

— «Захарій Ивановичъ! Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастіемъ?» сказалъ Орловъ, протянувъ руку.

— «Милости вашей, честной господинъ, всякаго благополучія!» отвѣчалъ Петровъ, низко кланяясь.

— «Вотъ старой мой товарищъ, Александро Ивановичъ, Государевъ денщикъ....»

Петровъ чуть въ ноги не повалился и никакъ не рѣшался подать руки такому важному человѣку.

— «Просимъ миловать и жаловать меня, слугу вашего!» повторялъ онъ, продолжая кланяться.

— «Полно, дядя, чиниться!» сказалъ Орловъ: «Мы люди простые, вашихъ уважаемъ и за васъ служимъ на Государевой службѣ. Сдѣлай дружбу, шапку надѣнь: вѣдь даромъ что лѣто, а свѣжо.»

— «Ужъ это я и женѣ и дочери говорю, что каковъ ты, батюшка, такъ изъ дворянъ другаго не поставишь!» отвѣчалъ Петровъ: «А что, господа?

Уважьте старика! Вѣдь вы на Москвѣ, что сироты; чай, роденька далеко, а живете въ царскихъ домахъ словно въ богадѣльнѣ, такъ не побрезгайте новый-то годъ новой капустой, да изъ новаго хлѣба пирогомъ со мною отпраздновать, а ради добрыхъ гостей, я и къ Нѣмцу зашлю, шпанскихъ винъ закупить; да и у меня на погребу, чай, найдется бутылка, другая, старой мальвазіи.»

— «А что, Александро?» спросилъ Орловъ.

— «Отъ хлѣба-соли не бѣгаютъ!» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ; и всѣ трое пошли на Покровку.

Каменный домъ съ четырьмя деревянными рѣзными столбами, высокій каменный заборъ или просто стѣна, желѣзныя ворота, на дворѣ въ кружокъ желѣзныя двери, ясно говорили и о достаткѣ Петрова и о предосторожности его сохранить свое богатство во времена смутныя, когда стрѣльцы, пошаливая, обращали цѣлыя улицы въ печальныя пепелища. Хотя у купца Петрова была между стрѣльцами и роденька, а одинъ изъ близкихъ былъ даже въ полковникахъ, но предусмотрительный Петровъ плохо надѣялся на защиту родни, которая свыклась съ ножемъ, виномъ и плахой, и въ два года построилъ свою крѣпостцу. Берегъ онъ въ ней бархаты венецейскіе, сукна алыя, шелки персскіе; берегъ онъ въ ней жемчужину единородную и дородную, Акулину Захарьевну, и этого товара любопытнымъ купцамъ не показывалъ: женишка пріискивалъ въ тихомолку, лѣтъ будетъ семь, восемь. Кулиночка толстѣла, приближаясь къ третьему десятку, но Захарій Ивановичъ не унывалъ, погля-

дывая на желѣзныя двери своихъ анбаровъ. «Вѣчная молодость!» говорилъ онъ каждый вечеръ, обходя съ фонаремъ каменныя кельи, особенно одну, гдѣ въ корзинахъ и на полу, счетомъ однакоже, серебро валялось. Десятокъ ужасныхъ, баснословныхъ псовъ были вѣрными хранителями непомѣрнаго богатства; даже прислуги не знали: самъ Захарій Ивановичъ кормилъ ихъ, самъ на веревку собиралъ, самъ запиралъ ихъ въ золотой анбаръ, гдѣ безкорыстные псы иногда, отъ скуки, заводили турниры. У Захарія Ивановича обѣдъ былъ уже готовъ: десятокъ холодныхъ кушаній, на серебрѣ, отягчалъ длинный столъ; скамьи, обитыя алымъ сукномъ и бронзовыми гвоздиками, были придвинуты; ждали гостей и гости на этотъ разъ, какъ и всегда, не замедлили явиться къ Захарію Ивановичу. Съ особенною гордою ласкою принималъ онъ родственниковъ, и каждому гостей почетныхъ казалъ, приговаривая: — «Люди умные, царскіе совѣтчики, не гнушаются сообществомъ честныхъ гостей московскихъ.» Выпила хозяйка, старушка лѣтъ шестидесяти, въ богатомъ сарафанѣ, осыпанная камнями и жемчугами. Въ рукахъ ея дрожалъ подносъ съ чарочками изъ чистаго золота. У Александра Ивановича глаза разбѣжались. Начались подчиванья и поздравленья. Александръ Ивановичъ по шестой чарочкѣ прошелъ, на седьмую не соизволилъ.

— «Кулиночка у насъ сегодня не такъ-то здорова....» сказалъ Захарій Ивановичъ, ослабляя про случай поясъ.

— «Какъ не здорова?» спросила хозяйка: «Да ее дѣвки чешутъ!»

— «Поди! Отцу лучше вѣдать, здорова или нѣтъ. Пускай въ свѣтелкѣ сидитъ; пусть ее тамъ кушаетъ. А пора бы ей косу, не заплетать, а расплетать.... Просимъ милости вашей, щи простынутъ!»

Усѣлись. Русскій пиръ — не какой-нибудь заморскій банкетъ. Потъ катился съ собесѣдниковъ, а Захарій Ивановичъ всё подчивалъ, да подносилъ, да приговаривалъ: «Въ новый годъ непоѣшь, цѣлый годъ будешь голоденъ.» Когда жаркія отходить стали, Захарій Ивановичъ съ бутылкой, а Домна Сергѣевна съ подносомъ и чарочками, вышли. «Вотъ, теперь мальвазіи прикушать неотказите...»

Александръ Ивановичъ хлѣбнулъ и выплюнулъ.

— «Что это за дрянь заморская?»

— «Вотъ то-то и есть, батюшка!» отвѣчалъ хозяинъ: «Намъ все про заморе говорятъ: а что толку! Вотъ какую дрянь пьютъ, да еще продаютъ намъ олухамъ въ три дорога, а мы, изъ угодничества, и покупаемъ!»

Эти слова были сигналомъ къ общему и шумному разговору. Старые меда разогрѣли языки; гости стали сѣтовать по-своему на перемѣны и нововведенія. Орловъ ихъ дразнилъ, но Александръ Ивановичъ всталъ, и за нимъ поднялось все общество. Хозяинъ перепугался.

— «Что вы это, батюшка, Александро Ивановичъ?» сказалъ онъ съ жалобнымъ видомъ.

— «Охмѣлѣлъ, Захарій Ивановичъ. Надо бы вашихъ гостей за бороды, да оземь, озорниковъ; да вижу хмѣль велика, такъ лучше не слушать...»

— «Полно вздоръ молоть!» сказалъ Орловъ: «Не намъ указывать.».

— «А что, господа, время теплое, лѣта не нужно; пойдемъ въ садъ настойку отвѣдывать.»

И всѣ гости отправились въ небольшой садъ, въ которомъ не было видно листьевъ. Вѣтви были осыпаны яблоками, грушами и сливами. Орловъ съ однимъ силачемъ пошелъ за пояса тягаться. Одинъ изъ гостей далъ свой поясъ Орлову; тотъ повязался, и бойцы вышли. Болѣе четверти часа тягались они безуспѣшно; наконецъ купецъ спѣшилъ, и Орловъ потащилъ его со всею публикою на другой конецъ сада. Въ мезонинѣ, или свѣтелкѣ, кто-то громко разсмѣялся.

— «Кто это?» спросилъ Александръ Ивановичъ

— «Это моя Кулиночка...» отвѣчалъ Захарій Ивановичъ и сталъ выхвалять свою дочку.

Слово за слово, противъ обычая, самъ отецъ Кулиночку за Александра Ивановича засваталъ. Ударили по рукамъ, но съ условіемъ хранить тайну, пока Александръ Ивановичъ отъ Государя не получитъ разрѣшенія. Стало вечеретъ; Александръ Ивановичъ распростился, и съ грустными мыслями пошелъ въ Преображенское. По этому не всегда завидѣнъ жребій жениха. И отчего бы это Александръ Ивановичъ пошелъ домой такой грустный?

V.

ПЕРВЫЙ СЧЕТЪ.

Александръ Ивановичъ сидѣлъ передъ спальней Государя и читалъ римскую исторію, писанную полууставомъ и принадлежавшую учителю царскому, Зотову.

— «Сказка хороша...» сказалъ Александръ Ивановичъ: «и на правду похожа, только одно плохо: богатырей много! Одного убьютъ, другой есть, да и не одинъ, десятками. Вотъ это ужъ маленько пересолено! А хороша; забираетъ....»

И снова началъ читать. Дочитался онъ до посольства царя эпирскаго, что когда посолъ въ римскій сенатъ вошелъ, то сенаторовъ за царей принялъ. Тутъ Александръ Ивановичъ осердился, плюнулъ и оттолкнулъ книжку. «Что за вздоръ дядя Зотовъ сочинилъ! Ужь какъ этому быть, чтобы въ одномъ городишкѣ столько царей было.... Правду про дядю Зотова царскіе прихлѣбники толкуютъ, что онъ прилыгать любитъ. Посмотримъ, посмотримъ, какъ-то онъ концы сведетъ?» И опять сталъ читать конечно лучшую сказку нашего дряхлаго міра.

Послѣ полуночи пріѣхалъ Государь и былъ немало удивленъ, увидѣвъ, что Александръ Ивановичъ въ новый годъ, когда вся Москва разукрашена огнями, сидитъ за книгой.

— «Что же ты, Алескандръ, дома сидишь?» спросилъ Государь: «А иллюминація?»

— «Поздно, Государь; теперь ужъ темно. Когда

бы днемъ, такъ еще туда сюда: пока Прозоровскій или Ромодановскій докладываютъ, можно отлучиться; а вечеромъ я не люблю шататься: чего добраго, за бродягу пріймутъ. Да и что такое твоя люминація! Другой разъ, какъ будетъ тебѣ послободнѣе, самъ покажешь?»

— «Да ты развѣ не видалъ иллюминаціи?»

— «Не только не видалъ, да и неслыхалъ.»

— «А въ день моего пріѣзда, по всей Москвѣ что было?»

— «Что было? Огни, да и только. Глаза высмотрѣлъ, чтобы гдѣ не занялось. Дрянная потѣха, Государь: того и гляди пожаръ затѣешь!...»

— «Пустяки, Александръ! Когда въ городѣ добрый порядокъ, такъ иллюминація не опасна.»

— «Такъ ты прежде сдѣлай въ городѣ порядокъ, а потомъ уже сало для потѣхи и жги.»

— «Сдѣлаю, сдѣлаю!» отвѣчалъ Государь: «только дай срокъ.»

— «Ты, Государь все въ долгую тянешь; вотъ и меня уже сколько времени обѣщанками маниш, а посулъ безъ зерна, всё одно, что мыло ѣшь.»

— «Потерпи, Александръ! Давно ли ты служишь?...»

— «Таки не со вчерашняго дня. Я тебя люблю, Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ проку? За Головина, такъ еще мундеръ, исподни и сапоги даромъ давали! А теперь новый Нѣмецъ какой-то комиссаромъ сталъ. Говоритъ: на царскихъ денщиковъ отпуску нѣтъ: жалованье большое получаютъ!»

— «Вретъ!» сказалъ съ поспѣшностію Государь.

— «Я то же говорилъ Нѣмцу, да не вѣритъ. Ну, да мнѣ теперь милостей твоихъ не нужно, а только твоего царскаго благословенья.»

— «А что?»

— «Жениться позволь!»

— «На комъ?

— «На Акулинѣ Захарьевнѣ, дочери Захарія Ивановича Петрова, что на Покровкѣ каменный домъ, съ каменными амбарами и садомъ, что въ гостиномъ полъ-ряда лавокъ.

— «Близкаго человѣка....» отвѣчалъ Государь: «надо женить съ оглядкой. Невѣста богатая, да роденька дурная: всѣ въ бояре полѣзутъ....»

— «А ты на что Государь? Не пускай!»

— «Да, не пускай! У близкаго человѣка весь мой норовъ въ памяти, всѣ мои привычки на глазахъ; въ недобрый часъ, за шутку, дурака въ окольничьи толкнетъ. Я отъ твоего счастья не прочь, а всё лучше бы тебѣ потерпѣть....

— «Перетерпѣлось, Государь. Ни гривны награды, службы разной и по пальцамъ не перечтешь; а тутъ еще и кровь-то не старая....»

— «Видно невѣста тебѣ больно приглянулась?»

— «Нѣтъ, Государь; люди старые; невѣсты не показывали....»

— «Люди старые?... Ты хочешь сказать: старые невѣжды. Въ такую семью тебя не пущу!..»

— «Нѣтъ, Государь: люди старые, да умные, сговорчивые. У насъ все по условію. Я старику

и сказалъ: добро, женюсь; да тестю бороду долой. А онъ въ отвѣтъ: «Да что мнѣ борода!» Невѣсту одѣть и приданое сдѣлать по государеву указу... «Вѣстимо!» отвѣчалъ старикъ. Да, чего, въ воскресенье сговоръ; такъ я, на сговоръ, нѣмецкій балъ справлю.

— «Балу быть! «отвѣчалъ Государь:» а отъ сговору поудержись; я въ воскресенье къ Петрову самъ заѣду, и порѣшимъ. Хорошо?»

— «Худаго нѣтъ. И честь велика, и за честь тебѣ, Государь, кланяюсь.»

— «Ну, что еще?»

— «Ничего, Государь, пора тебѣ спать; и меня что-то сонъ клонитъ: употчивалъ тестюшка, а завтра дѣла сколько!... Къ семи воеводамъ писать надо.»

— «Отповѣди?»

— «Нѣтъ, Государь. Кому указъ, кому письмомъ острастку.... Одни умничаютъ, другіе плутуютъ?»

— «Какъ, плутуютъ? кто плутуетъ?»

— «Завтра, завтра, Государь. Передъ сномъ плохое правосудіе; надо на свѣжую голову. Да и праздникъ еще....»

— «Хоть и не праздникъ уже....» сказалъ Государь, поглядывая на часы: «да слово твое справедливо. Буди меня по-раньше.»

—

VI.

МЕНУЭТЪ.

Государь какъ-то возвратился въ Преображен-

ское раньше обыкновеннаго, и въ передспальникѣ не нашелъ Александра Ивановича; всѣ бросились искать любимаго денщика, но нигдѣ не могли найти. Прошло съ часъ времени. Александръ Ивановичъ вошелъ въ свою комнату съ довольнымъ видомъ, приговаривая: «Знатно! Теперь въ грязь не ударю....» и началъ одинъ повторять менуэтъ. «Разъ, два, три!... разъ, два, три!.. разъ, два, три!... поклонъ.... Разъ два, три!... разъ два, три!... поклонъ....

Но второй поклонъ пришелся прямо противъ дверей, въ которыхъ стоялъ Государь и съ улыбкою глядѣлъ на пляску жениха. Александръ Ивановичъ, увидавъ Государя во время поклона, такъ и остался, не разгибаясь....

— «Что ты, Александръ Ивановичъ? Кто это такъ тебя научилъ?

— «Шутъ твой....

— «Который?»

— «Арминъ.»

— «Ахъ онъ плутъ! Совсѣмъ не такъ!»

И Государь показалъ Александру Ивановичу, какъ слѣдуетъ танцовать менуэтъ. Но Александръ Ивановичъ, затвердивъ шутовской танецъ, безпрестанно сбивался. Наконецъ, опечалившись, отошелъ къ окну и не хотѣлъ плясать больше.

— «Ну, чтожъ пересталъ?»

— «Нѣтъ, Государь, не хочу! Тутъ ещё ничего; а какъ на балу острамлюсь.... нѣтъ, ужь лучше совсѣмъ плясать не буду.»

«Полно унывать!» сказалъ Государь: «Съ твоей головой....»

— «То-то и бѣда, что ноги не голова. Пойдемъ лучше, Государь, работать.... А жаль!. Хотѣлъ на балу всѣхъ купчихъ нѣмецкому танцу научить до твоего пріѣзда.... Да неудача!

— «Говорю, не унывай! Начинай снова!.. Разъ, два, три!... Разъ, два, три!... Разъ, два, три!... Вотъ теперь поклонъ.»

Сразу понялъ Александръ Ивановичъ менуэтную мудрость и сказалъ Государю: «Довольно, знаю. А шута, Государь, не наказывай; ужъ и родился на то, чтобъ людей дурачить.... Теперь работать. Что на сегодня укажешь, Государь?

— «А вотъ что. Надо поуменьшить боярскіе повзды. Шутка ли! Изъ подмосковной бояринъ выѣзжаетъ: у него впереди семь, восемь кибитокъ, крытыхъ телегъ, два три рыдвана, потомъ карета, да какая?... словно домъ валитъ. Глупо. Съ меня всѣмъ примѣръ. Надо сегодня въ одноколкѣ по Москвѣ прокатиться.... Благо, снѣгу еще пѣтъ.

— «Въ какой одноколкѣ?»

— «А вотъ, что Нѣмецъ мастеръ сегодня по заказу поставилъ.»

— «Такъ что жъ, Государь, пойти приказать?»

— «Все готово!» отвѣчалъ Государь: «Я тебя только поджидалъ. Ѣдемъ!»

— «Сейчасъ, Государь; только шляпу захвачу.»

Въ простой одноколкѣ, безъ бронзы, красиво только окрашенной, въ одну лошадь, безъ дуги,

выѣхалъ Государь съ Александромъ Ивановичемъ на Москву.

Народъ дивился. Бояре роптали, особенно когда Государь спрашивалъ: нравится ли имъ одноколка, и совѣтовалъ каждому заказать подобную. Ни лошадей лишнихъ держать, ни лишнихъ слугъ таскать, не надо. На возвратномъ пути поѣхалъ Государь Покровкой.

— «Здѣсь твоя невѣста?» спросилъ Петръ.

— «На верху въ свѣтелкѣ.»

— «Только каменнаго и зданія на всей Покровкѣ....» сказалъ Государь: «что домъ купца Петрова, да хоромы Андрея Артамоныча. Знаешь; Александръ, изъ этого боярина будетъ прокъ. Спѣси и у него довольно, да еще не вымытъ бояринъ: я эту грязь съ него счищу. А какая у него дочка, Александро! Да ты видалъ Марью Андреевну?

— «Не совсѣмъ...» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ, покраснѣвъ до ушей.

Государь посмотрѣлъ на него пристально и спросилъ:

— «Какъ, не совсѣмъ? И отчего тебя въ краску бросило?»

— «Краска, Государь, отъ погоды, а *не совсѣмъ* значитъ, что я видѣть ее видалъ, да съ боку. Когда былъ ходъ объ новомъ годѣ, такъ за хвостомъ и она шла....

— «Такъ краска съ погоды!» спросилъ Государь.

Александръ Ивановичъ молчалъ.

— «Не люблю, Александръ! Когда я что спрашиваль, такъ изволь докладно отвѣчать.»

— «Не могу.»

— «Почему не можешь?»

— «Смѣяться будешь.»

— «Не буду.»

— «Дай слово.»

— «Изволь.»

— «Больно хороша Марья Андреевна и съ боку.»

— «То-то же!» отвѣчалъ Государь: «Вотъ Данилычъ уже прилыгать начинаетъ. Поколочу! Больно поколочу! Кто лжетъ, хоть въ шутку, не ради посольской нужды, а такъ, по природѣ, — тотъ уже дурной слуга. А кого люблю, изъ того ложь выгоню. Самъ послѣ скажетъ: спасибо. Ну, такъ смотри, Александръ!..»

— «Другой разъ, Государь, такой рѣчи не услышишь.»

VII.

БАЛЪ.

Наступило воскресенье. Государь жениху свои ботфорты далъ въ займы. Онъ самъ причесалъ и отправилъ Александра Ивановича въ своей одноколкѣ.

— «Богъ съ тобой, Александръ....» сказалъ Государь: «а я поуправлюсь съ бумагами и позже заѣду. Не ждите; начинайте веселье безъ меня.»

Каменный, но весьма тѣсный и неудобный домъ Захарія Ивановича былъ биткомъ набитъ борода-

тыми родственниками, и родственницами, которыя походили больше на пряники, украшенные золотомъ и фольгою, нежели на живыя существа. Почти одна на другой, сидѣли онѣ неподвижно на скамьяхъ вокругъ стѣнъ, изрѣдка двумя пальцами обтягивая юбки сарафановъ, или поднимая кисейные рукава, чтобы торчали полнѣе. Впрочемъ, этимъ занимались больше маменьки: дѣвушки, изукрашенныя камнями и размалеванныя краской, прятали ноги, и съ величайшимъ страхомъ поглядывали, чтобы, Боже сохрани, носковъ небыло видно. Мужчины, въ другихъ комнатахъ, толковали о бородѣ Захарія Ивановича, которая по утру еще посѣщала гостиный дворъ, а ввечеру изчезла. Вошелъ купецъ Ситкинъ.

— «Что это батюшка Захарій Ивановичъ?» спросилъ онъ: «какая у васъ околичность по дому приключилась?»

— «Ничего, батюшка, Андрей Кузьмичъ; все по старому. Не извольте имѣть никакого сумнительства; мы прикладно вошли въ намѣреніе единородную дщерь, такъ сказать, супружествомъ привести къ счастливому бракосочетанію: чего для, такъ сказать, хотимъ, по женихову чину, соблюсти новую обычность и дворянское обхожденіе...»

— «Смѣкаемъ, Захарій Ивановичъ, смѣкаемъ! такъ сказать, сговоръ...»

— «Помилуйте, Андрей Кузьмичъ! сговоръ не дворянское дѣло; сговоръ, то есть, изволите видѣть, такъ сказать, только промежду мѣщанства; даже у купечества, что съ заморемъ торгуетъ, такъ сказать, отставлено: а это у меня сегодня

просто, по-русски, плясовой день, не то, знаете, чтобы дѣвишникъ простой, а пировой день, съ флейтами и трубами. Нынче, какъ освѣдомленіе получилъ я отъ Александра Ивановича, это называется, по нимецкому, асеамблея.»

— «Да что же это слово значитъ?»

— «Извѣстно, что значитъ! То же, да на больщую руку, какъ женихову чину прилично, съ церемоніей...»

— «А! А! Смѣкаемъ, смѣкаемъ, Захарій Ивановичъ! Такъ уже и женихъ безъ огласки...»

— «Женихъ, такъ сказать, не женихъ; на то, по чину Александра Ивановича, будетъ особый Царскій указъ.»

— «Александро Ивановичъ пріѣхалъ! Александро Ивановичъ пріѣхалъ!» раздалось въ толпѣ, и Александръ Ивановичъ вошелъ торжественно, въ сопровожденіи десятка преображенскихъ своихъ товарищей. Флейты и трубы заиграли. Александръ Ивановичъ, и за нимъ всѣ преображенцы, вошли въ очередь цѣловать руки у женщинъ. Домна Сергѣевна была предупреждена, и сдѣлала даже нѣмецкій книксенъ, къ общему соблазну; но женщины гостьи, лишь только Александръ Ивановичъ, протянулъ руку къ первой, вскочили съ мѣстъ и хотѣли бѣжать въ другую комнату, откуда мужчины ихъ смотрѣть на жениха. Столпились въ дверяхъ. Ни взадъ, ни впередъ. Дѣвушки пищали. Матушки бранились. Кто-то изъ преображенскихъ въ толпѣ сказалъ громко: «Кажись, Государь ѣдетъ!» И суматоха еще болѣе увеличилась. Жен-

щины стали бѣгать, ища указанныхъ хозяиномъ мѣстъ; старшинство нарушилось и споры за мѣстничество начались во всѣхъ концахъ.... Александръ Ивановичъ, не обращая вниманія на общее волненіе, спросилъ у хозяина: А гдѣ же Акулина Захарьевна?... «Готова, готова!» закричалъ Захарій Ивановичъ, и черезъ пять минутъ, въ фижмахъ и высокой прическѣ, съ безчисленнымъ множествомъ камней и жемчугу, появилась невѣста.

— «Ну, нельзя сказать, чтобы взрачная...» подумалъ Александръ Ивановичъ: «да нечего дѣлать!»

Онъ крикнулъ на музыкантовъ: «Менуэтъ!» и сталъ съ Акулиной Захарьевной на мѣсто... Между-тѣмъ преображенцы пошли къ дѣвушкамъ.

— «Вы пляшете, сударыня?» спросилъ Гульминъ у приземистой, но милолицой дѣвушки.

— «А тебѣ какое дѣло?» раздался сварливый голосъ матушки: «Какая она сударыня! Поди съ своими сударынями соблазнъ разводить: а наше мѣсто свято!»

— «Я, честная госпожа...» отвѣчалъ Гульминъ: «и самъ заморской пляски не люблю, да Государь указалъ; не то, будете ослушницей....»

— «Ну, ступай, ступай, Дуничка, пляши по указу; только я отъ тебя не отстану.»

Четыре, не пары, а четыре тройки, потому что при каждой дочкѣ стояла и матушка, уставились посреди тѣсной комнаты. Мужчины начали; женщины оставались на мѣстахъ.

— «Да что же вы не пляшете?« спросилъ Гульминъ.

— «Да я не умѣю!» отвѣчала Дуничка.

— «Постойте, постойте!» закричалъ Александръ Ивановичъ: «я васъ сейчасъ выучу... Разъ, два, три!... поклонъ!»

Александръ Ивановичъ сталъ показывать; дочки, а вмѣстѣ съ ними и матушки, повторяли не трудные пріемы менуэта. Зараза быстро распространилась. На галереѣ стояла вся дворня не только Захарія Ивановича, но и отъ сосѣдей: понабѣжали дѣвки смотрѣть на господское веселье и по-тихоньку передразнивали Александра Ивановича. Вдругъ на галлерею вошелъ Государь, и когда дворня хотѣла дать дорогу, Петръ погрозилъ пальцемъ и сказалъ: «Не нужно, молчите!» Несмотря на все усердіе Александра Ивановича и на ревностную помощь товарищей, менуэтъ не ладился. Дворня замѣтила это, и одна изъ самыхъ дерзкихъ и болтливыхъ не удержалась и сказала: «Видно невѣсту-то учили годъ до сговору: одна только и смѣкаетъ.»

— «Такъ это невѣста?!» подумалъ Государь, махнулъ рукой и уѣхалъ. Захарію Ивановичу тотчасъ донесли, что Государь былъ и уѣхалъ. Эта новость крайне опечалила хозяевъ и Александра Ивановича. Прочіе не унывали, надѣясь на богатое подчиванье. Захарій Ивановичъ, несмотря на все свое горе, не забылъ гостепріимства; гостей уподчивалъ онъ на славу. Посидѣли, посидѣли и стали расходиться....

— «Ну, что?» спросилъ хозяинъ, отпуская жениха.

— «А вотъ, чай, сегодня порѣшитъ Государь...» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ.

Самъ хозяинъ подалъ царскую одноколку, и Александръ Ивановичъ отправился въ Преображенское.

—

VIII.

ВТОРОЙ СЧЕТЪ.

«Кто тамъ? спросилъ Государь, услышавъ, что въ передспальникѣ кто-то ходитъ.»

— «Я....» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ, продолжая ходить.

— «Поди сюда!» сказалъ Государь.

Александръ Ивановичъ вошелъ въ комнату, которая служила Царю и кабинетомъ и спальней. Петръ сидѣлъ за столомъ и перечитывалъ письмо къ Мазепѣ. Знаки Андрея Первозваннаго, ордена, недавно учрежденнаго, лежали на столѣ; возлѣ, небольшой деревянный ящикъ и пукъ хлопчатой бумаги.

«Уложи!» сказалъ Государь, дописывая какое-то замѣчаніе. «Заколоти!» И сталъ складывать письмо. «Запечатай!» сказалъ напослѣдокъ Государь, подавая Александру Ивановичу бумагу: «А свадьбъ не бывать!»

— «Какъ, не бывать?» съ испугомъ спросилъ Александръ Ивановичъ: «Съ чего ты взялъ, Государь, что свадьбъ не бывать?»

—« Съ невѣсты, Александръ. Не по тебѣ; и я, ужъ что дѣлать, удосужусь, самъ тебѣ пріищу хоро-

ную дѣвушку; а этотъ купеческій обрубокъ тебѣ не пара.»

— «Помилуй, Государь! Да Захарій Ивановичъ меня съѣстъ. Бороды ему не отдашь; между своими острамился; все нѣмецкое завелъ!...»

«И подѣломъ ему!» отвѣчалъ Государь: «Знатность та же корысть. Мало ему честнаго торга: онъ въ бояре задумалъ. А я этого не люблю. У меня на всякой чинъ одно право, одна дорога: — заслуга. А женитьба дурной проселокъ. Вотъ и вернулся безъ бороды!...»

— «Да что я за знатный такой?» горячась, сказалъ Александръ Ивановичъ: «Денщикъ, семь рублей жалованья, да одинъ мундѣръ на годъ.»

— «Ну! ужъ это не твое дѣло. Потерпи!»

— «Я и не жалуюсь; да невѣсты, Государь, не отымай!»

— «Говорятъ тебѣ, другую найду. Потерпи!»

— «Видно нынѣ, Государь: *потерпи, да потерпи*, въ поговорку вошло. Государь! Такой невѣсты на всей Москвѣ другой не найдешь.»

— «Ой-ли? Ты, — не найдешь. Первый встрѣчный чуть тебя не поймалъ. Хороша была бы генеральша! Смѣхъ подумать!»

— «Для такого генерала, какъ я, хороша. Что я? И надъ шутами не командиръ!»

— «Врешь, Александръ. Потерпи, пока моя рука не развернулась; а развернется, такъ ты Петрова со всѣмъ домомъ въ уголъ запрячешь.»

— «Когда бъ кто насъ съ тобой, Государь, подслушалъ, то подумалъ бы, что ты меня въ

римскіе сенаторы прочишь, вонъ въ тѣ, что дядя Зотовъ выдумалъ.»

— «А можетъ быть и въ сенаторы! Ступай, да прежде Мазепѣ орденъ отправь; нарочный дожидается; а завтра скажи мнѣ, что тебѣ приснится.»

Рано поутру Александръ Ивановичъ сталъ будить Государя. Первое слово Петра было: — «Ну, что снилось, Александръ?»

— «Борода Захарія Ивановича.»

— «Ну, а еще что?»

— «Разное.»

— «Не вспомнишь?»

— «Гдѣ всякую дрянь помнить!...»

— «Такъ я же знаю, что тебѣ снилось, да растолкую не скоро. Въ Николинъ день изволь мнѣ напомнить про сонъ.... Давай мыться!»

Время быстро промелькнуло въ трудахъ хлопотливой службы. Много полезнаго насадилъ Государь въ краткій промежутокъ этого времени. Безчисленны были предначертанія Великаго. Еще изумительнѣе единство и твердость разнородныхъ мѣръ, которыя, несмотря на свое множество и разнообразіе, не противорѣчили одна другой. Сажая желуди въ Таганрогѣ, Государь думалъ думу цѣлымъ вѣкомъ впередъ, и въ каждомъ постановленіи являлся законодателемъ опытнымъ, связующимъ самые, по наружности, противные предметы въ одно цѣлое, къ единой цѣли. Къ Николину дню Государь примѣтно спѣшилъ въ Москву. Александръ Ивановичъ втихомолку радовался, что государь, видно, хочетъ слово сдержать и приступить къ расчету.

— «Знаешь ли, Александръ....» сказалъ Государь: «нынче вѣкъ исходитъ....»

— «А какъ мнѣ это вѣдать, Государь. Вѣкъ, то есть: люди стали жить все меньше да меньше....»

— «Нѣтъ, не то; сто лѣтъ кончается.»

— «Кому, Государь?»

— «Кому? Времени отъ рождества Христа Спасителя.»

— «А я читалъ, Государь, будто Христосъ давнѣй родился.»

— «Семнадцатый разъ сто лѣтъ исходятъ....»

— «Вотъ такъ, я думаю, прійдется! А зачѣмъ тебѣ этотъ счетъ нуженъ?»

— «Затѣмъ, чтобы, Боже сохрани, въ Москву не опоздать. Такого случая опять сто лѣтъ жди! Теперь бы оно и кстати....»

— Ой, Государь! ты видно опять что-нибудь новое затѣваешь!»

— «Иллюминацію, Александръ; важную иллюминацію. И ты похвалишь!»

— «Навряд ли!» отвѣчалъ опечаленный Александръ Ивановичъ, грустя и думая: «Видно про Николинъ день позабылъ! Гдѣ ему про нашего брата помнить! А ужъ я о себѣ напоминать не стану....»

Лошади быстро мчались. Широкія царскія поневни, безъ подрѣзовъ, съ боку на бокъ перекатывались. Безъ отдыха, ѣдутъ да ѣдутъ, и шестаго декабря пріѣхали прямо въ Успенскій соборъ.

—

IX.

НИКОЛИНЪ ДЕНЬ.

Служба отошла. Государь съ Александромъ Ивановичемъ отправился въ Преображенское. Проѣзжая мимо двора окольничьяго Андрея Артамоновича, Государь сказалъ кучеру: «На право, на дворъ!»

— «Дома бояринъ?» спросилъ Государь у десятка слугъ, одѣтыхъ по-нѣмецки, которыя высыпали на крыльце.

— «У Покрова! Къ обѣдни пѣшкомъ изволилъ пойти, а барышня дома.»

— «Пойдемъ, Александръ.»

И Государь вошелъ въ гостинную, которая уже носила печать европейской жизни. Государь примѣтно былъ доволенъ наружнымъ убранствомъ, но брови его нахмурились, когда Марья Андреевна вошла въ гостинную въ сопровожденіи няни.

— «Здраствуй, Машенька!» сказалъ Государь, взявъ Марью Андреевну за голову и поцѣловавъ въ чело: «Зачѣмъ ты это чучело за собой таскаешь?» спросилъ онъ потомъ, указывая на няню.

— «Да батюшка такъ приказываетъ!»

— «А тебѣ это не по нраву?»

— «Что батюшка велитъ, то мнѣ всегда по нраву.»

— «Умная дѣвка! Вотъ я такихъ люблю! Кто противъ воли отцевской идетъ, все одно что противъ субординаціи воинской; больше: все одно что Государю измѣнникъ. — Ну, а по нраву тебѣ этотъ молодецъ?» сказалъ Государь, мигая на Алексан-

дра Ивановича, который ни живой ни мертвый стоялъ у дверей, и каждый разъ, тихонько, что взглянетъ на боярышню, то и перекрестится. Марья Андреевна сгорѣла отъ стыда, и бросилась-было къ нянѣ. Государь удержалъ ее за руку.

— «Вздоръ, Машенька!» сказалъ онъ: «Вздоръ! Стыдиться нечего. Государю, какъ отцу, правду говорить должно.»

— «Не знаю....» опустивъ глаза, шепотомъ сказала Марія Андреевна.

— «Ну, если не знаешь, такъ погляди.»

И Государь повелъ-было ее къ Александру Ивановичу. Денщикъ сталъ отступать, толкнулся въ двери, тѣ растворились и Андрей Артамоновичъ толкнулъ назадъ Александра Ивановича въ спину, приговаривая: — «Куда, Александръ Ивановичъ, куда?...»

— «Да вотъ....» отвѣчалъ Государь: «отъ твоей дочки бѣгаетъ!»

— «А еще изъ военныхъ!» сказалъ окольничій: «отъ женщинъ бѣгаетъ!»

— «Ну, Артамонычъ, мы жъ его, съ тобой, проучимъ.»

— «Проучимъ! проучимъ!» отвѣчалъ Андрей Артамоновичъ, поддѣлываясь подъ расположеніе Государя.

— «Да и что въ долгую откладывать!» сказалъ Царь: «У тебя знатный товаръ, а у меня знатный купецъ. Такъ и по рукамъ; а я — за свата....»

Окольничій отступилъ въ свою очередь. Марья

Андреевна бросилась къ нимъ и спрятала горящее личико за плеча своей старухи. Александръ Ивановичъ глядѣлъ жалобно на Государя, какъ-будто упрекая его за новую надъ собой шутку. Государь подошелъ къ окольничему и спросилъ съ лаской:

— «Ну, что, Артамонычъ, вѣдь славнаго жениха я твоей доброй Машенькѣ пріискалъ?»

— «Велика твоя милость царская....» отвѣчалъ окольничій, трепеща и кланяясь: «только позволь тебѣ, Государь великій и мудрый, Петръ Алексѣевичъ.... не благоизволь осерчать, если я тебѣ милостивцу и господину моему, челомъ бить стану, чтобы того.... такъ сказать.... твое царское величество.... стараго боярскаго роду.... такъ сказать, денщикъ простой.... Изъ дворянъ ли еще полно?... Можетъ, просто изъ житья.... Не гнѣвайся, Государь и милостивецъ!»

И, не окончивъ рѣчи, повалился въ ноги. Гнѣвно блеснули глаза Царя. Государь не поднималъ съ полу Андрея Артамоновича; нѣсколько мгновеній не могъ вымолвить слова; наконецъ, когда негодованіе поутихло, онъ сказалъ твердымъ голосомъ, но уже безъ гнѣва:

— «Вставай! Не у мѣста спѣсь: а у ногъ валяешься! Да скажи, кто тебя окольничьимъ сдѣлалъ? Мы съ братомъ *честью окольничествомъ* тебя пожаловали. Государь, блаженной памяти, Алексій Михайловичъ, тебя въ Комнату взялъ, не ради заслугъ твоихъ; онъ уважилъ отца твоего, Артамона Сергѣевича, да и бояринъ, отецъ твой, не

съ бояръ службу началъ. Государь Михайло Ѳедоровичъ его въ житье пожаловалъ. Такъ нечего родомъ чваниться, Артамонычъ; скажи лучше прямо: хочешь или не хочешь?...»

— «Батюшка!» закричала Марья Андреевна, повисла на груди родителя и тихо шептала: «не гнѣви, батюшка, Государя....»

— «Пошла на свое мѣсто!» съ гнѣвомъ прикрикнулъ на нее окольничій.

Марья Андреевна медлила, но Государь взялъ ее за руку и сказалъ: — «Ступай, Машенька. Богъ милостивъ; свата уломаю, а ты отца слушайся!»

Марья Андреевна печально удалилась; няня поплелась за нею.

— «Ну, что же, Артамонычъ?» сказалъ Государь: «Мнѣ некогда. Рѣшай, что ли?»

— «Быть по твоему! отвѣчалъ окольничій: «Только Маша-то моя больно молода: девятнадцатый годокъ пошелъ! Позволь, Государь, времени дождаться. Ужъ пусть будетъ свадьба на тотъ годъ. Такъ и быть, отпущу ее по двадцатому.»

— «Быть по твоему!» сказалъ государь: «только рцы слово твердо! Послѣ новаго года, во вторую недѣлю, въ воскресенье, какъ прійдется.... Согласенъ?

— «Благодарствую тебѣ, батюшка Государь, за твою милость.

— «Ну, по рукамъ. Да гляди не отрекаться! Не прощу! А въ самый новый годъ — сговоръ.»

— «За все про все только благодарствую!»

— Ну, поцѣлуй жениха. Вотъ такъ! Теперь

обними свата. Прощай, Артамонычъ, спасибо за умъ!»

Государь уѣхалъ съ Александромъ Ивановичемъ, а окольничій принялся за дочку и за няню.

— «Чего ты глядѣла, старая сова? Очень нужно было выходить къ мужчинамъ! Вотъ и попались! Охолопились! Онъ, для шутки, пожалуй, за шута просватаетъ дочку окольничаго, внучку боярскую. А тебѣ, что-ли, замужъ такъ больно захотѣлось? Понабралась новыхъ обычаевъ! Наскоро выросла! Экая выскочка! Постой, постой, поглядимъ какъ-то еще свадьбу сладишь: въ годъ много воды уйдетъ.... На что голова, на что умъ?... И самъ Государь какъ подумаетъ, такъ другое спасибо скажетъ. Слышишь, ты негодная: прошу изъ свѣтелки ни шагу! Слышишь, въ окно не смѣй глядѣть! Я изъ тебя нѣмецкую дурь выкурю. А ты, старая сова, глазъ не своди!... Если они съ денщикомъ сквозь щелку увидятся, такъ я тебя, старая чухлома, со свѣта сгоню? Не на таковскаго напали! Развѣ я даромъ отецъ? Слышишь, за денщика безъимяннаго! за дворянина бездомнаго!... Стара штука! Дай только до весны дотянуть....»

Окольничій вышелъ и сталъ писать письмо. Написавъ, онъ позвалъ охотника изъ старой своей охоты, пожаловалъ ему пять рублей, приказалъ взять тройку лучшихъ лошадей съ конюшни, и поспѣшно ѣхать въ Воронежъ, письмо Лукѣ Петровичу отдать, и съ отвѣтомъ въ Москву возвратиться, да про случай, дорогой, до Воронежа

водки не пить. «Пивомъ грѣйся, а водки въ ротъ взять не моги! Ну, съ Богомъ!...»

—

X.

УКАЗЪ.

— «Ну, что?» спросилъ Государь денька черезъ три: «Что, былъ у невѣсты?»

— »Да что въ томъ, что былъ!» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ: «Окольничій дочки непоказываетъ; говоритъ: успѣешь еще налюбоваться, а пока она у меня на дому, обычая не нарушу....»

— «Ну, Богъ съ нимъ!» отвѣчалъ Государь: «Потерпи!»

— «Вѣрно, Государь, ты это слово для меня заучилъ.»

— «Претерпѣвый до конца, той спасется!» отвѣчалъ Государь: «А пока, поѣзжай въ Москву, вели собрать больную боярскую думу и отдай имъ этотъ подарочекъ. Пятнадцатаго декабря объявить, и все по указу приготовить; а чего не будетъ, взыщу съ думы или съ бурмистерской ратуши, съ кого по сыску причтется. Такъ и объяви!»

Пятнадцатаго декабря по церквамъ съ трудомъ помѣстилась вся Москва. Новый указъ былъ прочитанъ, послѣ обѣдень. На Красной площади снова прочитанъ былъ указъ. Потомъ, съ барабаннымъ боемъ, повторено чтеніе въ разныхъ частяхъ Москвы. Сверхъ-того, въ бурмистерской ратушѣ раздавали печатные листы. Городъ былъ въ сильномъ волненіи; никто почти не вѣрилъ ушамъ и

глазамъ своимъ. У каждаго знатнаго человѣка были тогда свои кліенты, свои домашніе. Москва въ нѣсколько часовъ раздѣлилась на кліентелли. Дворъ окольничьяго, Андрея Артамоновича, наполнился людьми разнаго званія. Хозяинъ почивалъ, послѣ плотнаго завтрака; люди не смѣли будить его, но шумъ, толки и споры достигли до опочивальни. Андрей Артамоновичъ проснулся и, потягиваясь, спросилъ:

— «Что тамъ? Не подводы ли съ крупой и живностью пріѣхали изъ подмосковной?... Что они разшумѣлись?»

— «Нѣтъ, бояринъ!» отвѣчалъ старый Аѳоваcій, неотлучно дремавшій у опочивальни: «Сосѣди понашли, что за совѣтами всегда ходятъ, да всѣ разомъ....»

— «Видно, что-нибудь новое стрѣльцы затѣяли.»

— «Да стрѣльцовъ уже нѣтъ!»

— «Да, нѣтъ! Все-равно что клоповъ зѣльемъ, что этихъ животныхъ, разомъ не выведешь. Встать, что-ли!»

— «Какъ укажешь, бояринъ; отворю дверь въ столовую и, лежа, распросишь.»

Слуга отворилъ дверь и позвалъ кліентовъ.

— «Бояринъ спрашиваетъ, что такое случилось?» сказалъ слуга, и всѣ заговорили.

— «Скажи имъ...» лежа, вскричалъ Андрей Артамоновичъ: «чтобы въ очередь говорили, по старшинству.»

Новая ссора: подъячій считалъ себя старше

купца, богатый купецъ старше дворянина; дѣло чуть не дошло до драки!

— «Смирно!» закричалъ окольничій: «Захарій Ивановичъ, говори ты!»

Знакомецъ нашъ, купецъ съ Покровки, Захарій Ивановичъ Петровъ Безбородый, откашлялся, подошелъ къ окну и началъ тако:

— «Примѣрно доложить вашей боярской милости, у насъ у всѣхъ, такъ сказать, полгода времени на Государя берутъ, то есть, не то, чтобы, такъ сказать на службу насъ поставили: нѣтъ, ровно четыре мѣсяца хоть за окно выбрось; ни они къ старому году, ни они къ новому приклеятся; и вообще, прикладно сказать, было много тысячъ лѣтъ. Теперь весь старый счетъ долой, всего семнадцать сотенъ велѣно считать. Такъ мы уже и не знаемъ, кто когда родился и сколько кому лѣтъ; и этими четырмя мѣсяцами, можно прикладно такъ сказать, словно косточкой подавились: куда хочешь ихъ дѣнь!...

— «Что за вздоръ?» сказалъ бояринъ: «Кто это надъ вами подшутилъ, дурачье? Всякому слуху не вѣрь!...»

— «Указъ есть, бояринъ, изволь присмотрѣть.»

И чрезъ двери влетѣло нѣсколько экземпляровъ указа; одинъ прямо упалъ на лицо окольничьяго.

— «Легче!» закричалъ онъ, подымаясь: «Позови чтеца Калистратова....»

Всеобщее ожиданіе и безмолвіе. Вошелъ Калистратовъ. Окольничій приказалъ читать. Калистратовъ возгласилъ:

«Семь тысячъ двадцать осьмаго года, декабря въ пятнадцатый день, Великій Государь, Царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россій Самодержецъ, указалъ сказать: извѣстно ему великому Государю стало не только, что во многихъ европейскихъ христіанскихъ странахъ, но и въ народѣхъ славянскихъ, которые съ Восточною Православною нашею Церковью во всемъ согласны, какъ Волохи, Молдавы, Сербы, Дальматы, Болгары, и самые его Величества подданные Черкасы, и всѣ Греки, отъ которыхъ Вѣра наша православная принята, всѣ тѣ народы согласно лѣта свои исчисляютъ отъ Рождества Христова въ осьмой день спустя, то есть, съ января перваго числа, а не отъ созданія міра, за многую разнь исчитанія въ тѣхъ лѣтахъ: и нынѣ отъ Рождества Христова доходитъ 1699 годъ, а будущаго января перваго числа настанетъ новый 1700 годъ, купно и новый сто лѣтній вѣкъ; и, добраго и полезнаго для, указалъ великій Государь впредь лѣта счисляти въ приказѣхъ, и во всякихъ дѣлѣхъ и крѣпостяхъ писать, съ нынѣшняго января перваго числа отъ Рождества Христова 1700 года. Во знакъ того добраго начинанія и новаго столѣтняго вѣку, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, послѣ должнаго благодаренія Богу и молебнаго пѣнія въ церкви, по большимъ проѣзжимъ и значительнымъ улицамъ, знатнымъ людямъ, у домовъ нарочитыхъ духовнаго и мірскаго чина, предъ вороты учинить нѣкоторое украшеніе отъ древъ и вѣтвей сосновыхъ, еловыхъ и можжевеловыхъ, противъ обра-

цевъ, каковы на гостинѣ дворѣ, у нижней аптеки, или какъ удобнѣе и пристойнѣе, смотря по мѣсту и воротамъ, учинить можно....»

Слѣдуютъ дальнѣйшія подробности торжествованія новаго года.

Окольничій грустно слушалъ чтеніе указа. Когда Калистратовъ окончилъ чтеніе, Андрей Артамоновичъ, покачивая головою, печально сказалъ: «Поди, на какую хитрость поднялся! А князь Лука къ тому времени не поспѣетъ....»

— «Что же, батюшка Андрей Артамоновичъ?» кричали изъ столовой.

— «Ступай съ Богомъ по домамъ!» отвѣчалъ окольничій: «Это не для васъ выдумано.»

— «А для кого же?»

— «Шутка, шутка, дѣти! Свадьбу съиграютъ, да и опять велятъ всему по старому быть.»

— «Какую свадьбу, бояринъ?»

— «А вамъ какое дѣло?» сказалъ Андрей Артамоновичъ съ запальчивостью. «Долой со двора! поняли!... Говорятъ, не для васъ выдумано!»

Народъ разошелся. Окольничій всталъ и пошелъ въ теремъ дочери.

— «Я вамъ дамъ! Новый годъ! Ради бабъ, цѣлый городъ морочатъ! Да не удастся шутка!... Эй! вели запречь лошадей. Всѣ въ деревню ѣдемъ....»

Едва окольничій сошелъ въ гостиную, доложили, что явился дьякъ изъ думы. — «Зови!» — Вошелъ дьякъ и объявилъ царскій нарядъ Артамоновичу: напоминовать всю Покровку и за огнями наблю-

деніе имѣть; а какъ въ первый день января у него же на дому, по условію, быть сговору, то бурмистерская ратуша придастъ ему для надзора шесть хожалыхъ и шестьдесятъ человѣкъ изъ новыхъ полковъ по наряду отъ военнаго начальства.

Объявивъ царскій указъ и положивъ на столъ бумагу, дьякъ поклонился и ушелъ. Окольничій былъ въ отчаяніи, и не смѣлъ взять въ руки роковой бумаги.

— «Что, батюшка Андрей Артамонычъ? Лишняя деньга изъ кармана?» говорилъ осьмидесяти-лѣтній Аѳонасій: «Бывало, при бояринѣ....»

— «Дуракъ ты, Аѳонька! Стану я для Государя денегъ жалѣть. Да дочки то не хотѣлъ за денщика безъименнаго выдавать: а по новому указу приходится....

— «Тамъ ничего не писано....»

— «Понимаешь ты много! Я дочку князь-Лукѣ обѣщалъ; да хотѣлъ, чтобы онъ хоть сержантскій чинъ получилъ, а князь-Луку въ Воронежъ услали барки чинить. Ну, княжеское ли это дѣло? самъ подумай. А ему раньше великаго поста въ Москву и носа показать нельзя. Я было хотѣлъ, такъ сказать, чтобы князь-Лука дочку мою увезъ, да и обвѣнчался послѣ поста. А я чѣмъ виноватъ?... За чѣмъ нѣмецкое завелъ? За моремъ это въ обычаѣ. А ты вотъ старъ сталъ, за охотниками не смотришь, олуха послалъ: у того вѣрно грамоту, перехватили. Государь и догадался, да и выдумалъ новый годъ, осьмью мѣсяцами раньше Бога. Поди! что ты будешь теперь дѣлать! Хитеръ, больно

литеръ, хоть кого обманетъ!... А я, старый олухъ! Ужъ что бы мнѣ противъ подлога сдѣлать оговорку?... Что ты будешь дѣлать!

— «Эхъ! бояринъ!» сказалъ Аѳонасій: «Не думалъ я, что сынъ Артамона Сергѣевича станетъ Государю поперечить!»

— «Дуракъ ты, Аѳонька! Мнѣ царское слово законъ: да мое-то слово князь-Лукъ что теперь будетъ?»

— «А за чѣмъ же ты Государю не сказалъ?»

— «Со страху изъ ума вышибло! Съ нимъ не легко говорить. И самъ не знаю, что теперь дѣлать!»

Вошелъ слуга и доложилъ, что лошади готовы.

— «А кто приказывалъ?» гнѣвно отвѣчалъ окольничій.

— «Я приказывалъ...» отвѣчалъ Аѳонасій: нужда есть; надо ѣхать въ ряды, приданое закупать...

— «Дѣлай что хочешь, Аѳонька, а я и руки умываю.»

—

XI.

новый годъ.

Пришелъ восемнадцатый вѣкъ на смѣну старому. На красной площади все устроено. Государь зажегъ собственноручно первую ракету, и всѣ улицы освѣтились, при колокольномъ звонѣ, съ пушечною и ружейною пальбой. При громогласныхъ ура, барабанномъ боѣ и звукѣ трубъ и литавръ, Государь, первый, исполняя указъ, сталъ поздравлять

съ новымъ годомъ и столѣтнимъ вѣкомъ предстоявшихъ, начиная съ черни, потомъ переходя ко двору и возвращаясь снова къ черни. Такимъ образомъ Царь достигъ до Краснаго Крыльца, на которомъ ожидала вся семья Государева въ праздничномъ убранствѣ. До самаго утра продолжалась по Москвѣ пальба изъ ружей и ручныхъ пушекъ; во всю ночь пылала иллюминація. Никто между двумя вѣками не хотѣлъ и немогъ спать: каждый хозяинъ убиралъ зелеными вѣтками свои ворота. Настало утро, и Москва опустѣла. Послѣ обѣденъ Государь принималъ офиціальныя поздравленія въ кремлевскомъ дворцѣ; потомъ въ томъ же дворцѣ былъ большой столъ; наконецъ въ шесть часовъ, Царь, оставивъ пирующихъ, скрылся. Возвратясь потомъ съ Александромъ Ивановичемъ, онъ взялъ чарку и поздравилъ со всѣмъ обществомъ Александра Ивановича женихомъ. Сговоръ совершился.

— «Ну, господа!» сказалъ государь: «теперь къ Андрею Артамонычу!»

И всѣ отправились на Покровку; Андрей Артамонычъ развеселился, самъ разсказалъ Государю свои недоумѣнія, свои намѣренія, и заключилъ рѣчь словами:

— «Одного не пойму! Ужъ если тебѣ, Государь, такъ больно хотѣлось этой свадьбы, только ты сказалъ бы мнѣ на ушко: «Артамонычъ, хочу!» и кончено. Нѣтъ, Новый Годъ посреди года выдумывать! Вѣдь, пожалуй, люди и это не за шутку пріймутъ!

Государь разсмѣялся.

Ровно во второе воскресенье послѣ Новаго года сыграли и свадьбу!

На другой день, Андрей Артамонычъ спросилъ у Аѳонасія:

— А что Новый Годъ? Не отмѣнили еще?...»

— «Нѣтъ; еще ничего не слышно, развѣ къ вечеру....» отвѣчалъ Аѳонасій, и окольничій успокоился.

Прошло много лѣтъ. Наступилъ Новый Годъ. Въ новорожденномъ Петербургѣ былъ балъ у Меншикова. Александръ Ивановичъ взялъ какую-то даму и повелъ къ танцу....

Государь улыбнулся и тихо сказалъ: «Пора намъ расчитаться.»

—

XII.

РАСЧЕТЪ.

Другой денщикъ подалъ Александру Ивановичу записку.

— «Отъ кого?» спросилъ Александръ Ивановичъ.

— «Видно замѣтка отъ Государя....»

Между-тѣмъ очередь Александра Ивановича наступила: надобно было выдѣлывать колѣно: Александръ Ивановичъ спряталъ записку въ карманъ и продолжалъ танецъ. Государь всталъ и, проходя мимо, сказалъ: «Александръ прочти!» Александръ Ивановичъ прочелъ, бросилъ пляску, отыскалъ жену и, при всѣхъ, бросился къ ногамъ Государя.

— «Видишь, Александръ...» сказалъ Государь: «пришла пора; я сталъ побогаче, и рука моя развернулась.... Вставай, и научи сына служить Государямъ своимъ по твоему! — Матвѣевъ, поди сюда!» кликнулъ Государь. Графъ Андрей Артамоновичъ подошелъ со всею ловкостью опытнаго придворнаго.

— «Видите, ваше сіятельство! Александръ Ивановичъ, какъ и вашъ достойный родитель, изъ бѣдныхъ дворянъ достигъ до знатнаго чина и богатыхъ помѣстій.... Одна заслуга возвышаетъ людей въ государствѣ благоустроенномъ. Заслуга возвела родителя вашего до боярства, васъ до графскаго достоинства, Александра Ивановича Румянцева до генералъ-маіорскаго чина. И, вѣрьте мнѣ, только одна заслуга возведетъ васъ и дѣтей вашихъ на первыя степени государственныхъ должностей.»

— «Дай Богъ тебѣ, Государь, быть пророкомъ!» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ Румянцевъ.

И блистательно сбылось пророчество Петра Великаго!

АВРОРА ГАЛИГАИ.

Тулузская легенда XIII столѣтія.

—

I.

УВЕРТЮРА.

Груды камней покрывали обширную площадку и часть улицы въ роскошной Флоренціи; куски драгоцѣннаго мрамора были далеко разнесены бѣдными жителями, и уже украшали на предмѣстіяхъ общественные фонтаны и часовни съ иконами Богоматери. Прошло болѣе двухъ недѣль съ тѣхъ поръ, какъ великолѣпный дворецъ Галигаи былъ срытъ до основанія неумолимымъ гонфалоніеромъ; болѣе тридцати домовъ, принадлежавшихъ меньшимъ отраслямъ той же фамиліи, раздѣлили жребій дворца Галигаи. Примѣръ строгости былъ необходимъ. Гвельфы не уважали новаго правительства; смѣялись надъ пріорами ремеслъ; бросали грязью въ гонфалонъ, или болыное знамя республики; силою вырывали изъ рукъ народной стражи преступниковъ, убійцъ, коль скоро они были изъ дворянскаго рода, или даже изъ плебеевъ, но приверженныхъ къ мнѣніямъ гвельфовъ. Дино Кам-

паньи, знаменитый писатель, современникъ Данте, и одинъ изъ первыхъ гонфалоніеровъ Флоренціи, воспользовался отсутствіемъ множества гвельфовъ, посланныхъ съ флорентинскими войсками въ походъ противу Пизанцевъ, и за первое своеволіе оставшихся, рѣшился наказать главу гвельфовъ и его приверженцевъ: дворецъ и домы всѣхъ Галигаи были, какъ мы сказали, срыты до основанія. Козьмо Галигаи вышелъ изъ Флоренціи; но, къ особенному его огорченію, многіе однофамильцы и почти всѣ приверженцы остались, или пылая мстію, или желая сохранить послѣдніе остатки разграбленнаго имущества.... Дино пощадилъ только фамильное кладбище Галигаи, и то по совѣту Джіанни делла Белла, флорентинскаго Вашингтона XIII столѣтія.

Солнце склонялось къ западу.... Съ криками побѣдъ флорентинское войско входило въ городъ. На возвышеніи, устроенномъ среди главной площади, стояли Пріоры Ремеслъ (dei arti); на уступѣ того же возвышенія, тремя ступеньками ниже, стоялъ Дино Кампаньи, осѣненный большимъ и шестью малыми *знаменами порядка*. Воины, къ какой сторонѣ ни принадлежали, почтительно кланялись пріорамъ и священному знамени. Джіанни делла Белла, бывшій тогда пріоромъ, отъ имени всѣхъ товарищей своихъ объявилъ благодарность вождямъ за успѣхъ и благоразуміе, и правительство новой Флоренціи возвратилось въ свою темницу: такъ, въ шутку, называлъ народъ новый флорентинскій замокъ.

Торжество побѣды скоро превратилось въ свѣтованіе: многіе не нашли домовъ своихъ; признаки народнаго волненія обнаруживались; но сильные отряды городовой стражи, со знаменами каждой части города, сохраняли нѣкоторый наружный порядокъ; оскорбленные притворно покорились жестокой волѣ пріоровъ, скрыли обиду, и думали о средствахъ тайной и страшной мести.

Джуліо Фрескобальди, гвельфъ, меньшой братъ Берто, знаменитаго противника Джіанни делла Беллы, раздѣлилъ жребій другихъ приверженцевъ Галигаи. Онъ нашелъ свою нищенскую хижину во рву; половину бревенъ растаскала чернь: остатки мирно догнивали; но Джуліо не скорбѣлъ о потерѣ всего: ему еще оставалась надежда, ласкала любовь... И Джуліо, еще покрытый кровію враговъ и пылью лѣтняго пути, бросился къ Гаспару Галигаи, бѣднѣйшему изъ этой фамиліи, но не нашелъ ни дома, ни жильцевъ....

— «Гдѣ, гдѣ она?» кричалъ Джуліо: «гдѣ Аврора? гдѣ Гаспаро?»

На крикъ его, изъ сосѣднихъ домовъ выбѣжали дѣти и старухи....

— «Гвельфъ!» отвѣчала ему портниха... «Поди къ Симону Кроначчи: онъ и тебѣ дастъ уголъ и кусокъ хлѣба. Онъ не злопамятенъ, а теперь на радости дастъ и денегъ!»

— «Джибелинская радость, джибелинская месть! Не пощадили и камней!..» сказалъ Джуліо.

— «Нѣтъ, гвельфъ, у него другая радость: Гаспаро согласился.»

— «На что?» спросилъ Джуліо съ ужасомъ....

— «Сходи, поздравь жениха! Симонъ и за это платитъ....

— «Клевета!» закричалъ Джуліо, и бросился не по улицѣ, а цѣликомъ по развалинамъ дворца на кладбище, примыкавшее къ садамъ Кроначчи.

Смерклось. Надгробные памятники, осѣненные тополями и обвитые миртами, хранили прежнее величіе. Мертвые праотцы не внимали суетнымъ спорамъ потомковъ, отреклись отъ дѣтей, жаждущихъ крови согражданъ, а сами? Давно ли тѣ же улицы, тѣ же площади обливали братнею кровью?... Джуліо остановился. Сквозь зыбкую зелень могильныхъ деревъ показались огни дома Кроначчи.... Итти ли на свадебный пиръ, итти ли на обрученіе? А можетъ быть, эти страшныя событія далеки: можетъ быть, Кроначчи, предъ глазами невинной Авроры, расточаетъ съ злодѣйскимъ умысломъ всемогущій соблазнъ богатства. Еще есть время разрушить эти чары!... Но двери на высокой террасѣ распахнулись; мелькнула тѣнь женщины, исчезла между надгробными памятниками, опять показалась, такъ близко возлѣ Джуліо, и преклонила колѣни предъ мраморнымъ изваяніемъ ...

— «Аврора!» закричалъ Джуліо, когда луна озарила лице молящейся. «Ты ли Аврора, дочь Гаспара Галигаи, внука Арнольфа, благороднѣйшаго во всей Тосканѣ?»

— «Я...» съ твердостью отвѣчала высокая, прелестная женщина: «я Аврора, дочь Гаспара Гали-

ганн, внука Арнольфа, благороднѣйшаго во всей Тосканѣ; я супруга Симона Кроначчи, сына неизвѣстныхъ родителей, славнаго только торговымъ богатствомъ, подлѣйшаго во всей Тосканѣ!»

— «Душа коварная!» сказалъ Джуліо съ бѣшенствомъ: «И ты не боишься этого ножа, который еще не омывался женскою кровью!... Ты, не достойная имени измѣнницы!»

— «Сердце ночной птицы!» съ гордостью отвѣчала Аврора: «Въ тѣснотѣ своей ты не можешь чувствовать, кому какая прилична жертва! Воля отца законъ Авроры; но месть и любовь — воля Авроры. — Прійди въ мои богатые покои, и блаженствуй надеждой; купи терпѣніемъ восторги любви, и помоги отмстить ненавистному джибелину....»

— «Такъ ты любишь меня, Аврора?»

— «Приходи и увѣрься!...»

Аврора исчезла.... Джуліо не зналъ, на что рѣшиться; любовь его не была тайной: взаимность Авроры была воспѣта его дерзкими стихами, и на улицахъ мальчишки пѣли про любовь Джуліо и Авроры. Самъ Гаспаро не разъ, за скуднымъ столомъ, заставлялъ повторять прекрасные стихи Фрескобальди; всѣ называли Джуліо и Аврору женихомъ и невѣстой.... Но въ годину несчастій флорентинскихъ гвельфовъ, Гаспаро соблазнился предложеніями богатѣйшаго купца и цеховаго старшины, Симона Кроначчи. Брачныя условія обезпечивали безбѣдную жизнь Гаспара и двухъ дюжинъ его ничтожныхъ родственниковъ; многіе изъ нихъ

дошли до такой степени бѣдности, что принуждены были носить фальшивые мечи, непремѣнную принадлежность дворянства. Увѣщанія, угрозы, проклятія, наконецъ намѣреніе Гаспара и родственниковъ, въ случаѣ неповиновенія употребить силу, рѣшили участь Авроры, и благороднѣйшая вѣтвь славнаго дома Галигаи породнилась съ джибелинами, плебеями, полудикими варварами.... Джуліо зналъ ихъ силу, мстительность, невѣжество, страшную готовность на преступленія, но и любовь на все готова.

—

Джуліо взошелъ на крыльце дома Кроначчи; ковры были разостланы на террасѣ, крыльцѣ и галереяхъ. Джибелины пировали, играя въ кости; разговоръ ихъ дымился смраднымъ неприличіемъ, божбою, клятвами, ругательствами... На крыльцѣ, на огромной віолѣ и двухъ трубахъ, играли музыканты. Симонъ обходилъ гостей; за нимъ два работника на серебряныхъ подносахъ носили вино въ золотыхъ чарахъ и хрустальныхъ стопахъ; многіе изъ гостей, выпивъ вино, клали золотую чару въ шляпу, закрывали платкомъ и надѣвали опять шляпу на голову, приговаривая: «На память, дорогой хозяинъ!» — «Пусть мнѣ отрѣжутъ ухо, а свадебной чарки не отдамъ.» — «На счастье, хозяинъ! видишь, проигрался; чортъ побери кости и меня вмѣстѣ!» и т. п. Хозяинъ кланялся, и отплевывался отъ чертей и заклинаній. — Симонъ и подносы приближались къ Джуліо... Робость, никогда не испытанная, овладѣла сердцемъ гвельфа.

Онъ бросился на террасу; Симонъ за нимъ; онъ въ комнату; тамъ Гаспаро и родственники сидѣли за круглымъ столомъ, и катали шары по мраморной доскѣ съ золотыми поручнями. — Аврора, блѣдная, мрачная, сидѣла въ раздумьѣ, отворотясь отъ женщинъ, одѣтыхъ съ особенною простотою и однообразіемъ: всѣ онѣ были въ узкихъ платьяхъ изъ грубаго алаго сукна, съ кожанымъ поясомъ; на лѣвой рукѣ у каждой висѣлъ синій плащъ, подбитый мѣхомъ; простоволосыя Флорентинки не обращали вниманія на тоску Авроры, и шептались. Аврора была одѣта точно такъ же, но алое сукно ея платья было тонко; поясъ мѣстами украшенъ жемчугомъ, голова цвѣтами и длиннымъ покрываломъ, глаза — двумя крупными слезами.

— «Проигралъ...» сказалъ Галигаи, снимая свой шаръ съ мраморной доски... «Симонъ, заплати!»

— «Сколько, дорогой тесть?» спросилъ Симонъ входя, и поглядывая искоса на вооруженнаго гостя.

— «Десять фунтовъ...»

— «Только! За мною, благородный гостъ, за мною: работникъ отнесетъ тебѣ деньги на домъ.— А ты кто и зачѣмъ?» спросилъ Симонъ, обращаясь къ Джуліо. Гвельфы вздрогнули, Аврора очнулась, Джуліо молчалъ.

— «Это твой гость, Галигаи!» сказала Аврора отцу: «Развѣ ты забылъ, Гаспаро?»

— «Это мой гость,» отвѣчалъ Галигаи, нахмуривъ брови, и потомъ понизивъ голосъ, на ухо сказалъ Симону: — «и твой соперникъ!»

— «Что же ты?» спросила Аврора у оторопѣвшаго мужа. «Гдѣ твое гостепріимство! Постой же, я за тебя!»

Аврора подошла къ Джуліо, взяла съ подноса самую великолѣпную чару, и подавая вино сказала: «Пей!»

— «Не могу...» бормоталъ Джуліо.

— «Пей!» сказала Аврора повелительно: «Я научу приговаривать по свадебному: За вѣчный союзъ любви нашей!...»

Джуліо выпилъ, и хотѣлъ поставить чару на мѣсто.

— «Такого сосуда не возвращаютъ!» сказала Аврора: «Возьми на память о нашей свадьбѣ.... Теперь еще! За месть тому, кто оскорбилъ, обидѣлъ, не сдержалъ слова или укралъ его, выманилъ... Пей!...»

Джуліо выпилъ, но гвельфы вскочили и схватились за мечи...

— «Благодарите...» сказала Аврора презрительно, обращаясь къ отцу и родственникамъ: «благодарите благороднѣйшаго за обѣтъ священный, и горе джибелинамъ!»

— «Что ты дѣлаешь?» съ ужасомъ спросилъ Галигаи, оглядываясь...

— «То, что слѣдовало дѣлать вамъ, благорожденнымъ, осквернившимъ великое имя Галигаи позорнымъ союзомъ! Но высокія чувства потеряли для васъ всякій смыслъ, всякое значеніе... Я вамъ на дѣлѣ растолкую обязанности благороженнаго..

Симонъ! Теперь посади почетнаго гостя за игру; для него я нарушу обычай, и буду играть съ нимъ сама... Симонъ! гдѣ тѣ шары съ золотыми очками, что ты приготовилъ для моей забавы?»

Симонъ былъ внѣ себя, но повиновался; перваго дня союза своего съ дворянами онъ не хотѣлъ омрачить кровавымъ заключеніемъ. Аврора была такъ хороша; блаженство его такъ близко... «Постой же!» думалъ онъ: «Потерплю часокъ, но когда мы останемся одни, благорожденную дочь Галиганы на замо́къ, на монастырскую пищу, подъ стражу дюжихъ работниковъ и....» Мало ли какія еще ужасныя мѣры представлялись изобрѣтательному воображенію ревниваго супруга: но онъ повиновался, подалъ шары и доску, убранную перламутромъ и благовоннымъ деревомъ, а самъ, желая скорѣе прекратить досадное свиданіе и опасную бесѣду, приказалъ ставить въ саду столы, освѣтить ночь безчисленными огнями, и такимъ образомъ поскорѣе избавиться отъ гостей... Столъ накрывали поспѣшно. Симонъ самъ разстанавливалъ блюда: нѣсколько десятковъ каплуновъ, начиненныхъ миндалемъ, сахаромъ и пряностями; сотни цыплятъ, груды фазановъ, три кабана и три дикія козы насилу были размѣщены, *со вкусомъ*, какъ говорилъ хозяинъ, на узкихъ столахъ. Рыба не свадебная пища, молоко также; но нельзя было нарушать обычая, и тридцать мальчиковъ изъ рабочихъ Симона носили около стола рыбныя блюда и хрустальные кувшины съ цѣльнымъ молокомъ, и кричали: *не пожелаетъ ли кто откушать по*

обычаю? Главнымъ предметомъ гастрономической заботливости Симона были пирожныя. Во всей Флоренціи славилась сахарная мастерская Кроначчи; и свадьба хозяина, по справедливости, должна была послужить торжествомъ сахарному искусству. На главный свадебный столъ поставили сахарную крѣпость, такъ что четыре ея башни пришлись на четыре конца стола; по серединѣ, на столбахъ, возвышался павиліонъ; въ немъ сидѣли двадцать четыре сахарныя персоны, и, отворотясь, держали кубки; такіе же двадцать четыре пажа, надъ кубками гостей держали кувшины; по четыремъ сторонамъ павиліона Симонъ собственноручно уставилъ четыре большіе золотые бассейна, и привелъ въ дѣйствіе ему одному извѣстный механизмъ: ударили фонтаны изъ чистой малвазіи, и въ кубки сахарныхъ гостей изъ пажескихъ кувшиновъ полилось дѣйствительное вино. «Готово!» закричалъ Симонъ въ восторгѣ; онъ забылъ соперника, жену, ревность, — все, все забылъ Симонъ, и глядѣлъ съ неописаннымъ торжествомъ на плоды своего богатства и *вкуса*.

Когда онъ вбѣжалъ въ почетную комнату, жена и соперникъ уже не играли: они продолжали тихую бесѣду, и схватили шары, когда уже заслышали голосъ Симона.

— «Милости просимъ, милости просимъ!» кричалъ онъ съ невыразимымъ восторгомъ: «не откажите удостоить скудную трапезу.»

— «Симонъ!» сказала Аврора, «я проиграла Фрескобальди сорокъ фунтовъ...»

— «Сто!» отвѣчалъ Симонъ: «только поспѣшимъ въ садъ.»

Гвельфы угрюмо хвалили диковинное пирожное, но джибелины громкими криками привѣтствовали крѣпость и палатку съ фонтанами. Аврора, сидя возлѣ мужа, не глядѣла на Джулію, была особенно ласкова съ Симономъ; разспрашивала, гдѣ онъ могъ достать такихъ чудесъ; обманывала, но не обманула стараго купца, который славился не въ одной Флоренціи умомъ и хитростью....

—

— «Сегодня...» сказалъ Галигаи, «сегодня для меня дважды счастливый день! Счастіе дочери моей упрочено, и враги наши, кровожадные пріоры, сегодня же оставятъ священную темницу.... Кажется, въ полдень еще окончился двухмѣсячный срокъ.... Но эта кошка, Дино, съ умысломъ продлилъ власть ненасытныхъ пріоровъ еще на нѣсколько часовъ!»

— «Не ошибаешься ли ты?» спросилъ Джулію.

— «Нѣтъ! Ни одинъ Галигаи не ошибется въ этомъ ужасномъ счетѣ. Весь вечеръ думалъ я, по какой причинѣ правители-ремесленники не объявили уже до сихъ поръ о своемъ выборѣ.»

— «Еще далеко до полуночи...» сказалъ шутъ, который ходилъ около стола, и вралъ безъ умолку.... «Въ темницѣ, какъ ты сказалъ,» продолжалъ шутъ: «а какъ я называю, въ городскомъ хлѣву, потому что тамъ теперь живутъ нечистыя животныя, а не главы флорентинскаго народа, въ

темницъ, или какъ добрые дураки зовутъ, въ замкѣ, пріоры ремеслъ днемъ не пьютъ, а безъ вина что ихъ головы?... Не лучше головы моего Симона, который будетъ скоро походить на того, что сидитъ на соборѣ съ книгой, съ жезломъ и еще съ чѣмъ-то на головѣ, или какъ проще говоритъ Алигіери, на барана въ жирѣ и цвѣтахъ...»

— «Что онъ вретъ? спросила Аврора....

— «Вретъ, какъ шутъ; ты увидишь!» злобно отвѣчалъ Симонъ.

— »Вотъ, какъ они подрумянятся,» продолжалъ шутъ: «такъ чего добраго, самого Симона выберутъ въ пріоры. Ну, вотъ будетъ смѣхъ.... Жену хоть назадъ отдай! Принесутъ тебѣ красный плащъ, посадятъ на осла, и повезутъ въ замокъ.... Два мѣсяца изъ замка даже на мостъ не пустятъ; жены съ собой брать не позволяется; да чего, поваръ общій; ни одного блюда выдумать нельзя; ѣшь что дадутъ,— вотъ какъ теперь мнѣ эти поганые сорванцы.... я хожу около стола, тѣшу печальную невѣсту, чуть слезъ не утираю, а они, чтобъ имъ сахаромъ роть залѣпило, дали фазанье крыло, на, глодай на здоровье.... Вотъ тебѣ и свадебный пиръ! Ну, Симонъ, быть тебѣ пріоромъ за такой порядокъ....»

— «На, пустомеля!» сказалъ Симонъ, снялъ со стола канлуна съ миндалемъ руками, и подалъ шуту.

— «Важно!» сказалъ шутъ. «Но только бы тебя, Симонъ, въ гонфалоніеры не выбрали. Глупая должность. Сидитъ съ пріорами въ замкѣ на зам-

къ.... Скука одолѣетъ.... Вотъ онъ отъ нечего дѣлать напьется, не выспится, и ну по городу буянить; выйти-то одному страшно. Пожалуй, вотъ такой оторви-голова, какъ Джуліо Фрескобальди, а еще хуже—братецъ его, Берто.... Чего добраго, какъ сова сидитъ на грудѣ камней, сидитъ и все видитъ; чего добраго, говорю, какъ хватитъ каменкомъ, такъ и гонфалонъ не защита.... А какіе славные миндали, Симонъ! Гдѣ ты это припасы добываешь? Достань гдѣ нибудь терпѣнія! Право, нужно! Жена не лучше гвельфа въ засадѣ.—Увидишь! Будешь кричать, хуже; глотка пересохнетъ, какъ у меня теперь....»

— «На, дуракъ!»

— «Люблю Симона, что всегда чинъ помнитъ, и намекъ понимаетъ.—Вотъ, изволишь видѣть, не за твое здоровье, а за твое терпѣнье! Знатная невѣста—хомутъ; а хомутъ извѣстно кому.... Не мое дѣло, ослиное.... Вѣдь я не про тебя говорю, Симонъ, а про того осла, на которомъ тебя въ замокъ повезутъ.... И если будешь гонфалоніеромъ, такъ смотри, Симонъ, дѣлай такъ, какъ Дино дѣлаетъ: напьется и выкинетъ фонарь и большое знамя.... Наши-то и сбѣгутся съ шести концевъ; онъ еще чарку выпьетъ, и идетъ съ городской стражей гулять по городу, будто для порядку, а вретъ, какой у насъ порядокъ! Этого у насъ и старики не запомнятъ; просто гулять, да стихи складывать.... Ну, да ты, умная голова, стиховъ сочинять не станешь; у тебя другая забота—молодая жена; сонъ тебѣ пригрѣзится, ты

тотчасъ выбрасывай гонфалонъ, и со всею стражей въ этотъ садъ бѣги, нѣтъ ли гдѣ Фрескобальди.... Не поетъ ли гдѣ знаменитыхъ строфъ, что вчера еще пѣлъ слѣпой Родни.... Росу помни, слѣдъ найдешь.... А если своего ума не хватитъ, у меня займи!... Что ты дерешься!» закричалъ шутъ, и полумертвый упалъ къ ногамъ Джуліо. Поступокъ Фрескобальди и крикъ шута былъ привывомъ къ дракѣ. Джибелины выхватили ножи; гвельфы обнажили саженные мечи; кровопролитіе было неизбѣжно; но ударъ колокола примирилъ обѣ стороны. Выборъ кончился; на мрачной массѣ городскаго дворца показался фонарь и освѣтилъ большое знамя порядка. Прогудѣлъ второй колоколъ, и сады Кроначчи опустѣли; всѣ, и гвельфы и джибелины, побѣжали на свои мѣста. Строгость Джіанни и Дино Кампаньи наводила невольный ужасъ, и заставляла повиноваться даже самыхъ буйныхъ, самыхъ непокорныхъ гвельфовъ.

Аврора, обнявъ колѣни Джуліо, плакала, заклинала не уходить, не оставлять ее на жертву ненавистному старику; но неумолимый Галигаи и родственники обезоружили и насильно увлекли Джуліо.

— «Возьмите ее!» сказалъ Симонъ слугамъ, указывая на жену: «Я научу ее повиноваться.... Гасите огни!.. Запирайте домъ и ограду!.. Осмотрите всѣ углы сада, и не смыкайте зоркихъ очей! Дѣти мои! Вы понимаете всю цѣну вашей услуги. Въ долгу не останусь: вотъ вамъ задатокъ.... Возьмите все это, пируйте, но не спите! Раз-

рушьте эту сахарную крѣпость, но защищайте крѣпость моего дома и покой моего блаженства!— Пиръ прерванъ! Я не горюю! Завтра, на радости, я уподчиваю на смерть полъ-Флоренціи.... Прощай, мое дорогое войско!...»

— «Будь спокоенъ,» отвѣчалъ шутъ, поднимаясь и охая: «Я предводитель.»

— «Ты?» засмѣявшись спросилъ Симонъ.

— «И гнусная кошка мститъ за обиду...» отвѣчалъ шутъ: «бросается на остріе, на огонь, какъ я на эту сахарную крѣпость. За мной, на приступъ!»

И слуги признали храбраго шута своимъ предводителемъ.

—

II.

ЗАКОНЪ.

— «Что за шутки!» кричалъ отчаянный Симонъ, бѣгая по комнатѣ, въ ночномъ колпакѣ, туфляхъ съ огромными, остроконечными, поднятыми вверхъ носками, и въ бархатной шубѣ на дорогомъ мѣху изъ молодыхъ лисицъ, купленныхъ имъ лично въ Константинополѣ.

— «Кто осмѣлится шутить,» отвѣчалъ Дино Кампаньи: «съ человѣкомъ, котораго за умъ и хитрость признали достойнымъ пріорскаго сана!»

— «Гдѣ вы у меня нашли умъ, хитрость! Гдѣ вы у меня нашли эти проклятыя качества! Я пошлый дуракъ! Богатъ и только, чего и тебѣ, Дино, искренно желаю, только оставь меня въ покоѣ.... Подумай! Сегодня моя сватьба.... Поду

май! Но вы—звѣри.... Вамъ непонятны человѣческія чувства. Пожалуй, и я, на замкѣ, въ проклятой темницѣ, потеряю всѣ нѣжныя качества, украшающія, какъ ты самъ писалъ, Дино, человѣческую природу....»

— «Это стихи, любезный Симонъ! Твоя сватьба едва ли не была главною причиною выбора. Ты породнился съ гвельфами, и можешь помирить обѣ стороны, можешь....»

— «Не хочу мирить, слышишь, Дино! Не хочу мирить; хочу ссориться, сражаться съ этими проклятыми гвельфами!»

— «Да что же они тебѣ успѣли сдѣлать?...»

— «Какъ что? Да они украдутъ у меня жену...»

— «Что за вздоръ!»

— «Какъ, жена вздоръ! Да посмотрѣлъ бы я на твои республиканскія добродѣтели, если бъ къ твоей женѣ сталъ подлипать какой нибудь Джуліо Фрескобальди, который, какъ самъ знаешь, заколдовалъ свои кости; ни камень, ни желѣзо не беретъ....»

— «Послушай, Симонъ! Увѣренъ ли ты въ такомъ развратѣ?...» спросилъ Дино.

— «Развратъ, Дино, развратъ, какого во Флоренціи и не бывало; развратъ хуже, чѣмъ въ аду Алигіери; хуже, хуже, Дино! Въ глазахъ, безъ обиняковъ...Не правда ли, развратъ неслыханный...»

— «Если ты убѣжденъ въ этомъ, Симонъ, законы нашего отечества строги; ты пріоръ; ты первый долженъ обуздать соблазнителя, и ссылка избавитъ тебя отъ соперника....».

— «Мудрѣйшій изъ мудрыхъ!» сказалъ Симонъ, обнимая гонфалоніера: «Ты подалъ мнѣ великую мысль.... Довольно объ этомъ. Но скажи, что мнѣ дѣлать съ женою? Пока мы, пріоры великой и богатой Флоренціи, очистимъ городъ отъ грѣха и соблазна,—женщина слабая, женщина обольщенная чарами, однимъ словомъ, готовая на все.... Но постой! Довольно!... знаю.... иду.... но гонфалоніеръ.... Объявляю домъ мой, жену, богатство въ опасности, и требую почетной стражи.»

— «Флоренція...» отвѣчалъ Дино: «не откажетъ въ справедливой просьбѣ человѣку, который на два мѣсяца оставляетъ всѣ дѣла свои, молодую жену въ день сватьбы, и запирается въ священную темницу для трудовъ и хлопотъ на пользу общую. — Проси!...»

— «Какъ проси?... Сегодня, сей часъ!»

— «Безъ приговора совѣта, не могу!»

— «Такъ я не иду въ замокъ!»

— «Поведутъ въ замокъ или на площадь. Не совѣтую!...»

— «Стой же, если такъ! Эй люди! Гдѣ мой шутъ, гдѣ мои лавочники, работники?...»

Дворня сбѣжалась....

— «Закладывай окно кирпичемъ!» кричалъ Симонъ: «кстати желѣзныя двери ведутъ на террасу; запирай! А террасу завтра же подрыть; пусть ее валится къ чорту.... А у этихъ дверей десять человѣкъ съ ножами и копьями, посмѣнно. Въ сѣняхъ двадцать! На дворѣ и въ садахъ по двадцати!... А завтра я пришлю съ дуракомъ моимъ порядокъ,

чемъ и когда кормить непокорную.... Ну, давайте одѣваться!...»

Аврора выбѣжала въ спальномъ платьѣ.

— «Что это значитъ, Симонъ!» кричала она: «Твои работники не даютъ мнѣ спать!»

— «И по дѣломъ! И по дѣломъ!» отвѣчалъ Симонъ, и посмотрѣлъ въ спальню: «Готово! Поди сюда! Я иду въ темницу, ты должна раздѣлить жребій мужа!» Симонъ втолкнулъ жену въ темную спальню; заперъ, взялъ ключъ съ собою, и одѣвшись вышелъ съ гонфалоніеромъ на крыльце. Вся улица была покрыта вооруженнымъ народомъ съ факелами. Гонфалонъ и шесть знаменъ шести концевъ Флоренціи развѣвались передъ домомъ Кроначчи. Старшины цеховъ держали за узду бѣлую лошадь и стремя. Симона посадили и повезли; онъ не отвѣчалъ на привѣтствія, безпрестанно оглядывался на домъ свой, и грозилъ пальцемъ....

— «Стой!» закричалъ Симонъ, примѣтивъ Джуліо и Берто Фрескобальди, которые, съ толпой вооруженныхъ людей, пробирались по сторонамъ улицы къ дому Кроначчи....

— «Нельзя!» сказалъ тихо Дино Кампанья: «Завтра....»

— «Завтра!» жалобнымъ голосомъ завопилъ Симонъ: «Не хочу я вашего пріорства!» и перекинулъ уже съ лошади ногу, но Дино насильно усадилъ снова Симона на сѣдло, и шествіе двинулось впередъ.

— «Гонфалоніеръ!» громко закричалъ Симонъ.

«Я объявляю Джуліо Фрескобальди измѣнникомъ религіи и отечеству!...»

«Завтра!» тихо шепталъ Дино.

— «Сегодня!» закричалъ Симонъ.

— «Сегодня!» повторилъ народъ и бросился на обвиненнаго.... Сраженіе завязалось. Берто ушелъ, но Джуліо съ тремя слугами былъ взятъ въ плѣнъ, и Симонъ приказалъ вести его за собою въ замокъ, безпрестанно повторяя: «Держите его покрѣпче; у него желѣзныя кости!»

Симонъ сошелъ съ лошади на мосту; прочіе пріоры уже ожидали его на обширномъ дворѣ мрачнаго зданія, архитектуры Лано. Новый гонфалоніеръ принялъ изъ рукъ Дино Кампаньи гонфалонъ. Джуліо былъ отведенъ въ темницу; остались только бывшіе и новые правители. Джіанни делла Белла сказалъ небольшую рѣчь, въ которой весьма ясно изложилъ успѣхи, какіе въ два мѣсяца управленія его и товарищей сдѣлало городовое право, и тѣ пути, по которымъ должно стремиться къ окончательному устройству счастія и спокойствія Флоренціи. Новые пріоры благодарили достойнаго соотечественника, и просили не оставлять ихъ совѣтомъ.... Все утихло въ священной темницѣ; пріоры разошлись по кельямъ; гонфалоніеръ помѣстился въ палатѣ подъ колокольней, поставилъ гонфалонъ на алтарикъ въ сошку, осыпанную драгоцѣнными камнями и золотою рѣзьбою, и улегся у подножія алтарика.... Вся Флоренція заснула. Рано поутру раздался колокольный звонъ; пріоры собрались въ церкви замка, отслушали

обѣдню и молебствіе, приняли пастырское благословеніе, и отправились въ залу юстиціи.....

— «Въ первый день...» сказалъ гонфалоніеръ, Пизанецъ Піомбани, низко кланяясь пріорамъ: «конечно, отцы правители не станутъ принимать просьбъ и просителей; прежде должно разсмотрѣть поведеніе нашихъ предшественниковъ, дать имъ отпускъ, т. е. одобреніе, и тогда уже заняться постановленіемъ правилъ, какъ вы будете управлять сами....»

— «Что это у тебя, Піомбани...» сказалъ Симонъ: «гонфалоніерскій значекъ на груди изъ такого дряннаго галуна?...»

— «Сдѣланъ на счетъ города....» отвѣчалъ гонфалоніеръ: «да и вся одежда и моя и ваша наводитъ уныніе.»

— «Да позволено мнѣ будетъ...» сказалъ Симонъ, вставъ и почтительно кланясь: «принести малую жертву на пользу любезнаго отечества! Сто локтей краснаго сукна на плащи для пріоровъ; семьдесятъ локтей золотой дамасской ткани на кафтаны; готовый нарядъ для гонфалоніера, и рубинъ цѣною во сто фунтовъ въ подножіе священнаго знамени....»

Пріоры и гонфаліеръ, не отвѣчая, встали и поклонились Симону....

— «Откуда ты это получаешь столько драгоцѣнностей?» спросилъ пріоръ Данте Алигіери....

— «Богъ посылаетъ съ честнаго торгу. У меня же, кромѣ того и *три ремесла* на дому..... Мастерскія во всю улицу. За честь, на меня ниспав-

шую, я принесъ обѣтъ сегодня, въ часъ по восхожденіи солнца, чтобы въ теченіе нашего заключенія, семейства моихъ сотоварищей, и твое, Піомбани, безплатно пользовались всѣмъ нужнымъ изъ лавокъ и мастерскихъ моихъ, о чемъ и прошу сдѣлать постановленіе и объявить кому слѣдуетъ.»

Все общество опять, не отвѣчая, встало и поклонилось Симону....

Тогда Кроначчи, поклонясь еще ниже, жалобнымъ голосомъ объявилъ:

— «Стремясь къ пользамъ нашего города, я желалъ прекратить ссоры, возникшія между гвельфами и нами. Лучшимъ къ тому средствомъ нашелъ я священныя узы крови, и вступилъ въ супружество съ Авророю Галигаи, что извѣстно вамъ, почтенные сотоварищи, нашему и другимъ городамъ. Но я не зналъ, что Авора обѣщана гвельфу Джуліо Фрескобальди. Вчера онъ возмутилъ празднество моей свадьбы; убилъ моего дурака; хотѣлъ отнять жену, поносилъ правительство, знамя порядка, и наконецъ съ вооруженными людьми напалъ на меня, когда я, по волѣ Флоренціи, исторгнутый изъ объятій супруги въ самый день сватьбы, съ торжествомъ спѣшилъ раздѣлить ваши труды. Властію на меня ниспосланною, я приказалъ взять его, заключить въ оковы, и предаю справедливому суду вашему! Что назначите, отцы отечества, преступнику?...»

— «Изгнаніе!» отвѣчали пріоры.

— «Но гдѣ свидѣтели?» спросилъ Данте.

— «Слова пріора....» отвѣчалъ Піомбани: «не требуютъ подтвержденія свидѣтелей.... Изгнанъ!»

— «Изгнанъ!...» повторили пріоры, не исключая и Данте.

— «Какой срокъ, однакоже, для окончанія дѣлъ?...» замѣтилъ Данте....

— «Осмѣлюсь представить...» отвѣчалъ Симонъ: «Джуліо Фрескобальди не имѣетъ ни какихъ дѣлъ во Флоренціи, ни какого имущества. Изъ человѣколюбія, на дорогу будетъ ему выдано сто фунтовъ изъ моей казны; но умоляю отправить его прямо изъ замка, ради спокойствія Флоренціи и моего....»

Приговоръ утвержденъ, ночью исполненъ.... На другой день, заключеніе Авроры нѣсколько облегчилось; она могла жить въ свѣтлыхъ покояхъ дома, гулять въ садахъ, принимать отца и еще нѣкоторыя лица по особому списку, но всегда подъ строгимъ присмотромъ дурака и самыхъ надежныхъ работниковъ Симона.... И два мѣсяца не вѣчность. Симонъ назначилъ преемникомъ Джіанни делла Белла, другіе избрали также богатыхъ или достойныхъ гражданъ. Торжество смѣны совершилось, и Симонъ обнялъ тихую, покорную супругу. О! какъ любовался онъ умомъ своимъ, добродѣтелями Авроры, и утопая въ блаженствѣ, давалъ пиръ за пиромъ ненасытнымъ друзьямъ, джибелинамъ и гвельфамъ безъ различія!

Въ это премя пріѣхало на житье во Флоренцію нѣсколько изгнанныхъ семействъ изъ Тулузы. Аврора скоро съ ними познакомилась. Страсть къ

нарядамъ та же язва. Мастерскія Симона непрерывно были заняты изготовленіемъ дорогаго платья — только для одной Авроры; разнообразныхъ башмаковъ для Авроры, поясовъ для Авроры, плащей, причесокъ, ожерелій, запонокъ, запястій, поручниковъ, рукавовъ — для тойже Авроры... Симонъ сначала восхищался, какъ онъ говорилъ, *вкусомъ* Авроры, собиралъ со всего города рисовальщиковъ, и вмѣстѣ съ ними сочинялъ новые, невиданные, часто уродливые образцы разныхъ принадлежностей туалета. Наряды Авроры не возбуждали негодованія въ простонародныхъ Флорентинкахъ; напротивъ, родилось подражаніе, фанатическое соревнованіе, которое распространилось не только на мужчинъ, но и на другіе города въ Тосканѣ и Ломбардіи. Болѣе ста уборовъ носили названіе Авроры Кроначчи. Симонъ и самъ ходилъ уже каждый день въ другомъ парикѣ, искренно радуясь, что свѣжими, красиво уложенными кудрями могъ замѣнить сѣдину, которая лукаво пробивалась въ черныхъ волосахъ пятидесятилѣтняго гастронома... Борода не могла повиноваться желаніямъ Кроначчи; красить волосъ тогда еще не умѣли, и борода, составлявшая столько лѣтъ украшеніе Симона, пала подъ остріемъ бритвы. Огромный пиръ возвѣстилъ Флоренціи о преобразованіи лика Кроначчи, и на другой день половина Флоренціи обрилась.... Увлеченный разсказами тулузскихъ гостей, Симонъ нарядилъ двѣнадцать молодыхъ работниковъ трубадурами, и назвалъ тровадорами, потомъ, не извѣстно по какой причинѣ, тровадоровъ пере-

именовали въ кáнторы; каждый день они пѣли съ грѣхомъ по поламъ народныя пѣсни, стихи Дино Кампаньи и Данта; но эта мрачная поэзія не нравилась веселымъ собесѣдникамъ. За шумной трапезой слагались другія, разгульныя пѣсни, которыхъ теперь нельзя было бы пѣть и въ мужскомъ обществѣ; но эти циническія канцоны долго владычествовали во всей Италіи, и до сихъ поръ слышны ихъ отголоски въ устахъ лѣнивой черни. Между тѣмъ торговля остановилась; въ лавкахъ работали день и ночь, но только для одной Авроры; щеголихи злились на Симона, а Симонъ потерялъ половину доходовъ.... Но несчастіе спасло Кроначчи отъ рѣшительнаго раззоренія. Съ амвоновъ раздался строгій голосъ проповѣдниковъ. Духовенство вооружилось противу подложныхъ волосъ; угрожало отлученіемъ отъ Церкви; пріоры испугались, и призвали на помощь своего законодателя. Джіанни не успѣвалъ писать постановленія противу роскоши. Денежныя взысканія только раздражали самолюбіе флорентинскихъ богачей; многіе мужья, въ томъ числѣ и Кроначчи, приносили въ зáмокъ пени впередъ за будущія преступленія женъ.... Нечего дѣлать. Гонфалонъ выброшенъ. Цѣховое войско собралось. Прочитано ужасное постановленіе: различныя дорогія ткани были окончательно запрещены; болѣе двухъ драгоцѣнныхъ камней носить не позволялось; шлейфы опредѣлены были въ двѣ трети локтя, и вообще все постановленіе состояло изъ безчисленныхъ запрещеній и подробныхъ исключеній, которыя роскошь въ нарядѣ дѣ-

лась решительно невозможною, и почти совершенно возстановляли прежнюю простоту одежды. Наказанія, объявленныя за нарушеніе новаго закона, поразили вооруженныхъ слушателей ужасомъ, и неоднократно возбуждали ропотъ противу жестокости Джіанни. Толпа съ какимъ-то трепетомъ разошлась съ площади по домамъ, и вскорѣ Флоренція взволновалась....

—

Аврора первая испытала строгость закона. Она шла къ вечернѣ въ высокой прическѣ, расписанная разными красками, распудренная; шесть мальчиковъ, нарядно одѣтыхъ, несли безконечный шлейфъ ея плаща, изъ тяжелой золотой дамасской парчи, подбитый горностаемъ. Въ преддверіи ее остановили наемные исполнители новаго закона; прическа, камни и плащъ были торжественно сняты съ непокорной; смѣшныя краски были насильно смыты съ прекраснаго лица освященною водою, и тѣ же мальчики понесли въ замокъ отнятую добычу, гонимые длинными бичами наемниковъ. Множество щеголихъ, испуганныхъ поступкомъ пріоровъ, воротились домой; раздался вопль, полились слезы, посыпались упреки; всѣ знатнѣйшія Флорентинки собрались у оскорбленной Авроры.

— «Симонъ!» кричала она въ бѣшенствѣ: «Ты мнѣ не мужъ, если не отомстишь за эту обиду!»

— «Но какъ, мой ангелъ....»

— «Перекинь цѣпи черезъ нашу улицу; вооружи работниковъ; у насъ свой городъ, своя Фло-

ренція; мы не признаемъ власти глупыхъ приоровъ!...»

Цѣпи перерѣзаны, работники вооружены; какъ молнія пробѣжала объ этомъ вѣсть по всей Флоренціи; множество женщинъ тѣснились въ домѣ, въ мастерскихъ и лавкахъ Кроначчи; мужья напрасно требовали возвращенія непокорныхъ женъ. Аврора, съ знатнѣйшими Флорентинками, лично вела защиту цѣпей; не смотря на грубость тѣхъ временъ, толпа не смѣла употребить силу противу нѣжнаго пола; выходили къ цѣпямъ ораторы, и уговаривали женъ покориться верховной власти. Плохое краснорѣчіе! Аврора отвѣчала за всѣхъ:

— «Довольно у меня припасовъ на многіе мѣсяцы; довольно людей и оружія! Пока безсмысленное постановленіе не будетъ отмѣнено, ни одна Флорентинка не возвратится къ недостойному мужу, отцу и брату, когда они не умѣютъ защищать правъ женщинъ, и позволяютъ совамъ городской темницы мѣшаться въ чужое дѣло... Вѣрьте! Мы не позволимъ ни одной ласки, ни одного поцѣлуя мужьямъ нашимъ, пока глупый законъ не будетъ уничтоженъ....»

— «Ей легко говорить....» отвѣчалъ молодой человѣкъ: «у нея мужъ уродъ, а я вчера женился...»

— «А моя свадьба назначена послѣ завтра....» говорилъ другой.

— «А моя Катарина! Сахаръ не уста....» кричалъ третій.

— «А моя Лючія....»

Вдругъ въ толпѣ раздался крикъ: «Гонфалонъ!

гонфалонъ! фонари!» Но въ отвѣтъ кричали молодые люди!

— «Я не иду.... Здѣсь моя жена.... Здѣсь сестра.... невѣста!... и т. д.» Вскорѣ гонфалонъ и фонари исчезли; раздался по улицамъ стукъ оружія. Гонфалоніеръ, съ немалымъ отрядомъ, явился предъ очами испуганныхъ женщинъ; одна Аврора не потеряла присутствія духа....

— «Снимите цѣпи!» кричалъ гонфалоніеръ.

— «Долой глупый законъ и глупыхъ законодателей!» отвѣчала Аврора, и выхвативъ ножъ у одного работника; подбѣжала къ цѣпи; женщины одушевились, и въ одно мгновеніе дамское войско облѣпило дорогую цѣпь.

— «Впередъ!» закричалъ гонфалоніеръ, и отрядъ двинулся на слабыхъ защитницъ роскоши....

— «Назадъ!» заревѣла толпа, и не прошло получаса, гонфалоніеръ возвратился въ замокъ одинъ, бросилъ гонфалонъ къ ногамъ пріоровъ, и объявилъ о возстаніи Флоренціи....

Всю ночь простояла толпа передъ поднятымъ мостомъ замка; всю ночь продолжалось совѣщаніе пріоровъ; къ утру законъ былъ отмѣненъ, но Симонъ Кроначчи, съ женою Авророю, приговоренъ былъ къ изгнанію. Пріоры не дерзнули коснуться его богатствъ, и даже срокъ для устройства дѣлъ назначили самый продолжительный.... семь сутокъ и одинъ часъ. Аврора торжествовала. Симонъ не унывалъ, устроилъ дѣла свои какъ нельзя лучше, и распрощался съ Флоренціей блистательнымъ пиромъ, на который изъ злобной

шутки приглашалъ и пріоровъ и гонфалоніера.... Флорентинки, въ богатѣйшихъ нарядахъ, на леткахъ и ослахъ, убранныхъ съ восточною роскошью, проводили знаменитыхъ супруговъ до ближайшаго города, и разстались съ Авророй, какъ-будто послѣ обычнаго посѣщенія. Многіе говорили ей: до свиданія; но не такъ думала, не того желала Аврора.

—

III.

БЕЗЗАКОНІЕ.

Смѣнился день туманомъ ночи
И ночь смѣнилась яснымъ днемъ.
Что утро, видятъ ваши очи
Денницу въ небѣ голубомъ.
Пѣвца тоскующіе взоры
Не видятъ утренней звѣзды,
И не разгонитъ вѣчной тмы
Улыбка пламенной Авроры.
И утро — счастіе для всѣхъ,
Начало радостей и жизни,
Для одного, какъ тяжкій грѣхъ,
Сіяетъ свѣтомъ укоризны;
Въ безчисленныхъ его лучахъ
Горятъ и жгутъ пѣвца укоры,
Зачѣмъ съ оружіемъ въ рукахъ
Онъ не былъ мстителемъ Авроры...

— «Что это за удивительный городъ» сказала Аврора, отирая слезу.

— «Очень чувствительная пѣсня и съ твоимъ именемъ; но, къ несчастію, мы иностранцы, и намъ нельзя пойти въ Капитолій; тамъ собралась академія и назначаетъ награды своимъ трубадурамъ; но постой, Аврора, я иду къ архіепископу,

и надѣюсь съ его помощью получить здѣшнее гражданство....»

— «Какъ! Безъ шутокъ, мы останемся въ Тулузѣ?..» съ примѣтною радостью спросила Аврора...

— «Да куда же намъ ѣхать? У меня много знакомыхъ купцовъ; товары мои уже здѣсь, люди переберутся въ Тулузу по-маленьку, и мы заживемъ на славу.... И какіе здѣсь благородные нравы; нѣтъ этихъ стѣснительныхъ постановленій; все живетъ весело, богато, свободно; я удивлю Тулузу моими пирами, ты нарядами. Чудо! Кстати, вотъ и скамья, и женщины сидятъ однѣ; какая милая свобода! Садись мой другъ, а я на пять минутъ заверну къ архіепископу; у меня есть письма, подарочекъ.... Я не теряю надежды....»

Едва Симонъ исчезъ въ сѣняхъ архіепископскаго дворца, изъ Капитолія высыпали граждане Тулузы, и толпа поворотила въ каштановую аллею, гдѣ множество женщинъ ожидали рѣшенія семи веселыхъ трубадуровъ.

— «Кому-то досталась золотая фіалка?... Вѣрно моему Раймонду... Нѣтъ... Нѣтъ... Это не онъ... посмотрите, добрая сосѣдка, это и не Видаль, и не Фигейръ! Неужели кто нибудь во всемъ Лангедокѣ могъ рѣшиться оспоривать у нихъ фіалку?...»

— «А какой прелестный молодой человѣкъ! Вѣрно кто нибудь изъ министеріаловъ архіепископа: посмотри: у него нога, носъ, глаза все такъ благородно...»

— «Что ты это, Роза! Какъ можно сравнить его съ Видалемъ!...»

— «Видаль! Помилуй, да Видаль сынъ скорняка, а это, можно подумать, побочный сынъ Филиппа Красиваго! Такъ хорошъ!...»

— «Чего добраго, сосѣдка, можетъ быть самъ Филиппъ пріѣхалъ изъ Тура, и нарядился трубадуромъ.»

Тулузскія сосѣдки замолчали. Толпа въ торжествѣ проходила мимо; глашатаи шли предъ семью веселыми трубадурами, основателями знаменитой академіи des Jeux Floraux, и кричали въ ладъ: «Слава побѣдителю, Фульку Генуэзскому!...»

— «Италіянецъ!» кричали Тулузянки.

— «Джуліо!» прошептала Аврора, и не знала, вѣрить ли глазамъ своимъ. Фрескобальди, благороднѣйшій во всей Тосканѣ — тулузскій трубадуръ, народный потѣшникъ, записной забавникъ архіепископа, бароновъ и рыцарей; игрушка дамъ, которыя такъ открыто любятъ ласкать своихъ трубадуровъ. Шествіе совершилось около Капитолія, и народъ сталъ расходиться... Трубадуръ съ золотой фіалкой шелъ одинъ, по каштановой аллеѣ; глубокая задумчивость осѣняла прекрасное лицо юноши; онъ взбѣжалъ на валъ, поднялъ глаза къ небу — и золотая фіалка полетѣла въ синія волны Гаронны... Возвратясь въ аллею, трубадуръ сталъ веселѣе; пробовалъ свою ручную лиру, голосъ, шепталъ что-то, и улыбался...

— «Джуліо!» тихо сказала Аврора. Трубадуръ вздрогнулъ, и увидѣвъ Аврору, нахмурился. Гнѣвно смотрѣли они другъ на друга, и молчали... Наконецъ Аврора гордо сказала: «Фулькъ Генуэз-

скій! Какую Аврору ты смѣешь воспѣвать предъ лицемъ тулузскихъ купцевъ и потѣшниковъ!»

— «Невѣсту-измѣнницу Джуліо Фрескобальди...» отвѣчалъ пѣвецъ.

— «Прибавь: невольную! Но ужъ вѣрно тѣни отцевъ твоихъ не принуждали тебя къ такому подлому ремеслу!»

— «Авроръ Кроначчи, флорентинской купчихѣ, неизвѣстны нищета и голодъ...»

Аврора сорвала съ шеи жемчужное ожерелье, и подавая его трубадуру, сказала посмѣянно:

— «На, но разбей этотъ ненавистный гудокъ!»

Джуліо поцѣловалъ лиру, и она разсыпалась мелкими кусками о ближній каштанъ. Струны простонали послѣдніе звуки, и эти звуки глубоко уязвили сердце Фрескобальди... «За этотъ жемчугъ!» со слезами сказалъ онъ.

— «За любовь мою!» прервала Аврора, и Джуліо хотѣлъ уже упасть на колѣни...

— «Симонъ, Симонъ!» сказала она: «Бѣги, Джуліо! Завтра, у обѣдни... надъ гробомъ Ѳомы Аквинскаго!...»

—

— «Пойдемъ домой, Аврора!» сказалъ Симонъ съ довольной улыбкой...

— «А что?»

— «Завтра у меня обѣдаютъ архіепископъ, вся ратуша, семь веселыхъ трубадуровъ... Надо всѣхъ пригласить, надо приготовиться... Успѣешь ли ты сдѣлать приличный нарядъ?»

— «Обо мнѣ прошу не безпокоиться...» отвѣ-

чала Аврора, снимая дорогую мантію на крыльцѣ своего дома... Симонъ отправился къ городскому префекту, или головѣ.

— «Поздравляемъ съ пріѣздомъ!» сказалъ префектъ: «Давно ли вы прибыли въ счастливую Тулузу?...»

— «Третій день, г. префектъ!» отвѣчалъ Симонъ, кланяясь.

— «Воля архіепископа для насъ священна. Я уже получилъ отъ него увѣдомленіе о вашемъ намѣреніи. Но подумайте о послѣдствіяхъ. Гражданинъ Тулузы не можетъ добровольно оставить города; обстоятельства могутъ перемѣниться; вы захотите возвратиться во Флоренцію, — этого нельзя; т. е. можно, но всѣ ваши товары, все ваше имущество обращено будетъ въ городскую собственность. Мы считаемъ подобные переѣзды измѣной, и только эта строгая мѣра доставила счастливой Тулузѣ спокойствіе и богатство!...»

— «Все знаю,» отвѣчалъ Симонъ: «и прошу васъ завтра, съ почтенными товарищами, на пиръ, по случаю моего водворенія въ счастливомъ городѣ Тулузѣ.»

— «Завтра!» отвѣчалъ префектъ, подумавъ. — «Завтра еще можно: я полагаю, новый парламентъ не кончитъ дѣла завтра. Буду, или лучше сказать, будемъ, дорогой согражданинъ, но завтра же, передъ пиромъ вы должны, въ присутствіи нашемъ, надъ честнымъ гробомъ Св. Ѳомы Аквинскаго, у доминикановъ, совершить присягу, послѣ обѣдни...»

На другой день, въ церкви Доминиканскаго Монастыря, собралась вся Тулуза смотрѣть на пріемъ новаго гражданина. Великолѣпный костюмъ дамъ, заѣзжіе рыцари; командоръ ордена Храмовниковъ, съ своимъ капитуломъ, въ богатѣйшихъ одеждахъ противу правила; торжественный нарядъ префекта, старшинъ и свѣтскихъ членовъ парламента, наконецъ появленіе архіепископа съ духовенствомъ, все это придавало обряду такую празничную торжественность, что Симонъ нѣсколько разъ воображалъ, будто его производятъ въ бароны, въ правители Тулузы... Обрядъ начался обѣдней. Симонъ стоялъ на колѣняхъ предъ главнымъ алтаремъ, окруженный плотною стѣной старшинъ и первостатейныхъ гражданъ. Онъ не могъ видѣть, что за нимъ совершался другой обрядъ, къ соблазну всѣхъ стариковъ и старухъ, и къ зависти всей молодежи.

Аврора тихо шепталась съ Джуліо...

— «Боже мой, Боже!» сказалъ Джуліо: «но чѣмъ же кончится любовь наша?...»

— «Надо все дѣлать въ порядкѣ,» отвѣчала Аврора: «Есть у тебя кольцо?...»

— «Есть.»

— «Обручимся!...» И она подала Джуліо золотое кольцо съ многоцѣннымъ изумрудомъ, на которомъ, по варварству того времени, былъ вырѣзанъ ея вензель...

— «Аврора, Аврора!» сказалъ Джуліо печально: «какая ужасная шутка, но нечего дѣлать, я повинуюсь... Возьми мое кольцо; но не мало жен-

щинъ добивались этого подарка не для дѣтской шалости, не для...»

— «Полно, шучу ли я?» отвѣчала Аврора... «Но уходи, Джуліо. Симонъ не долженъ тебя видѣть...»

Обѣдня кончилась, и всѣ знаменитѣйшіе слушатели литургіи, по окончаніи присяги и благодарственнаго молебствія, отправились къ Симону... Пиръ изумилъ собесѣдниковъ, давно уже привыкшихъ къ роскоши; только члены парламента и префектъ улыбались молча, и не удивлялись пышному житью-бытью Симона; знаменитѣйшіе трубадуры Лангедока, Видаль, Раймондъ и Фигейръ, восхвалили Божію Матерь, Ѳому Аквинскаго и другихъ угодниковъ... Рыцари разсыпались въ цвѣтистыхъ фразахъ предъ блистательною красотою Авроры; выпрашивали у нея ленточки, и Симонъ собственноручно обрѣзывалъ концы лентъ, висѣвшихъ разноцвѣтными пучками на рукавахъ Авроры, и съ гордостью раздавалъ ихъ рыцарямъ. Ножницы въ золотой оправѣ и осыпанныя драгоцѣнными камнями, послѣ обѣда, съ торжествомъ были отнесены на валъ, и брошены въ Гаронну, для того, какъ говорилъ Симонъ, чтобы этой чести не могъ удостоиться никто изъ неприсутствовавшихъ на пирѣ. Долго еще пировали собесѣдники за исключеніемъ архіепископа, духовныхъ и свѣтскихъ членовъ парламента и префекта. Симонъ былъ въ восторгѣ; но Аврора скоро удалилась въ свою спальню: тысячи средствъ избавиться отъ ненавистнаго джибелина возмущали гордое, злобное сердце Авроры; но ни на одно она не могла рѣшиться...

Умъ оскорбленной, ненавидящей и притомъ влюбленной женщины изобрѣтательнѣе Неронова: ядъ, кинжалъ, лодка, подкупленные убійцы, подушка, скорпіоны, аспиды, все это сатанинское воинство совершало свое волшебное шествіе предъ распаленнымъ воображеніемъ Авроры. . Сны блаженства земнаго смѣшались съ образами адскихъ чудовищъ. Аврора уснула...

—

Поздно поутру проснулась Аврора отъ необыкновеннаго шума на улицѣ; народъ опрометью бѣжалъ къ Капитолію; никто не могъ объяснить ей причины такого движенія черни. Симона уже не было; онъ ушелъ платить деньги за купленный имъ домъ, и возвратился блѣдный, растрепанный, испуганный, какъ-будто освободился отъ рукъ разбойниковъ...

Аврора испугалась не менѣе Симона; она вообразила, что неосторожный Джуліо открытъ... Блѣдность покрывала его лице; колѣни колебались; голосъ дрожалъ. «Что съ тобой?» спросила Аврора... «Повѣрь мнѣ, тебя обманули глаза! Это Фулькъ, сынъ генуэзскаго купца...»

— «Совсѣмъ нѣтъ!» кричалъ бѣшеный Симонъ: «Мои товары, мое богатство... мои радости, мое счастье, жизнь... все потеряно!...»

— «Какъ, неужели? Разскажи, разскажи!...» весело разспрашивала Аврора...

— «Чему ты обрадовалась? Умрешь съ голоду... Умрешь, какъ Уголино... умрешь съ голоду не въ

башнѣ, а на свободѣ, въ собственномъ своемъ домѣ, за собственнымъ столомъ, въ креслахъ изъ дамасской ткани, въ плащѣ изъ венеціянскаго бархата, что по тридцати ливровъ локоть! Умрешь... умрешь... Непремѣнно умрешь!»

— «Что это значитъ?»

— «Безуміе, потемнѣніе разсудка, болѣзнь, горячка правителей... О, проклятая Тулуза! Я не хочу твоего голоднаго гражданства... Три колѣна знаменитыхъ Кроначчи собирали богатства. Зачѣмъ? Чтобы послѣдній ихъ потомокъ умеръ съ голоду...»

— «Что съ тобой, Симонъ? Ты вѣрно проигрался!»

— «Меня обыграли, обманули, ограбили... У меня мѣшки золота; груды шелковыхъ тканей... Что въ томъ? Гляди на нихъ и не ѣшь...»

— «Вѣрно здѣсь строгій постъ... Но кажется...»

— «Постъ, Аврора, постъ вѣчный, постъ смертельный! сегодня: говядина съ зеленью, курица подъ соусомъ, жареный заяцъ... и только!... Завтра: ветчина съ проклятою травой, утка, подумай, утка подъ соусомъ; жареное, вымолвить страшно, баранина!... Три кушанья, только три кушанья!!.. А на десертъ... Не смѣйся, Аврора, молю тебя не смѣйся, когда услышишь что этотъ кровожадный парламентъ выдумалъ на десертъ; просто насмѣшка, пасквиль!!..»

— «Что же на десертъ?...»

— «Орѣхи, сыръ и масло!» отвѣчалъ Симонъ, и слезы показались на глазахъ, неумѣвшихъ прежде плакать.

— «Помилуй! Но у тебя вчера...»

— «Сегодня, говорятъ тебѣ, сегодня въ Капитоліи! Въ Тулузскомъ Капитоліи, гдѣ Римляне ставили ежедневно по сту блюдъ... эти голыши, барышники, эти жиды... О! вижу, вижу! Я жертва законовъ! Какъ будто нарочно для меня сочиняютъ эти законы...»

Въ это время вошла тощая, длинная фигура парламентскаго прокурора. Симонъ бросился къ нему на встрѣчу съ отверзтыми объятіями, и усаживая его въ кресла, говорилъ несвязно: «Ахъ, г. прокуроръ... Ради Бога, г. прокуроръ!... Садитесь!... Очень вамъ благодаренъ!... Я не могъ не пригласить васъ!... Совѣтъ вашъ... Одолженіе... Ваша мудрость» — и потомъ, обратясь къ женѣ, сказалъ поспѣшно: «Аврора! Вина... Знаешь, что я отложилъ вчера только для такихъ гостей, какъ его милость... Вина...»

— «Нельзя!» сказалъ прокуроръ со вздохомъ.

— «Чего нельзя?»

— «Вина! Теперь утро. Этимъ закономъ...» прибавилъ прокуроръ, указывая на бумагу: «позволено вино только по воскресеньямъ; сегодня понедѣльникъ....»

— «Бога вы не боитесь, г. прокуроръ; но кто же безъ вина проживетъ сутки?...»

— «Нельзя! Роскошь трапезная гибельна и безполезна для города; богатѣйшіе купцы раззоряются на пиры и попойки, и съ тѣмъ вмѣстѣ разрушаютъ драгоцѣнное здоровье. Мѣра разумная, мѣра необходимая....»

— «И вамъ тою же мѣрою возмѣрится въ будущей жизни....» сказалъ печально Симонъ. «Но неужели въ вашемъ законѣ нѣтъ исключеній для иностранцевъ; напримѣръ для меня?...»

— «Вы гражданинъ Тулузы!»

— «Вотъ дуракъ попался!» сказалъ Симонъ, ударивъ себя по лбу и топнувъ ногою.... «Но неужели, г. прокуроръ вовсе нѣтъ никакихъ изворотовъ, случаевъ, знаете, этихъ лазеекъ, безъ которыхъ законъ не законъ....»

— «Какъ не быть!» отвѣчалъ прокуроръ улыбаясь: «Напримѣръ, женитесь....»

— «Честь имѣю представить мою супругу,» отвѣчалъ съ досадой Симонъ, показывая на Аврору. Прокуроръ поклонился и продолжалъ: «Жаль! На сватьбѣ положено двадцать блюдъ; во-вторыхъ, постарайтесь вступить въ рыцарство. При посвященіи позволено сто блюдъ....»

— «Сто блюдъ! Всемогущій Боже! зачѣмъ мнѣ пятьдесятъ два, вру, сорокъ восемь лѣтъ!... Сами подумайте, какой изъ меня выйдетъ пажъ, а безъ этого нельзя же быть не только рыцаремъ, но даже и оруженосцемъ.... Сто блюдъ!... Блаженное званіе!...»

— «Во время болѣзни могутъ быть дозволены почти всѣ яства, по указанію врача....»

— «Охъ!... душенька Аврора, затвори окно, вѣтеръ. У меня ломъ въ рукѣ.... охъ.... продолжайте, г. прокуроръ.... охъ.... я захворалъ отъ вашего закона; можетъ быть, выздоровѣю отъ исключеній....»

— «Нѣтъ, достойный г. Кронначчи, развѣ умрете, потому что послѣднее исключеніе похороны: также въ двадцать блюдъ, какъ и на сватьбѣ...»

— «Охъ.... И болѣе рѣшительно нѣтъ ни какихъ исключеній.... охъ!...»

— «Нѣтъ.»

— «Благодарю васъ, г. прокуроръ. А кто у васъ здѣсь лучшіе врачи?...»

— «Совѣтую взять всѣхъ,» отвѣчалъ прокуроръ: «каждый позволитъ вамъ свое любимое кушанье, и вашъ обѣдъ будетъ походить на свадебный.»

— «Благодарю васъ, г. прокуроръ; простите, что не провожаю; ломъ перешелъ въ ногу....» Прокуроръ ушелъ. Симонъ охалъ, послалъ за врачемъ, и успокоился. Пришелъ и врачъ....

— «Какъ тебѣ не стыдно носить такое дрянное сукно!» сказалъ Симонъ, осматривая чернаго гостя съ ногъ до головы.

— «Бѣдность, именитый мужъ!...» отвѣчалъ врачъ, низко кланяясь.

— «Я тебѣ подарю кусокъ тонкаго сукна, когда прійдетъ мой гренадскій обозъ.... А воротнички изъ чего вы дѣлаете?...

— «Изъ деревенскаго холста, именитый мужъ!»

— «У меня есть остатокъ, локтей въ двадцать, хорошаго тонкаго батиста.... Возьми себѣ....»

Врачъ поцѣловалъ Симона въ плечо, и почтительно отступилъ....

— «Боленъ я, братецъ, крѣпко боленъ....» сказалъ Симонъ охая.

— «Не прикажете ли кровь отворить?...»

— «Дуракъ! Я такъ хлопочу о сохраненіи моей драгоцѣнной крови! Не то. У меня болѣзнь старая, и лекарство найдено однимъ алхимикомъ во Флоренціи; лекарство такъ же просто, какъ необыкновенна болѣзнь. И вотъ въ чемъ заключается эта досадная болѣзнь: я всегда вижу во снѣ, что я доженъ ѣсть на другой день. И если я не поѣмъ того, что я видѣлъ во снѣ, или не достану на рынкѣ — ломъ во всѣхъ членахъ. Удивительная болѣзнь!...»

— «Еще удивительнѣе лекарство,» отвѣчалъ врачъ, садясь за столъ, и взявъ въ руки перо и бумагу: «Что же вы видѣли во снѣ сегодня?..»

— «Удивительный народъ Французы! Какая понятливость! Пиши: видѣлъ Симонъ Кроначчи.... Нѣтъ, этого не пиши, а просто одни наименованія: фазанъ, рыба.... по усмотрѣнію; четыре бекаса, множесто зелени.... потому что я видѣлъ цѣлый огородъ. Прибавь: безъ различія.... Четверть серны и пирожное, походившее видомъ на Тулузскій Капитолій.... Пирожное уже готово; я и тебѣ подарю одинъ ярусъ?»

— «Вамъ можно, именитый мужъ.... Вы больны, но я....»

— «Постой; важное качество моей болѣзни: я боюсь отравы. Врачъ и жена должны отвѣдывать всѣ кушанья; иначе — ломъ.... Приходи обѣдать... Да гдѣ ты живешь?... Хочешь, живи со мной; помѣстимся. Что, готово?»

— «Готово!» отвѣчалъ врачъ, подавая больно-

му длинный рецептъ: «И согласно съ изданнымъ сегодня закономъ!»

— «Приходи же! Я люблю ученыхъ и понятливыхъ людей...» сказалъ Симонъ, и черезъ нѣсколько минутъ врачъ подъ мышкой принесъ всѣ свои пожитки, и помѣстился въ мезонинѣ. Но Симону скоро надоѣло обѣдать втроемъ. Тѣмъ болѣе это стѣсненіе было ему досадно, что архіепископъ и парламентъ, узнавъ о такой хитрости, смѣялись и говорили: «Пусть себѣ Италіянецъ раззоряется, а ужъ пира не дасть; за это можно поручиться.» На пятый день Симону сдѣлалось дурно; онъ захворалъ не на шутку; слегъ въ постель; врачъ былъ въ отчаяніи; Аврора не могла скрыть своего восторга; неосторожная отыскала Фрескобальди, и счастливый любовникъ свободно и безпрепятственно весь день просидѣлъ въ гостинной Авроры. Въ вечеру Симонъ позвалъ жену, и написалъ завѣщаніе, въ которомъ все имѣніе переходило въ ея руки; завѣщаніе положилъ больной подъ подушки, потомъ послалъ за пріоромъ Доминиканскаго Монастыря, и остался съ нимъ наединѣ, приказавъ запереть двери въ трехъ комнатахъ, одна съ другою смежныхъ.

— «Я умираю, достойный пастырь....» сказалъ Симонъ: «Не то.... я имѣю намѣреніе умереть.... и умереть не совсѣмъ, а такъ, знаете, немножко; но безъ вашей помощи я не могу этого сдѣлать...»

Пріоръ, принимая слова Симона за бредь, приложилъ одну руку къ головѣ, другую къ сердцу больнаго...

— «Не подумайте, достойный отецъ, что я говорю въ горячкѣ или въ шутку.... Нѣтъ, я хочу испытать любовь и вѣрность моей жены; хочу умереть на одинъ день. Не все ли вамъ равно, въ самомъ ли я дѣлѣ умеръ, или нарочно? Похоронныя издержки будутъ вамъ заплачены вдвойнѣ.»

Пріоръ улыбнулся. Симонъ вскочилъ съ постели.

— «Послушайте добрый пастырь!» сказалъ Симонъ: «Не грѣхъ передъ смертью выкушать пару кувшиновъ стараго Кипра.... Я боленъ, а вы....»

— «Законы Тулузы...» отвѣчалъ пріоръ: «на насъ не распространяются....»

— «О, проклятые законы! они причиною моей смерти. Но вашъ совѣтъ вразумить меня и наставить.» — Симонъ вынулъ изъ-подъ половицы двѣ фляги, обросшія мхомъ, и двѣ золотыя чары, и бесѣда полилась искренно и дружески.

— «Когда же вы располагаете умереть?» спросилъ пріоръ, допивая свой пай....

— «Сегодня, пріоръ, сегодня, послѣ полуночи. Прикажите омыть меня, одѣть въ *бѣлую рубаху* и *бѣлый колпакъ*, для большаго обмана; положить безъ гроба на носилки; проводить въ церковь завтра поутру, отпѣть и отнести въ склепъ, что на берегу Гаронны, въ нижнемъ моемъ саду....»

— «Но если обманъ обнаружится?» спросилъ пріоръ.

— «Кромѣ васъ, меня и этого кошелька никто не знаетъ и не будетъ знать о нашей тайнѣ....

въ рукахъ, пріоръ! За всѣ издержки и плачу впередъ половину, а половину послѣ моего благополучнаго оживленія....»

—

— «Что мужъ мой?» спросила Аврора, когда пріоръ вышелъ отъ больнаго....

— «Ни какой надежды.... Вы должны удалиться въ свои покои, и не нарушать послѣднихъ минутъ несчастнаго страдальца.... Пріоръ ушелъ.

— «Пойдемъ, Джулію!» сказала Аврора: «Благодарю Бога, что онъ избавилъ меня отъ преступленія! Узнай, Джулію, я уже по церквамъ объявила о нашей помолвкѣ, чтобы сократить срокъ ненавистнаго вдовства, и только и думала, какимъ оружіемъ скорѣе и безопаснѣе овдовѣть!... Кто-то идетъ? Это Симонъ! Великій Боже, какая хитрость! Бѣги, Джулію....»

Не успѣлъ Джулію порядочно запереть за собою двери, какъ въ гостиную вошелъ больной со свѣчею въ рукахъ, и созвалъ дворню.... Торжественно объявилъ онъ о своей смерти, назначилъ двадцать блюдъ; вина, пирожное съ изображеніемъ гроба на высокомъ катафалкѣ, подъ великолѣпнымъ балдахиномъ; роздалъ всѣмъ людямъ награды; потомъ отправился въ нижній садъ; осмотрѣлъ склепъ; приказалъ немедленно купить гробъ, описавъ съ подробностію всѣ его принадлежности; назначилъ мѣсто, гдѣ поставить его, и главное не запирать рѣшетчатой двери. Тогда Симонъ возвратился въ покой, и сталъ прощаться съ людьми и съ жёною....

Люди плакали навзрыдъ; врачъ растерзалъ на себѣ одежду и съ воплемъ рвалъ волосы; одна Аврора не могла ни плакать, ни смѣяться, съ трудомъ соображая, что̀ вокругъ нея творится.... «Пріоръ идетъ, пріоръ идетъ!» закричали люди.—«За мной!» отвѣчалъ жалобно Симонъ, бросился въ спальню, въ постель — и сталъ кончаться... Въ первомъ часу по полуночи, Симонъ Кроначчи, послѣ краткой отходной, переселился въ Поля Елисейскія. Домъ исполнился плача и рыданій. Аврора бросилась къ мужу, потянула руку подъ подушку; завѣщанія не было. «Maledetto!» прошептала она. Симонъ не удержался, и улыбнулся; съ крикомъ выбѣжала Аврора изъ спальни, и опомнилась въ гостиной, гдѣ уже собрались такъ называемые друзья покойнаго, и между ними самый лучшій другъ Симона — Джуліо Фрескобальди. Освободясь отъ перваго ужаса, Аврора поняла шутку, и поспѣшила отплатить за нее по-своему. Отчаянье Авроры обмануло самого Симона; слыша ея стоны, онъ опять не удержался, и двѣ крупныя слезы улеглись на рѣсницахъ; тяжкій вздохъ вылетѣлъ изъ груди; слуги, обмывавшіе трупъ Симона, едва не уронили его; но пріоръ сказалъ: «Это случается и послѣ смерти...» и всѣ успокоились. Всю ночь гудѣли колокола въ Тулузѣ. Пріоръ выслалъ всѣхъ изъ комнаты, гдѣ лежалъ покойникъ.

— «Вставайте!» сказалъ пріоръ: «побесѣдуемъ!»

— «Ухъ!» отвѣчалъ Симонъ, соскочивъ съ носилокъ: «преглупая это вещь, смерть...»

— «Да, нельзя сказать, чтобы самая веселая...»

— «А главное, бока отлежишь. Нельзя повернуться.... Но, достойный другъ мой, я дурно распорядился: умеръ безъ ужина!...»

— «За то, какъ пообѣдаете!...»

— «Представьте мое несчастіе. Я позабылъ поварамъ приказать намочить серну въ уксусѣ. Будетъ жестка, злодѣйка... А такъ какъ они меня къ обѣду не ожидаютъ, полѣнятся....»

— «Я могу исправить эту ошибку. Скажу, что я прочелъ это обстоятельство въ завѣщаніи....»

— «Безподобно! А какъ послѣдняя воля священна....

— «Именно, г. Кроначчи, то и намочить серну въ уксусѣ. Ложитесь, ложитесь.... А я схожу на кухню.»

— «Такъ не забудьте же еще одного пункта. Въ томъ же завѣщаніи сказано: У гроба долженъ всю ночь неотлучно сидѣть только одинъ пріоръ; для чего приготовить ему приличную трапезу въ той же комнатѣ. Такъ мы, знаете, и поужинаемъ...»

— «Превосходно! Ложитесь!»

— «Лежу, лежу!...»

Все было исполнено по завѣщанію именитаго тулузскаго мужа, Симона Кроначчи. Настало утро. Приняли всѣ ордена, какіе только были въ Тулузѣ. Собрались всѣ именитые граждане. Пиръ соблазнилъ и самихъ законодателей. Префектъ приказалъ открыть лице мертвеца, но пріоръ не согласился, ссылаясь на третій пунктъ завѣщанія....»

— «Гдѣ же оно?» спросила Аврора, входя въ покои въ пышномъ праздничномъ нарядѣ, въ со-

произведеніи Джулію и трехъ молодыхъ соотечественниковъ.

— «У меня!» отвѣчалъ пріоръ. «Я душеприкащикъ. По четвертому пункту того же завѣщанія, я долженъ представить его въ ратушу не раньше трехъ дней....»

— «Ахъ, умница!» подумалъ Симонъ, и едва не расхохотался.... Но слуги подняли носилки и раздалось погребальное пѣніе.... Пріоръ обнаружилъ необыкновенную распорядительность; весь храмъ былъ обтянутъ чернымъ сукномъ и усыпанъ серебряными звѣздами; катафалокъ, балдахинъ, огненныя пирамиды—все соотвѣтствовало тщеславію Симона. Когда раздался на хорахъ agnus dei, Симонъ не утерпѣлъ, и вполовину открылъ лѣвый глазъ... О ужасъ! Аврора и Джулію стояли такъ близко, шептались такъ нѣжно.... Симонъ открылъ оба.... Нѣтъ, онъ не ошибался.... Онъ хотѣлъ уже соскочить съ носилокъ, но пѣвчіе пріударили fortissimo, и Симонъ зажмурился.

— «Не далеко и до конца! Постой же, измѣнница, я тебя!» думалъ онъ.... «Еслибъ не обѣдъ въ двадцать блюдъ... Ну, да постой.... Я же тебя напугаю....»

Обрядъ кончился. Симона отнесли въ склепъ, положили въ новый гробъ, покрыли крышкой, и поставили на условленное мѣсто; всѣ удалились; шаги затихли; крышка слетѣла; Симонъ, въ погребальной рубашкѣ, вскочилъ, бѣжитъ къ дверямъ.... Баснословный по величинѣ замокъ обнималъ прутья рѣшетки.... Бросаю перо, потому что

съ трудомъ можно вообразить, не только описать отчаяніе Симона.... Гароина шумѣла у завѣтной рѣшетки; на другомъ берегу ни живой души, только у церкви Св. Кипріана, на предмѣстіи, чернѣлась толпа.... Прошелъ часъ; Симонъ охрипъ, но никто не слышалъ его крика.... Прошелъ еще добрый часъ. Ѣдетъ лодка. Симонъ заревѣлъ, и лодка прибавила ходу, причалила къ противоположному берегу; предмѣстье взволновалось; Симонъ махалъ имъ черезъ рѣшетку; толпа наростала, но никто не рѣшился вступить въ разговоръ съ пришельцемъ съ того свѣта; наконецъ, изъ церкви Св. Кипріана пришелъ священникъ съ крестомъ и со святою водою; сѣлъ въ лодку; ему рѣшились послѣдовать и храбрѣйшіе горожане.... Священникъ, ступивъ на берегъ, сталъ читать длинное заклинаніе противу нечистыхъ духовъ, и усовѣщивалъ Симона, чтобы онъ опять улегся въ гробъ.

— «Возвратись, душа грѣшная...» говорилъ священникъ: «въ бренные свои останки, и не возмущай покоя благочестивыхъ жителей счастливой Тулузы!»

— «Да какая я душа!» завопилъ Симонъ: «я тѣло! Я ожилъ! меня похоронили живаго....».

Первое впечатлѣніе, произведенное на толпу словами Симона, былъ сильный испугъ.... Второе, смѣхъ; третье, недоумѣніе, какъ поступить въ такомъ случаѣ. Рѣшили послать депутатовъ къ архіепископу....

— «Вы съ ума сошли!» закричалъ Симонъ: «такъ я и къ пирожному не поспѣю. Отворяйте! Случай самый обыкновенный.... Мнимая смерть,

вотъ и все тутъ... Посмотрите, посмотрите: солнце на закатѣ, а у меня со вчераннаго утра куска во рту не было....»

— «Ломай замокъ!» сказалъ священникъ: «Конечно, это случается; я и въ книгахъ читалъ...» Но пока все это происходило, пока сломали огромный замокъ, прошло не мало времени. Уже смеркалось, когда Симонъ получилъ свободу, и бросился въ верхній садъ свой — заперто; онъ перелѣзъ черезъ заборъ, и прямо въ залу.... Вскочилъ, перепугалъ всѣхъ, но и самъ не менѣе перепугался.... Музыка гремѣла веселый маршъ, трубадуры пѣли свадебныя пѣсни; вездѣ цвѣты, ленты, вензели; на мѣстѣ Симона сидѣлъ Джулiо Фрескобальди съ молодою супругою Авророю Галигаи!!

—

VI.

ФИНАЛЪ.

Седьмой разъ уже собирался парламентъ въ Капитолiи, но никакъ не могъ рѣшить, кому присудить въ жены Аврору Галигаи. Архiепископъ между тѣмъ сдѣлалъ свое: въ самый день оживленiя Симона, во избѣжанiе всякаго соблазна, Аврора, подъ сильнымъ отрядомъ городской стражи, отправлена была въ женскiй монастырь, лежавшiй въ окрестностяхъ Тулузы; оба мужа отданы подъ строгiй присмотръ префекта; парламенту дано приказанiе рѣшить дѣло немедленно; но юриспруденцiя крайне затруднялась, и положили переслать

дело въ Парижскій Парламентъ или къ папѣ, по усмотрѣнію архіепископа... Прошло еще нѣсколько дней; архіепископъ не зналъ, на что рѣшиться. Было около полудня. Вдругъ загремѣли колокола и трубы; пріѣхалъ неожиданный гость — французскій король Филиппъ IV. За наружность современники называли Филиппа «красивымъ». Неожиданное прибытіе Филиппа и на архіепископа и на всю Тулузу навело ужасъ; рѣшились на первыхъ порахъ затруднить дѣятельность Филиппа красиваго запутаннымъ процессомъ нашей двумужницы. Король выслушалъ докладъ съ обычнымъ терпѣніемъ; нѣсколько разъ улыбался и чесалъ лѣвую руку; потребовалъ дѣло, и прочелъ мнѣніе Парламента. «О, Тулуза!» сказалъ онъ съ улыбкою: «я узнаю тебя! Десять приговоровъ, десять мнѣній, и ни одного вѣрнаго.» Потомъ внизу сталъ писать, произнося громко: «Аврора, урожденная Галигаи, супруга Симона Кроначчи и Джулія Фрескобальди, останется въ монастырѣ, подъ строгимъ началомъ, на всѣхъ правилахъ монастырскихъ послушницъ, до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ поименованныхъ мужей ея не умретъ дѣйствительно и собственною смертью. — Филиппъ, Король Франціи и Наварры.»

Удивительное дѣло! Симонъ жаловался префекту, что Джуліо ходитъ одинъ, безъ оружія, участвуетъ въ ссорахъ молодыхъ людей, и такимъ образомъ легко можетъ умереть несобственною смертію, а Джуліо доносилъ, что Симонъ таскаетъ при себѣ куда золота, играетъ въ кости, и возвращается

домой послѣ полуночи. Чего добраго! Можетъ умереть неестественною смертью.... Такъ прошло еще нѣсколько недѣль. Тулузское правительство затруднялось безпокойными мужьями; но Симонъ рѣшилъ споръ: взялъ да и умеръ дѣйствительно собственною смертію, послѣ четырехдневной горячки, происшедшей отъ значительнаго проигрыша.... Джуліо на коня, въ монастырь. — Все въ церкви.—Входитъ.—Кого-то отпѣваютъ... Покойница была Аврора Галиган.... Чувства Джуліо помутились! Ему представилось погребеніе Симона: онъ вспомнилъ о грѣшныхъ намѣреніяхъ усопшей... онъ вспомнилъ... и палъ передъ алтаремъ Всемогущаго. Долго и жарко молился онъ; не простился съ Авророй: онъ на коня, въ Тулузу, и прямо во дворецъ архіепископа!... «Святый пастырь! каюсь! прикажи казнить грѣшника!...» сказалъ онъ, упавъ къ ногамъ архіепископа, и залился слезами....—Успокойся, сынъ мой! Я знаю о твоемъ несчастіи; но промыслъ Божій....—«Нѣтъ, святой отецъ! Грѣхъ мой навлекъ гнѣвъ Божій.... Я отравилъ Симона...»

Архіепископъ преклонилъ колѣни предъ честною иконою, сотворилъ краткую молитву, и вставъ, сказалъ юношѣ: «Сынъ мой, хотя и заблудшій! Казнь въ наказаніе, а не въ очищеніе! Прійми крестъ земныхъ страданій въ очищеніе земнаго грѣха.... Молись и кайся!»

—

Прошло много лѣтъ. Совѣтъ архіепископа палъ не на камень. Грѣшникъ принесъ тяжкое, продол-

жительное, христіанское покаяніе; въ нѣсколько лѣтъ совершенно переродился, и соборъ французскаго духовенство, за примѣрныя добродѣтели и христіанскіе подвиги и заслуги, на архіепископскій престолъ счастливаго города Тулузы возвелъ Фульма Генуэзскаго.

НАДИНЬКА.

Случай.

—

I.

Ударило двѣнадцать часовъ. Римъ пылалъ хуже всякой печки. Было жарко, душно, какъ на стеклянномъ заводѣ; несмотря на зной, множество гостей, безъ галстуховъ, въ широкополыхъ шляпахъ, тянулось къ гостинницѣ Лепри; по націямъ каждый занималъ мѣсто у своего стола. Евгеній любилъ эту гостинницу, потому что тутъ преимущественно собирались художники, и просилъ отца и всѣхъ знакомыхъ туда адрессовать къ нему письма. Когда Евгеній вошелъ въ комнаты, у письменнаго ящика уже стояло много нетерпѣливыхъ и разбирало чужіе адрессы; рѣдкому доставалось встрѣтить свой. Евгеній подошелъ также къ ящику и скоро отыскалъ тоненькое, тончайшее письмо; и пакетъ и конвертъ, все заключалось на одной четвертушкѣ англійской почтовой бумаги, которую Евгеній очень хорошо зналъ даже по цвѣту, потому что самъ выслалъ ее изъ Петербурга къ отцу въ деревню. Примѣтно было, что Евгеній не ожидалъ найти въ письмѣ ничего интереснаго, какъ-будто

зналъ его содержаніе, и распечатывалъ съ такимъ равнодушіемъ, съ какимъ обыкновенно чистятъ апельсины для другаго. Однакоже распечаталъ, подошелъ къ окну, и прочелъ:

«Послушай, Евгеній! На что это похоже!» писалъ старикъ-отецъ почеркомъ великаго человѣка, т. е. почеркомъ, который разбираетъ только опытная привычка: «Довольно тебѣ шататься за границей. Помнишь, я позволилъ тебѣ на годъ, и то черезъ силу, а теперь прошелъ не годъ, а безъ мала три. Право, денегъ не пошлю, и тѣ задержу, что Маша тебѣ посылаетъ. Полно баловать! Вѣдь не шутка, сколько мы лѣтъ не видались. Въ Питеръ отвезли тебя по двѣнадцатому году; въ пансіонѣ продержалъ тебя Французъ пять лѣтъ; тамъ ты въ университетъ пошелъ; очень нужно; я Французу платилъ за то, чтобы всему тебя научилъ; да и тутъ я не спорилъ: Богъ съ тобой, пускай себѣ учится, дурнаго нѣтъ; ну, выучился, на службу опредѣлился; пускай себѣ служитъ; такъ и слѣдуетъ; ну, послужилъ довольно, говорю я; есть у тебя другая служба; я старъ; надо о крестьянахъ радѣть, къ доброму хозяйству пріучаться. Нечего сказать, добрый ты сынъ, послушался, вышелъ въ отставку, да и давай за границу проситься. Ужъ какъ ни больно было намъ, что ты чужія земли, прежде своей и прежде насъ, хотѣлъ видѣть, да Маша уговорила. Богъ съ нимъ, пускай себѣ ѣдетъ, дурнаго нѣтъ. Отпустилъ я тебя за глаза, только на годъ, а вотъ ужъ безъ мала три; всѣ мы подъ Господомъ; слава Богу, здоро-

вы, да въ нашей старости одинъ день, и прощай, Евгеній. Такъ на то ли мы тебя воспитывали; всѣмъ прихотямъ твоимъ потакали, чтобы за всѣ труды и снисходительность нашу никогда на этомъ свѣтѣ съ тобой уже и не увидѣться? Такъ смотри же, Евгеній, зимой у насъ съ непривычки будетъ тебѣ скучно; такъ гуляй себѣ до весны, а весной, къ Вознесенію, изволь прямо къ намъ въ деревню; пора тебя пристроить; пока и въ твоей волѣ я господинъ; а умру, тогда ужъ самъ за собой присматривай. Прости же, душа моя, ты у меня одинъ, Евгеній, прости, да пиши почаще; я всегда твои письма по семи разъ читаю, да съ Машей раза по три, да съ мамзель Куси, у которой ты на рукахъ отъ земли отросъ; да тетушкамъ Пульхеріи, Аннѣ и Наталъѣ Захарьевнамъ; да сосѣду нашему Сергѣю Андреевичу Безнужному, да женѣ его и дочери, пока здѣсь были; куда семь, больше. Такъ смотри же, Евгеній, къ Вознесенію! А пока да сохранитъ и благословитъ тебя Господь всѣмъ и намъ на радость. Безнужный больно хочетъ тебя видѣть, и я того же хочу; мы теперь въ большихъ съ нимъ хлопотахъ. Неурожай такой сильный, что и не запомнятъ. Мы-то съ нимъ еще ничего; сможемъ; а мелкимъ дворянамъ трудно приходится. Помогаемъ чѣмъ Богъ послалъ, да вояжи, любезный Евгеній, вояжи крѣпко насъ подрѣзываютъ. Еще для здоровья туда сюда, а для забавы, когда кругомъ нищета и голодъ... право, безъ упрека пишу. Только пріѣзжай къ Вознесенью, все забуду. Такъ прости же, Евгеній. Храни тебя

Богъ и всѣ святые. Прощай. Коли ты будешь возвращаться черезъ швейцарское государство, такъ не забудь въ швейцарскомъ городѣ Женевѣ часы для меня купить. Деньги Мана вышлетъ. Какъ мы тамъ съ Суворовымъ были, такъ всѣ тамошніе часы хвалили: да я тогда не былъ при деньгахъ; а московскій мой брегетъ — совсѣмъ испортился; былъ у насъ на ярмонкѣ часовой мастеръ, деньги съ меня большія взялъ, да и доканалъ брегета; хоть брось... Ну, прощай! Береги себя, а пуще отъ фруктовъ: я отъ нихъ въ Требіи въ лазаретѣ съ недѣлю пролежалъ и такъ еще, говорили, дешево отдѣлался. А соблазнъ великъ. Знаю я Италію. Фруктовой садъ, а для другихъ винный погребъ. Правда кислое, да дешево. Да ты, мой Евгеній, умница, самъ все это знаешь и не забудешь своего отца Павла Лукачева. Лукачевка 5-го Іюля 18** года.»

Этотъ текстъ занималъ осьмушку письма съ обѣихъ сторонъ и расположенъ былъ во всѣхъ направленіяхъ, такъ что имѣлъ видъ шашешницы. Хотя и сынъ, Евгеній съ особеннымъ трудомъ разбиралъ послѣднія строки, потому что великіе люди обыкновенно, сгарая геніальнымъ нетерпѣніемъ, послѣднія строки пишутъ гораздо хуже первыхъ.

— «Полно, Лукачино, читать!» сказалъ живописецъ Кипенко, сидя за столомъ и сгарая гомерическимъ аппетитомъ: «Можешь прочесть и послѣ обѣда, и то послѣ сваренія въ желудкѣ; письма изъ-дому всегда должно читать пять часовъ послѣ

обѣда и за пять часовъ до ужина; тогда здоровье въ безопасности...»

Киненко былъ правъ. Письмо отца крайне огорчило Евгенія, такъ что онъ въ правду не могъ ничего ѣсть. Какъ! Онъ не былъ еще въ Парижѣ, въ Гамбургѣ и Лондонѣ. Три эти года онъ шатался по нѣмецкимъ минеральнымъ водамъ, влюблялся безпрестанно, а зимою лечился отъ любви въ Вѣнѣ, Миланѣ, а для окончательнаго излеченія отъ всѣхъ любвей прошедшихъ, Евгеній рѣшился провести третію зиму въ Гамбургѣ, четвертую въ Парижѣ, пятую въ Лондонѣ, и тогда уже, за истеченіемъ пятилѣтняго срока, какъ-будто по неволѣ, возвратиться въ Россію. Планъ великолѣпный, но Евгеній, если и не зналъ характера своего отца, то по крайней мѣрѣ очень много о немъ слышалъ и совершенно былъ увѣренъ въ дѣйствительности его угрозъ. Задумался Евгеній и, правду сказать, было о чемъ: какъ въ одну зиму коротко познакомиться съ тремя столицами европейскихъ удовольствій, и побывать въ Неаполѣ, безъ чего не только умереть, но и воротиться въ Россію было бы предосудительно. Да и въ самомъ Римѣ онъ прожилъ только одну недѣльку, не больше, почти ничего не видалъ, кромѣ Ватикана и Петропавловской Базилики, да мастерской Брюллова. Отецъ положилъ на ноги гуляющаго сына тяжкія цѣпи, и Евгеній, хотя уже и сидѣлъ за русскимъ столомъ но примѣтно ничего не видѣлъ и не слышалъ. Художники любили Евгенія и приняли живое участіе въ его положеніи, котораго, по мо-

людости и по сильной досадѣ, Евгеній не умѣлъ или не хотѣлъ отъ нихъ скрывать. Мнѣнія раздѣлились. Одни полагали, что никакихъ приказаній просвѣщенному и образованному человѣку исполнять не слѣдуетъ; другіе находили, что отецъ поступаетъ весьма основательно, хвалили его самопожертвованіе, и удивлялись продолжительности родительскаго терпѣнія, а что касается до Парижа, нужно съ прочими городами, такъ время не ушло; во первыхъ августъ стоялъ еще въ началѣ; почти девять мѣсяцовъ оставалось сроку; въ это время можно взглянуть чуть не на цѣлый міръ, побывать въ Америкѣ; а во вторыхъ, для ближайшаго знакомства съ этими городами можно, по минованіи нѣкотораго времени, сдѣлать второй вояжъ, и тѣмъ удобнѣе, что въ это время можетъ многое перемѣниться...

— «Конечно....» прервалъ Евгеній: «меня женятъ. Вотъ и все тутъ. Запрутъ съ женою въ курятникъ, который назовутъ домомъ и заставятъ радѣть о крестьянахъ. По неволѣ отупѣешь; я съ дѣтства имѣлъ сильное расположеніе къ другому роду жизни....»

— «Не вѣрю...» сказалъ молодой архитекторъ, человѣкъ положительный и благоразумный: «не вѣрю. Я слышалъ про вашего отца и увѣренъ, что онъ никогда и не подумаетъ женить васъ насильно....»

— «Знаете же вы моего отца! Павелъ Захарьевичъ Лукачевъ во всю жизнь держался Суворовской пословицы: хоть тресни, а полѣзай. Правда, онъ не писалъ ко мнѣ ни слова; матушка также,

но тетушка Пульхерья Захарьевна не утерпѣла и въ одномъ письмѣ обмолвилась. У меня уже и невѣста есть, въ одной верстѣ отъ Лукачевки; единородная дочь этого проклятаго Безнужнаго. Отцы наши и матери по рукамъ ударили и ждутъ меня, какъ жертву своихъ сосѣдскихъ соображеній. Очень пріятная будущность! Не правда ли? Трудиться, стараться образовать себя, за чѣмъ? чтобы жениться на деревенщинѣ, толстомъ обрубкѣ, и запропаститься въ темной глуши. Очень пріятно!»

Кислое, но дешевое вино, веселая бесѣда мало по малу разсѣяли грусть и задумчивость Евгенія; онъ самъ уже начиналъ мириться съ печальною для него необходимостью вернуться въ Россію; самъ придумывалъ, какимъ образомъ въ эти девять мѣсяцевъ осмотрѣть все, что считалъ необходимымъ видѣть въ Европѣ, и тутъ же постановилъ завтрашній день начать обзоръ художническихъ мастерскихъ и, comme de raison, съ мастерской Торвальдсена.

Слѣпа насладиться заграничною жизнью даже въ запасъ, Евгеній заснулъ очень поздно, всталъ еще позже и тотчасъ отправился въ мастерскую Торвальдсена. На улицѣ было много экипажей, у воротъ лакеевъ, въ мастерской мужчинъ и дамъ; бѣловолосый старичокъ, бодрый и веселый, въ сертукѣ, повязанный небрежно платкомъ съ красными окраинами, разсказывалъ что-то иностранному принцу, который, хотя и внимательно слушалъ великаго ваятеля, а все однакоже погляды-

валъ въ сторону, гдѣ тѣснилось больное общество дамъ. Сначала Евгеній не обратилъ вниманія ни на принца, ни на дамъ, ни даже на хозяина; онъ присматривался къ моделямъ Апостоловъ, изготовляемыхъ для Копенгагена; между тѣмъ къ нему подошелъ архитекторъ, съ которымъ онъ вчера спорилъ у Лепри.

— «Не правда ли?» сказалъ архитекторъ: «Есть что посмотрѣть. Если бы вашъ батюшка хотя одинъ денекъ прогулялся по Риму, я увѣренъ, для одной Италіи онъ бы отсрочилъ ваше возвращеніе на пять лѣтъ.... Все это прекрасно, колоссально, величественно и признаться ли, нѣкоторымъ образомъ архитектурно, потому что все это должно украсить новый Копенгагенскій соборъ. Подобная скульптура — раба нашего зодчества; всѣ эти труды — заказы архитекторскаго воображенія; все по мѣркамъ и перспективнымъ соображеніямъ зодчаго; я люблю такую скульптуру, какъ исправнаго подрячика; но, какъ человѣкъ посторонній, какъ простой любитель, я больше люблю задушевныя работы ваятеля, не назначенныя для того или другаго мѣста, плоды вольной художнической души и безотчетнаго свободнаго труда. Такихъ у Торвальдсена на вѣку было много, но жаль, мало въ мастерской; его три Граціи, его День и Ночь, фризъ, который вы можете видѣть на Монте-Кавалло; его барельефы.... всѣ эти вещи полны ума и чувства; созданія высокія; постойте, постойте, кажется, здѣсь есть модель его Надежды.... Пойдемте; она прежде стояла въ томъ углу,...»

И архитекторъ повелъ Евгенія въ тотъ самый уголъ, гдѣ тѣснились дамы.

— «Женское чувство...» сказалъ архитекторъ. «сей часъ отыскало себѣ пищу; такъ и есть; онѣ всѣ молятся своей богинѣ, которая не покидаетъ даже старыхъ дѣвъ.... Вотъ она! Не правда-ли, какъ хороша?...»

— «Чудно хороша!» сказалъ Евгеній съ чувствомъ, но это чувство было возбуждено не гипсомъ, а живою женщиной, которая, въ соломенной шляпкѣ, съ умиленіемъ глядѣла на истинно-поэтическую статую Надежды, едвали не лучшее произведеніе Торвальдсена. Евгеній былъ правъ: чудно была хороша незнакомка; но хороша по нашему, по европейски, согласно со вкусомъ новаго міра. Небольшая ростомъ, но прелестно заплнурованная, такъ что талія у незнакомки была гораздо привлекательнѣе таліи Надежды Торвальдсена; носикъ крошечный, какъ у кролика, и премиленькій, преинтересный, а у Надежды Торвальдсена носъ важный, правильный, какъ слѣдуетъ въ скульптурѣ; Надежда Торвальдсена, само собою разумѣется, была по бѣлѣе незнакомки, но у послѣдней былъ такой поэтическій цвѣтъ лица, что ни дать ни взять элегія XIX вѣка; ни сильнаго румянца, ни болѣзненной бѣлизны. Наконецъ глаза.... куда же безглазой Надеждѣ спорить съ этими небольшими черными, огненными глазками, подернутыми живою слезою искренняго, душевнаго умиленія; рукъ не могъ видѣть Евгеній; онѣ тонули въ батистовомъ платкѣ, но незнакомка обронила одну перчатку....

Эта перчатка въ своемъ родѣ была колибри, и Евгеній бросился поднять ее; поднялъ, подалъ, и получилъ въ награду холодный поклонъ; не удостоили даже взглянуть на него; продолжали смотрѣть на Торвальдсена: за то маменька обратила на Евгенія попечительное вниманіе, дернула незнакомку за руку и сказала:—Надинька, il est temps, поѣдемъ!—Минуточку, maman...—Опоздаемъ, ma chère, поѣдемъ! — «Надинька! Русскіе!» почти громко произнесъ Евгеній и, не отвѣчая на вопросы архитектора, побѣжалъ вонъ изъ мастерской. Надинька уже утонула въ каретѣ, а маменька изъ окна наказывала ѣхать къ Брюллову. Само собою разумѣется, Евгеній побѣжалъ за ними. Въ этотъ день у Карла Павловича былъ великій гость, достойный и смотрѣть на послѣдній день Помпеи и умѣвшій оцѣнить эту картину. Сиръ баронетъ Вальтеръ Скоттъ, исполненный живѣйшаго восторга, давно уже оставилъ мастерскую; художникъ также ушелъ и наши дамы въ самомъ дѣлѣ опоздали. «Видишь, Надинька, засмотрѣлась на статуйку и прозѣвала такой чудесный случай видѣть и Вальтеръ Скотта, и Брюллова, и его картину.... Нечего дѣлать, ступай домой.... Евгеній опять было побѣжалъ за ними, но карета скоро скрылась изъ виду; Евгеній потерялъ слѣдъ и, задыхаясь отъ усталости и жара остановился у самаго палаццо Барберини.

Меня частенько упрекали въ опрометчивой влюбчивости моихъ героевъ; въ особенности на этотъ счетъ трунилъ надо мной.... назову его Анони-

момъ; почтенный Анонимъ на слѣдующей недѣлѣ, въ воскресенье, познакомился съ домомъ другаго Анонима, узрѣлъ его дщерь, а въ понедѣльникъ уже принесъ признаніе въ искренней, пламенной и, само собою разумѣется, въ вѣчной любви. Признаюсь, я улыбнулся, но не посмѣлъ ввести подобнаго случая въ мои разсказы. Въ картинѣ эта опрометчивость показалась бы уже преувеличенною, чрезмѣрною; а любовь Евгенія была самою обыкновенною любовью; влюбляются на балахъ, на бульварахъ; случалось, влюблялись въ красивую наѣздницу, когда она въ полумужскомъ нарядѣ ловко проскакала мимо влюбчивыхъ глазъ; мало ли чего не случалось! Случилось, что Евгеній Павловичъ Лукачевъ, сынъ отставнаго прапорщика Павла Захарьевича и Маріи Захарьевны Лукачевыхъ, наслѣдникъ тысячи душъ и многихъ тысячъ капитала, нареченный женихъ дѣвицы Безнужной, дочери Сергѣя Андреевича и Лизаветы Аѳонасьевны Безнужныхъ, наслѣдницы тысячи двухъ сотъ душъ и коннаго завода — влюбился въ знаменитомъ городѣ Римѣ въ маленькую Надиньку, которая смотрѣла на большую Надежду. Это бы еще ничего. Одинъ Англичанинъ влюбился въ Венеру Медицейскую, другой въ Психею, третій въ покойную Марію Стюартъ, четвертый въ портретъ жены гамбургскаго бурмистра; все это не удивительно; мало ли чего не случалось; но Евгеній влюбился пламенно; и не безумно; то есть, онъ не хвасталъ своею любовью; напротивъ, онъ стыдился своей тайны и, нося въ душѣ глубокую

грусть, принуждалъ себя къ веселости, шуткѣ, наружному равнодушію. Вотъ что удивительно! И хорошо, что Аноним женился, а то бы онъ меня обвинилъ во лжи, тогда какъ я разсказываю истинное происшествіе, такое же истинное, какъ и то, что 27-го сего Августа была въ Петербургѣ сильная буря, продолжавшаяся ровно 12 часовъ.

Влюбился Евгеній, и первымъ послѣдствіемъ было то, что онъ не пошелъ къ Лепри, слѣдственно и не обѣдалъ. Недостатокъ аппетита вѣрный признакъ любви. Но за то Евгеній въ обѣденное время обошелъ всѣ остальныя гостинницы въ цѣломъ Римѣ. Множество русскихъ фамилій; много и дамъ; но какъ узнать: тѣ ли? — «Сегодня что-то затѣваютъ въ Коллизеѣ» подумалъ Евгеній и усѣлся у лучшей римской гостинницы, полагая навѣрное, что Надинька, лучшее созданіе природы, должна жить въ лучшей гостинницѣ. Силлогизмъ весьма правильный, но на этотъ разъ, какъ и всѣ силлогизмы, оказался вздоромъ. Правда, всѣ дамы уѣхали по направленію къ Коллизею, но ни въ одной даже тѣни сходства съ Надинькой; а между тѣмъ смеркалось; Евгеній досталъ мула и отправился къ Коллизею. Онъ не ошибся: не смотря на позднюю пору, стеченіе публики было многочисленно; старыя кости Коллизея были покрыты любопытными; во многихъ мѣстахъ пылали факелы и освѣщали кружки дамъ и мужчинъ; можно бы замѣтить, какъ въ Римѣ дѣлились и составлялись общества гостей; въ одномъ изъ нихъ должна же быть и Надинька. Евгеній обошелъ почти всѣ эти

кружки; оставался послѣдній; подходя къ нему, онъ заслышалъ русскій языкъ, и сердце его забилось, шаги ускорились. Вотъ онъ уже можетъ различать лица, вотъ и маменька.... Вдругъ раздался свистокъ, и факелы на всѣхъ пунктахъ потухли, луна блѣдно озарила оставъ дряхлаго старца: толпы народа черными пятнами темнѣли и шевелились, будто вызванныя изъ Эреба тѣни; раздался звучный и полный хоръ изъ Реквіемъ Моцарта съ самой сцены; чудный, поразительный эффектъ. Не разъ невольные вздохи подымались шатромъ надъ огромнымъ амфитеатромъ; не разъ крики восторга заглушали хоръ; то онъ, снова усиливаясь, наполнялъ чудными звуками пустоту Коллизея, и какъ смѣшны были рукоплесканія слушателей; дѣтскій лепетъ показался бы громче въ огромнѣйшемъ изъ европейскихъ театровъ. И снова хоръ, а луна выше, выше, и вотъ освѣтила лице Надиньки въ самую ту минуту, когда Евгеній искалъ для себя счастливаго мѣста. Невозможно было сдѣлать въ этомъ отношеніи удачнѣйшаго выбора, и какъ дорого заплатилъ за это счастіе Евгеній; онъ услышалъ голосъ Надиньки, онъ заучилъ наизустъ лице ея; всѣ предметы любви прежнихъ шаловливыхъ лѣтъ, испуганные могуществомъ новой побѣдительницы, вырвали изъ памяти Евгенія послѣднія о себѣ воспоминанія и разбѣжались далече; въ душѣ его осталась одна Надинька; она стояла такъ близко къ нему; онъ могъ слышать не только звучный ея голосъ, но вздохи, шелесть платья.... И вдругъ, откуда ни возьмись,

облако, другое, третіе, тучи; повѣялъ недобрый вѣтеръ, природа потемнѣла; зги не стало видно; слуги напрасно зажигали факелы; ихъ тушилъ вѣтеръ, постепенно усиливаясь; гроза приближалась съ обычною быстротою, и гости бѣгали, суетились, искали своихъ экипажей; толпа смѣшалась, раздался стукъ колесъ и смѣхъ гостей. Блеснула молнія и освѣтила общее бѣгство.... Гдѣ Надинька?... Ее давно уже не было на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ Евгеній. Надинька уѣхала, но осталась въ сердцѣ бѣднаго Евгенія на твердыхъ и прочныхъ основаніяхъ....

Прошла недѣля. Всѣ поиски оказались напрасными. Видно онѣ поѣхали въ Неаполь, и Евгеній поѣхалъ въ Неаполь: — вонъ! — Можетъ быть въ Помпеѣ. И Евгеній въ Помпею: — втуне! — Нечего дѣлать, онъ воротился въ Римъ и предался самому романическому отчаянью; по цѣлымъ днямъ просиживалъ, онъ у окна и ожидалъ, не пріѣдетъ ли Надинька. Евгеній былъ человѣкъ рѣшительный; онъ составилъ на счетъ ея кареты самые дерзкіе планы; хотѣлъ остановить лошадей, вскочить на запятки и разспросить обо всемъ у лакея, бѣжать бѣгомъ за каретой, скакать возлѣ на конѣ, словомъ такъ или иначе, но добиться, кто она?

Надежда хоть изрядно
Насъ тѣшитъ иногда, —
Но вѣрить ей накладно....

И въ девяти мѣсяцахъ, въ этомъ краткомъ срокѣ, назначенномъ Павломъ Захарьевичемъ Лукачевымъ сыну своему, Евгенію Павловичу Лукачеву,

для пребыванія за границей, пропало даромъ цѣлыхъ полтора мѣсяца. Въ половинѣ сентября, а по нашему въ концѣ, коляска Евгенія Павловича рано съ утра стояла у крыльца гостинницы, а Евдокимъ, вѣрный слуга владѣтелей Лукачевки, за походнымъ кофеемъ разговаривалъ съ вечталіонемъ по латынѣ. Вы удивляетесь? Нѣтъ, безъ шутокъ по латынѣ, потому что Евдокимова языка нельзя было назвать новоитальянскимъ. По грубости и дебелости и по страннымъ оборотамъ, нарѣчіе Евдокима крѣпко смахивало на латинское, а можетъ быть и на древнее этрусское, только жаль, что послѣднее затеряно. Долго не выходилъ Евгеній изъ своего уединенія; наконецъ Евдокиму удалось какъ то выманить барина изъ задумчивости. «Бери пистолеты и шкатулку! ѣдемъ!» сказалъ Евгеній и вышелъ на крыльцо, въ сопровожденіи трактирщика и всей трактирной челяди, которая, безъ всякаго стыда и совѣсти, въ третій разъ испрашивала награжденія за небывалыя услуги. Пока Евдокимъ укладывалъ шкатулку и пистолеты на свои мѣста, Евгеній, блѣдный, задумчивый, тайно прощался съ Римомъ.... «Я не нашелъ тебя, Надинька, въ Римѣ, и вѣроятно уже никогда и нигдѣ не найду тебя...» такъ мечталъ онъ и весьма справедливо: «Глупо гоняться за мечтою.... О, ты мечта!... Тебя нѣтъ на этомъ свѣтѣ!... Ты мнѣ привидѣлась.... Ты хотѣла.... Нѣтъ, ты и не знаешь о моемъ существованіи.... тебѣ и не снится, какъ я страдаю, какое ужасное, мертвящее чувство—эта любовь безъ надежды.» Въ это мгно-

всѣхъ мимо крыльца проходилъ оборванный Итальянецъ и катилъ на двухъ колесахъ свою походную лавочку; тамъ стояли гипсовые и бронзовые бюсты, статуэты, барельефы, медальоны съ лучшихъ произведеній новѣйшей скульптуры. Торгашъ остановилъ свою лавочку передъ самымъ крыльцомъ и началъ наизустъ, съ театральными жестами, выкрикивать свои сокровища съ приличными поясненіями. «Eccellenza!» закричалъ онъ на ладъ опернаго речитатива: «вотъ амуръ кавалера Канова, какого амура не было въ древности; вотъ бюстъ синьора Камуччини, Рафаэля нашего времени, скульптура синьора делла Боско; вотъ ликъ della divina Pasta, что поетъ всѣми голосами, будто всѣ птицы разомъ; вотъ Надежда кавалера Торвальдсена....» «Гдѣ, гдѣ?» закричалъ Евгеній также не безъ примѣси сценическаго искусства, и въ рукахъ его очутилась небольшая бронзовая статуэта съ Надежды Торвальдсена. Хорошо, что Итальянецъ не зналъ причины такого восторга въ случайномъ своемъ купцѣ; онъ бы могъ продать, и навѣрное продалъ бы, дрянную мѣдь на вѣсъ золота, но на этотъ разъ Итальянецъ запросилъ только втрое и, получивъ деньги, спѣшилъ повернуть въ переулокъ, чтобы на свободѣ, гдѣ нибудь въ тѣни, похохотать надъ глупостью заальпійскаго гостя.

— «Странное предзнаменованіе!» говорилъ Евгеній, сидя въ своей покойной коляскѣ и копытами наемныхъ коней попирая священный прахъ всемірной столицы: «Не ужели я найду тебя, Надинь-

ка! Неужели Небо хотѣло утѣшить меня и послало мнѣ эту дорогую игрушку, какъ-будто напоминая, что я долженъ любить тебя вѣчно.... О, вѣчно, вѣчно! Отнынѣ моимъ пенатомъ будетъ — Надежда.... Я не разстанусь, я умру съ этимъ дорогимъ изваяньемъ. Теперь куда бы ни ѣхать, мнѣ все одно.... Со мной моя надежда и — не знаю, что говорить мнѣ — но моя надежда сбудется....»

Евгеній до того воспламенился, что послѣднія рѣчи произнесъ громко....

— «Сбудутся, баринъ, сбудутся!...» сказалъ Евдокимъ торжественно съ высоты козелъ: «И ужъ если вамъ все одно куда ни ѣхать, такъ поѣдемъ въ Лукачевку. Сто лѣтъ не видѣлъ.»

Но Евгеній его не слушалъ, а потому и не послушалъ.

— «Гдѣ мнѣ искать тебя, Надинька?» спрашивалъ онъ у нѣмаго истуканчика, какъ ребенокъ у куклы.

— «Въ Лукачевкѣ, баринъ!» отвѣчала Пиѳія съ козелъ: «Лукачевка всякимъ добромъ богата, а ужъ если милости твоей пришла охота жениться, такъ кругомъ Лукачевки невѣсты, что горохъ растутъ...»

Евдокимъ разбилъ радужныя мечты воспаленнаго воображенія. Евгеній вспомнилъ про толстый обрубокъ, имѣющій быть его женой,— и статуэта вывалилась изъ рукъ; онъ прислонился въ уголокъ коляски; думу за думой навѣвала дорога. Евдокимъ затянулъ съ козелъ пѣсню:

На толь, чтобы въ печали...

И Евгеній уснулъ подъ эту утѣшительную пѣсню.

—

II.

Лукачевка! Конечно, Лукачевка не иное что, какъ деревня; но и не деревня, потому что въ Лукачевкѣ не было ни одного крестьянскаго двора; а вотъ что было, такъ было: во-первыхъ домъ длиною на тридцати, шириною на осьми саженяхъ, въ одно жилье. Какой-то казенный архитекторъ, проѣздомъ, былъ въ Лукачевкѣ и совѣтовалъ Павлу Захарьевичу надстроить второй этажъ, да еще посрединѣ третій, въ видѣ мезонина. Павелъ Захарьевичъ на такую выходку не отвѣчалъ ничего, потому что принялъ ее на свой счетъ личной обидой; но храня свято законы гостепріимства, ограничился только тѣмъ, что приказалъ закладывать архитекторскую коляску; казенный архитекторъ былъ человѣкъ хитрый, тотчасъ смѣкнулъ въ чемъ дѣло и сказалъ: «Вотъ, Павелъ Захарьевичъ, вы на сосѣдей не похожи. Всѣ хотятъ жить по новой модѣ, а что въ этой модѣ проку? Только колѣнкамъ больно, будто на голубятню лазить, а удобства никакого. Про насъ все одно. Кто хочетъ по модѣ, изволь по модѣ; хочешь хорошо и удобно, такъ и спрашивай! А ужъ мнѣ эти лѣстницы, — ножива для пожара и только.»

Павелъ Захарьевичъ приказалъ отложить лошадей и готовить ужинъ.

Во вторыхъ: два флигеля, по обѣимъ сторонамъ дома, также въ одно жилье, но нѣсколько покороче, отъ того и благообразнѣе; далѣе шли въ разныхъ направленіяхъ цѣлыя улицы, обставленныя

строеніями разнаго рода. Чего тутъ не было: анбары, молотильные сараи, кухня, скотный дворъ, баня, кузница, овчарня, конюшни, сараи для экипажей, ледники, погреба, псарня, птичники; и все это перемежалось огородами; вездѣ торчали вѣтвистыя деревья, словомъ Лукачевка была не Лукачевка, не деревня, а городъ, лучше инаго уѣзднаго; а позади длиннаго дома шелъ садъ, да какой? Не то, чтобы просто садъ, а съ сюрпризами, и пруды, и мостики, и водопадъ въ аршинъ вышиною, и руины, и гроты, просто не деревенскій, не господскій садъ, а нѣчто вельможеское, грандіозное. Но всего занимательнѣе, всего грандіознѣе въ Лукачевкѣ были сами хозяева. Павелъ Захарьевичъ Лукачевъ былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти съ хвостикомъ; рослый, бодрый старикъ, краснолицый; не смотря на то, что волосы его были уже сѣды до желта, онъ всегда держался прямо, грудь впередъ, голову нѣсколько назадъ; одѣвался въ теченіи сорока лѣтъ всегда одинаково: военный сюртукъ безъ эполетъ; бѣлая шапка съ краснымъ околышкомъ; сапоги всегда со шпорами, даже дома, даже во время случайнаго нездоровья или лучше сказать нерасположенія, потому что Павелъ Захарьевичъ отродясь боленъ былъ только два раза: подъ Требіей отъ фруктовъ, да на Сенъ-Готардѣ, гдѣ онъ крѣпко прозябъ, такъ что сталъ думать, будто онъ уже и простудился, но въ сраженіи согрѣлся и все прошло. Павелъ Захарьевичъ любилъ много говорить, въ особенности о суворовскомъ итальянскомъ походѣ, но и

отъ другихъ предметовъ не отказывался, преимущественно отъ турецкой войны, которая тогда была въ самомъ разгарѣ; также нравились ему очень двѣнадцатый годъ, Юрій Милославскій, Комета, Иванъ Выжигинъ, затменія и сельское хозяйство. Характера Павелъ Захарьевичъ былъ неопредѣленнаго, въ родѣ шелковой матеріи съ отливомъ; не то, чтобы сизаго цвѣта, не то, чтобы и коричневаго; такъ что-то серединка на половинкѣ; частенько онъ дарилъ нищему пятиалтынный, а иногда гонялъ его со двора тростью, яко бродягу и дармоѣда. И въ домашнемъ быту Павелъ Захарьевичъ иной разъ надуется, и ходитъ и говоритъ индѣйскимъ пѣтухомъ, а иной разъ фарфоровую вазу разобьютъ, ни по чемъ; смѣется надъ ловкостью Терентія, роднаго брата Евдокима, и — баста. Павелъ Захарьевичъ хорошо пѣлъ басомъ и, ужъ не знаю, изъ подражанія ли великому полководцу или такъ, по своей охотѣ, всегда стоялъ на клиросѣ и силою голоса потрясалъ окна лукачевской церкви; доставалось и домашнимъ окнамъ, но только отъ смѣха, а дома Павелъ Захарьевичъ никогда не пѣлъ. Еще имѣлъ Павелъ Захарьевичъ одну не столь важную привычку, — чесать подбородокъ, особенно когда ему приходилось не говорить, а слушать: но эта привычка была къ лицу Павлу Захарьевичу; означала веселое расположеніе духа, и Марья Захарьевна всегда радовалась въ душѣ, когда по движенію лѣвой рукѣ примѣтно было, что Павелъ Захарьевичъ намѣревается чесать подбородокъ. Марья Захарьевна была значительно

меньше ростомъ нежели Павелъ Захарьевичъ: но чего не доставало въ вышину, то Марья Захарьевна вознаграждала шириною. Волюмъ ея былъ особенно большаго пространства; не смотря на дородство и сорокъ лѣтъ, какъ она сама себѣ считала въ теченіи десяти послѣднихъ годовъ, Марья Захарьевна весьма была свѣжа, отличнаго цвѣта лица, который крѣпко смахивалъ на пивонію, и происходилъ не отъ чего инаго, какъ отъ льда, потому что она каждое утро вытиралась этимъ водянымъ кристалломъ. Марья Захарьевна для супружескаго равновѣсія говорила весьма мало; не смѣялась никогда громко, а только улыбалась; не пѣла на клиросѣ, но за то курила трубку. Голову носила нѣсколько на бокъ для большаго сходства съ упомянутымъ цвѣткомъ; на головѣ не терпѣла ни чепца, ни шляпки, а ходила простоволосая; дома всегда была одѣта одинаково, въ зеленомъ матерчатомъ капотѣ съ красными бархатными обшлагами и таковымъ же воротничкомъ. Костюмъ сей былъ изобрѣтенъ Павломъ Захарьевичемъ потому, что онъ хотѣлъ и въ наружномъ видѣ Марьи Захарьевны изобразить, что она военная, т. е. супруга военнаго человѣка. При выѣздахъ въ гости, Марья Захарьевна имѣла право руководствоваться собственною фантазіей и не упускала пользоваться онымъ. Характера она была положительно мягкаго, уступчиваго, добраго, и на всѣ преступленія многочисленной дворни глядѣла сквозь пальцы. Особенныхъ привычекъ не имѣла, но за то была одарена разнообразными талантами: пре-

восходно солила огурцы, квасила капусту, готовила варенье и считала на счетахъ, не только по части сложенія, но и вычитала безошибочно. Сверхъ того умѣла учить собачекъ и доводила ихъ понятливость истинно до невѣроятной степени. Зефирка отворяла сама двери, бѣгала въ дѣвичью или въ кабинетъ Павла Захарьевича и умѣла звать его и горничную Меланью къ барынѣ; а Валетка кралъ изъ мужскихъ кармановъ платки такъ искусно, какъ будто учился въ извѣстныхъ воровскихъ школахъ на восковыхъ фигурахъ съ колокольчиками. Само собою разумѣется, что Марья Захарьевна изъ этого не дѣлала никакой спекуляціи, а просто забавлялась, смѣха ради. Вотъ и въ этотъ вечеръ, въ который вамъ приходится свести съ Лукачевыми знакомство, Марья Захарьевна сидѣла за чайнымъ столикомъ, курила трубку и умильно глядѣла на Валетку, а Валетка, то и дѣло, ходилъ за Павломъ Захарьевичемъ по комнатѣ и улучалъ минуту для похищенія изъ его кармана краснаго шелковаго платка.

— «Отстань, Валетка!» говорилъ Павелъ Захарьевичъ, почесывая подбородокъ. «Право побью! Мнѣ теперь не до тебя! Завтра пріѣдетъ Евгеній...»

— «Вотъ ужъ непремѣнно и завтра» сказала Пульхерія Захарьевна такимъ тономъ, какъ будто услышала лично ей обидную рѣчь. Есть такіе характеры или лучше сказать способы изъясненія. Что ни скажутъ, какъ будто обиженные. Право есть; и тетушка Пульхерія Захарьевна имѣла этотъ характеръ или, лучше сказать, способъ изъясне-

нія. Другія двѣ тетушки Евгенія, Анна и Наталья Захарьевны такого свойства не имѣли, и хотя были объ замужнія, жили своими домами по сосѣдству, а въ Лукачевкѣ только гостили, но столько уважаемы не были, какъ Пульхерія Захарьевна, образецъ цѣломудрія и добродѣтели, до такой степени, что, проживъ на свѣтѣ за пять десятковъ лѣтъ, о мужчинахъ уже не думала, и даже не любила говорить объ этомъ ненавистномъ ей полѣ. Сердце ея принадлежало одному только племяннику, котораго, надо вамъ сказать, она никогда не видала; потому что при рожденіи Евгенія и въ первые годы его домашняго воспитанія на рукахъ у мамзель Куси, Пульхерія Захарьевна проживала за триста верстъ отъ Лукачевки, въ дѣвичьемъ монастырѣ, у знакомой игумены. Это случилось потому, что тридцатилѣтняя дѣва въ свѣтѣ видимо получила отставку; не хотѣла быть предметомъ насмѣшекъ; скрылась; но въ сорокъ лѣтъ дѣвой уже быть не стыдно — и Пульхерія Захарьевна явилась въ Лукачевку къ особенному удовольствію хозяевъ. Солидный ея разсудокъ скоро получилъ вліяніе на всѣ семейные совѣты; слова ея пріобрѣли важность и значеніе, и потому Павелъ Захарьевичъ крѣпко огорчился, услышавъ вопросъ Пульхеріи Захарьевны.

— «Завтра!» сказалъ онъ голосомъ, страшнымъ для домашнихъ и церковныхъ оконъ: «Завтра или никогда! Не изволь забыть, сестра, что завтра Вознесеніе, а если Евгеній забылъ это, такъ прощай, Евгеній! Онъ мнѣ больше не сынъ....»

— «Какъ не сынъ?»

— «Да ужъ такъ, не сынъ! Слушаться! Довольно я ему потакалъ по вашей милости!»

Въ это время Терентій, поставивъ передъ мамзель Куси самоваръ, шелъ назадъ, кажется и мѣрнымъ шагомъ, но на гладкомъ полу поскользнулся, упалъ, всталъ и хотѣлъ итти дальше. Но Павелъ Захарьевичъ далъ ему оплеуху и продолжалъ:

— «Сколько денегъ перевелъ Евгеній! Сколько на одну почту вышло! Мало того, что за свои письма плати, а то и за его маранье; напутаетъ всякой дребедени три четыре листа, а Павелъ Захарьевичъ плати! Да что я ему, прикащикъ, что ли?... Завтра или никогда!»

— «Да вы звѣрь, Павелъ Захарьевичъ!...

— «Сама ты звѣрь, сестра! И такихъ рѣчей не говори! Мало мнѣ отъ Евгенія терпѣть приходится! Вотъ жду, будто на иголкахъ; вчера пѣшкомъ до самой Пуговки дошелъ, думаю: авось встрѣчу сорванца. Сергѣй Андреевичъ удивился; Лизавета Аѳанасьевна расплакалась, поцѣловала дочку и сказала: «Вотъ Сергей Андреевичъ, какъ дѣтей любятъ!» Газетъ читать не могу: какъ пришлетъ Сергѣй Андреевичъ, я только и посмотрю пріѣзжающихъ; думаю: избаловался Евгеній, прежде чѣмъ къ намъ, въ Питеръ заѣдетъ; отъ него всякаго вла жди. Отъ политики отсталъ; не знаю не только, кто теперь остался на испанскомъ государствѣ королемъ, даже не вѣдаю, что наши съ Туркомъ сдѣлали; чай Царьградъ взяли, а Евгеній

не ѣдетъ.... такъ ужъ, сестра, въ звѣри прошу меня не жаловать... Завтра или никогда!—Сказано, и я на моемъ словѣ постою. Фельдмаршалъ говорилъ про меня: «Твердый!» Такъ я какой-нибудь пѣшкѣ, Евгенію Павловичу Лукачеву, трунить надъ собой не позволю. Я не звѣрь. Какой я звѣрь? почему я звѣрь? Вотъ звѣрь — Валетка. Подай сюда платокъ, подай, али я и трость возьму. Тето же! Такъ что же, сестра, я тебѣ Валетка, что ли? Звѣрь! Хорошь звѣрь. Ты, сестра, посмотрѣла бы, какъ я флигель для него убралъ; а женится, самъ во флигель переѣду, а ему большіе хоромы уступлю. А встрѣчу какую приготовилъ! Тутъ во всемъ уѣздѣ никогда люминаціи не видали. Самъ я здѣсь сорокъ, безъ малаго, лѣтъ живу, и одной плошки не запомню; надо было за всѣмъ къ губернатору посылать. Всю чиновность на завтра зазвалъ; музыку у Литовцева выпросилъ; не пріѣдетъ, такъ вѣдь на всю губернію страму надѣлаетъ, пожалуй еще въ газетахъ припечатаютъ. Да и состояніе, сестра, ты знаешь, какое намъ досталось: сто душъ безъ трехъ числилось по ревизіи; и какія души-то щедушныя! мякиной кормились. За Марьей Захарьевной что я взялъ? Пятьдесятъ; и тоже не душонки. Богъ благословилъ; въ 12-мъ году, въ самую невзгоду, всѣ плакали, да хныкали, а я триста душъ накупилъ; да потомъ въ 18-мъ году всѣхъ заложилъ, да еще прикупилъ Мудровку; правда дешево, да четыреста семь душъ не шутка, и тѣ заложилъ: выплатился изъ долгу, сестеръ меньшихъ за мужъ

поотдавалъ, приданое справилъ.... А Евгеній не ѣдетъ! — А Лукачевка? только въ ней и было что эти хоромы, да и тѣ полуизгнили: ни убранства, ничего, — сараи да и полно, а теперь?... Звѣрь! Ты поди, сестра, у мужика спроси, звѣрь ли я! У меня мужикъ, противу сосѣдскихъ, бариномъ живетъ. Ну-ка, сестра, у котораго мужика лошади, коровы, и всякаго скота нѣтъ!... Ну-ка, ну-ка, сестра!... То-то же, звѣрь! — А Евгеній, ему все ни по чемъ; на готовое готовится; смерти моей ждетъ, что ли? Такъ пусть и сидитъ на роводомъ, а благопріобрѣтенное — мое; кому захочу, тому и подарю, вотъ пусть только не пріѣдетъ! И завтра послѣ заутрени всѣ поѣдемъ черезъ Пуговку, на больную дорогу. Пожалуй, у Сергѣя Андреевича обѣдню отслушаемъ. Не его, такъ гостей встрѣтимъ.... какъ онъ себѣ хочетъ! Въ половинѣ двѣнадцатаго за ужинъ усажу гостей, а ударитъ двѣнадцать.... прощай, Евгеній! Тамъ при всѣхъ волю мою скажу; тогда хоть у ногъ валяйся; не помилую. Дай-ка, мамзель, мнѣ стаканчикъ пуншу, съ горя!...»

Рѣчь Павла Захарьевича навела на всѣхъ уныніе; окна дрожали и усиливали тоску женщинъ; даже Валетка, примѣтивъ расположеніе Павла Захарьевича, свернулся въ крендель и уснулъ подъ стуломъ. Никто не смѣлъ противорѣчить, даже Пульхерія Захарьевна; она сдѣлала отмѣнно непріятную мину; не хотѣла чаю и ушла, не простившись; Павелъ Захарьевичъ долго еще говорилъ въ томъ же тонѣ; Марья Захарьевна выку-

рила еще двѣ трубки и слушала съ тѣмъ же ровнымъ вниманіемъ. За ужиномъ никто не могъ есть; только Павелъ Захарьевичъ, съ горя, съѣлъ жирную пулярку, выпилъ бутылку добраго портвейна и, жалуясь на недостатокъ аппетита, ушелъ спать....

Блистательно, весело взошло на небо весеннее солнце. По большой дорогѣ быстро катилась знакомая намъ коляска. Евдокимъ то и дѣло поглядывалъ на лѣво, стараясь вспомнить мѣсто поворота на Пуговку въ Лукачевку; а Евгеній?...

Трудно совладать съ сердцемъ. Какой бы ни былъ почтительный сынъ, но когда другіе вмѣшиваются въ дѣла сердца, бѣда.... Несчастный бѣжитъ отъ родныхъ, бѣжитъ безъ оглядки, и становится надъ пропастью, которую въ эпическое время называли бездною отчаянья и ненависти; одинъ толчекъ, одно горькое слово — и онъ уже бросился въ эту бездну, и никакими веревками оттуда его не вытащатъ. По счастію, Евгеній ни гдѣ, ни даже въ Лондонѣ не нашелъ Надиньки. Найди онъ ее, и прощай богатое наслѣдство; прощай благословеніе отца: и безъ того и безъ другаго, плохо на этомъ свѣтѣ. Правда, Евгеній не нашелъ нигдѣ Надиньки, но и не выронилъ ее изъ сердца, не потерялъ статуэтки, которая чинно и постоянно лежала въ коляскѣ, возлѣ Евгенія, на подушкѣ. Наши пустынные губернскіе виды еще болѣе усиливали тоску Евгенія.

— «Куда везутъ меня?» подумалъ Евгеній: «Каждый часъ, каждую минуту все далѣе и далѣе

отъ Надиньки. Ахъ, гдѣ она? Кажется, мой батюшка долженъ быть доволенъ моею послушностью! Чего больше онъ можетъ требовать отъ меня? Утѣшенный моимъ повиновеніемъ, черезъ мѣсяцъ, два, онъ отпуститъ меня въ Петербургъ. Надинька въ Петербургѣ, надежда меня не обманываетъ. О, я знаю, онъ согласится, ему понравится моя твердость, мое постоянство; это все въ его родѣ. Тогда.... Куда же ты это?» закричалъ Евгеній, примѣтивъ, что коляска свернула съ большой на узкую, грязную дорогу....

— «Въ Лукачевку, баринъ, въ Лукачевку!» торжественно произнесъ Евдокимъ, чуть не прыгая на козлахъ отъ радости: «Ну, матушка Лукачевка, доберемся мы до тебя еще дообѣдень, отмолимся у нашихъ Козьмы и Демьяна! Надо же сегодня быть и празднику такому. Одно къ одному. Ну, ямщикъ, ужъ я самъ тебѣ изъ своей мошны полтинничекъ прикину, только поворачивайся.»

— «Эхъ братъ, радъ бы...» сказалъ ямщикъ: «да тутъ проклятая лужина; по веснѣ, да по осени проѣзду нѣтъ; господа было тутъ плотину поставили, да водопольемъ разнесло; хуже стало; а вотъ какъ ту лужину проѣдемъ, такъ и покатимъ до самой Пуговки знатно, все подъ гору, а тамъ до Лукачевки дорога, что садомъ; — ни задоринки. Баринъ строго путь держитъ.... Эй вы!»

Поѣхали, да не далеко доѣхали; дорога сошла въ болотную долину, покрытую, подобно озеру, водой; кое-гдѣ торчали колышки отъ разрушенной плотины и служили маяками для путешественника.

Вода бы еще ничего, доставалось только Евдокиму; но самое основаніе плотины такъ было разрыто водою, что коляска шла будто по волнамъ морскимъ: на каждомъ шагу то лошади, то коляска западали въ ямы и рытвины, то вязли въ густой подводной грязи. Такая дорога шла почти на полверсты. Вотъ уже и берегъ видѣнъ, вотъ и дорога подымается, и будто змѣя бѣжитъ до самой Пуговки, а Пуговка съ зеленоголовою церковью красуется на вешнемъ солнцѣ; вдругъ лошадь запала больно глубоко, выскочила, а коляска за нею, хлопъ, два передніе паза оборвались, кузовъ сѣлъ на дрогу.

— «Вотъ тебѣ разъ!» крикнулъ Евдокимъ....

— «Ничего, подвяжемъ...» сказалъ ямщикъ: «лишь бы изъ ямы....» Да не тутъ то было. Вывезти, вывезли коляску добрые кони, да колесо едва до сухой дороги дотащилось, да и разсыпалось....»

— «Вотъ тебѣ два!» сказалъ Евдокимъ.

— «Да!» отвѣчалъ ямщикъ: «это ужъ причина! Безъ колеса не доѣдешь....»

— «Стой-ка, я сяду на пристяжную, да въ Пуговку сбѣгаю....»

— «Нѣтъ, Евдокимъ! Оставайся ты при колескѣ...» сказалъ Евгеній: «а я пѣшкомъ пойду; погода прекрасная; тутъ больше версты не будетъ, а тамъ вѣрно найду колесо!»

— «Какъ не найти! тамъ всякаго экипажа три сарая бывало, а теперь чай то же.»

Но Евгеній не слушалъ Евдокима, выскочилъ изъ шинели и коляски, схватилъ свою статуэту и

отправился пѣшкомъ въ Пуговку. На немъ былъ щегольской парижскій сюртукъ, пуховая лондонская фуражка, двое женевскихъ часовъ съ цѣпочками на крестъ, словомъ онъ шелъ, будто съ Черной рѣчки на Каменный. Даже сапоги на немъ были лакированные, и благодаря плотности и чистотѣ колиски, не загрязненные, не запыленные. «Хороша!.. И проѣзду нѣтъ!» думалъ Евгеній дорогою. «Развѣ зимою... да кто же зимою станетъ жить въ деревнѣ? Надѣюсь, что этого никто отъ меня не потребуетъ. Ахъ ты родимая сторона! «И пошелъ Евгеній высчитывать недостатки родины съ такимъ Юмовскимъ безпристрастіемъ, что можно было счесть его разсказъ за правду. Въ такихъ и подобныхъ размышленіяхъ достигъ онъ наконецъ и Пуговки. Мѣрный, рѣдкій благовѣстъ разостлался въ селѣ и окрестъ; у Евгенія забилось сердце по русски; что-то родное сладко звало душу на молитву. Вздохнулъ Евгеній, и этотъ вздохъ не былъ такъ тяжелъ, какъ другіе вздохи о житейскомъ. Въ задумчивости, онъ и не замѣтилъ, какъ вступилъ въ широкую тѣнистую аллею, какъ вошелъ на обширный мощеный дворъ, не видалъ даже, что у крыльца стояли петербургскія щегольскія дрожки съ пролетомъ, называемыя у насъ, Богъ знаетъ почему, линейкой. Не обращая ни на что вниманія, онъ поднялся на высокую лѣстницу, украшенную бюстами и статуями, отворилъ стеклянную дверь и очутился въ прекрасномъ залѣ съ хорами. Зала была убрана съ отмѣннымъ вкусомъ; бѣлая съ золотыми карнизами; колонны,

и весьма милыя, подъ мраморъ; пунцовая мебель, паркетъ, бронзовыя люстры.... «Что за чудо!» подумалъ онъ: «да куда же попалъ я? Не ужели здѣсь я долженъ искать колеса!...» Въ ближайшей комнатѣ раздалась легкая, мелкая и быстрая походка; двери растворились и, съ шляпкой въ рукахъ, бѣжала дѣвушка прямо на Евгенія! Онъ отступилъ и статуэта вывалилась изъ рукъ его. Дѣвушка также смутилась, примѣтивъ постороннаго, остановилась, присѣла и бросилась изъ залы ишбче серны....

— «Не сплю ли я?» сказалъ громко Евгеній и за правду сталъ тереть себѣ глаза. «Не ужели можетъ быть на свѣтѣ такое сходство?.. Надинька!»

Но размышленія его были прерваны. Въ комнату вошелъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, опрятно одѣтый, въ синемъ фракѣ со свѣтлыми пуговицами, и вѣжливо поклонясь Евгенію, спросилъ что ему угодно?

— «Вы меня извините...» бормоталъ Евгеній: «право, случай, какого можно ожидать во всякое время по такимъ дорогамъ.... моя коляска....»

— «Изломалась?» прервалъ синій фракъ: «я тотчасъ пошлю туда людей; вѣрно на полой долинѣ. Не правда ли?»

— «Совершенно такъ! Я право не знаю какъ васъ благодарить, мнѣ такъ совѣстно....»

— «О, помилуйте! да позвольте узнать, куда изволите ѣхать?...»

— «Въ Лукачевку....»

— «А, видно вы изъ города.... Сегодня тамъ будетъ и губернаторъ, и оба предводителя, и ба-

ринъ мой никуда не выѣзжаетъ, а туда собирается....»

— «Вашъ баринъ?...»

— «Точно такъ! Сергѣй Андреевичъ Безнужный!»

— «Безнужный?!.. А эта дѣвушка, что я имѣлъ честь видѣть....»

— «Надежда Сергѣевна, дочь барина!»

— «Надежда Сергѣевна, дочь барина!»

— «Какъ для кого, а мы ее иначе не называемъ, какъ Надежда Сергѣевна, а барыню Лизаветой Аѳонасьевной.»

— Да вы кто же?»

— «Я-съ? Дворецкой Его Высокородія. Простите, мнѣ надо и объ васъ баринѣ доложить, и объ вашемъ экипажѣ похлопотать; а не то бѣда. Нашъ баринъ въ Лукачевѣ души не слышитъ, такъ ужъ и за его гостьми надо ухаживать.... Позвольте, какъ прикажете объ васъ доложить?»

— «Право, я не знаю, нужно ли это?»

— «Порядокъ требуетъ. Не извольте чиниться. Вашъ чинъ, имя, фамилія?...»

— «Поручикъ Евгеній Лукачевъ....»

Дворецкій отступилъ почти въ восторгѣ, если только входить въ восторгъ позволено дворецкому. Назовите какъ хотите это чувство, но дворецкій раскинулъ врозь руки, разинулъ ротъ и пожиралъ гостя глазами....

— «Евгеній Павловичъ!» кричалъ онъ: «вы ли! Неужели вы не узнали Лукича, который такъ часто бывалъ у вашего батюшки съ газетами и

журналами, потому что Сергѣй Андреевичъ газетъ и журналовъ никому кромѣ меня не довѣряетъ. Наши сосѣди прежде, то книжку, то двѣ вѣчно зажилятъ, особенно гдѣ есть моды; такъ Сергѣй Андреевичъ отдалъ всѣ книги на мой отвѣтъ. Спаси Господи, Евгеній Павловичъ, право можно сказать, дай Богъ въ добрый часъ, чтобы не сглазить.... Да куда! Я впередъ зналъ, что понравится....» И Лукичъ, какъ могъ скоро, поплылъ въ противуположныя двери; между тѣмъ изъ тѣхъ, откуда онъ вышелъ, показались двѣ дамы. Нельзя было болѣе сомнѣваться въ подлинности и маменьки и Надиньки. Дамы спѣшили къ обѣдѣ; онѣ уже были близко стеклянныхъ дверей; уже маменька взялась за бронзовую ручку дверей и вскрикнула: «Ахъ, Боже мой! Павелъ Захарьевичъ, Марья Захарьевна, Пульхерія Захарьевна, Анна Захарьевна, Наталья Захарьевна, мамзель Куси, ахъ, Боже мой!»

О! тогда въ сердцѣ Евгенія пробудилось новое чувство; онъ не шелъ, а летѣлъ къ стеклянной двери; въ глазахъ его сплошной массой представлялось дорогое семейство, возсѣдавшее на огромной линеѣ; четыре дюжія лошади не безъ труда везли наслѣдственную колесницу. Павелъ Захарьевичъ былъ въ полномъ гвардейскомъ мундирѣ временъ Павла Петровича; Марья Захарьевна въ перьяхъ походила на Индіанку; Пульхерія Захарьевна.... Да къ чему описывать костюмы; это дѣло романа, а не краткаго, быстраго разсказа. Евгеній слетѣлъ съ лѣстницы будто съ Тарпейской скалы;

не отстегнулъ, а сорвалъ фартукъ линейки, обнялъ отца, но обнялъ за ноги, по особенному какому-то влеченію, и оросилъ ихъ слезами. Картина была истинно умилительная. Павелъ Захарьевичъ всталъ; но не могъ сойти съ линейки; совершенно растерялся, преглупо оглядывался на дамъ, въ особенности на Пульхерію Захарьевну, и громогласно вскрикивалъ: «А? что? каково?» а дамы плакали на взрыдъ, какъ-будто хоронили покойника. Между тѣмъ и на высокой лѣстницѣ раздался голосъ, который бы могъ съ успѣхомъ пѣть при Павлѣ Захарьевичѣ втораго баса: «Гдѣ онъ? Гдѣ онъ? Задушу я его за такой сюрпризъ. Браво, браво! Павелъ Захарьевичъ! Наша взяла!»

— «А? что? каково? Пульхерія Захарьевна! А? что? звѣрь?... А? Поди сюда, разбойникъ, ахъ ты, рожденье мое дорогое, поди сюда, баловень, поди сюда, штука ты заморская, дай-ка я тебя подкину.»

И Евгеній очутился на воздухѣ въ объятіяхъ Павла Захарьевича. Между тѣмъ всѣ высыпали изъ линеи и очутились на лѣстницѣ. Евгеній переходилъ изъ рукъ въ руки, какъ мячикъ; всѣ обнимали его и цѣловали, родные и не родные, а онъ, предупреждая желанье каждаго обнять его, чуть было не бросился въ объятья къ Надинькѣ. Движеніе это было съ обща замѣчено и прекратило сцену свиданія. Всѣ улыбнулись, кромѣ Надиньки и Евгенія. Молодые люди смѣшались и попали въ самое затруднительное положеніе....

— «Полно, полно, Евгеній, печалиться! Обни-

мень и Надиньку, коли захочешь...» сказалъ Петръ Захарьевичъ тихо: «только прежде надо Богу помолиться, да хорошенько съ нею познакомиться. Безъ Божьяго изволенія и Надинька тебѣ не понравится....»

— «Ахъ, мы уже знакомы!» сказалъ Евгеній отцу шепотомъ.

— «Что? Знакомы? Гдѣ, когда?»

— «Въ Римѣ!»

— «Слышишь, Сергѣй Андреевичъ, Евгеній говоритъ, будто онъ твою Надиньку въ Римѣ видѣлъ.»

— «А что же, статься можетъ; прошедшимъ лѣтомъ, когда Лизавета Аѳонасьевна отъ спазмъ ѣздила въ Италію лечиться....»

— «Правда, правда! Ну, коли вы знакомы, такъ подай же, Надинька, руку и маршъ въ церковь.»

Лукачевы уѣхали, послѣ пышнаго обѣда въ селѣ Пуговкѣ, на которомъ присутствовала вся чиновность губернскаго города. Какъ только уѣхали Лукачевы, дамы пошли по своимъ комнатамъ, чтобы одѣться къ балу, который имѣлъ быть въ тотъ день въ Лукачевкѣ. Вмѣстѣ съ другими и Надинька прибѣжала въ свою гореньку; но какъ другія, не стала одѣваться. Она схватила бронзовую статуэту, и цѣловала ее, и обливала слезами. «О, не даромъ я полюбила тебя, милая богиня!» такъ говорила она: «не даромъ я вспоминала тебя каждый день, видала тебя во снѣ! Дорогой подарокъ Евгенія! Милый Евгеній!... О, какъ я буду... о, какъ я уже счастлива!»

И точно! Вереница экипажей подъ сумерки потянулась по прелестной аллеѣ въ Лукичевку; едва губернаторскіе кони поставили свои передніе ноги на землю Павла Захарьевича, иллюминація всѣхъ кустовъ; дорога освѣтилась смоляными бочками; балъ былъ, на чудо; Евгеній и Надинька не разлучались, а всѣ любовались прекрасной четой и намекали Павлу Захарьевичу на то, что Наденька славная Евгенію партія.

— «Порѣшу, порѣшу!..» говорилъ весело Павелъ Захарьевичъ. За ужиномъ вдругъ музыка затихла. Павелъ Захарьевичъ и Сергѣй Андреевичъ, сидѣвшіе другъ противъ друга, встали, вѣроятно по условію, протянули одинъ другому руки и Павелъ Захарьевичъ рече:

— «Дорогой сосѣдъ, жили мы съ тобой въ любви и дружбѣ. Того и дѣтямъ желаемъ.»

— «Отцы строятся, а дѣти въ тѣхъ домахъ живутъ; мы имъ доброе изготовили; дай имъ Господи здорово и покойно его дарами наслаждаться...» сказалъ Сергѣй Андреевичъ и бросилъ на всѣхъ довольный взглядъ.

— «Красно сказано...» замѣтилъ Павелъ Захарьевичъ: «да извѣстно, что ты на это мастеръ. Нѣтъ, сосѣдъ, скажи пояснѣе.»

— «Изволь! я благословляю, а тамъ ихъ воля! — Ясно? Евгеній, вотъ тебѣ невѣста, а благословеніе отъ Бога!»

Евгеній бросился въ ноги къ отцу, а Павелъ Захарьевичъ сказалъ торжественно и стоя:

— «По русски, Евгеній Павловичъ! По русски! Люблю за обычай... Отъ руки только Бога и отца прочное счастіе. Шампанскаго! Тушъ за здоровье жениха и невѣсты!»

— «Ура!» раздалось со всѣхъ сторонъ и того же лѣта, въ той же залѣ и тѣ же гости, кричали «ура» новобрачнымъ.

ПОЛКОВНИКЪ ЛЕСЛИ.

Историческій Разсказъ.

I.

ПОЖАРЪ НА ПОКРОВКѢ.

Исходило двѣнадцатое лѣто государствованія Царя Михаила Ѳеодоровича.... Глубокія раны, нанесенныя отечеству нашему продолжительнымъ періодомъ государственныхъ смутъ, закрывались; Москва оживилась торговлею. *Гречане* ежегодно привозили тму драгоцѣнностей и мѣняли ихъ въ Царскій Дворецъ на соболи и другіе мѣха. По всѣмъ концамъ Москвы Персіяне открыли торгъ мелкомъ; не было еще нигдѣ опредѣленныхъ мѣстъ каждому торгу; боярскіе дворы, расположенные въ Китаѣ и въ Бѣлъ-Городѣ, были облѣплены съ наружной стороны стѣнъ лавками, навѣсами, а иногда къ нимъ примыкали дома купцовъ, съ разными затѣйливыми угодьями и садами. Кромѣ купцовъ, на Москвѣ было многое множество иностранцевъ, гостей, заморскихъ подрядчиковъ и служилыхъ людей. Военные замыслы Царя не были тайной, тѣмъ болѣе, что ихъ внушала необходимость возстановить повозможности цѣлость царства. По всей Европѣ ходили слухи,

и довѣренные царскіе люди собирали охотниковъ сражаться подъ знаменами Московскими. Уже образовалось особое иноземное войско, подчиненное особому иноземному приказу. Много знаменитыхъ рыцарей, искателей приключеній, хищныхъ храбрецовъ, пушкарей, литейщиковъ, мастеровыхъ пришло съ разныхъ концевъ Европы на Москву. Одни ждали подвиговъ и славы военной, другіе— случая обогатиться. Былъ вечеръ. Солнце закатилось. Послѣ жаркаго дня, пролилась пріятная прохлада. Русскіе почти всѣ, какъ птицы, съ закатомъ солнца, убрались подъ перины; но такъ называемые Нѣмцы выползли на узкія улицы и разбрелись по всей Москвѣ до самаго Кремля, который тогда уже былъ запертъ, поздней поры ради.

— «Что, Гильдебрантъ?» сказалъ Лесли, старшій полковникъ и начальникъ всего иноземнаго войска: «скучно тебѣ на Москвѣ? Ты, я думаю, не усидишь съ нами долго?

— «Вамъ извѣстно, полковникъ...» отвѣчалъ ротный голова или капитанъ Орлей: «что я попалъ въ этотъ монастырь для поправленія моихъ финансовъ. Я проигралъ въ Лондонѣ всѣ деньги и жену. Послѣдняго добра я не жалѣю, — надоѣла; я радъ, что удалось найти дураковъ, которые польстились на это чучело!

— «Да будто можно проиграть или выиграть жену?

— «Вотъ вздоръ какой! Я замѣтилъ, что моя любезная супруга весьма неравнодушна къ игро-

ку, который меня объигривалъ что-то три или четыре недѣли сряду. Вѣроятно, она принимала такое въ немъ участіе изъ супружеской любви ко мнѣ: я бухъ ее на ставку! Проигралъ, и былъ таковъ. Хожу себѣ по Лондону, сложивъ руки; заглянулъ въ таверну, гдѣ мнѣ вѣрили въ долгъ; нахожу тамъ удивительныхъ людей: пьютъ неподражаемо. Я присталъ къ нимъ и опредѣлился на службу Его Царскаго Величества. То были Московскіе люди, присланные въ Англію запрашивать нашу братью, Іоанновъ безземельныхъ въ Московію для занятія весьма важной должности— получать даромъ каждый мѣсяцъ по 150 ефимковъ. Тысяча восемь сотъ ефимковъ въ годъ.... Да этого у насъ въ Англіи и генералы не получаютъ. Признаюсь, я былъ глупъ. Объявилъ себя только капитаномъ, а слѣдовало произвести себя прямо въ полковники и получать по 400 ефимковъ, т. е. быть богачемъ.... Два три года такой службы и можно бы опять попробовать счастья въ благородную игру.

— «Вотъ г. полковникъ...» сказалъ маіоръ *) Пенъ: «уже два года получаетъ это огромное жалованье; да что-то у него денегъ не видно. Вѣрно, у него есть гдѣ-нибудь складочное мѣсто и казначейша.»

— «Ты не ошибаешься, Морицъ!» отвѣчалъ Лесли съ горькой улыбкой: «Есть, только далеко!

*) Маіоръ, по табели, былъ ниже капитана.

— «Эге!» сказалъ Орлей: «Мой полковникъ съ романомъ и несчастіями. А у меня несчастій сколько угодно, а романа ни одного. Проклятая эта Москва! Всѣ женщины, какъ будто старая рухлядь, на чердакахъ, подъ замкомъ. Ужъ чего я не дѣлалъ, чтобы добыть себѣ такую-сякую любовницу. Не возможно! Простыхъ дѣвушекъ — пропасть. Пожалуй, и купить можно, и подъ залогъ взять, да опять бѣда — ни одного смазливаго личика. Рожи у всѣхъ въ родѣ тарелокъ; носы будто пуговицы; таліи — не спрашивайте — просто будто руда *in crudo*.... Ну, а наши иностранцы со страху даже кухарокъ не держатъ; солдаты имъ супъ варятъ..... Конечно постъ! Но все къ лучшему! По неволѣ много денегъ накопишь, дѣть не куда!

— «Что это тамъ дымитъ?» спросилъ Лесли.

— «Вѣроятно, у кого нибудь завтра именины на Покровкѣ. Пироги пекутъ. Ай, нѣтъ! Огонь! Глядите, глядите, какъ пламя языкомъ небо лижетъ. Ужасно люблю иллюминаціи! А въ Москвѣ на недостатокъ ночныхъ огней нельзя жаловаться. Что ночь—то пожаръ.... Да куда же вы, полковникъ, такъ бѣжите?»

— «Въ съѣзжую избу моего полка!»

— «Зачѣмъ?..»

— «Люди горятъ, а вы, капитанъ, спрашиваете: зачѣмъ? Боже! Да это у моего сосѣда пожаръ, горитъ домъ Ивана Александровича.... Капитанъ, маіоръ! бѣгите, соберите весь полкъ, и на помощь!»

— «А вы?»

— «Ступайте! Я васъ ожидаю! Вы, капитанъ, отвѣчаете мнѣ за поспѣшность.»

Лесли не шелъ, а бѣжалъ къ больному двору боярина Ивана Александровича. Прозвища этого боярина мы не отыскали ни въ одномъ историческомъ актѣ. Знаемъ только, что въ шутку и Царь и бояре и простые люди называли его Кречетомъ, а что, про что, того мы не нашли, а догадки за истину не подложимъ. Пусть же онъ себѣ и у насъ будетъ *Кречетомъ*. Дворъ его былъ нарочито обширенъ; на немъ стояло до десяти большихъ домовъ, да малыхъ не мало; да разныхъ службъ, да то, да сё, а за дворомъ, подъ ту же большую ограду, шелъ садъ, старый, тѣнистый, обширный.... Къ самой оградѣ примыкалъ дворъ богача Мустафы, Персидскаго купца, который уже болѣе десяти лѣтъ проживалъ на Москвѣ, изрѣдка ѣздилъ во свояси за товарами и опять возвращался; богатство его возрастало не по днямъ, а по часамъ. И у него дворъ былъ не хуже боярскаго; и у него было много слугъ, и также садъ съ бесѣдками и другими затѣями, и у него былъ во дворѣ боярскій порядокъ. Кромѣ своихъ, ни живой души не пускалъ Мустафа на дворъ свой, гдѣ въ каменныхъ глухихъ анбарахъ хранились драгоцѣнные восточные товары.

Долго стучалъ Лесли въ дубовыя ворота боярскаго двора; собаки то выли, то лаяли; но слуги спали крѣпкимъ сномъ, а пламя на волѣ разбѣжалось по всей крышѣ главныхъ хоромъ; нако-

нецъ сонный хриплый голосъ закричалъ: «Кто тамъ?»—«Пожаръ,» отвѣчалъ Лесли: «вставайте! У васъ пожаръ!» «Пожаръ, пожаръ!...» раздалось изо всѣхъ домовъ. «Лови зажигальщика!...» Суматоха сдѣлалась общею; до трехъ сотенъ слугъ высыпало на дворъ; храбрѣйшіе отворили ворота, чтобы поймать зажигателя, но отступили съ почтеніемъ, узнавъ сосѣда и царскаго полковника. Почти въ то же время капитанъ Орлей привелъ полкъ и Лесли скомандовалъ, какъ тушить пожаръ, обхватившій совершенно большіе хоромы. Вѣтеръ днемъ мается, а ночью спитъ, дѣло извѣстное, но ужъ такой у него нóровъ: зачуетъ братца гдѣ нибудь и встанетъ, встряхнется и давай помогать родному огоньку. Всталъ вѣтеръ и началъ головнями забавляться: то на конюшню броситъ щепотку, то на сосѣда лучнику, а погляди, уже горитъ улица. Но людская воля злаго не боится. Разумъ Лесли, словно чуму какую, оцѣпилъ огонь.... Раздѣлилъ онъ полкъ на роты и послалъ капитановъ сосѣдей боронить, а самыхъ храбрыхъ съ собой взялъ, да и пошелъ въ хоромы. .. Перваго вытащили хозяина, боярина Кречета, который было отъ дыму задохся. Вынесли его на улицу и сдали на руки полковому лекарю. Лесли велѣлъ солдатамъ лари выносить, иконы снимать, все что подороже у огня отымать; сказалъ, да и побѣжалъ куда-то.... Путается, ходитъ, пламя ему въ глаза бросается, духъ захватываетъ; самому жутко приходится, а прочь нейдетъ. Вдругъ слышитъ женскій крикъ;

узенькая лѣсенька; онъ на верхъ въ теремъ. Тамъ, передъ боярышней, комнатная дѣвушка стоитъ на колѣняхъ и руки ломаетъ и плачетъ и кричитъ: «помогите!»

Лесли некогда было ни разговаривать, ни думать. Хватъ боярышню въ охабку, кричитъ: «за мной!» и унесъ у огня дорогія двѣ жертвы.... Вышли они на заднее крыльцо.... Тутъ народу много, а боярышня, какъ была въ постелѣ, такъ ее и вынесли. При людяхъ стрямъ! Вотъ комнатная и говоритъ Лесли: «Эй, ты, Нѣмецъ, норови въ садъ, за мной!» Лесли принесъ боярышню въ темный садъ; положилъ подъ навѣсомъ на скамью; комнатная дѣвушка прилѣжно хлопотала около боярышни; усилія ея благословилъ Богъ; отворились чудные каріе глазки и, ничего не понимая, глядѣли то на пожаръ, то на Нѣмца, то на подругу....

— «Что, Параша, лучше тебѣ?» спросила комнатная.

— «Лучше, сестрица, лучше. Отлегло! Но гдѣ батюшка?»

— «Онъ спасенъ, Прасковья Ивановна!» сказалъ Лесли.

— «Да гдѣ же онъ?»

— «У меня въ домѣ! А про пожаръ не изволь безпокоиться. Мои люди — отстоятъ другіе дома, только хоромы сгорятъ; ихъ спасти уже нельзя »

— «Ахти, Господи, стыдъ какой!» закричала Параша, примѣтивъ, какъ она одѣта и стала кутаться.

— «Трудное время, Прасковья Ивановна! Теперь все простительно. Нужда велитъ...»

— «Да ты кто такой?»

— «Старшій полковникъ Его Царскаго Величества, рыцарь Александръ Ульяновичъ Лесли...»

— «Онъ тебя изъ пожара на рукахъ вынесъ, а не будь онъ — мы бы сгорѣли....»

— «Потому что сестрица твоя, Прасковья Ивановна, не хотѣла безъ тебя спасаться.»

— «Милая сестрица!» сказала со слезами Параша и обняла, какъ мы видимъ, не комнатную дѣвушку, а дальнюю родственницу свою, Евдокію Лукьяновну. Параша была такъ хороша, такъ великолѣпна, роскошна, что у бѣднаго Лесли глаза помутились. Онъ боялся смотрѣть на нее, а все-таки смотрѣлъ въ оба. Даже не примѣтилъ, что сосѣдній домъ Персидскаго купца обратился въ огненный столбъ; даже не слышалъ, какъ на Персидскомъ дворѣ за оградой кричалъ распорядительный Орлей.

— «Вотъ какъ странно на этомъ свѣтѣ все устроено!» сказалъ онъ задумчиво: «Чтобы увидѣть одну минуту счастія, надо огромныхъ бѣдствій, надо пройти, какъ говорится, сквозь огонь и воду.»

Дѣвушка молчала; она не смѣла говорить съ мужчиной, и только изрѣдка съ особеннымъ любопытствомъ поглядывала на Лесли.

— «Да! я тебя видѣлъ во снѣ...» говорилъ полковникъ съ жаромъ: «нѣсколько дней сряду я смотрѣлъ на тебя каждое утро, когда ты сади-

лась въ капитану *), закидывала покрывало и уѣзжала гулять.... Потомъ и весной, какъ ты ходила говѣть въ домашнюю церковь. Потомъ и лѣтомъ, какъ ты гуляла въ саду.... И благодарилъ судьбу, что она подарила мнѣ такое окошко, изъ котораго можно было смотрѣть черезъ высокую ограду вашего двора. Почти годъ глядѣлъ я на тебя, Прасковья Ивановна!...»

— «На меня! А я думала, что ты о комъ другомъ говоришь! Зачѣмъ же ты глядѣлъ на меня? Не годится!...»

— «Охъ, правда!»

— «Отчего же правда?...»

— «И это правда! Ужъ если красавица, да боярская дочь, такъ на нее и смотрѣть не смѣй. А если вздумаешь любить...»

— «Послушай, сдѣлай милость ничего такого страмнаго не говори. Ужъ мнѣ и такъ не приходится тебя слушать...»

— «Да что же худаго въ любви?»

— «А я почемъ знаю. Мнѣ-то что до нея!... Извѣстно, это не дѣвичье дѣло....»

Лесли задумался, и вздохнулъ....

— «О чемъ?» невольно сорвалось съ языка у Параши.

— «О тебѣ!»

— «Обо мнѣ не тужи. У батюшки, въ мѣсяцъ такіе хоромы построятъ; слава Богу, какого у него богатства нѣтъ.... Да зачѣмъ я съ нимъ разговариваю, сестрица?»

*) Возокъ, крытый, зимній экипажъ.

— «Ужъ это ты, Параша, вѣрно лучше знаешь. И слава Богу, что боярин идетъ, а то вы тутъ Богъ знаетъ до чего бы договорились, а въ отвѣтѣ былъ бы никто, какъ я...»

— «Батюшка идетъ! Ахти, Господи, какой страмъ!... Спрячься ты, Нѣмецъ, за дерево.... Уйди куда нибудь, а не то онъ меня съѣстъ.... Ужъ Господь тебѣ проститъ за все, про все, только убирайся...»

— «Какъ хочешь Прасковья Ивановна, я спасъ тебя и за это счастье поцѣлую твою ручку....»

Лесли прижалъ къ устамъ прелестную руку.... Параша боялась кричать... только ахъ, да ахъ... вырвалась и съ подругой побѣжала на встрѣчу отцу. По счастію, боярин, ослѣпленный блескомъ пожара, не могъ ничего разглядѣть въ тѣни сада, только кричалъ во все горло: «Параша, Параша! гдѣ ты, Параша?...»

Лесли самъ чувствовалъ опасность своего положенія; примѣтилъ дерево, которое отъ старости оперлось на высокую ограду, и перелѣзъ по этой естественной лѣстницѣ въ сосѣдній садъ. Тутъ было совершенно пусто; солдаты и Персіяне хлопотали около пожара, только во глубинѣ одной аллеи Лесли услышалъ шопотъ,—то былъ Орлей; обхвативъ какую то женщину обѣими руками, Орлей, безо всякаго обычая, осыпалъ ее поцѣлуями; женщина какъ-то странно защищалась и только шептала на дурномъ Русскомъ языкѣ: «Нельза, нельза! Мужа мене увидить.»

— «Черта съ два! Ему амбары дороже тебя... Хочешь, я тебя черезъ заборъ перетащу и...»

— «Нельза, нельза. Мужа злой, мене заръжетъ...»

— «А я его...»

— «Мужа, мужа идетъ!...»

Мустафа бѣгалъ по двору и кричалъ по-Персидки....

— «Мужа мене зоветъ!»

Орлей подхватилъ на руки хорошенькую Персіянку; на дорогѣ повстрѣчалъ Лесли и сказалъ на ходу: «Помогите, полковникъ, обмануть стараго черта.»

Мустафа въ это время уже былъ въ саду и продолжалъ кричать по-Персидски; Орлей сдѣлалъ обманчивый маневръ; пропустилъ искусно Мустафу въ глубь сада и, поворотивъ, кричалъ громко: «Здѣсь! здѣсь! Помогите! чуть-чуть жива!»

Какъ звѣрь Мустафа побѣжалъ на Орлея, выхватилъ у него изъ рукъ жену, положилъ на траву, увѣрился, что она жива, и тогда только посмотрѣлъ на избавителя. Съ особенною важностью стоялъ передъ нимъ Орлей, за нимъ Лесли; Мустафа упалъ наземъ и самыми чувствительными словами сталъ благодарить и капитана и полковника. Истощивъ всѣ нѣжныя имена, Мустафа, сталъ предлагать въ награду золото, ткани, все, все, что только могъ вспомнить изъ своихъ драгоцѣнностей.

— «Ничего не нужно!» сказалъ торжественно Орлей: «Супружеская любовь твоя меня трогаетъ

до глубины сердца! Подари мнѣ свою дружбу, почтенный супругъ! Удостой посѣтить домъ капитана Орлея. Вотъ все, чего я отъ тебя желаю и требую. Пойдемъ, полковникъ! Наше мѣсто въ огнѣ!»

Лесли и Орлей ушли, а Мустафа не могъ надивиться великодушію Нѣмцевъ.

—

II.

НОЧНАЯ БЕСѢДА.

Благодаря усердію и смѣлости Нѣмцевъ, пожаръ былъ задушенъ задолго еще до зари.... Сгорѣли большія боярскія хоромы, да крыша купца Мустафы. Съ пепелища подымался дымокъ, но безчисленная челядь боярская тщательно поливала почернѣвшіе уголья, а Нѣмцы разошлись по домамъ. Орлей не отставалъ отъ полковника.

— «Послушайте, полковникъ, если вы будете все вздыхать и хныкать, такъ я могу Богъ знаетъ что подумать.»

Лесли, молча, шелъ по лѣстницѣ въ свою квартиру, а Орлей за нимъ....

— «Какъ хотите, полковникъ, а я отъ васъ не отстану, пока вы мнѣ не скажете всей правды, что съ вами случилось. Я долженъ участвовать въ вашихъ несчастіяхъ; я ваша правая рука по службѣ: такъ ужъ извольте взять меня и въ домашніе секретари?»

— «Любезный Орлей! Я очень благодаренъ за твое участіе.»

— «Увольте меня, полковникъ, ото всѣхъ этихъ фразъ! Къ дѣлу! Признавайтесь, — или завтра же я подамъ въ отставку.»

— «Прежде ты долженъ сказать мнѣ: зачѣмъ ты цѣловалъ эту Персіянку?...»

— «Потому что она очень, очень хорошенькая Персіянка; молоденькая, глупенькая и страстная; мужъ у нея ревнивъ до бѣшенства. Вотъ все, что нужно для удачнаго романа вообще, и для меня въ особенности....»

— «Такъ ты намѣренъ продолжать любовь?..»

— «А вы какъ думали, полковникъ? Я поведу правильную осаду; подкопы сдѣланы; Мустафа попадется, и я буду торжествовать побѣду не далѣе, какъ черезъ двѣ недѣли.»

— «Такъ ты не безъ умысла игралъ роль великодушнаго; звалъ Мустафу къ себѣ; хвалилъ его супружескую любовь?...»

— «Еще бы! Я ничего не дѣлаю безъ умысла. Сегодня онъ напалъ на меня въ расплохъ, а завтра онъ мой; а тамъ она—моя; а тамъ,—представится другой пріятный случай.... Но, полковникъ, у меня есть затрудненіе. Только вы одни можете помочь мнѣ....»

— «Надѣюсь, капитанъ, не въ этой интригѣ...»

— «Косвеннымъ образомъ, полковникъ, косвеннымъ образомъ. Я былъ такъ глупъ; роздалъ мои деньги подъ вѣрные залоги въ добрыя руки; а тутъ, какъ сами видите, наступаетъ военное время, я предвижу значительныя издержки; до

жалованья почти мѣсяцъ; не можете ли вы мнѣ дать до того времени сто ефимковъ?»

Лесли вздохнулъ.

— «Кромѣ васъ, полковникъ, мнѣ неприлично обращаться съ этою просьбой къ кому бы то ни было....»

Лесли молчалъ.

— «Вы не хотите, полковникъ....»

— «Не могу!»

— «Вы не можете! Какъ! вы не можете! Получаете четыреста, проживаете десять, и не можете мнѣ, вашему капитану, вашему другу, дать на нѣсколько дней сто ефимковъ!»

— «Орлей! У меня дома нѣтъ и пяти!»

— «Простите, полковникъ, я не зналъ, что и вы отдаете свое жалованье въ ростъ!»

— «Въ ростъ! Никогда, Орлей! Никогда! Эти деньги....»

— «Признавайтесь, полковникъ, говорите! Если вамъ нужна тысяча ефимковъ, завтра же я пріударю по моимъ должникамъ, и деньги будутъ. Для моего добраго полковника....»

— «Перестань, Орлей! Съ меня и моего довольно, но мнѣ стыдно, что я не могу помочь тебѣ....»

— «Что это значитъ, полковникъ! Вѣрно, вы проигрались.... Но кажется....»

— «Никогда, Орлей, никогда во всю жизнь мою я не игралъ; но мои семейственныя обстоятельства....»

— «Я молчу, я не спрашиваю, полковникъ!...

Простите моей настойчивости.... Простите моему глупому легкомыслію! Мнѣ пришло въ голову, что вы влюбились и я, какъ честный рыцарь, спѣшилъ предложить вамъ мои услуги. Простите!... Я иду....»

— «Нѣтъ, Орлей! Ты долженъ знать все. По крайней мѣрѣ я буду свободенъ отъ пустыхъ подозрѣній, догадокъ, намѣковъ. Филиппъ! Есть у тебя вино?»

Филиппъ принесъ бутылку романеи и двѣ чары. Орлей, какъ человѣкъ весьма смѣтливый, тотчасъ понялъ, что это предисловіе, и желая скорѣе слышать самый разсказъ, сѣлъ, налилъ чару, выпилъ и протянулъ уши.

— «Наша отчизна, Орлей...» такъ началъ Лесли: «на одномъ и томъ же островѣ; но я, отецъ мой, дѣдъ и такъ далѣе, всѣ мы ненавидѣли васъ, Англичанинъ; ненавидѣли за смерть нашей чудной королевы, за казнь всемірной красавицы....

— «Славное начало!» закричалъ Орлей: «и высокимъ слогомъ!...»

— «Елисавета, какъ тебѣ, извѣстно, назначила нашего короля Якова преемникомъ престола; умерла, и Яковъ оставилъ Эдинбургъ, свое наслѣдственное королевство для этой Англіи, которая такъ не любитъ его! Мнѣ тогда было шестнадцать лѣтъ; я служилъ пажемъ у старой графини Орселей. Молодой ея сынъ уѣхалъ изъ Эдинбурга, но молодой графини старушка не пустила.... «Посмотримъ, посмотримъ...» говорила она: «какъ то вы поладите съ Англичанами? Увидите, Сиръ Ро-

бертъ Карръ, любимецъ Якова, перессорить васъ съ новымъ вашимъ королевствомъ. И здѣсь его не жаловали, а тамъ.... Бѣдный графъ страстно любилъ свою жену, но старуха пріучила всѣхъ уважать ея волю, и графъ уѣхалъ одинъ, послѣ трогательнаго прощанія. Надо тебѣ знать, что жена его, графиня Берта, была изъ простаго состоянія; отецъ ея былъ судьей, мать изъ купеческихъ дочерей; графъ женился противу воли и вѣдома старушки; но хитрая графиня Орселей не подала и виду неудовольствія; пожурила сына ласково; приняла Берту какъ дочь и, казалось, все уладилось.... Графъ уѣхалъ поутру. Ввечеру старушка объявила Бертѣ, что она обязана строго хранить честь своего сана; что родъ молодой графини подлъ и низокъ, и не можетъ внушать никакого довѣрія; что Берта уловила графа кокетствомъ и потому во все время пребыванія графа въ Лондонѣ, она будетъ находиться подъ строжайшимъ надзоромъ моей матери, подруги графини Орселей; матушка моя, по бѣдности, проживала въ ея помѣстьяхъ. Берта оскорбилась, расплакалась, старуха смѣялась, и въ тотъ же вечеръ, въ спальнѣ Берты поселилась моя добрая, несчастная мать, Гертруда Лесли, жена стараго Шотландскаго капитана королевской гвардіи.... Берта была въ отчаяньи. Цѣлую ночь не ложилась, писала письма къ мужу, къ отцу своему, къ знакомымъ, но всѣ эти письма перешли въ руки къ старушкѣ; строгіе выговоры и стѣсненіе свободы Берты были единственными послѣдствіями

всѣхъ этихъ писемъ. Естественнымъ образомъ, положеніе хорошенькой женщины возбудило въ молодомъ человѣкѣ излишнее участіе. Не смотря на бдительность моей матери, графинѣ удалось тайно написать письмо къ графу и тайно отдать его мнѣ. Лондонъ съ Эдинбургомъ былъ въ безпрерывныхъ сношеніяхъ; въ пересылкѣ письма къ графу — не представлялось никакихъ трудностей; полученъ и отвѣтъ... Какой отвѣтъ! Бѣдная Берта!... Графъ писалъ очень холодно, что онъ находитъ всѣ распоряженія матери справедливыми и необходимыми. Въ то же время старушка получила вѣрное извѣстіе, что сынъ ея влюбился въ Лондонѣ въ дѣвушку весьма знатнаго рода, что король одобряетъ эту страсть, но, къ огорченію, одно препятствіе—Берта. Къ общему удивленію, Берта въ тотъ же день получила полную свободу.... Минутное увлеченіе стало во мнѣ пылкою страстію; я не отходилъ отъ графини Берты; я открылъ тайну графа, и съ какимъ-то торжествомъ объявилъ о ней Бертѣ; она стала задумываться; а я пылалъ, горѣлъ; я съ ума сходилъ, и въ припадкѣ безумнаго восторга разсказалъ все матери.... Бѣдная Гертруда пришла въ ужасъ и поспѣшила объявить объ этомъ старой графинѣ.

— «Что же вы тутъ находите удивительнаго?» спросила старушка: «Все это въ порядкѣ вещей. Каждый юноша доженъ прохворать этою болѣзнью; такъ уже устроено отъ вѣка. Оставьте вашего сына! Но, милая Гертруда, я замѣчаю, что вы

скучаете въ Эдинбургѣ. Я очень признательна за ваши услуги, и за то буду беречь вашего сына. А вы поѣзжайте на покой!»

Уѣхала моя Гертруда, а старая графиня употребила все, что только можетъ выдумать коварная женщина, чтобы сблизить, подружить насъ съ Бертой. Вліяніемъ ея, я получилъ хорошее мѣсто въ королевской гвардіи, провожалъ молодую графиню на всѣ возможныя прогулки; бесѣдовалъ съ Бертой самою позднею порою, сначала при старухѣ, потомъ она оставляла насъ однихъ и, казалось, ждала преступленія.... Неожиданныя извѣстія дали всему дѣлу совершенно другой оборотъ. Мы узнали отъ вѣрныхъ людей, что всѣ акты и бумаги, составлявшіе доказательство о бракѣ графа съ Бертой, похищены изъ церковнаго архива за добрую плату; что свидѣтели этого брака (ихъ было трое) схвачены и отосланы въ Лондонъ; наконецъ мы перехватили письмо старой графини къ сыну, въ которомъ она писала, что изъ нѣжной къ нему любви, она потворствовала грѣху; но, приближаясь ко гробу, должна очистить свою совѣсть, и болѣе графской наложницы въ своемъ домѣ держать не будетъ, а благословеніе, котораго онъ проситъ, на бракъ честный и законный, она посылаетъ ему... и тому подобное....

— «Графиня!» закричалъ я: «вы свободны! Вы можете предупредить всѣ эти несчастія....» Я упалъ къ ея ногамъ и признался въ любви.... Берта горько плакала. Долго не могла она отвѣчать мнѣ. Наконецъ, глотая слезы, не связно прошептала:

— «Чѣмъ я заслужила и ненависть мужа и твою преступную любовь?»

Чувства ея примѣтно возвращались; по лицу разливалось пламя; глаза блистали негодованіемъ; уста и ноги дрожали; она продолжала съ возрастающимъ жаромъ:

— «Я клялась ему передъ Богомъ! Я клялась искренно не такъ, какъ онъ.... Что мнѣ бумаги и свидѣтели?... Онъ лгалъ Господу, а я нѣтъ! Онъ можетъ любить другихъ, а я нѣтъ! Пусть будетъ счастливъ; я завтра же ѣду въ Лондонъ — поздравить его съ новымъ счастіемъ, проститься, и укрыться въ обители того же Бога, Который принялъ мои обѣты....»

— «И я съ вами!» сказалъ я рѣшительно.

— «Зачѣмъ?»

— «Кто же раздѣлитъ съ вами всѣ опасности пути? Кто будетъ вамъ слугою и защитникомъ въ такое безпокойное время? Графиня не дастъ вамъ ни лошадей, ни слугъ, и если узнаетъ объ вашемъ намѣреніи, чего добраго, васъ упрячутъ туда, гдѣ уже ни я, ни люди васъ не увидятъ. Понимаю всю великость моего преступленія! Я не думалъ оскорбить васъ моею любовью! Я полюбилъ васъ—вотъ и все тутъ. Но вы простите, вы должны простить молодости. Не правда ли? Вы не отвергнете преданности друга?...»

Берта протянула ко мнѣ руку; слезы выступили на ея глазахъ; мы условились: какъ и когда уѣхать въ Лондонъ. Въ ту же ночь я все приго-

товилъ къ отъѣзду.... И еще всѣ знали, когда мы оставили столицу Шотландіи.

Ты долженъ помнить, что Робертъ Карръ, возведенный въ санъ графа Сомерсетскаго, полномочный властитель двухъ королевствъ, сдѣлался въ самое короткое время предметомъ общей ненависти, презрѣнія и происковъ.... Мы въѣзжали въ Лондонъ въ самый день и часъ его паденія. Улицы были наполнены народомъ; крикъ, шумъ, радость, торжество. Мы не могли безопасно продолжать пути, должны были вернуться и на предмѣстьи остановиться въ грязной гостинницѣ. Помѣстивъ графиню Берту въ единственной опрятной комнаткѣ, я вышелъ въ общую залу или лучше сказать въ общій погребъ. Тутъ мало было гостей, но къ особенному моему удивленію, всѣ были прекрасно и богато одѣты; стояли въ кружкѣ и довольно громко между собою разговаривали....

— «Вздоръ!» закричалъ молодой человѣкъ, особенно богато одѣтый. «Сиръ Робертъ не подмѣшивалъ яда никому. Это на него сочинилъ лордъ Валлисъ, отецъ миссъ Адды, потому что ему очень не хотѣлось выдать замужъ своей дочери за женатаго графа Орселея!... Король Яковъ этого требовалъ такъ настоятельно, такъ повелительно, что не оставалось никакого другаго пути къ спасенію, какъ низвергнуть Сомерсета....»

— «Такъ свадьбы и не будетъ?»

— «Да ты развѣ не слыхалъ, что сказалъ король на аудіенціи: Судите Сиръ Роберта и его друзей! — Ну, а Орселей его первый другъ....»

— «Что жъ? И эти господа судятъ!»

— «Я думаю уже и осудили. И если Орселей не уйдетъ, какъ мы, — его женятъ на плахѣ!»

— «Но развѣ мы ушли! Надо спѣшить, господа, бѣжать.»

— «Какой вздоръ! Такъ насъ всѣхъ по одиначкѣ переловятъ, и концы въ воду; но если мы успѣемъ соединиться съ Орселеемъ, и другими, тогда можемъ безпрепятственно уйти въ Шотландію, и тамъ уже съ горъ покойно выслушать мудрый приговоръ парламента....»

Таверна наполнялась новыми гостьми. Около гостинницы собралось болѣе тысячи лошадей, множество вооруженныхъ слугъ и любопытныхъ.

— «Ну, потѣшила миссъ Адда!» сказалъ одинъ изъ вошедшихъ: «Поѣхала благодарить королеву за освобожденіе отъ ненавистнаго брака....»

— «Такъ она не любила Орселея?...»

— «Не любила, ненавидѣла!..» кричалъ Орселей, вбѣжавшій въ самое то время въ таверну: «Точно такъ, какъ ненавидѣлъ ее — я!»

— «Ты съ ума сошелъ! Кто же тебѣ повѣритъ!»

— «Лишь бы повѣрила мнѣ жена, а впрочемъ я право не безпокоюсь о мнѣніи даже моей матери.... Любилъ миссъ Адду — не я, а глупый честолюбецъ, покорный сынъ, слабый другъ.... Но, пора, пора! Парламентъ собрался.... Всѣ ли?...»

— «Недостаетъ Сиръ Роберта!»

— «Онъ въ темницѣ! Добрый другъ его, Яковъ, еще съ вечера принялъ противу своего любимца рѣшительныя мѣры. Всѣ ли, господа?...»

— «Если такъ, — кажется всѣ....»

— «Ѣдемъ!..» сказалъ Орселей, но я остановилъ его за руку и сказалъ почтительно:

— «Еще не всѣ, графъ!»

— «Лесли! Ты какъ попалъ сюда?»

Я отворилъ двери въ комнату; прямо противъ дверей, утомленная Берта спала сномъ крѣпкимъ. Орселей поблѣднѣлъ. Друзья съ любопытствомъ окружили его.... Протянувъ руки къ графинѣ, Орселей стоялъ какъ вкопанный и не зналъ, не умѣлъ, не могъ вымолвить слова.

— «Если время не терпитъ, графъ....» сказалъ я почтительно: «извольте ѣхать; мы отправимся съ графиней по той же дорогѣ, по которой пріѣхали. Вы только дайте знать, куда намъ явиться?...»

Графъ взглянулъ на меня съ бѣшенствомъ и спросилъ задыхаясь:

— «Ты съ ней одинъ!... Ты смѣлъ!...»

— «Что же было дѣлать....» отвѣчалъ я хладнокровно: «когда не только мать, но самъ мужъ отказался отъ добродѣтельной женщины?...

— «И она знаетъ?...»

— «Все знаетъ, графъ, для того только, чтобы простить любимому преступнику...»

— «Лесли.... Берта!...»

Берта проснулась, и я не стану описывать ихъ трогательнаго свиданія. Скажу тебѣ только, что эти минуты совершенно меня успокоили. Я радовался чужею радостью; я былъ счастливъ счастьемъ Берты. Я понялъ, что я не влюбленъ, а люблю графиню какъ несчастнаго друга, и услуги мои

возрасли въ собственныхъ моихъ глазахъ; я сталъ цѣнить себя человѣкомъ и человѣкомъ хоронаго сердца, возвышеннаго образа мыслей, — я сталъ гордъ. Эти минуты, Орлей, рѣшили и составили мой характеръ. Краткій разсказъ графа открылъ намъ всю истину. Мы видѣли, что молодой человѣкъ, разлученный съ супругой, пылкій, страстный, не могъ устоять противу чаръ молодой кокетки, съ умысломъ направленныхъ на всѣхъ любимцевъ короля. Яковъ съ Карромъ рѣшили унизить Валлиса, выдать дочь его за женатаго; дальнѣйшія намѣренія ихъ были тайной, но всѣми силами, при содѣйствіи матери Орселея, Карръ хлопоталъ, какъ бы осуществить этотъ невозможный бракъ.... Хотя Орселей скоро опомнился, хотя долгъ и любовь къ Бертѣ взяли свое въ сердцѣ легкомысленнаго юноши, но дѣло было подвинуто слишкомъ далеко.... Не оставалось путей къ спасенію; надо было Божьяго вмѣшательства, и десница Всемогущаго, въ самый день пріѣзда въ Лондонъ добродѣтельной Берты низвергла ненасытнаго честолюбца со всѣми его планами. Мириться вообще гораздо труднѣе, нежели ссориться, но въ этотъ разъ вышло наоборотъ; и это многочисленное Шотландское дворянство послужило только свитой для графини Берты, при торжественномъ ея въѣздѣ въ Эдинбургъ.... Тамъ уже всѣ знали о паденіи Карра; ожидали только приговора Лондонскаго, но осторожный парламентъ никого изъ друзей Карра не казнилъ смертью; за то болѣе тридцати лучшихъ Шотландскихъ фамилій въ одинъ

день обѣднѣло. Въ томъ числѣ и домъ графовъ Орселеевъ лишился своихъ замковъ, дворцевъ, помѣстій, и сталъ бѣденъ, въ полномъ смыслѣ бѣденъ, потому что гордая графиня съ сыномъ и Бертой должна была со стыдомъ укрыться въ домъ судьи, котораго прежде она допускала въ свои покои только по воскресеньямъ и то для церемоніальныхъ привѣтствій, и не позволяла ему дружески говорить даже съ дочерью.... Матушка моя была изгнана изъ Орселеевскихъ помѣстій, и тотъ же ничтожный судья далъ ей уголъ въ тѣсномъ своемъ домѣ. Но бѣдность, нищета, все это еще ничего въ сравненіи съ потерей свободы. И потому мое положеніе было самое непріятное. За самовольную отлучку мою изъ Эдинбурга, меня за глаза осудили къ шести-лѣтнему заключенію въ какой-то отдаленный замокъ. Я узналъ объ этомъ отъ людей графини въ день пріѣзда.... скрывался нѣсколько дней у того же судьи; бѣжать было не куда; я не зналъ на что рѣшиться; вдругъ ночью стучатся у дверей нашего общаго благодѣтеля.... Кто тамъ? Сиръ Вилльямъ Броверъ, начальникъ королевско-Шотландской гвардіи; именемъ короля вошелъ онъ въ комнату; я весь дрожалъ, но прятаться было бы безполезно.... Онъ взялъ меня за руку, не сказалъ никому ни слова и увелъ изъ дома.... Мы шли по улицѣ, Броверъ молчалъ; мы вошли въ гавань, Броверъ молчалъ; онъ любилъ меня, храбрый Броверъ, но я былъ преступникомъ; я даже не хотѣлъ у него попроситься въ Лондонъ, не хотѣлъ посовѣтоваться: я былъ кругомъ виноватъ,

и уста мои были окованы невольнымъ молчаніемъ. Въ гавани ожидала меня лодка. Броверъ почти толкнулъ меня туда, я повиновался; весла всплеснули; лодка понеслась; мы догнали купеческій корабль; и еще той же ночи потеряли изъ виду дорогіе берега милой отчизны. Не знаю, сколько дней, недѣль, мѣсяцевъ или мы сначала чистымъ моремъ, потомъ стали встрѣчаться съ огромными льдинами, наконецъ между безчисленныхъ острововъ и горъ льда и снѣга вошли мы въ Бѣлое Море и бросили якорь въ виду Архангельска. Дорогой познакомился я и подружился съ товарищами.... То были преступники — противу Англіи.... Всѣ ѣхали искать счастія въ новооткрытую Московію... Богатства этой Америки соблазняли не только купцовъ, но и военныхъ людей. Въ томъ же Архангельскѣ пристава стали насъ нанимать на службу, торговались, торговались, а кончилось тѣмъ, что меня, какъ благороднаго и королевскаго офицера, приняли полковникомъ, другихъ — другими чинами, и я тамъ же получилъ начальство надъ новымъ Нѣмецкимъ войскомъ. Здѣсь, уже въ Москвѣ, я нашелъ еще одну роту дѣйствительно Нѣмецкихъ солдатъ; въ короткое время полкъ мой пополнился новыми охотниками.... Недоставало хорошихъ мушкетовъ и того, и другаго; я сталъ ежегодно посылать за этими вещами въ Эдинбургъ добрыхъ и надежныхъ людей, а съ ними и четыре тысячи добрыхъ ефимковъ моему семейству... Ты знаешь, Орлей, какъ оно велико; и недавно еще оно умножилось новымъ членомъ. Графиня Берта

родила сына, котораго, по милости царскихъ денегъ, назвали моимъ именемъ. Вотъ Орлей, гдѣ мое жалованье! Не пеняй же, если я не могу помочь тебѣ сегодня, потому что капитанъ Фростъ, не дальше какъ вчера, поѣхалъ за мушкетами въ чужіе краи...»

— «Простите, благородный человѣкъ!» закричалъ Орлей, вскочивъ съ мѣста. «Мнѣ остается сожалѣть, что не осталось ни капли вина, которымъ бы я могъ выпить за здоровье вашего драгоцѣннаго семейства.»

—

III.

ЖЕНИХИ.

Дальнѣйшему разговору помѣшалъ Тимоша, шутъ боярина Кречета; онъ вошелъ въ гостинную полковника съ такою непринужденностью, какъ будто въ спальню своего господина.

— «Что сосѣдушка?» сказалъ онъ, снимая свой длинный колпакъ, на концѣ котораго болталась связка разныхъ пряниковъ. «Не спишь; сказки разсказываешь; разсказывай, разсказывай, а коли усталъ, я помогу....

— «Ахъ ты дуракъ!» закричалъ Орлей....

— А ты, небойсь, умница; у сосѣда самый сладкій пряникъ схватилъ; да не подъ мочь; назадъ принесъ; только меду сверху маленько полизалъ; облизывайся на здоровье; по усамъ текло, въ ротъ не попало.

— «Вонъ ты, шутъ!» опять прикрикнулъ Орлей.

— «Оставь его, оставь!» сказалъ Лесли. «Я радъ сосѣду.»

— Вотъ кто умница! Надо съ сосѣдями въ мирѣ жить, да любовь вести.... Не такъ ли, племянникъ?...»

— Что ты этимъ хочешь сказать?...»

— «Такъ, ничего! Сказка съ правдой все одно, что пустыя нити съ говядиной; пустыя, пустыя, а все наешься досыта.... А тебѣ, племянникъ, и того мало, вотъ ты и каницу заварилъ. Только гляди! Нѣмцамъ наша снѣдь не въ привычку; здорово ли расхлебаешь!»

— «Что онъ тутъ вретъ, полковникъ?»

— «Вру? Да кто тебѣ сказалъ, что я вру; племянница или племянникъ?»

— «Да какой я тебѣ племянникъ?» спросилъ Лесли.

— «По племянницѣ и ты мнѣ племянникъ. Всѣ мы сродичи. Ужъ тутъ нечего таиться.... Ну, а что, если племянница моя, Параша, отъ укуса захвораетъ? Мнѣ же придется лечить...»

— «Прасковья Ивановна больна?... Кто ее укусилъ?... Что ты тамъ городишь?...»

— «Вотъ видишь и ты неумница, когда безъ обычая говоришь. Это хорошо въ пѣснѣ: *Огородъ городить*, а ужъ если съ сосѣдомъ, да еще съ дядей рѣчь ведешь, страмнаго слова остерегайся... Слышь, племянникъ!... А укусилъ племянницу подъ старой липой видно не ты, а лѣшій?...»

— «Какъ, Тимоша?... Она сказала?...»

— «Мы не таковскіе, Александро Ульяновичъ!

Нѣтъ, мы не таковскіе. Намъ ничего сказывать не надо, когда мы что ни есть сами изволимъ видѣть со старой липы, что на заборъ, словно баба, локоткомъ прислонилась. А куда у Бога все хорошо! Вѣдь знаетъ, гдѣ лѣстницу, гдѣ каланчу поставить.»

— «Такъ ты все видѣлъ, все слышалъ?...»

— «Обонъ полъ стѣны, по ту и по сю сторону, лѣвымъ глазомъ и правымъ глазомъ, племянника и вотъ этого пасынка, въ темныхъ Муромскихъ лѣсахъ, на охотѣ: какъ они пушнаго звѣря товили. А знатные звѣрки.... И бусурманка не что; ловко ее съ природы смазало; здобная такая; только жъ куда некрещеной прелести противу нашего боярскаго рода! Видно, по чину и родичи. Кто постарше, тому и получше.»

Лесли и Орлей, повѣсивъ головы, стояли въ раздумьи. Тимоша, подбоченясь, посмѣивался, да покачивался съ боку на бокъ.

— «Что вы такъ не вёселы?

Что носы повѣсили?

То-то и есть!

Ахъ, зачѣмъ было ихъ вверхъ задирать?

Ахъ, зачѣмъ было вамъ по саду гулять...

Ну чтобы тебѣ боярышню боярамъ оставить, а въ мою родную племянницу втюриться.... Все бы легче; Лукьянъ Степановичъ — простой человѣкъ. Не сталъ бы ломаться, даромъ что подъ Можайскомъ живетъ; дочка на моихъ рукахъ....»

— «Это та, другая, прислужница?...»

— «Да, да, прислужница! Стара шутка! Я по-

шутилъ и скорѣе тебѣ боярышню отдамъ, чѣмъ Евдокію Лукьяновну; мнѣ старый хозяинъ, даромъ что братцемъ зоветъ, такъ бока за нее накостыляетъ, что ну да два. Простой онъ человѣкъ, да страшнѣе всякаго боярина ... Ну, прощенья просимъ. Мы довольно поговорили; теперь надо службу править; боярину и сосѣду, каждому свое дѣло разсказать!»

— «Что ты хочешь дѣлать?» вскрикнули и капитанъ и полковникъ.

— «Говорятъ вамъ толкомъ: службу править. Вѣдь за то насъ кормятъ, поятъ, одѣваютъ, иногда и деньги даютъ.»

— «Да и мы тебѣ дадимъ...» сказалъ Орлей: «только молчи!»

— «Вотъ, бѣда, пасынокъ! Совсѣмъ молчать забылъ. Ну, да про тебя, не куда шло, если заплатишь, буду отъ сосѣда сторонить, такъ авось не проболтаюсь; ну, а съ бояриномъ съ утра до ночи съ глазу на глазъ.... Право не знаю.... Послушай, племянникъ, да лучше ты самъ ему все скажи, такъ тогда и мнѣ молчать не нужно.»

— «Я?» спросилъ Лесли и покраснѣлъ: «Я?... Мнѣ смѣть думать, что Прасковья Ивановна....»

— «Да что Параша, ей всякой молодецъ женихъ, а ты же ей и по сердцу пришелся.»

— «Я?... Тимоша, разсказывай, разсказывай!...»

— «Стой, попытаюсь, умѣю ли я молчать. Ну я молчу. Знатно, Тимоша, ай да Тимоша, знай себѣ молчитъ! Слова не говоритъ! Экое чудо! Отродясь не слыхалъ, какъ я молчу....»

— «Не мучь Тимоша? Ефимокъ дамъ....»
— «Два?..»
— «Два!..»
— «Три?..»
— «Три!..»
— «Давай три ефимка и ступай къ боярину. Вѣдь ты почитай Воевода. Царской милости и любви на тебѣ не мало.... Отказъ не обухъ.... Шишекъ на лбу не будетъ; попытка уда; иной разъ на дряннаго червяка стерлядь вытащишь.... Ты же военной стати человѣкъ. Храбрости хватитъ, молодечества достанетъ. Какъ ни великъ медвѣдь, а если съ доброй снаровкой мѣтко рогатиной озадачишь, сдастся. Слышишь, а мой Кречетъ, не Лукьянъ Степанычъ.... Право приходи; а вѣдь если не придешь, хуже будетъ, я самъ все разскажу.... У меня вѣдь боярышня на сердцѣ.... Зачѣмъ ты ей показался.... Вѣдь не я, ты виноватъ, такъ пустой любовью не безчесть! Сватайся!. .»
— «Да развѣ она тебѣ сказывала?... Тимоша... ради Бога....»
— «Видно у тебя есть еще три лишніе ефимка; да я ужъ самъ не хочу.... Говорятъ тебѣ: показался. На то двери и уши, чтобы чужія мысли знать....»
— «Что же она говорила?...»
— «Ничего!»
— «Какъ ничего, ни одного слова?...»
— «Ни одного слова....»
— «Такъ какъ же ты узналъ?...»

— «Эхъ ты, умница! Коли ахъ за охомъ, да вздохъ за вздохомъ перекликаются, такъ ужъ вѣрно въ сердцѣ красный бѣсъ сидитъ. А ты знаешь красный на любовь, а черный на зло показываетъ; все одно, что корова на погоду.... Прощай!...»

Тимоша гибко побѣжалъ по лѣстницѣ, въ калитку, на боярскій дворъ, да прямо въ терема стараго дома, куда уже переселился бояринъ со всѣмъ семействомъ. Сѣнныя дѣвушки, какъ говорится, уже были *встанки*, чесали косы другъ дружкѣ; смотрѣли черезъ узкое окно на пепелище, на красное солнышко и шептались. Откуда ни возьмись Тимоша: ту дернетъ за косу, другую ущипнетъ, третью защекочетъ. Поднялась суматоха, крикъ; изъ опочивальни вышла Евдокія Лукьяновна посмотрѣть, какъ старикъ забавляется.

— «Видишь ты, чучело...» сказала сѣнная дѣвушка: «видно, ты боярышню разбудилъ....»

— «Нѣтъ, ничего, Тимоша...» сказала Евдокія Лукьяновна: «Параша и не раздѣвалась. Всю ночь такъ промаялась.»

Тимоша вошелъ въ спальню Параши и сказалъ сурово: «Полно, племянница! Стыдно! Что ты у меня, дитя, что-ли? Велика бѣда, что полюбился Нѣмецъ! Мало ли кто полюбится, такъ ужъ и не спать....»

Параша покраснѣла; Евдокія смотрѣла на него въ оба.

— «Я былъ и у Нѣмца. И тотъ не спитъ да воркуетъ. Вотъ тебѣ и пожаръ; горѣло дерево, а

людей тушить приходится.... Ого! да и въ этихъ теремахъ жить вамъ нельзя! Окна противъ окошъ... Чего добраго; надо пойти сказать боярину....

— «Тимоша.... Тимоша!» закричала Парана: «Вѣчная ссора, если....»

— «Видишь, племянница, зачѣмъ сразу дядѣ не повинилась. Признавайся, любишь?...»

— «А ты пойдешь, да отцу скажешь....»

— «Такъ не говори, племянница. Ты ужъ все сказала....»

— «Да что же я сказала?...»

— «Ну благо, что Нѣмецъ идетъ... Пойти велѣть ворота отворить; придетъ по добру по здорову; да у насъ отъ стараго пожара чадъ, угорѣетъ, обожжется, полечится у Нѣмецкихъ знахарей—и выздоровѣетъ; а тебѣ, племянница, нужно будетъ соннаго масла дать, да еще чего нибудь въ придачу, такъ дѣло и уладится....»

— «Тимоша, Тимоша!» кричали объ дѣвушки; но шутъ уже кланялся боярину и поздравлялъ его съ обновкой.

— «Съ какой обновкой?» спросилъ Кречетъ, сидя въ большихъ старинныхъ креслахъ и сводя итоги.

— «А вотъ съ той обновкой, что будетъ; ты чай на бумагѣ новыя хоромы строишь: такъ ужъ не трудись теремовъ дѣлать. Пока домъ съ земли за уши подымутъ, дѣвушекъ на боярскомъ дворѣ не будетъ. Разберутъ!...»

— «Что ты говоришь. Видно ты, гдѣ ни есть, про сватовъ заслышалъ. Только, признаюсь, я на

Москвѣ всѣхъ жениховъ знаю. Всего трое, да и тѣ по нашему роду не приходятся. Боюсь я, что Параша долго въ дѣвкахъ просидитъ.»

— «Ну, братецъ, это ужъ не твое дѣло. У насъ нынче много новаго. Нѣмецкое войско одно чего стóитъ. Не равенъ часъ, еще прилучится какая бѣда....»

— «Хорошо, что ты мнѣ вспомнилъ. Пошли за полковникомъ. Надо его за труды наградить соболями, золотомъ, серебромъ, всякимъ добромъ, чтобы люди про насъ худаго не говорили.»

— «Ой, братецъ, мало!»

— «Что ты, Тимоша! Сорокъ соболей, сорокъ черныхъ лисицъ; это за меня.... Золотое блюдо, серебренный ларь съ посудой, по куску парчи и веницейскаго бархату; это за дочь.... три бочки вина, меду и пива, за Евдокью; да за прочихъ людей — добраго коня по его выбору.»

— «Ой, мало! Не возьметъ!»

— «Да что онъ, съ торгу выручалъ меня, что ли?...»

— «Почитай съ торгу! Видѣлъ онъ у тебя жемчужину....»

— «Какую жемчужину?...

— «Да вотъ пускай самъ разскажетъ. Пришелъ. Можно пустить?...»

— «Поди! Стану я съ нимъ говорить. Отдай ему подарки; чай уже казначей все приготовилъ, да и проводи....»

Тимоша ушелъ и воротился:

— «Вотъ...» сказалъ онъ: «я и не пророкъ, а отгадалъ. Ничего не хочетъ; къ тебѣ просится.»

— «Поди, скажи, что я съ простыми людьми не говорю.»

Тимоша опять пошелъ и опять воротился.

— «Нѣтъ, бояринъ, съ нимъ не сладишь. Баитъ, что онъ съ царемъ говоритъ: такъ боярской чести рѣчью своей не уронитъ.»

— «Вотъ присталъ! Ну, зови; только гляди, никому не сказывай!...»

Вошелъ Лесли; за нимъ Тимоша.

— «Что тебѣ надо?» спросилъ бояринъ, не глядя на полковника.

Лесли смѣшался и не могъ начать рѣчи. Гдѣ же благодарность, на которую онъ такъ много разсчитывалъ? И благодарность за спасеніе жизни его, боярина, и Параши! Лесли пылалъ досадой за себя и презрѣніемъ къ боярину. Тимоша почелъ за нужное вмѣшаться въ ихъ разговоръ и выручить обоихъ изъ затруднительнаго положенія.

— «Слышь ты, нѣмецъ...» сказалъ онъ: «говори боярину все, какъ отцу родному; онъ у меня, хотя и младшій братъ, да добрый такой... Говори, говори, онъ тебя помилуетъ.»

— «Если бъ я могъ надѣяться...» отвѣчалъ Лесли: «что твое бояреское вельможество не отвергнетъ моего предложенія! Давно уже я люблю твою дочь; но вчера только я могъ убѣдиться, увѣриться въ моихъ чувствахъ. Вчера только я понялъ, что я несчастнѣйшій человѣкъ, если она не будетъ моею женою!»

Бояринъ разинулъ ротъ, выпучилъ глаза и глядѣлъ на Лесли съ безсмысленнымъ удивленіемъ. Лесли продолжалъ:

— «Бояринъ! Я удивилъ тебя моею дерзостью, но...»

— «Нѣтъ! Ничего!» сталъ говорить Кречетъ, едва складывая слова: «Бываетъ на свѣтѣ и такая болѣзнь. А что Тимоша, онъ на людей не бросается...» Прибавилъ бояринъ тихо. Тимоша отвѣчалъ также: «Нѣтъ! Онъ только на дѣвушекъ нападаетъ и любитъ кусать ихъ въ руку...»

— «Экой недугъ!» сказалъ Бояринъ громко. «А что, у васъ есть въ полку и врачи? Неужто болѣзни и помочь нельзя?»

— «Я понимаю, бояринъ, твою презрительную шутку, но клянусь Богомъ, не сержусь. Вижу только, что твои обычаи противны моему поступку. Я не могъ медлить, засылать свахъ, переходить черезъ всю цѣпь твоихъ обрядовъ... Я и ненуждаюсь въ нихъ, потому, что я уже видѣлъ Парасковію Ивановну!...»

— «Во снѣ, что ли? Видишь, недугъ съ горячкой! Поди же, пожалуй, проваливай; я не врачь; ступай съ Богомъ!»

— «Шутка боярину можетъ сдѣлаться обидой. Я не прощу обиды... Я не съумасшедшій!»

— «Господи Боже мой!» сказалъ жалобно боярину: «Такъ кто же ты! Ну, самъ посуди, какъ я долженъ о тебѣ думать...»

— «Какъ о честномъ и благородномъ сановникѣ Царскомъ.»

— «Да я такъ и думаю, только съ прибавкой: что тебя сегодня на пожарѣ видно трудъ уходилъ, дымомъ голову повредило; вѣтромъ проняло. Вотъ что я думаю... А если бы я этого не думалъ, такъ вѣдь у меня малая толика людей дворовыхъ... Мы бы тебя за такую шутку по свойски отподчивали!... И какая это шутка? Такой обиды чай ни одному боярину, при самыхъ самозванцахъ, проглотить не приходилось. Да ужъ не даромъ примѣтчицы говорятъ: бѣда одна не ходитъ, а ужъ если гдѣ пожаръ, такъ жди всякаго недобраго... И я...»

Бояринъ не успѣлъ окончить. Вошелъ царскій прислужникъ и подалъ Кречету указъ.

— «Прочти!» сказалъ бояринъ Тимонъ, а тотъ прочелъ.

«Лѣта семь тысящъ сто тридцать четвертаго, іунія въ 10-й день Государь и Великій Князь Михайло Ѳеодоровичъ, всея Россіи Самодержецъ, совѣтовалъ съ Отцомъ Своимъ Великимъ Государемъ Святѣйшимъ Патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ, Московскимъ и всея Россіи и съ Матерью Своею Великою Государынею Инокою Маріею Ивановною, чтобъ ему Государю сочетатися законному браку, въ наслѣдіе роду Его Царскаго. И Великій Государь, Святѣйшій Патріархъ, Филаретъ Никитичъ, Московскій и всея Россіи и Великая Государыня Инока Марѳа Ивановна, Сына Своего Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича, всея Россіи, сочетатися законному браку благословили. И Государь Царь и Великій Князь

указалъ, какія на Москвѣ ни есть дѣвицы княжескаго и боярскаго роду, іунія въ 11-й день, послѣ вечерень, матеремъ или ближнимъ сродичамъ отвести тѣхъ дѣвицъ къ Великой Государынѣ Инокѣ Марѳѣ Ивановнѣ, и велѣлъ тотъ указъ подписать думнымъ дьякамъ, Ивану Грамотину, да Ѳедору Лихачеву, да...

Но бояринъ уже неслушалъ окончательныхъ формулъ тогдашнихъ указовъ; лице его сіяло радостью; онъ поднялся съ креселъ торжественно, посмотрѣлъ на Лесли презрительно, сказалъ ему съ лукавою усмѣшкой:

— «Вотъ для моей Параши женихъ, такъ женихъ!» И ушелъ медленно и важно во внутренніе покои...

— «Да!» прибавилъ Тимоша: «Съ такими женихами не потягаешься... А ужъ на Москвѣ давно слухъ живетъ, что краше моей Параши во всемъ царствѣ дѣвушки нѣтъ...»

— «Все погибло!» сказалъ Лесли. Ни дядя Тимоша, ни самъ гордый отецъ не были такъ увѣрены, какъ Лесли, въ томъ, что выборъ падетъ непремѣнно на Прасковью Ивановну, потому что полковникъ любилъ красавицу больше и дяди и отца вмѣстѣ.

—

IV.

ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ НЕВѢСТЫ.

Смотръ кончился. Дѣвушки сбѣжались въ одну кучу и поздравляли веселую Парашу. При каждой

была служанка изъ дальнихъ родственницъ, изъ бѣдныхъ дворянокъ; между ними была и Евдокія Лукьяновна; она спокойно убирала разныя принадлежности тогдашняго туалета и только одна не участвовала въ общей радости....

— «Жаль мнѣ этого нѣмца!» подумала она: «Крѣпко полюбилъ онъ Парашу. Но Богъ милостивъ, найдетъ онъ себѣ другую любовь. Вольная птица. Какъ прикажешь, Параша, оставаться ли при тебѣ или домой ѣхать?

— «Да съ чего вы взяли...» спросила Параша весело: «что Царь выбралъ меня?»

— «Какъ, съ чего взяли?» сказала одна изъ княженъ и боярышень: «Государь простоялъ возлѣ тебя очень долго, а потомъ повелъ такъ скоро, что на насъ и взглянуть не успѣлъ.

— «Такъ знайте же, мои милыя, что онъ и на меня не больше раза взглянулъ....»

— «Такъ на кого же смотрѣлъ онъ?

Параша не успѣла отвѣчать, двери растворились, вошли прислужницы съ Верху, т. е. изъ царскихъ теремовъ, гдѣ жили Царевны; прошли мимо всѣхъ боярышень, спросили Прасковью Ивановну, потомъ у Прасковьи Ивановны, гдѣ ея комнатная дѣвушка; Параша показала на Евдокію и прислужницы поклонились ей въ землю.... Евдокія испугалась и стала кричать.... Всеобщее изумленіе и радость, непритворная радость одной только Параши, все это вмѣстѣ представило чудную картину.

— «Успокойся, Государыня Царевна!» сказали

дѣвушки съ Верху: «Государь избралъ тебя для своей Царской радости. Иди съ нами!...»

— «Не правда, не правда!» кричала Евдокія: «Онъ выбралъ Парашу....»

— «Тебя, Государыня Царевна, не гнѣвайся на насъ; мы только правимъ волю Его.»

— «Параша, Параша!... Чего онѣ хотятъ отъ меня! Растолкуй имъ, что я бѣдная дворянка, что мнѣ Царицей быть не приходится....»

— «Всѣхъ бояръ...» отвѣчала Параша: «Царь боярами сдѣлалъ, такъ ты не упрямся и не гнѣви Великаго Жениха твоего.

— «И ты то же, Параша?» со слезами сказала Евдокія.

— «И я то же...» отвѣчала Параша, кланяясь ей въ ноги: «радуюсь и поздравляю тебя, Евдокія Лукьяновна! Ты достойна быть Царицей! Богъ тебѣ для такого сана и образъ небесный и ангельское сердце даровалъ. Не оставь меня своею милостью, какъ ты не оставляла меня своею дружбой и любовью!»

— «Параша!»

Подруги обнялись и сладко плакали.... Между тѣмъ, не смотря на глубокую ночь, на перекличку пѣтуховъ и темноту улицъ, Москва, не въ примѣръ другимъ днямъ, не спала; по улицамъ стучали колымаги; бояре ѣздили одинъ къ другому и заключали между собою союзы на случай выбора невѣсты изъ того или другаго рода. Избраніе Царской невѣсты было всегда слишкомъ важнымъ событіемъ въ боярской іерархіи; молодые

сродичи Царицы возвышались на счетъ стараго боярства; нечувствительно среди могущественныхъ, тѣсно связанныхъ партій, возставала новая, сильнѣйшая и способностями и вліяніемъ. Надо было обновить союзы, укрѣпиться впередъ противу того или другаго рода, придумать планы новыхъ, козней, и все это дѣлалось за скоростью въ самую ночь выбора, потому что утромъ многіе бы пристали къ противной сторонѣ; надо было размѣняться словомъ—и тогда уже отставать не годилось. Больше всѣхъ хлопотали отцы, которые знали, что дочери у нихъ красавицы и потому не удивительно, что боярин Кречетъ всю ночь не былъ дома. Тимоша воспользовался отсутствіемъ боярина и пошелъ на вечеринку къ Орлею. У капитана въ тотъ вечеръ были гости. Между ними печальный Лесли и Мустафа, купецъ Персидскій, *задушевный другъ* капитана Орлея. Онъ дѣлалъ въ угодность хозяина все, что только тому на умъ ни приходило: плясалъ, пѣлъ, пилъ пиво, а Орлей только подхваливалъ Мустафу, только восхищался его талантами и не зналъ чѣмъ повеселить дорогаго гостя....

— «Слушай, другъ!» сказалъ Орлей, ударивъ по плечу Мустафу: «Ты моей ротъ по рублю далъ за усердіе: такъ ужъ позволь мнѣ разсчитаться съ твоими людьми, позволь угостить ихъ виномъ и ужиномъ....

— «Много будетъ, капитанъ, много будетъ, ихъ больше чѣмъ три десятка.

— «Вотъ вздоръ какой! Знаешь ли, у насъ,

Англичанъ, у простыхъ офицеровъ бываютъ балы на тысячу персонъ. Тутъ въ Москвѣ боярская спѣсь мѣшаетъ, а то бы я задалъ такой пиръ, что царство бы ахнуло. Вели позвать своихъ людей, а то если мой король узнаетъ, скупцомъ назоветъ. Не обижай друга!»

— «Да они вина не будутъ пить...»

— «Вздоръ, будутъ, только ты не мѣшай!»

— «Постой же, я самъ за ними схожу.»

Столъ для Персіянъ давно былъ готовъ на узкомъ дворѣ подъ навѣсомъ. Гости не чинились, Орлей скоро достигъ цѣли всѣхъ гостепріимныхъ хозяевъ. Перепились Персіяне и побрели домой чуть чуть не на четверинкахъ. Между тѣмъ Орлей усадилъ главнаго друга за шахматы съ полковымъ лекаремъ, подливалъ въ стаканы какой-то сладкій сокъ и дѣло кончилось тѣмъ, что всѣ гости Орлея уснули, гдѣ кому случилось, кромѣ одного Лесли. Полковникъ давно уже оставилъ шумное общество и бродилъ по Кремлю, около царскаго чертога, гдѣ множество колымагъ и прислужниковъ толковали о необыкновенномъ съѣздѣ... Орлей больше другихъ старался опоить шута; Тимоша не позволилъ себя упрашивать и первый нализался сладкаго яда, но на бѣду, первый проснулся, протеръ глаза, всѣ спали, всѣ вчерашніе собесѣдники были на лицо, не доставало одного Орлея.... А гдѣ же былъ Орлей? Онъ давно уже забрался на Персидскій дворъ, съ величайшею осторожностью прошелъ мимо спящихъ людей; отравилъ псовъ, и не смотря на глубокій мракъ,

нашелъ слѣдъ огня сквозь щели одной ставни. Смотритъ: тамъ Фатима одна.... Ставня распахнулась, Фатима отперла окно, узнала капитана, сначала было вздумала перепугаться, но проворный Орлей уже былъ въ комнатѣ, уже потушилъ огонь, и Фатима сама уже стала говорить ему: «Тиха, тиха, не говори такъ не тиха, мужа услышитъ.»

— «Гм!» сказалъ Тимоша, оглядываясь: «Мужъ пьянъ, а у жены похмѣлье.... Вотъ поди, чего не выдумаетъ заморская хитрость! Экой проказникъ! Выдать его, уши обрубитъ; не выдать — заплатитъ....»

— «Непремѣнно...» сказалъ Орлей, входя въ комнату: «Но также непремѣнно поколотитъ, если кто станетъ о такихъ важныхъ государственныхъ тайнахъ разсуждать вслухъ....»

— «Да что же ты хочешь меня въ свои думные дьяки взять, что ли?»

— «Пожалуй, хотя мнѣ вовсе секретаря не нужно. Всѣ мои политическія сношенія съ Персидскимъ царствомъ производятся живымъ языкомъ и наличными деньгами. И ужъ если ты непремѣнно хочешь получить при мнѣ выгодное мѣсто, — изволь; я принимаю тебя на службу, ты по-Персидски не знаешь, но все равно, жалую тебя въ толмачи.»

— «Милости твоей благодарствую; а великъ ли будетъ окладъ?»

— «Молчи!... Я примѣчаю движеніе въ непріятельскомъ станѣ. Молчи и спи!...» Орлей упалъ

въ первыя пустыя кресла, Тимоша растянулся на полу и оба уснули.... Но за то проснулся Мустафа, протиралъ глаза и не вѣрилъ, что проснулся... Мало по малу онъ сталъ припоминать событія вчерашняго дня и улыбался, покачивалъ головой, поглаживалъ бороду и опять улыбался.... Онъ не сводилъ глазъ съ серебряныхъ стопъ и съ нѣмецкихъ бутылокъ; примѣтно было, что съ этой стороны ему понравилась Европа.... Не извѣстно, какія послѣдствія должны были произойти изъ этого созерцательнаго состоянія духа Мустафы, потому что глубокомысленныя, истинно восточныя его размышленія были прерваны вѣрными Персіянами. Они раскричались еще на дворѣ и разбудили всѣхъ собесѣдниковъ.

— «Что случилось, что случилось?» кричалъ Мустафа.

— «Злые духи всѣхъ твоихъ псовъ отравили.»

— «Всѣхъ трехъ?»

— «Всѣхъ трехъ!»

— «А товары? а Фатима?»

— «Цѣлехонки!»

— «О, это видно хитрый воръ былъ у тебя...» сказалъ Орлей значительно: «Сначала отправилъ собакъ, потомъ и до людей доберется. Иди къ полковнику, Мустафа; проси, чтобы онъ тебѣ далъ съ полдюжины добрыхъ солдатъ; пускай у тебя живутъ будто на постоѣ. Расходъ вздорный, а ужъ за то безопасно.»

— «Ахъ, какъ бы это было хорошо!» сказалъ

Мустафа умильно: «Но полковникъ такой злой; вчера со мной слова не сказалъ.»

— «Это съ виду, а въ самомъ дѣлѣ Лесли — первый человѣкъ на цѣломъ свѣтѣ.... Да ты пожалуй не трудись. Для добраго друга я самъ объ этомъ похлопочу, а ты ступай теперь домой, погляди самъ, нѣтъ ли гдѣ изъяна какого; что на людей полагаться....»

— «Вотъ другъ!» сказалъ Мустафа: « и дѣломъ и совѣтомъ....»

— «Вотъ козелъ!» прибавилъ тихо Тимоша: «Видно, у него въ огородѣ много всякой зелени; другаго козла на помощь проситъ.»

Собесѣдники стали расходиться, хотя на дворѣ только что заря занималась. Вдругъ загудѣлъ Иванъ Великій и, за исключеніемъ Мустафы, всѣ бросились къ Кремлю: всѣ знали, что этотъ колоколъ созываетъ всѣ духовныя и мірскія власти, да услышатъ, кого Государь выбралъ себѣ въ царскую радость. Но въ Кремль не было никакой возможности протѣсниться. Всѣ ворота были не заперты, а залиты народомъ. Въ Успенскомъ Соборѣ собрались всѣ государственные чины. Ожиданіе было написано на всѣхъ лицахъ, можно было какъ на ландкартѣ указать, какъ въ эту ночь раздѣлилась Москва на партіи, потому что каждая отъ другой отдѣлялась явственными проходами; по этимъ дорожкамъ могли свободно пройти два человѣка въ рядъ. По срединѣ воздвигнутъ былъ небольшой амвонъ. Послѣ третьяго удара въ большой колоколъ, на амвонъ вошелъ думный дьякъ Грамотинъ,

и объявилъ, что Государь избралъ въ невѣсты дѣвицу Евдокію, дочь Можайскаго дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. Своды Успенскаго храма застонали, и одновременно изъ устъ боярскихъ вырвалось единодушное удивленіе. Всѣ опечалились. Никто не могъ понять, откуда ниспослана Государю эта невѣста; который родъ отъ выбора этого получитъ пользы; которые потеряютъ. Бояринъ Кречетъ больше всѣхъ былъ опечаленъ. Въ первыя минуты общей смуты, онъ даже забылъ, что невѣста—его родственница, что ближе всѣхъ къ нему царская милость; и тогда только опомнился, когда кто-то изъ бояръ спросилъ у него: да не при твоей ли дочери Царевна была въ прислужницахъ? Въ это мгновенье оскорбленныя надежды, злоба, месть, досада, стыдъ, все проснулось въ сердцѣ Кречета; разумъ его сложилъ слово проклятія ... но онъ вспомнилъ, что Евдокія—невѣста Царя.... и онѣмѣлъ, и бормоталъ несвязныя рѣчи, и разсмѣшилъ самыхъ степенныхъ сановниковъ.... Какъ бы то ни было, воля великая объявлена и—недовольные бояре потянулись изъ Успенскаго Собора на Красное Крыльце.... Народъ, наполнявшій и окружавшій Кремль, громко прославлялъ мудрость цареву. Крики радости потрясали воздухъ, колокола гудѣли, Тимоша бѣгалъ изъ улицы въ улицу по всему сосѣдству и кричалъ: «Наша взяла! наша взяла!...»

—

V.

ЦИНЦИНАТЪ.

Въ двухъ или въ трехъ верстахъ отъ Можайска, по Московской дорогѣ, лежала небольшая деревня, а за ней на холмикѣ стоялъ господскій домъ, не большой, съ немногими службами, но чистый, опрятный; отъ дома, къ пахатному полю, по холму, лѣпился довольно обширный молодой садъ. Утро едва занялось на востокѣ и позлащало бѣдный городокъ Можайскъ съ его единственнымъ Лужецкимъ монастыремъ и немногими церквами. Вдали синѣли Москва рѣка и Можайскіе холмы... День былъ прекрасный. Золотая жатва мягкимъ ковромъ стлалась вокругъ господскаго дома; но полоса, примыкавшая къ Московской дорогѣ, не была засѣяна; на ней въ трехъ разныхъ мѣстахъ шли три лошади, и тащили за собой три сохи и трехъ работниковъ.

— «Кончай, Евлампій!» сказалъ одинъ изъ нихъ въ красной рубахѣ, въ чистыхъ бѣлыхъ исподняхъ, въ легкомъ колпакѣ изъ простой соломы, весьма искусно сдѣланномъ: «Сережа, видишь, кончаетъ, я тоже, а ты сегодня, кажись, птицъ заслушался.»

— «Жаворонокъ, баринъ...» отвѣчалъ Евлампій.

— «Ужъ и жаворонокъ. Мало ли какихъ у Бога птицъ нѣтъ. Слушай себѣ сколько хочешь, только сегодня надо всю эту полосу кончить до обѣдень. Сегодня, ты знаешь, праздникъ, хотя работать можно, да все такикъ обѣднѣ сходить не мѣшаетъ. Въ нашемъ городѣ и колокола добраго

нетъ. Чиликаютъ себѣ на малыхъ звонкахъ, до насъ и не докватитъ, а чтобы не опоздать, всегда къ *первому часу* придешь; я ужъ скоро весь часословъ буду знать. Ну, Евлампій, пусть себѣ жаворонокъ поетъ, вѣдь и онъ дѣло дѣлаетъ. Не мѣшай ему работать.»

— «Охъ, плохо, баринъ! Не будетъ проку въ нашей работѣ. Чернецъ идетъ.»

— «Охъ плохо, Евлампій, не будетъ проку въ твоей работѣ, когда ты слугъ Божьихъ бабьими сказками обижаешь.»

— «Ей, баринъ, праздникъ... чернецъ... бросимъ лучше сегодня работу. Времени хватитъ. Погляди: у сосѣдей яроваго еще и не сѣяли, а у тебя подъ паръ почитай земля готова.»

— «Воля твоя, Евлампій; вѣдь ты мнѣ не изъ дружбы, не изъ крѣпости работаешь, а изъ платы. Не хочешь, ступай съ Богомъ, а я другаго найму, а если времени хватитъ, такъ и самъ доработаю. Вотъ и Сережа! Что? Кончилъ?...»

— «Кончилъ, баринъ.»

— «Ну, вотъ тебѣ твоихъ семь денегъ, да возьми мое спасибо въ придачу.... а соху и лошадку потрудись на мѣсто поставить.»

Сережа получилъ деньги, поклонился, приподнялъ соху и погналъ лошадь къ господскому двору. Въ это время, чернецъ поровнялся съ нашими новыми знакомцами:

— «Богъ помощь!» сказалъ онъ.

— «Спасибо, честной отецъ; куда Богъ ведетъ?»

— «На Москву, Лукьянъ Степановичъ, на Москву, на монастырь; право неохотно, да что будешь дѣлать. При самозванцахъ, всѣ волости наши раззорили; а и тѣхъ то сколько, самъ знаешь; весь доходъ пошелъ на то, чтобъ крестьянъ пообстроить, да поустроить, такъ нѣтъ, и крестьянъ сосѣдніе бояре сманили, придетъ юрьевъ *) день, сотнями приходятъ въ монастырь, расплатятся, бросятъ по деньгѣ въ кружку, иногда съобща молебень отправятъ, да и переходятъ къ боярамъ. А что досадно, есть и указъ Василья Иваныча Шуйскаго; онъ было всѣхъ крестьянъ на мѣстахъ закрѣпилъ, да поди теперь съ боярами тягайся; у нихъ и люди наши, у нихъ и Царская дума. Не совладаешь.»

Лукьянъ Степановичъ Стрешневъ (то былъ знаменитый родитель Государевой невѣсты) посмотрѣлъ на чернеца съ неудовольствіемъ и сказалъ:

— «Въ Евангеліи и во всѣхъ священныхъ книгахъ много писано о томъ, что житейскія хлопоты не наше дѣло. Такъ ли, отецъ Іоасафъ?

— «Такъ!»

— «Вотъ. у меня крестьянъ было рабочихъ душъ триста; да роденька по сосѣдству, бояринъ, изъ первыхъ боярскихъ родовъ; онъ, для забавы, и давай сманивать моихъ крестьянъ; да не одного, не двухъ, а всѣхъ вмѣстѣ; такъ что въ одинъ юрьевъ день я остался съ большими землями, да

*) Всѣмъ извѣстный древній обычай, по которому крестьяне могли въ этотъ день переходить отъ одного владѣльца къ другому.

съ двумя руками. Эти руки — были мои. Земля даръ Божій что ему впустѣ лежать; вотъ я и пошелъ къ боярину и говорю ему: Иванъ Александровичъ, люди мои тебя полюбили, да и я тѣхъ людей люблю; ушли отъ меня, Богъ съ ними; только пускай и землю съ собою возьмутъ....»

— «Что же, Лукьянъ Степановичъ, боринъ взялъ землю?»

— «Взялъ, да въ придачу дурака моего и друга сманилъ. У меня остался вотъ этотъ домишко, да поле что видишь. Съ меня довольно... Я въ то время былъ не такъ еще старъ, жена со вторымъ ребенкомъ ходила; меня горе не тронуло, ну, а женщина не смогла; и ребенка мертвымъ родила и сама умерла. Въ цѣломъ дворѣ остался я, да маленькая дочка лѣтъ десяти. Взялъ я на руки ее, да и отнесъ къ боярину. За Иванъ Александровичемъ была моей жены внучатная племянница — добрая, умная женщина. Я ей и отдалъ дочку, пусть растетъ съ боярской дочкой до замужства, однолѣтки. Да вотъ придется скоро итти на Москву, дочку замужъ выдать; бѣдность, правда, да собой хороша, жениха найдетъ.»

— «Какъ же ты, Лукьянъ Степановичъ, теперь живешь?»

— «Какъ Богъ велитъ. Работаю. Вотъ, признаюсь, и вамъ я посовѣтовалъ бы тоже. Что чужими руками жаръ загребать. Трудъ Божіей службѣ не помѣха. А васъ на монастырѣ сколько?»

— «Да разно. Иноразъ двадцать, иноразъ три,

четыре. Ты знаешь; у насъ и монахи, что крестьяне, поживутъ, поживутъ, прискучится да и въ путь, а куда — Богъ вѣдаетъ *). Да и ты, Лукьянъ Степановичъ, будто все поле и всѣ работы самъ вѣдаешь....»

— «Первый годъ — все самъ, да умаялся. Богъ благословилъ, знатный урожай былъ, деньги завелись, я и давай нанимать, да только для жатвы, сѣнокоса, или вотъ когда пахать придется. У меня наемникъ столько сдѣлай, сколько я; больше не требую. Такъ, право, отецъ Іоасафъ, не повѣришь, столько времени, что куда дѣвать не знаю. Погляди какъ садъ-то у меня зеленѣетъ. Пятый годъ, не больше, а ужъ есть гдѣ и посидѣть, и книгъ почитать; дай Бой здоровье вашему Можайскому протоіерею. Онъ сердечный въ зимніе мѣсяцы ко мнѣ почитай каждую недѣлю два три раза ѣздилъ; Латинскому языку наставилъ; хотимъ на эту зиму за Еврейскій приняться.»

— «Да зачѣмъ тебѣ все это?»

— «Эхъ, отецъ Іоасафъ! Землю что годъ надо перекинуть, такъ и разумъ; а не то дурной травой поростетъ. Тѣло работаетъ только для тѣла. А душа-то причемъ останется? И она если не знаетъ чего, значитъ и у нее голодъ. Что это, честный отецъ, видно войско какое въ Можайскъ идетъ! Да время кажется мирное...»

---

*) Въ эти времена монашествующіе также имѣли свободу переходить изъ монастыря въ монастырь, какъ заблаго разсуждали.

— «Нѣтъ, Лукьянъ Степановичъ, то Царскіе люди...»

Въ это время подъѣхали верхомъ дворянскіе дѣти, за ними думный дьякъ Грамотинъ, а за нимъ въ золотой колымагѣ Кречетъ и еще другой бояринъ; за колымагой тянулся небольшой обозъ и отрядъ коннаго Нѣмецкаго войска.

— «Богъ помочь!» сказалъ передовой: «Не знаете ли, гдѣ здѣсь живетъ Лукьянъ Степановичъ Стрешневъ?

— «Не знаю...» отвѣчалъ Стрешневъ...

— «Какъ не знаешь?» спросилъ изумленный чернецъ.

— «Да развѣ не видишь, что имъ дѣло не до меня; видно есть на свѣтѣ другой такой, а Царскіе люди со мною никакого дѣла имѣть не могутъ. Видишь, тутъ цѣлое посольство.»

Между тѣмъ поѣздъ подвигался впередъ. Колымага поровнялась съ нашими собесѣдниками, и Кречетъ закричалъ: «Вотъ онъ, вотъ онъ! Стой!..»

Поѣздъ остановился; бояре вылезли изъ колымаги, всадники спѣшились и окружили Стрешнева... Кречетъ, кланяясь въ землю, сказалъ:

— «Бью челомъ Государю моему милостивцу и поздравляю. Дочь твою Царевну Евдокію Лукьяновну Государь избралъ себѣ въ невѣсты. Радуйся и благодари Господа!»

— «Радуюсь и благодарю Господа, что не надо въ Москву ѣхать жениха искать...»

— «Что ты это, бояринъ! Государь присалъ насъ за тобою, велѣлъ тебѣ эту грамату отдать,

дары къ ногамъ твоимъ положить, и просить тебя въ Москву къ Нему пожаловать...»

— «Милости просимъ въ домъ, честные господа, а тутъ мнѣ принимать васъ не приходится. Пойдемъ полемъ, ближе будетъ.»

Сказавъ это, Стрешневъ пустилъ соху въ землю и погналъ лошадку... То была послѣдняя борозда, которую оставалось провести на всей полосѣ, потому что Евлампій, во время разговора Стрешнева съ чернецомъ, успѣлъ окончить свою работу... Лошадь подвигалась медленно. Стрешневъ не спѣшилъ, желая кончить, какъ началъ и когда вынулъ соху, подозвалъ Евлампія, расплатился, поднялъ соху и погналъ лошадку на чистый дворъ. На дворѣ онъ попросилъ гостей въ комнаты, а самъ отвелъ лошадь на конюшню; снялъ съ нея хомутъ; подложилъ ей сѣна; уставилъ соху подъ навѣсъ; зашелъ въ опочивальню, умылся, одѣлся въ добрые, но простые сапоги, въ охабень грубаго синяго сукна; подпоясался; расчесалъ сѣдыя кудри и вышелъ къ боярамъ съ низкимъ поклономъ. Грамоту Стрешневъ принялъ на колѣнахъ поцѣловалъ Царскую подпись и положилъ подъ образами. Потомъ сталъ принимать подарки, и послѣ каждаго кланялся боярамъ. Подали ему наконецъ и платье, въ которомъ онъ долженъ былъ ѣхать въ Москву.

— «Это что?» спросилъ онъ. Ему объяснили.

— «Вотъ что! Царь хотѣлъ сдѣлать мнѣ удовольствіе; но я этой одежды не надѣну. Моя знатнѣе; та жалованая, эта заслуженая. Царскаго да-

ра не отвергну. Пусть лежитъ съ другими подарками...»

— «Государь нашъ, милостивецъ!» сказалъ Кречетъ жалобно: «не забудь, что дочь твоя — Государева невѣста.»

— «Такъ вѣдь она, а не я невѣста. Чѣмъ же я виноватъ, что она Царская невѣста? Это ея, а не моя заслуга. Тутъ моего труда нѣтъ. И жизнь и красоту Богъ ей далъ. А я стану чужимъ счастьемъ чваниться!.. Говорите вы, есть вамъ Царскій указъ мнѣ въ Москву ѣхать... Ѣдемъ, только дайте мнѣ татарку заложить...»

— «Государь нашъ, милостивецъ! для тебя прислана золотая Царская колымага.»

— «Поѣзжайте вы въ ней, бояре. Я ѣду не къ Царицѣ, а къ дочери; мнѣ это все не въ приличіе. Я мое мѣсто знаю...»

Сказавъ это, Стрешневъ вышелъ на дворъ; выкатилъ изъ сарая плетеную камышемъ татарку, вывелъ изъ конюшни лошадь и сталъ запрягать. Посольство сначала съ изумленіемъ глядѣло на всѣ эти приготовленія, потомъ всѣ бросились помогать Стрешневу... Запрягли татарку въ одно мгновеніе; Стрешневъ взялъ шапку; вывелъ лошадь за ворота; заперъ дворъ на ключь, сѣлъ и поѣхалъ впередъ; посольство за нимъ; выѣхали на большую дорогу и Стрешневъ поворотилъ въ Можайскъ. «Не туда, не туда!» кричали бояре. Но Стрешневъ не слушалъ ихъ восклицаній и остановился только у паперти Лужецкаго монастыря. Отслушавъ обѣдню, Стрешневъ просилъ на гробѣ Пре-

подобнаго отца Ферапонта, ученика Сергія, Радонежскаго чудотворца и строителя монастыря, отслужить благодарственный молебень — и всѣ полученные имъ подарки положилъ на гробницу Святаго. Поклонясь честнымъ мощамъ преподобнаго и выслушавъ краткое напутствіе архимандрита, Стрешневъ сѣлъ въ свою татарку и поѣхалъ въ Москву.

Юный Царь съ нетерпѣніемъ ожидалъ отца своей будущей супруги. Избравъ невѣсту изъ мелкаго дворянскаго рода, Государь, по соображеніямъ историковъ, соединилъ съ влеченіемъ сердца и политическіе виды. Всѣмъ извѣстны событія перваго выбора съ дѣвицей Хлоповой; несчастное, кратковременное супружество съ княжной Долгоруковой; въ обоихъ случаяхъ Царь видѣлъ, что вся бѣда происходитъ отъ боярскаго соперничества; но отъ родни бѣдной дворянки нечего было ожидать кромѣ безконечной благодарности, напряженнаго усердія и слѣпаго повиновенія, безъ всякихъ козней и происковъ, которые, если бы и оказались, то утушить ихъ не представлялось ни какой трудности... Съ примѣтнымъ безпокойствомъ услышалъ Государь о пріѣздѣ Стрешнева; вышелъ въ золотую палату и ожидалъ пословъ съ будущимъ тестемъ. Стрешневъ вошелъ первый, со всею непринужденностью, не скажу придворнаго, но философа; поклонился Царю въ землю трижды, всталъ и глядѣлъ покойно въ Царскія очи. Юноша Царь смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— «Лукьянъ Степановичъ! Богу изволившу...»

сказалъ Царь: «Мы избрали дочь твою единородную для Царской Нашей радости...

— «Я уже благодарилъ Господа за такую великую милость къ моей дочери. Пришелъ благодарить тебя. Прими, Государь, мою благодарность и отпусти раба твоего къ сохѣ и нивамъ... Тамъ мое мѣсто!»

Удивленіе Царя возрастало.

— «Какъ! Ты не хочешь остаться съ Нами?

— «Зачѣмъ, надежда Государь?..»

— «Какъ, зачѣмъ! Ты отецъ моей невѣсты...»

— «Если воля такая, я останусь на свадьбу...

— «А послѣ?..»

— «Наступаетъ жатва, рабочее время...»

— «Но я хочу, чтобы ты остался здѣсь, занялъ свое мѣсто между князьями и боярами, былъ намъ другомъ и совѣтчикомъ.»

— «Ты мнѣ, государь, послѣ Бога первый! Приказывай, но выслушай. Я думному дѣлу не привыченъ. Какой изъ меня будетъ сановникъ? Одинъ бояринъ глупъ, а у тысячи отъ его глупости голова болитъ. Не хотѣлъ бы я на себѣ видѣть слезъ людей невинныхъ. Для прислуги твоей домашней — я готовъ, да старъ больно. Теперь я счастливъ, а засну отъ старости, недалеко и до опалы. Къ чему же я годенъ, Государь!»

— «Къ дружбѣ твоему Государю!» отвѣчалъ Михаилъ съ кротостью и протянулъ къ нему руку. Стрешневъ поцѣловалъ руку и со слезами палъ къ ногамъ Царя. По Царскому мановенію

бояре подняли Стрешнева, а Государь сказалъ ему ласково:

— «Угадываю твои желанія! Санъ твой при моемъ дворѣ: — да будетъ полная твоя воля; а долгъ твой: не уѣзжать никуда изъ Москвы безъ Насъ и каждый день видѣться и со мною и съ невѣстой моей... Пойдемъ къ ней!»

Царь съ Стрешневымъ ушелъ въ терема, гдѣ Евдокія Лукьяновна ожидала родителя... Увидавъ отца, Евдокія бросилась ему въ ноги. Стрешневъ поднялъ ее, поцѣловалъ, перекрестилъ небольшимъ образомъ и повѣсилъ его дочери на шею: — «Передаю тебѣ благословеніе матери; будь для всѣхъ людей земли Русской тѣмъ, чѣмъ она была для тебя и помни, что я только первый твой сынъ, не больше! а дастъ Богъ дѣтей тебѣ, съ каждымъ, отецъ твой одной ступенькой отъ тебя подальше. Но изъ виду, т. е. изъ любви его не теряй никогда... А изъ любви значитъ: дѣлай все такъ, чтобы ему не покраснѣть за тебя. А какъ мнѣ сказали, будто я у Царя и у тебя сегодня долженъ просить милости, такъ я къ вамъ и просьбы приготовилъ. Тебѣ, Государь, бью челомъ, пошли въ нашъ Можайскій соборъ добрый колоколъ, а тебѣ, Государыня: молись обо мнѣ, чтобы Господь уклонилъ сердце мое отъ соблазна честей, потому что съ ними я потеряю мое сердце. Вотъ и все тутъ.»

— «Куда жъ ты?» спросилъ Государь.

— «Позволь мнѣ въ Москвѣ осмотрѣться и построиться...»

— «Въ моемъ дворцѣ все для тебя готово.»

— «Государь, ты обѣщалъ мнѣ волю.»

— «Ступай, но не забывай же и ты своихъ обѣтовъ.»

На крыльцѣ ожидалъ Стрешнева Кречетъ со многими боярами, чтобы проводить его въ назначенное жилище.

— «Нѣтъ!» сказалъ Стрешневъ: «Пустите меня. Я себѣ найду въ Москвѣ домъ по моему вкусу, съ садомъ и прудами...»

— «Государь нашъ, милостивецъ!» сказалъ Кречетъ, низко кланяясь: «возьми мой садъ со всѣми угодьями. Ты его знаешь. Возьми его. Тамъ и домъ жилой есть, и церковь возлѣ, и никто тебя не обеспокоитъ...»

Стрешневъ подумалъ и сказалъ: «Хорошо. Спасибо!»

И въ саду, въ этомъ дорогомъ саду, гдѣ разыгралась первая сцена нашей повѣсти, поселился новый Цинцинатъ, Можайскій дворянинъ, Лукьянъ Степановичъ Стрешневъ.

—

VI.

СВАТЪ.

Прекрасное уединеніе въ саду Ивана Александровича.

— «Вотъ, Государь мой и милостивецъ!» говорилъ Кречетъ, показывая Стрешневу садъ свой и всѣ его угодья: «вотъ прудъ: тутъ водятся лещи огромные; прадѣдъ еще самъ сажалъ ихъ въ

этотъ прудъ. . А тамъ другой, побольше, съ разной рыбой; а вотъ тамъ есть птичникъ и голубятня... Всякая птица есть, и еще припасемъ... Вотъ это у меня лѣтній домъ, только и зимой жить можно: печи уже при мнѣ сдѣланы; а тутъ цвѣтники: въ нихъ всякое растеніе; садовникъ это растеніе у Нѣмцевъ перенялъ, да и еще переймета; сосѣдъ у меня Персіянинъ, у него Цареградскіе цвѣты есть. А что тебѣ не покажется, только прикажи; — все будетъ, какъ въ сказкѣ. Только, Государь мой и милостивецъ, не сердись за старое; право всѣхъ людей отдамъ; всѣ волости возвращу; мнѣ твоего не надо; а держалъ я все это для твоей же дочери. Благо, теперь приданаго не надо; все тебѣ возвращу...»

— «Не нужно! я объ нихъ и не вспомнилъ бы, если бы ты самъ не началъ. Ну, а если началъ, такъ отдай мнѣ моего дурака Тимошу. Чай, сталъ врать по столичному, по-Нѣмецки и Персидски выучился. Что, онъ у тебѣ еще?...»

— «Сейчасъ, Государь и милостивецъ, сейчасъ пришлю его; только ты не говори Государынѣ о старомъ времени. Вѣдь она дитей въ мой домъ пришла; ничего не знаетъ...»

— «Только ты мнѣ Тимошу пришли! Буду молчать; я вѣдь и тебѣ не попрекнулъ; кто старое вспомянетъ, тому глазъ вонъ. — Ну, боярин, такъ пришли мнѣ Тимошу, да и оставь меня въ покоѣ. Мнѣ старику ваши дворцевые обряды не подъ мочь. Усталъ. Пришли-ка Тимошу!»

Боярин поклонился и ушелъ; не прошло и че-

тверти часа, два дюжіе холопа тащили за шиворотъ шута, а онъ кричалъ: «Выдалъ! Конецъ свѣта! Братъ возсталъ на брата! Выдалъ! Выдалъ!»

Примѣтивъ Стрешнева, шутъ повалился ему въ ноги.

— «Здорово, Тимоша?» спросилъ Стрешневъ.

— «Не совсѣмъ...» отвѣчалъ шутъ, подымаясь на ноги: «Ломъ въ костяхъ; языкъ свело; говорить не могу, а вы тутъ чего торчите, разбойники?» спросилъ Тимоша, оглядываясь на дюжихъ холоповъ: «Спасибо за проводы, убирайтесь къ черту. Мы съ братцемъ тайности говорить станемъ. Вотъ, любезный братецъ, если бъ у меня ростъ да сила были такія длинныя, какъ языкъ да разумъ, не видалъ бы ты меня. Я бы этихъ медвѣдей на Ивана Великаго забросилъ, да и далъ бы тягу. На дураковъ много охотниковъ.»

— «Да отчего же ты ко мнѣ итти не хотѣлъ?»

— «Отчего?... Оттого, что ты сердиться, бить станешь. Ужъ какъ ты тамъ ни уменъ, ни ласковъ, а вѣдъ я передъ тобой все-таки измѣнщикъ; все таки я скотъ; утробѣ послужилъ; на боярскихъ поваровъ полакомился; брата добраго да бѣднаго бросилъ... Ужъ не умничай, братецъ, пожалуй не умничай! Вѣдъ я знаю тебя: ты, чего добраго, если на то пойдетъ, ты мнѣ самому докажешь, какъ на пальцахъ, что я честный человѣкъ... Полно, полно, не говори!.. я, лучше тебя, знаю... я скотъ, скотъ... Вотъ и все тутъ, а повара — не приведи Господи! Вотъ этакую стерлядь я сегодня на кухнѣ видѣлъ. Часъ на нее глядѣлъ, да все на

пальцахъ высчитывалъ: сколько времени ждать надо, пока она ко мнѣ въ животикъ пожалуетъ... Мудреная рыба! Проглотишь, а она все еще во рту плаваетъ...»

— «Слушай, Тимоша! Я старое забылъ, да гляди, чтобъ новаго не было...»

— «Да изъ чего я отъ тебя теперь бѣгать стану? То было такое, знаешь, голодное время. Самъ вспомни, чѣмъ ты меня кормилъ. Чечевицей да горохомъ, горохомъ да чечевицей. Ты скажешь, что ты самъ то же ѣлъ; да мы вѣдь слуги. Намъ не приходится того ѣсть, что господа кушаютъ... Чтобъ новаго не было. Да чему тутъ новому быть!... Развѣ что съ царскаго обѣда какое ни есть блюдо мимо тебя ко мнѣ попадетъ. Оно будетъ и новое, да хорошее... Новое... Мало ли чего на свѣтѣ есть новаго, такъ все и дурно. — А видѣлъ ли ты Царскихъ Нѣмцевъ?»

— «Нѣтъ!»

— «То-то же. Вонъ полковникъ выше этой липы. Сердце у него — съ домъ будетъ. А тамъ племянница себѣ гуляетъ, да гуляетъ, словно въ теремѣ какомъ. Поди, а Нѣмецъ!...»

— «Какая племянница?»

— «А наша, Параша!»

— «Ахъ, Боже мой, а я съ нею и не видался. Пойдемъ, Тимоша. Не хорошо. Она моей дочкѣ другомъ была...»

— «Эй, не ходи. Что тебѣ межъ дверей пялецъ совать.»

— «Что ты тутъ врешь, Тимоша! Снимай дурацкій колпакъ, говори человѣкомъ.»

— «Знаю я твой обычай. У тебя на разный ладъ служить надо; изволь. Ну, я человѣкъ. Полковникъ тотъ знатный парень, почище меня; чуть-чуть не ты; понимаешь? По разуму — я; по честности — ты, ну а по пригожеству ни ты, ни я; понимаешь ли? Былъ тутъ у насъ пожаръ. Онъ боярина, боярышню и твою великую дочь Царевну спасъ...»

— «Что такое? Онъ спасъ мою дочь, а я ничего не знаю? Такъ, пожалуй, и я твой колпакъ надѣну; честность оброню... Разсказывай, только докладно — и шутки въ карманъ.»

— «Слушаю... Спасъ, всѣхъ спасъ, а я самъ спасся, гляжу: горитъ. Думаю: что я, жаркое, что ли? Стану я какъ печоное яблоко въ золѣ валяться; и шарахъ на липу и гляжу на пожаръ, словно съ колокольни. А онъ и принесъ боярышню въ садъ, и Евдокія Лукьяновна съ ними придти соизволила. Тутъ и пошли разныя шашни... Полковникъ заикался, запинался, да разомъ Парашѣ и бухъ: люблю!... Та было ни то, ни сё, а онъ: люблю! Словно мельница какая, все на одну сторону вертится, такъ и онъ: люблю, да люблю... Тутъ насъ всѣхъ бояринъ разогналъ... А полковникъ на другой день прямо къ нему, къ боярину, и опять бухъ, какъ изъ нѣмецкой пушки: подай мнѣ Парашу въ жены!...»

— «Слава Богу!» сказалъ Стрешневъ со вздохомъ.

— «Отчего Слава Богу!»

— «Да начало-то сказки было не хорошо, да вотъ сватовствомъ все поправилъ. Ну что жъ на это боярин?»

— «Да ты развѣ Кречета не знаешь? Спѣсь въ немъ задѣли; чуть не лопнулъ отъ гордости; принесли указъ невѣсту выбирать. Кречетъ и кричитъ: Вотъ женихъ! Вотъ женихъ! — Вотъ тебѣ и сватовство и любовь и шашни... Все такъ и расплылось... Все! — Не то что все, потому что Нѣмецъ и теперь мимо воротъ ходитъ да хныкаетъ, а Параша плачетъ. Кречетъ говоритъ, будто отъ того Параша плачетъ, что въ Царицы не попала, а ей-Богу не оттого, а отъ Нѣмца, вотъ-те Христосъ отъ Нѣмца. Вѣдь ты, братецъ, мой глазокъ знаешь...»

— «Ну что же, Тимоша! Если твоя правда, такъ женить ихъ...»

— «Право, братецъ, женить!»

— «Ну, что же? Я готовъ...»

— «И я, по рукамъ!»

— «По рукамъ Тимоша! Только гляди: ни гу-гу! Дѣло тайное...»

— «Эхъ, братецъ, я тебѣ еще новое позабылъ сказать. Я нынче молчать умѣю. Нѣмцы выучили. Пойдемъ, я тебѣ покажу, какъ я важно молчу...»

— «Увидимъ, и вотъ на первый случай пойдемъ къ Парашѣ.»

Въ высокомъ новомъ теремѣ сидѣла Параша, окруженная сѣнными дѣвушками.

— «Вотъ это все мои жены...» сказалъ Тимоша,

показывая Стрешневу на сѣнныхъ: «всѣ дуры! Шпили вонъ! Вамъ не приходится нашихъ рѣчей слушать. Милости просимъ...» И сѣнныя подвинулись, выпили. Параша весьма обрадовалась Лукьяну Степановичу.

— «Дядюшка, дядюшка! Ахъ, какъ я тебѣ рада, дядюшка!...»

— «Да отчего же я тебѣ дядюшка, Параша?»

— «Да ужъ позволь тебя дядюшкой звать; мы съ твоей дочкой сестрами и назывались, и жили сестрами.»

— «За то я и пришелъ благодарить тебя, Параша, и спросить: не могу ли я и тебѣ, въ уплату, какой службы сослужить?»

— «Мнѣ?... Мнѣ ничего не нужно!» сказала Параша грустно, и слезы навернулись на мутные глаза.

— «Да что, въ самомъ дѣлѣ, нужно молодой дѣвушкѣ? Не знаешь ли ты, Тимоша?»

— «Другимъ дѣвушкамъ извѣстно, что нужно — добраго жениха, а ей не надо...»

— «Почему же не надо?» спросилъ Стрешневъ.

— «Потому что есть.»

Параша закрыла лицо руками и стала горько плакать.

— «О чемъ ты плачешь, милая Параша?»

— «Да какъ же мнѣ не плакать? По милости Тимоши, скоро вся Москва про меня заговоритъ...»

— «Не бойся, Параша; онъ мнѣ правдой долженъ, такъ какъ я тебѣ благодарностью. Ты любишь Нѣмецкаго полковника?...»

— «Не смѣю...»

— «А хотѣлось бы?...»

— «Поди съ Богомъ, Тимоша!»

Тимоша ушелъ и Параша бросилась въ ноги Стрешневу, и откровенная исповѣдь нѣжной, пламенной любви, вмѣстѣ со слезами обильными, изливалась въ разорванныхъ рѣчахъ.

— «Богъ милостивъ!» сказалъ Стрешневъ и поцѣловалъ ее въ лобъ: «Богъ милостивъ, Параша! Станемъ молиться и надѣяться.»

Стрешневъ ушелъ...

— «И только?» вскрикнула Параша; упала на подушки и стала горько плакать...

— «А гдѣ живетъ Нѣмецъ?» спросилъ Стрешневъ, выходя изъ калитки на улицу.

— «Вонъ видишь, китайскіе цвѣты на окнахъ; тамъ онъ и живетъ. Да что же ты меня, братецъ, не похвалилъ?»

— «За что?»

— «А какъ я знатно молчалъ.»

— «Такъ помолчи же ты еще часокъ, здѣсь, на улицѣ, пока я къ Нѣмцу схожу...»

— «Ну, расходился ты, братецъ!» говорилъ Тимоша, оставшись одинъ на улицѣ: «Онъ ходитъ, ходитъ, а Кречетъ устанетъ, да, чего добраго, сляжетъ отъ устали. Что, если у индѣйскаго пѣтуха хвостъ обрѣзать? Чай больно? А боярская спѣсь на самомъ сердцѣ растетъ. Вотъ загорланитъ Кречетъ... А! Съ праздникомъ поздравляю!»

— «Съ какимъ праздникомъ?» спросилъ Орлей, выходя изъ Персидскаго дома.

— «Съ новосельемъ, честный господинъ, съ новосельемъ! Ты, я чай, уже совсѣмъ обжился. Ну, а что твои солдаты, хорошо Персидскій товаръ берегутъ? Только если ты имъ будешь платить жалованье такъ, какъ мнѣ, то придется къ тѣмъ солдатамъ другихъ приставить, чтобы за ними смотрѣли.»

— «Вотъ тебѣ жалованье; я и позабылъ...»

Орлей подалъ шуту горсть денегъ и пошелъ. Шутъ тщательно ихъ пересчиталъ, положилъ въ карманъ и сказалъ съ усмѣшкой: Славная служба, да не даромъ пословица: Долгъ красенъ платежемъ. Они съ насъ даромъ деньгу лупятъ, а мы только свое назадъ беремъ... Чертъ знаетъ, какая скука!... Братецъ себѣ говоритъ съ Нѣмцемъ, а мнѣ не съ кѣмъ. Эй, ты, мальчишка, что ты это въ бабки передъ моими глазами разыгрался?....

— «Да что твои глаза, боярскія окна, что ли?»

— «Ахъ ты вострушка! Будь я женатъ, подумалъ бы, что это мой сынъ... Послушай ты, мальчишка, ты не сынъ ли мой, съ какой ни есть стороны?» И Тимоша увлекся весьма занимательнымъ разговоромъ, котораго мы, по правиламъ сказочнаго искусства, никакъ здѣсь повторить не рѣшаемся, какъ эпизодъ, совершенно посторонній и къ исторіи полковника Лесли вовсе не принадлежащій...

Стрешневъ между тѣмъ вошелъ къ полковнику и въ передней ожидалъ позволенія войти въ гостиную.

— «Я боленъ.... я нездоровъ....» говорилъ

Лесли Филиппу, когда тотъ докладывалъ: «Но нечего дѣлать. Можетъ быть, у гостя важное дѣло. Я царскій слуга, отказывать не смѣю. Проси!...»

— «Начало очень хорошо!» подумалъ Стрешневъ, входя въ гостиную. Передъ нимъ стоялъ мущина, лѣтъ тридцати не болѣе, прекрасной наружности, высокаго роста; здоровье цвѣло на лицѣ Лесли, но изъ глазъ, изъ устъ что-то говорило о глубокомъ горѣ.... Старикъ долго смотрѣлъ на него и, казалось, что-то соображалъ. Лесли также задумался, хотя также смотрѣлъ на Стрешнева.

— «Не осуди меня, полковникъ, если я обезпокоилъ тебя...» сказалъ Стрешневъ.

Лесли проснулся, посмотрѣлъ пристально на гостя и сказалъ:

— «Ничего! ничего! Что тебѣ нужно, старичекъ?»

— «Продай мнѣ твои цвѣты.»

— «Цвѣты! Да на что тебѣ эти цвѣты?»

— «Я охотникъ....»

— «Ахъ, любезный! Прости, молодому человѣку стариковъ учить не слѣдуетъ, но всякая охота, всякая страсть разворительна. Глядя на тебя, мнѣ кажется, не осердись, ты не такъ-то богатъ. А эти цвѣты дороги. Я побогаче тебя, а не купилъ бы такихъ цвѣтовъ. Мнѣ подарилъ ихъ пріѣзжій Голландскій садовникъ.»

— «Да все-таки продай. Я ужъ давно хожу, да гляжу на нихъ, да горе береть, что у меня такихъ нѣтъ. Вамъ-то молодымъ хорошо: вы мо-

жете красныхъ дѣвушекъ любить, а намъ-то старикамъ что осталось? Цвѣты цвѣточки....»

— «Право, любезный.... я не знаю, какъ съ тобой быть....»

— «Послушай, полковникъ, послѣднихъ денегъ не пожалѣю, только продай.... Въ нихъ мое счастіе.»

— «Нѣтъ, старикъ, это будетъ грѣхъ, а вотъ что, если они тебѣ до такой степени понравились, бери ихъ такъ, какъ я ихъ получилъ. Бери даромъ.... Бери! Да ты не сможешь, Филиппъ, помоги! Прощай!»

— «Вотъ онъ кто!» сказалъ громко Стрешневъ: «Когда такъ, то не прощай, а здравствуй! Далъ бы то Богъ, чтобы за твои китайкіе цвѣтки я могъ подарить тебѣ русскій цвѣтокъ, о какомъ я не читалъ и у Овидія Назона.»

Лесли посмотрѣлъ на гостя съ изумленіемъ.

— «И какое у того цвѣтка мудреное имя; ни по Гречески, ни по Латынѣ не напишешь...

— «А какъ же зовутъ твой русскій цвѣтокъ?»

— «Параней!»

Лесли вздрогнулъ. Стрешневъ подошелъ къ нему, взялъ его за руку; завязалась бесѣда, но не долго длилась она и кончилась дружбой.... Между дѣломъ и занимательнымъ разговоромъ старикъ замѣтилъ, что на полкѣ стоятъ книги.... Подошелъ, посмотрѣлъ, нельзя читать.

— «Это видно по-Нѣмецки?» сказалъ онъ.

— «Точно такъ, Лукьянъ Степановичъ! Служба заставила выучиться и по-Нѣмецки и по-Русски...»

— «Коли ты выучился по-Немецки, такъ потрудись выучить и меня. Даромъ что старикъ, а смѣкну....»

— «Всему, всему, что самъ знаю, Лукьянъ Степановичъ.»

— «Ну, иному въ наши лѣта и не приходится. Прощай сосѣдъ, до свиданія.»

Стрешневъ вышелъ на улицу и невольно усмѣхнулся. Тимоша отъ скуки сталъ играть въ бабки, проигралъ и возилъ на хребтѣ своемъ мальчишекъ. Вся улица наполнилась народомъ; всѣ хохотали. Примѣтивъ Стрешнева, шутъ выпрямился; мальчишка полетѣлъ; хохотъ усилился.

— «Видишь, братецъ....» сказалъ Тимоша: «какой на нашей улицѣ праздникъ. Это я для твоего пріѣзда такое веселіе затѣялъ. Видно, будетъ свадьба....»

— «А вотъ пойдемъ прежде сватать....»

— «Слышите, дураки!» сказалъ Тимоша народу: «Пошли по домамъ; я уже довольно потѣшился, а теперь вотъ братецъ хочетъ меня нарядить свахой. Прощайте!»

Изъ новыхъ хоромъ на встрѣчу Стрешневу вышелъ какой-то дворянинъ, изъ дальнихъ родственниковъ боярина, не въ маломъ числѣ проживавшихъ на дворѣ и на службѣ у Кречета. Тимоша этого дворянина звалъ стольникомъ, потому что этотъ чаще другихъ за боярскимъ столомъ обѣдалъ.

Стольникъ поклонился Стрешневу и сказалъ:

— «Государь милостивецъ! Боярынъ указалъ

мнѣ слугѣ своему спросить: гдѣ изволишь сегодня кушать, у себя или у боярина?»

— «У Ивана Александровича,» отвѣчалъ Стрешневъ и шелъ прямо въ хоромы.

— «Хорошо...» сказалъ шутъ: «что меня мальчишки сегодня промяли; будетъ же меня знать стерлядь; я ей еще сегодня говорилъ: эй, сине-перая, худо будетъ!...»

Вошли, Боярин съ гостьми встрѣтилъ Стрешнева на лѣстницѣ.

— «Государь нашъ, милостивецъ, вотъ, Божіимъ изволеніемъ, и сродичи наши всѣ собрались.»

— «Какіе сродичи?»

— Вотъ Василій Ивановичъ Стрешневъ, вотъ Сергѣй Степановичъ Стрешневъ, вотъ Илья Аѳанасьевичъ, Матвѣй, Максимъ и Степанъ Ѳедоровичи, да Иванъ Филипповичъ.... Все наши сродичи, все Стрешневы.»

Старикъ посмотрѣлъ на нихъ безъ гнѣва и радости, и удивился только богатству ихъ одеждъ. Онъ зналъ, что всѣ они бѣдняки, безпомѣстные дворяне, разбросаны по всему лицу царства и вдругъ увидѣлъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ, въ роскоши, въ богатствѣ и опечалился. Не отвѣчая Кречету ни слова, Стрешневъ пошелъ далѣе и остановился въ той палатѣ, гдѣ приготовленъ былъ обѣденный столъ. Пиръ былъ самый продолжительный, самый тяжелый. Стрешневъ мало ѣлъ, еще меньше пилъ; за него исправлялся Тимоша съ необыкновеннымъ усердіемъ. Стоя за Стрешневымъ шутъ подсказывалъ ему какого кушанья отвѣдать, да взять по-

больше на тарелку, для того, какъ говорилъ Тимоша, чтобы было что убирать, а не то онъ служить разучится. Обѣдъ кончился. Стрешневъ все время промолчалъ, но когда встали, Стрешневъ, безъ обычая, взялъ Кречета подъ руку и повелъ въ образную.

— «Слушай, бояринъ!» сказалъ онъ сурово. «Это все твои продѣлки! Ты созвалъ весь этотъ Стрешневскій полкъ, ты ихъ одѣлъ — и, вѣрно, хочешь на Царскій дворъ ихъ втискать!... Не хорошо. Гдѣ они жили? чему учились? какіе изъ нихъ будутъ слуги Царскіе? Если Богу было угодно дочь мою вознести и украсить лучшимъ земнымъ величіемъ, такъ не для того, чтобы вознести и возвеличить дальнихъ и ближнихъ сродичей, безъ всякихъ заслугъ, ради одного прозвища. Не буду мѣшать счастію кого бы то ни было, не буду строго смотрѣть, сколько силы достанетъ, чтобы любви къ Евдокіи Государя Царя нашего не употребили во зло коварные люди! Помни это, бояринъ! Ты собралъ ихъ для того, чтобы при дворѣ имѣть покрѣпче руку; гляди, чтобы тебя лишняя сила въ омутъ не перетянула. Это тебѣ совѣтъ изъ благодарности, а теперь просьба отъ души, отъ желанія всякаго добра твоей дочери... Я у тебя сегодня не простымъ гостемъ, а сватомъ...»

— «Сватомъ? Отъ кого, Лукьянъ Степановичъ, ты почитай ни съ кѣмъ изъ князей и бояръ не видался....»

— «Не видался съ твоею довѣрью и полковникомъ Лесли.»

— »Хе, хе; хе! Видно этотъ угорѣлый Нѣмецъ и къ тебѣ пристадъ. Насмѣшилъ онъ меня послѣ пожара; и кажется много времени ушло, а онъ неунимается.»

— «Видишь, бояринъ, ты безъ толку спѣсивъ, а безъ нужды у ногъ валяешься. Будь человѣкомъ....»

— «Да кто же я!»

— «Говорю тебѣ, бояринъ, я въ сватахъ безъ шутокъ; такъ и ты мнѣ отвѣчай безъ шутокъ...»

— «Государь, мой милостивецъ! Самъ посуди: ну статное ли дѣло выдать Парашу за нехриста, за бездомнаго Нѣмца, за бусурмана: съ нашимъ родомъ не многіе и княжескіе потягаются. Самъ видишь, дѣлу этому быть не можно. Скорѣе утоплю дочь, а за Нѣмца не выдамъ. И примѣру такого на Руси не бывало.»

— «Вздоръ, бояринъ, вздоръ мелешь! Заучилъ старую боярскую пѣсню, да не тому разсказываешь. Лесли вѣры твоей дочери не коснется. Онъ служитъ тому же Государю; служитъ, какъ и ты, изъ жалованья; служитъ полковникомъ; чинъ не малый; а что онъ Нѣмецъ, въ томъ бѣды нѣтъ; дочери Царей нашихъ за иновѣрцами бывали. Все это не дѣло, не отговорка. Стыда никакого. А вотъ что важнѣе всѣхъ твоихъ отводовъ, — они другъ друга любятъ.

— «Кто? Параша?»

— «Да, Параша!»

— «Да какъ она смѣетъ!»

— «Ну, ужъ въ этомъ дѣлѣ ты ей не указъ.

— «Посмотримъ!»

— «Посмотримъ!» сказалъ Стрешневъ и ушелъ.... Поднялась въ домѣ жестокая буря: Боринъ осыпалъ Параню такими упреками, какими мы и повторить не смѣемъ; заперъ теремъ, приставилъ стражу; повелѣлъ дочери не давать ничего, кромѣ воды и хлѣба.... «Вылечимъ! отрезвѣетъ дѣвка!» кричалъ онъ. «Чести вашей не уронимъ; никому въ зубы не посмотримъ...» и тому подобное.

VII.

ПОДВИГИ ОРЛЕЯ ВЪ ПЕРСИДСКОМЪ ДОМѢ.

Въ Персидскомъ домѣ, какъ извѣстно, былъ постой Нѣмецкихъ солдатъ. Было время вечернее; Мустафа съ Персіянами поѣхалъ отвозить во дворецъ товары, купленные у него для предстоявшей свадьбы. На дворѣ осталась Фатима и шесть человѣкъ Персіянъ, назначенныхъ собственно для того, чтобы Фатиму не увидали Нѣмцы; они лежали, какъ псы въ комнатѣ, передъ дверьми Фатимы а по двору ходилъ часовой, Нѣмецкій солдатъ; прочія постояльцы спали въ избѣ, отведенной для ихъ жительства Пришелъ Орлей; онъ зналъ, куда и зачѣмъ уѣхалъ Мустафа и что воротиться ему раньше ночи не было никакой возможности. Знакомое окно растворилось; Фатима стала руками показывать, что въ сосѣдней комнатѣ есть кто-то. Орлей на томъ же языкѣ сообщилъ Фатимѣ, что она въ этотъ разъ можетъ выпрыгнуть изъ окна и пойти

гулять съ нимъ въ садъ. Она посмотрѣла на дворъ; Орлей показалъ, что его люди и бояться нечего. Фатима была уже въ его объятіяхъ; счастливая пара пробѣжала въ садъ, и скоро исчезла въ блаженствѣ и густой тѣни кустовъ.... Вдругъ у воротъ раздался стукъ. Часовой не отзывался.... Стукъ усиливался. Часовой черезъ щелку калитки посмотрѣлъ, видитъ Мустафа съ дюжиной Персіянъ. Расторопный Нѣмецъ разбудилъ товарищей, тотчасъ послали депутацію въ садъ; отрядъ пошелъ въ комнаты и объявилъ Персіянъ военноплѣнными. Не смотря на суматоху, смѣтливые Нѣмцы ходили тихо, на цыпочкахъ. Орлей не шелъ а бѣжалъ за Фатимой; когда подняли Фатиму, чтобы могла войти въ окно, она оглянулась и вскрикнула. Нѣмцы также оглянулись. О, ужасъ! На оградѣ сидѣлъ Мустафа и глядѣлъ на всю эту продѣлку съ бѣшенствомъ, рвалъ на себѣ одежды, кусалъ губы и не зналъ на что рѣшиться. Ревность превозмогла чувство безопасности; онъ соскочилъ съ ограды; ушибся, но не чувствовалъ боли; вскочилъ, подбѣжалъ къ калиткѣ, отодвинулъ засовъ и впустилъ своихъ Персіянъ. Хотя они были не всѣ, потому что бо́льшая часть осталась при товарахъ, но все-еще число ихъ значительно превышало Нѣмецкій гарнизонъ. Кинжалъ заблисталъ въ рукѣ Мустафы; дикіе крики вырвались изъ устъ его, и Персіяне бросились на Нѣмцевъ. Услышавъ крикъ господина, военноплѣнные опрокинули своихъ стражей и соединились съ хозяиномъ.... Орлей, защищаясь длинной своей саб-

лей, кое-какъ собралъ свою команду и весьма искусно исполнилъ затруднительную ретираду къ воротамъ: на общій крикъ съ улицы повалилъ народъ и, видя въ опасности отъ Персіянъ Царское войско, отворилъ ворота и такимъ образомъ выпустилъ волка изъ западни... Мустафа въ припадкѣ ревности хотѣлъ было преслѣдовать капитана, но толпы народа раздѣлили сражающихся и заставили Мустафу войти въ свои укрѣпленія.... Заперли ворота, калитку. Мустафа поставилъ всѣхъ своихъ Персіянъ въ кружокъ, побѣжалъ въ комнаты, вытащилъ за волосы Фатиму и посреди двора, на глазахъ изумленной своей челяди, зарѣзалъ невѣрную жену, какъ цыпленка.... «Теперь ваши головы, невѣрные рабы!» закричалъ онъ по-Персидски и схватилъ за шею одного изъ Персіянъ, остававшихся на стражѣ. Общій крикъ былъ ему отвѣтомъ; всѣ Персіяне бросились бѣжать, но несчастный не могъ вырваться изъ ревнивыхъ рукъ, и кровь его пролилась вмѣстѣ съ жизнью... Персіяне благимъ матомъ бѣжали по улицамъ и кричали по-Персидски: «Рѣжетъ, рѣжетъ!»... Нѣкоторые изъ нихъ добѣжали до краснаго крыльца, въ самое то время, когда Государь возвращался отъ вечерни, упали Царю въ ноги и молили о защитѣ. Позвали толмачей: съ трудомъ они могли узнать отъ Персіянъ подробности дѣла, и когда доложили объ нихъ Царю, Государь приказалъ немедленно собраться Боярской Думѣ.... Долго собиралась Дума, наконецъ собралась. Отецъ невѣсты, по обычаю, долженъ былъ засѣдать въ Ду-

ъ, какого бы онъ званія ни былъ; почему бояе, въ ожиданіи Государя, послали просить Лукьяна Степановича пожаловать въ Грановитую Палату.... Пошелъ за нимъ дьякъ съ двумя дворянами. На крыльцѣ узналъ дьякъ, что Стрешневъ во дворцѣ и пошелъ въ терема къ дочери. Ждалъ, ождалъ онъ его за золотой рѣшеткой; наконецъ детъ Лукьянъ Степановичъ, въ своемъ простомъ платьѣ; вышелъ; перекрестился; надѣлъ шапку и отѣлъ итти; дьякъ поклонъ ему въ землю и говоритъ:

— «Государь Лукьянъ Степановичъ, Дума собралась.»

— «Очень радъ. Собралась, такъ пускай и думаетъ.

— «Да великіе бояра велѣли тебя звать низкимъ поклономъ, къ нимъ въ Палату пожаловать.»

— «Зачѣмъ?»

— «Да говорятъ, что послѣ Великаго Государя, Святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича, ты у Царя теперь первый совѣтчикъ.»

— «Ну, это они плохо выдумали. Поди и скажи имъ, что Государь далъ мнѣ волю и долгъ; а по этой волѣ и по этому долгу могу и въ Думѣ сидѣть, могу и не сидѣть. Сегодня мнѣ сидѣть нехочется, а то еще, чего добраго, что ни есть такое въ Думѣ скажу, что по боярскому разуму глупо будетъ. Одна голова Думѣ разума не прибавитъ и не отниметъ. У меня же и голова не боярская: ни ихъ спѣси, ни ихъ нравовъ не понимаетъ. У меня и спѣсь и все—свое. Не пола-

дишь; а я старый человѣкъ. Ссоръ не люблю. Да еще скажи, что у меня двѣ свадьбы на рукахъ. Кому о томъ вѣдать надлежитъ, догадается. Да еще скажи, что я отъ Государыни Царевны указъ несу. Время не терпитъ. А если еще мало; придумай! Ты дьякъ, тебѣ не впервые. Ступай!

— «Вотъ нажили дядьку!» сказалъ дьякъ, когда Стрешневъ сходилъ съ лѣстницы; и воротясь къ боярамъ, повторилъ рѣчи Стрешнева и перепугалъ Кречета. Всталъ Кречетъ, поклонился боярамъ и говоритъ: «Великіе бояре! отпустите меня; больше не здоровится. Да и Персидское дѣло приключилось у меня по сосѣдству. Нехристи, пожалуй, еще въ задоръ войдутъ, подожгутъ опять; чего отъ такихъ злодѣевъ ожидать добраго?...» Но Кречетъ не могъ уйти; вошелъ Царь съ Патріархомъ Родителемъ и Дума началась и приговорили: не медля схватить Мустафу и, смерть за смерть, предать его казни на лобномъ мѣстѣ. И того для приказать Леслію съ Нѣмцами взять того Мустафу и представить въ Думу, а Думѣ опять собраться послѣ обѣдни. — Разъѣхались бояре. Кречетъ у самаго своего дома нагналъ Стрешнева, онъ шелъ пѣшкомъ съ Тимошей и смѣялся.

— «Видно, надо мной...» подумалъ боярин: «да не рано ли сталъ смѣяться? чтобы завтра плакать не пришлось!» И выходя, не приказалъ откладывать колымаги.

— «Послушай, братецъ, у нашего роднаго Кречета что-то не доброе на умѣ...» сказалъ Тимоша. «Онъ сегодня, какъ расходился, такъ и сболтнулъ,

что онъ боярышню туда упрячетъ, откуда никакая человѣческая власть ее не вырветъ...»

— «А вотъ поглядимъ, посмотримъ! Ты ему только эту бумагу отдай. Славный гостинецъ! а я и видѣться съ нимъ не хочу. Изъ дому его въ простой какой ни есть домъ переѣду. Онъ и меня, пожалуй, на хлѣбъ да на воду посадитъ.»

— «Эй, братецъ, не шути такъ страшно! Волосы дыбомъ, когда подумаю о хлѣбѣ и водѣ... Ужъ если въ тюрьму, такъ пусть насъ лучше запретъ на кухню. Мы, братецъ, люди умные: тотчасъ съ тюремщиками поладимъ. Куда же ты?»

— «Къ полковнику, а ты дѣлай свое, Тимоша!»

Стремянный нашелъ полковника въ странномъ расположеніи духа. Онъ стоялъ надъ Орлеемъ сложа руки и качая головою, а тотъ плакалъ какъ ребенокъ.

— «Я говорилъ тебѣ...» примѣтно было, что Лесли продолжалъ давно начатую рѣчь: «Я говорилъ тебѣ, что въ этомъ дѣлѣ благословенія Божьяго быть не можетъ. Мало того, что ты сдѣлался причиною преждевременной смерти несчастной женщины; мало того, что ты ввелъ ее въ грѣхъ, сдѣлалъ преступницей, но самъ-то ты кругомъ виноватъ и не можешь уйти отъ строгаго суда. Я только жду указа или жалобы, и ты будешь арестованъ, наказанъ и, вѣроятно, высланъ за границу!»

— «Все это вздоръ!» кричалъ Орлей: «я готовъ на все... но Фатима, моя бѣдная Фатима! Ахъ, полковникъ, я ее не любилъ, она служила мнѣ

забавой, шалостью и за шалость ветренаго капитана потерять жизнь!.., О, этого я никогда не прощу себѣ! ничѣмъ не выкуплю, ничѣмъ, ничѣмъ!... Возьмите мою саблю, арестуйте, накажите, все будетъ легче!»

Лесли смотрѣлъ на Орлея съ чувствомъ состраданія. Общее молчаніе было прервано появленіемъ Тимоши... Но мы должны прежде сходить съ Тимошей въ боярскія хоромы и быть свидѣтелями всей сцены, побудившей шута броситься къ полковнику Лесли. Бояринъ изъ колымаги прямо пошелъ въ терема къ дочери. Параша, не въ примѣръ другихъ романическимъ героинямъ, свернулась, съежилась въ огромныхъ креслахъ подъ пушистою душегрѣей и спала сномъ сладкимъ. Передъ ней на столикѣ стояла вода и нѣсколько ломотковъ хлѣба. Отъ стука дверей и тяжелой боярской походки, Параша проснулась. Въ теремѣ было совершенно темно, но Параша узнала отца и невольно задрожала.

— «Что?» спросилъ бояринъ: «покаялась?».

Параша молчала.

— «Выкинула изъ головы Нѣмца?»

Параша молчала.

— «Да отвѣчай же, Параша! Мнѣ некогда. Разлюбила ты Нѣмца?»

— «Нѣтъ!» отвѣчала Параша такъ твердо, такъ рѣшительно, что бояринъ не выдержалъ и топнулъ ногою.

— «Напрасныя угрозы, батюшка!» продолжала Параша тѣмъ же голосомъ. «Будто я хочу за не-

не замужъ. Да и замужъ пошла бы, чего таиться, когда бы на то моей воли довольно было. Запереть меня также напрасно. Не уйду. Для самой себя страму не сдѣлаю, да и, безъ твоего позволенья, ни за кого не выйду. А хлѣбъ и вода, что за бѣда! Мало ли людей на свѣтѣ тѣмъ только и живутъ! А я отъ тоски и такъ есть не могу... Видишь! Все это напрасно. Любви этимъ не выгонишь...»

Въ это время сѣнныя дѣвушки внесли свѣчи и освѣтили бѣшенство боярина. Онъ слушалъ Парашу, поднявъ руки и сжавъ кулаки, и когда она увидѣла его въ такомъ положеніи, невольно вскрикнула и спряталась подъ душегрѣю.

— «Выгоню, матушка!» кричалъ, ревѣлъ бояринъ: «Выгоню! Непокорной дочери мнѣ не нужно! Выгоню я этотъ грѣхъ съ тобою вмѣстѣ.»

Параша вскочила, бояринъ выпрямился и ждалъ что она скажетъ, но вошелъ шутъ съ безчисленными поклонами: онъ держалъ обѣими руками какую-то бумагу и все кланялся.

— «Что тамъ еще?» закричалъ бояринъ гнѣвно.

— «Указикъ, братецъ, указикъ съ Верху, отъ Государыни Царевны.»

Бояринъ схватилъ указъ, самъ прочелъ и, швырнувъ его на столъ, сказалъ съ возрастающимъ бѣшенствомъ:

— «Я надъ моею дочерью отецъ! Не дамъ моей дочери Царевнѣ, пусть хоть Стрѣльцовъ, хоть Нѣмцевъ приплютъ! Знаю я, откуда вѣтеръ дуетъ; видишь какой боярецъ! Отъ сохи во дворецъ по-

палъ, такъ ужъ ему кажется, что и солнце по его волѣ ходить станетъ...»

— «Братецъ, а братецъ!» сказалъ Тимоша жалобно: «Не ослушайся. Вѣдь это святой обычай. Кого Царевна-невѣста или Царица себѣ въ комнатныя изберетъ, кому къ себѣ на Верхъ велитъ быть, такъ будь она дочь султана Турскаго, а нечего дѣлать, ступай!»

— «Ужъ не тебѣ меня учить царскому обычаю...» сказалъ боярынъ угрюмо и взялъ Парашу за руку: «Колымага готова! Ѣдемъ.»

— «Куда?» спросила испуганная Параша.

— «Не твое дѣло! Ѣдемъ!»

— «Куда?» повторила Параша, вырываясь.

— «Въ монастырь!» сказалъ Тимоша, и Параша вырвалась изъ рукъ боярина.

— «Дуракъ!» заревѣлъ боярынъ. «Зови сюда холопій. Я поставлю на своемъ.

— «Сейчасъ, сейчасъ, боярынъ!» отвѣчалъ Тимоша и бросился къ Лесли.

—

VIII.

АРЕСТЪ.

Тимоша вбѣжалъ въ гостиную Лесли съ такою миной, которая по неволѣ обратила на себя общее вниманіе.

— «Худо, худо, братцы!» кричалъ онъ: «тамъ у Кречета разбой.»

— «Что такое? Что такое?»

— «Кречетъ у боярышни, я съ указомъ къ

Кречету, онъ указъ объ столъ, да боярышню за руку.... Куда? — Въ монастырь.... Не хочу!.. Зови хлопцій..... Колымага готова.... Поминайте какъ звали Парашу, завтра и самое имя у нея другое будетъ....»

— «Что намъ дѣлать!» вскрикнулъ Лесли: «Лукьянъ Степановичъ, что намъ дѣлать?»

— «На зло, такъ и глупость умна. Ума не приложу.»

— «Видишь, братецъ, плохо быть большаго разума. Вотъ твой нашему дѣлу и не помѣркъ.»

— «Нашелъ время шутить. Поди себѣ съ Богомъ, Тимоша; ты только нашему совѣту помѣха... Иди, сиди, да протверживай то, чему тебя Нѣмцы учили.»

— «Молчу, молчу, да чего тамъ няня горланитъ.»

— «Батюшки-свѣты!» кричала няня, вбѣгая въ гостиную Лесли: «Помилуй и защити, Лукьянъ Степановичъ! Бояринъ Парашу бьетъ!...»

— «Бьетъ!» закричали всѣ. Лесли и Орлей, обнаживъ сабли, бросились къ дверямъ, но тамъ загородилъ имъ дорогу огромный солдатъ, изъ Нѣмецкаго приказа, указъ принесъ и подалъ Леслію...

— «Что тамъ такое?» спросилъ Стрешневъ.

— «Указъ: схватить Мустафу сейчасъ, сію минуту и съ разсвѣтомъ представить въ Боярскую Думу, гдѣ ему прочтутъ смертный приговоръ.

— «Лукьянъ Степановичъ, вы видите, мой долгъ не позволяетъ итти къ Кречету.... Ступайте вы, бѣгите! Ваше значеніе, ваши вліяніе....»

— «Позвольте! позвольте!» кричалъ шутъ, махая колпакомъ: «Видно, птица Божія принесла мнѣ такую диковинную думу.... Ухъ! какъ подумаю, такъ животъ отъ смѣху болитъ, а что же, если я на всю эту катавасію глядѣть стану....»

— «Да говори, что ты тамъ выдумалъ?...»

— «Чудо, и вотъ какое. Велѣно взять Мустафу, а боярину Кречетъ больно на Мустафу смахиваетъ, дай ему на колымагѣ изъ воротъ выѣхать, да и цапъ-царапъ. Что за бѣда? Обознался. За это вѣдь ни бьютъ, ни вѣшаютъ; вы только боярина захватите, а мы боярышню, по указу, къ Государынѣ Царевнѣ отвеземъ....»

— «Нѣтъ,» сказалъ Лесли: «я не ослушаюсь царскаго указа, будь что будетъ!... Да притомъ какъ же я обознался, когда я боярина въ лицо знаю, да еще, чего добраго, и преступникъ уйдетъ. Не могу....»

— «Полковникъ!» сказалъ Орлей: «вы, кажется, изволили приказать мнѣ пойти и взять Мустафу...

— «Я угадываю, что ты хочешь дѣлать, Орлей; но на твоей головѣ и такъ уже много преступленій. И все-таки буду отвѣчать я!»

— «Нѣтъ! я!» сказалъ Стрешневъ. «Я, я одинъ; я принимаю на себя всѣ послѣдствія. Полковникъ, исполняй свой долгъ: возьми Мустафу, а ты, капитанъ, боярина, и завтра поутру обоихъ въ Думу. Я тамъ буду.»

— «Но....

— «Повинуйтесь! Я вамъ приказываю име-

немъ.... Нѣтъ! Я вамъ приказываю, какъ отецъ Государыни Царевны и за все — отвѣчаю....»

Всѣ разошлись; полковникъ Лесли прежде другихъ пришелъ на свое мѣсто и объявилъ царскій указъ Мустафѣ, но Мустафа его не слушалъ; онъ лежалъ на коврѣ въ глубокой задумчивости, передъ нимъ были разбросаны одежды и драгоцѣнности несчастной Фатимы. Лесли повторилъ указъ... Мустафа посмотрѣлъ на него; глаза налились кровью: онъ схватился за кинжалъ, но Нѣмцы его обезоружили и повели въ съѣзжую избу полка. Лесли шелъ за ними, опустивъ голову. На улицѣ разбудилъ его крикъ: «Стой!» То былъ Орлей. Онъ напалъ съ своими людьми на боярскую колымагу. И хотѣлъ именемъ Царскимъ арестовать Кречета, какъ будто Мустафу....

— «Что?» сказалъ бояринъ: «Меня? Меня, боярина, ты смѣешь называть Персидскимъ купчинкой?..»

— «Окажется, окажется, какой ты бояринъ! Мы навели братъ справки! Стара штука! Мы все знали и знаемъ: кто ты и какъ устроилъ побѣгъ. Сдавайся, а не то худо будетъ....»

— «Да какой я Персіянинъ? Видно, что Нѣмецъ! И Бога у него нѣтъ. Ну вотъ тебѣ крестъ. Гляди, Персіянинъ ли я?...»

— «Знаемъ, знаемъ! Со страха ты и жидомъ прикинешься. Сдавайся!»

— «Да знаешь ли ты, что тебя, Нѣмца, за такое безчестье изъ пушки выстрѣлятъ....»

— «Полно, братъ, стращать. Не на таковскаго напалъ. Хуже будетъ, какъ уйдешь.»

— «Что за чертовщина! Вотъ привязался! Да погляди вонъ Персидскій дворъ.»

— «Ночь, братъ, ничего не вижу. Выходи!»

— «Да спроси вотъ у нее; она мнѣ дочь; лгать не станетъ; у людей; позови сосѣдей; всю улицу, всю Москву.»

— «А ты пока улизнешь. Нѣтъ, братъ, насъ не надуешь; благо, что не опоздали. Вылезай! Такихъ бояръ много.»

— «Много! Такихъ бояръ, какъ я, много! Ахъ, ты Нѣмецъ окаянный! Заплатишь ты мнѣ тройную пеню за такую обиду....»

— «Хорошо, хорошо! заплачу, только вылезай!»

— «Да что ты въ самомъ дѣлѣ пьянъ; али только такъ съ придурью; а можетъ прислѣповатъ. Вѣдь право это все на шутку не похоже.»

— «Вотъ нашелъ шутку! Подымай-ка ноги, вылезай, а вѣдь не то, я и за бороду....»

— «За бороду! Ахъ, ты, холопъ нечистый! За боярскую бороду!... Да я тебя тростью изломаю. ..»

— «Только выходи, а тамъ увидимъ. Не хочешь?... Ну, нечего дѣлать, приходится силой за ноги тащить.»

— «Помилуй!» завопила Параша: «Не тронь родителя!»

Услышавъ голосъ Параши, Лесли было бросился на помощь, но Стрешневъ и шутъ удержали полковника за обѣ руки....

— «Сдавайся!» кричалъ Орлей. Бояринъ сталъ кричать, Орлей завязалъ ему ротъ и Кречета увели. Лесли, Стрешневъ и шутъ бросились къ колымагѣ, гдѣ Параша заливалась слезами и тяжко кричала о помощи.

— «Полно плакать, Параша...» сказалъ шутъ: «видишь, бояринъ больно растучнѣлъ, спитъ много; такъ ради здоровья, Нѣмцы повели его маленько прогуляться. Худаго ничего не будетъ. А тебѣ въ монастырь надо ѣхать....»

— «Какъ? Все таки въ монатырь?» спросила опечаленная Параша.

— «Да, да, въ монастырь, только веселый, знатный, Царскій, на Верхь, къ Евдокіи Лукьяновнѣ.»

— «Къ Государынѣ моей и сестрицѣ?»

— «Экая отгадчица! А ты, племянникъ, что молчишь. Вѣдь это мы для тебя стряпаемъ, а онъ будто глину ѣстъ; молчитъ!...»

— «Что же я скажу, Тимоша!

— «И онъ здѣсь!» закричала Параша и стала прятаться въ колымагѣ: «Ахъ, какой стрямъ! Дядюшка, поѣдемъ!»

— «Поѣдемъ, племянница!» сказалъ Стрешневъ, садясь въ колымагу: «До завтра, полковникъ! Увидимся въ Думѣ.»

Шутъ поправилъ колпакъ, вскочилъ на узкія запятки закричалъ: «Пошелъ въ Кремль, на Царскій дворъ!» — и колымага покатилась....

—

IX.

ПЕНИ ПО ОКЛАДУ.

Дума собралась очень рано, тѣмъ болѣе, что слухъ о какомъ-то странномъ непонятномъ происшествіи съ Кречетомъ достигъ черезъ спальниковъ до Царской опочивальни. Царь также поспѣшилъ въ Думу, гдѣ къ особенному удовольствію замѣтилъ Стрешнева и кивнулъ головой ласково. Бояре стали шептаться: Видно, спѣсь отложилъ; милости ищетъ; пришелъ въ Думу... «Потому, что нужно...» отвѣчалъ Стрешневъ и бояре прикусили языки. Царь приказалъ ввести преступника и, къ общему удивленію, капитанъ Орлей ввелъ Кречета. Государь улыбнулся; дума ахнула; Стрешневъ одинъ только сохранилъ важный и спокойный видъ.

— «Что это значитъ?» спросилъ Царь.

Кречетъ отвѣсилъ три земныхъ поклона и сталъ говорить:

— «Великій Государь, Царь и Великій Князь, нашъ отецъ и милостивецъ, Великій Государь, Святѣйшій Патріархъ, и вы, всѣ князья, бояре, окольничіе, стольники и думные дворяне, бью челомъ Государю моему на твоего Нѣмецкаго полковника и рыцаря Александра Ульяновича Леслія; онъ у меня прошедшимъ лѣтомъ хоромы поджегъ, огонь учинилъ, чтобы дочь мою Нѣмецкой лестію изловить, колдовствомъ въ нее чары угнѣздить и любовью къ себѣ испортить; и потомъ въ воровствѣ и зажигательствѣ, нанесъ мнѣ смертельную обиду: безъ сватовъ, самъ по себѣ, будто къ

равному, въ зятья просился; и какъ я ему Нѣмцу поставилъ въ извѣстность, что женихъ онъ по глупости и дерзости только, а не по роду нашему, тогда онъ всякое зло учалъ мнѣ творить и, свѣдавъ отъ подкупленныхъ тѣмъ Нѣмцемъ холопій моихъ, что я съ дочерью со двора выѣзжаю, послалъ своего сподручника, такого же сорванца и злодѣя, взять меня руками, со всякимъ поруганіемъ, яко злодѣя инаго, Боярскою Думою открытаго, Персидскаго купца Мустафу. И тотъ его сподручникъ всякое безчинство со мною творилъ и на пути и въ домѣ у себя до сего часа; а дочь мою увезли невѣдомо куда, какъ я на пути въ Думу отъ вѣрныхъ холопій моихъ свѣдалъ. И того ради бью челомъ Государю моему: повели по сему дѣлу учинить сыскъ и судити Нѣмцевъ тѣхъ великою казнію...»

— «Садись, Кречетъ...» сказалъ Государь: «на свое мѣсто, а мы разсудимъ...»

— «Не сяду, надежа Государь, пока судомъ безчестья съ меня не снимешь.»

— «Садись, тутъ должна быть ошибка.»

На это всталъ Стрешневъ, поклонился Государю, Патріарху, потомъ однимъ поворотомъ головы всей Думѣ, и сказалъ...

— «Не ошибка, Государь, а умыслъ. Только не того полковника Леслія, а мой, раба твоего, Лукьяна.»

Вся дума почти поднялась отъ изумленія.

— «Выдай меня боярину...» продолжалъ Стрешневъ: «но выслушай!»

— «Говори!» сказалъ Царь съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.

— «Полковникъ твой и рыцарь Александръ Ульяновичъ Лесли, человѣкъ честный, милостью твоею и довѣріемъ взысканъ, по роду своему Шотландской лучшей крови, предками богатъ, вся бѣда, что иновѣрецъ, но о томъ боярин у него не спрашивалъ, а мнѣ заподлинно извѣстно, что будетъ ли на бракъ тотъ Царское твое Великій Государь соизволеніе, или не будетъ, Лесли, по собственной совѣсти законъ нашъ принимаетъ; да объ этомъ не рѣчь; это его, Лесліево сердечное дѣло, а онъ Кречетовыхъ хоромъ не поджигалъ, дочери не сманивалъ, а полюбилъ почеловѣчески, какъ и всякому прилучиться можетъ; всему этому дѣлу противился и не пошелъ схватить боярина, хотя я ему самъ то совѣтовалъ; а пошелъ указъ твой исполнить и Мустафа задержанъ, повели привести его, а боярина задержалъ капитанъ по моему приказу, съ вѣдома полковника... предъ лицемъ Государя потаить того не смѣю...»

— «Довольно, довольно!» сказалъ Кречетъ: «повиненъ за это суду...»

— «И взыскать съ него пени вдвое, противъ его боярина оклада, и сказать ему, что такое наказаніе, ради его подданства королю Аглецкому; а тобы торговая казнь...» Такъ сказалъ Думный Дьякъ, стоя. Бояре громогласно одобрили мнѣніе Дьяка, а Стрешневъ продолжалъ:

— «И пеню ту я плачу сегодня же за Полковника, да и за капитана, который отъ того же

суда и наказанія уволенъ быть не можетъ. Но если вы, бояре, изволите, ради ихъ подданства королю Аглецкому, увольнять ихъ отъ казни, то за что же присудили вы къ той же казни Мустафу, купца Персидскаго, который, не стоитъ подъ нашими законами, да опричь того у насъ и не на службѣ; никого изъ подданныхъ Его Царскаго Величества не убилъ, не обидѣлъ, а по своимъ правамъ или по своимъ обычаямъ зарѣзалъ жену и раба? Можетъ ли онъ такъ поступать или не можетъ, пускай рѣшитъ Государь его, Шахъ Персидскій... Мой совѣтъ, выслать Мустафу и людей его изъ Москвы и государства и отдать его Персидскимъ властямъ, пусть его судятъ по своимъ законамъ; выслать, чтобы соблазну и смерти здѣсь не было; вотъ моя простая мысль, Государь.»

Всѣ одобрили совѣтъ Стрешнева и послали сказать Лесли, чтобы онъ сдалъ Мустафу въ Посольскій Приказъ, до указа... Кречетъ зналъ, что у Стрешнева нѣтъ денегъ, и всталъ, и началъ бить челомъ, что, такъ какъ обида была на общихъ глазахъ, то пусть Стрешневъ или Нѣмцы заплатятъ безчестье въ самой Думѣ....

— «Разсчитаемся, бояринъ!» сказалъ на это Стрешневъ: «Великій Государь, бью тебѣ челомъ на боярина; былъ я у него въ сватахъ за Леслія; отказалъ; хотя, по нашимъ обычаямъ, это и обида, я не разсердился и волю отцевскую уважилъ. Но вѣдомо тебѣ, Государю Великому, что Великая Государыня Невѣста твоя съ боярскою дочерью Прасковьею Ивановною въ сверстницахъ, въ любви

и дружбѣ росла и пожелала ту боярышню у себя на Верху имѣть для веселія и забавы дѣвической, и указъ о томъ съ Верху посланъ былъ къ боярину вчера, и боярынъ указъ тотъ безъ почета бросилъ, и ослушался: дочь свою единородную на Верхъ не пустилъ, а посадилъ на хлѣбъ и воду, сталъ бить до синяго, и, по жестокости своей, посадивъ въ колымагу, везъ постригать и постригъ бы, если бы я рабъ твой, Великій Государь, на крайнюю мѣру не рѣшился и не представилъ бы его боярина на справедливый судъ Твой, а боярышню по указу отвезъ и сдалъ на Верхъ, какъ жертву, спасенную отъ звѣря хищнаго, отъ отца безчеловѣчнаго; такъ поступилъ я, изъ одной только крайности и съ великою радостью плачу четверную пеню противу оклада боярскаго. Но—и онъ обидчикъ противу Государыни Невѣсты а Евдокія Лукьяновна пеню, какую Государь и бояре, за проступокъ его приговорить изволите, по дочерней своей ко мнѣ милости, соблаговолила пожаловать мнѣ, Лукьяну, рабу твоему, на бѣдность...»

Всѣ разсмѣялись. Кречетъ горѣлъ отъ стыда, но когда услышалъ предложеніе Стрешнева, побѣлѣлъ какъ полотно. Алчный умъ его мигомъ сосчиталъ, что на эту исполинскую пеню не хватитъ всего состоянія его, собственнаго и присвоеннаго. Не смотря на общій смѣхъ, одинъ только Царь былъ не веселъ; видно было, что ему эти ссоры и распри были вовсе непріятны и, желая прекратить дѣла пустыя, недостойныя вни-

манія Боярской Думы, сталъ говорить и совѣтовать съ боярами о военной нуждѣ своей и потребовалъ мнѣнія отъ Лукьяна Степановича, отъ перваго...

— «Совѣтъ мой простъ. Многимъ иноземнымъ королевствамъ война наша, справедливая и необходимая, придется по сердцу и послужитъ на пользу; если ты, Государь Великій, не жалѣешь убытковъ и важныхъ издержекъ для войны, которая не для одного тебя полезна, такъ пускай же и тѣ короли за пользы свои помощью тебѣ заплатятъ. Но для того важнаго и великаго дѣла не посылай дьяковъ своихъ, иноземнаго обычая несвѣдущихъ, а пошли Александра Ульяновича со многою властію и казною, и полномочными грамматами къ королямъ, князьямъ и другимъ государственнымъ управамъ. Лесли исправитъ все къ твоему удовольствію, исправитъ скоро, года въ два, потому что иноземнаго добраго войска надо по малой мѣрѣ тысячъ тридцать, зря на то, что наше безвременьемъ совсѣмъ разстроено, а въ добрый порядокъ и многими лѣтами приведено быть не можетъ. Два года не много времени; замиренію нашему чай еще сроку больше, а пока надо не только войска набрать, но и мушкеты и другое вооруженіе искупить, для Нѣмецкаго, такъ и для своего войска, и снарядить ими полки, и запасы учинить, такъ чтобы ни въ чемъ недостатка не было, ибо въ этомъ всякому дѣлу лежитъ зерно успѣха.»

Государь остался весьма доволенъ мнѣніемъ

Стрешнева. Бояре не смѣли прекословить. Приказали дьякамъ указы писать, и Государь съ Патріархомъ оставили Думу...

— «Ну, что Иванъ Александровичъ...» спросилъ Кречета старшій бояринъ: «прикажешь съ Лукьяна Степаныча пеню править?....»

Кречетъ смотрѣлъ жалобно на Стрешнева, который, забывъ о частныхъ дѣлахъ, толковалъ дьякамъ какъ надо написать инструкцію Лесли; какихъ людей ему съ собою взять, въ томъ числѣ и капитана Орлея; какъ ѣхать, чего просить у королей, что искупить и какъ прислать въ Россію. Старшій бояринъ повторилъ вопросъ. Стрешневъ отвѣчалъ.

— «Бросимъ, бояринъ, эти дрязги. Государство въ нуждѣ, а мы занимаемся личными обидами. Все обошлось миролюбно, такъ зачѣмъ же намъ продолжать нашу ссору? Если Кречетъ отъ своего иска отступится, о своемъ и не вспомню...»

— «Отступаюсь, отступаюсь! Только, Государь, мой милостивецъ, дочери моей за Нѣмца не выдавай!..»

— «Да ты развѣ не видишь, что я полковника на два года ради твоего покоя на край свѣта посылаю. Пусть погуляетъ по разнымъ державамъ; тамъ у него и дѣла и невѣстъ много будетъ, — такъ про твою и забудетъ!...»

— «Мудрецъ!... воскликнули бояре.»

— «Во истину мудрецъ!» повторилъ Кречетъ, и бросился обнимать Стрешнева.

—

ГЛАВА X и ПОСЛѢДНЯЯ.

ОТГАДЧИКЪ.

— «Что ты нагородилъ, братецъ? Мустафу отправилъ во свояси, даже розочкой такого злодѣя не посѣкли; друга выдалъ, на море отправилъ, съ рыбами любовь вести, что ли, когда у него на Москвѣ такая зазнобушка; умретъ съ тоски, а царскаго дѣла не исправитъ, а капитана ты не знаешь,—умретъ полковникъ а онъ за казну и уцѣпится.... Да что, казны у Государя на семь царствъ хватитъ, а племянница у меня одна осталась, — истомится бѣдная, исчахнетъ, такая будетъ сухопарая, что и я ее въ жены не возьму. Два года! Ахъ, ты, братецъ мой, братецъ; перехитрилъ ты больно! Зналъ я напередъ и говорилъ, что, разумъ твой нашему дѣлу не по мѣркѣ!»

— «Въ который разъ, Тимоша, ты поешь мнѣ одну и ту же пѣсню. Перестань говорить о томъ, чего ты не знаешь. Лесли ужъ больно горячо полюбилъ боярышню съ одного пожара, да съ того же огня и у нее занялось сердце. Какъ я по размыслилъ, такъ признаюсь, моей поспѣшности самъ испугался. Вотъ поглядимъ, посмотримъ, любятъ ли они другъ друга? Время покажетъ. Да къ тому, какъ бы я ихъ женилъ, когда никто изъ бояръ за меня не вступился? Даже, Государь, показалось мнѣ, былъ моимъ сватовствомъ не доволенъ, а время все уладитъ.»

Такъ говорилъ Стрешневъ, положивъ книгу, и лежа на софѣ въ своемъ уединеніи, на берегу Яузы,

въ небольномъ опрятномъ домикѣ. На окнахъ его спальни стояли китайскіе цвѣты Лесли; вся утварь была чрезвычайно проста; прислуги никакой; кушанье со дворца приносили.... Въ этотъ день вся Москва готовилась къ великой радости; завтра назначена свадьба царская; минуло и 5 февраля, и свадебные праздники отошли; промелькнулъ и постъ; весна покрасовалось, поиграла и уступила мѣсто степенному лѣту; и лѣто состарѣлось до желта, и побѣлѣло, и родилась у Царя въ началѣ зимы дочь Ирина Михайловна.... Время шло, какъ привыкло, безостановочно впередъ; только одно время такъ на этомъ свѣтѣ ходитъ; никогда не вознаграждается, шага назадъ не дѣлаетъ; и родилась у Царя другая дочь Пелагѣя Михайловна, радость съ печалью, зачѣмъ нѣтъ отцу сына, государству наслѣдника.... А время все идетъ да идетъ, и два года сполна минуло съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ Лесли. Наступило и лѣто знойное; Государыня съ Государемъ ходили къ Троицѣ:—просить заступничества у Сергія, Радонежскаго Чудотворца, да благословитъ Господь ихъ и царство сыномъ. И возвращался Государь съ Государыней въ Москву. На отдыхахъ только и разговаривалъ Государь съ однимъ Стрешневымъ; много умнаго, много новаго слышалъ Государь отъ Лукьяна Степановича, и полюбилъ его Государь пуще прежняго. Когда пришли на Москву, Царь сталъ нерѣдко навѣщать Стрешнева и просиживалъ у него иногда допоздна въ тихой бесѣдѣ.

— «Вотъ Государь,» сказалъ однажды Стрешневъ: «получилъ я отъ Леслія пріятное письмо. Пишетъ, что король Аглецкій на издержки тебѣ военныя даетъ сорокъ тысячъ рейхсталеровъ, да посылаетъ три тысячи добраго своего войска съ Генераломъ Томасомъ Сандерсономъ; что онъ Лесли все уже тамъ исправилъ и покончилъ; войска и снаряды отправилъ, а самъ сухимъ путемъ черезъ Польскія области проѣдетъ, да дорогой соберетъ слухи, вѣсти и что твоей службѣ нужное встрѣтится; да пишетъ, что все войско соберется подъ Москву не раньше февраля, а къ тому времени и онъ подоспѣетъ.»

И это время промелькнуло; наступилъ февраль, а Лесли не возвращался. Пріѣхалъ къ Стрешневу Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. Государь примѣтно былъ обезпокоенъ тяжелою мыслію.

— «О чемъ грусть, Надежа Государь?» сказалъ Стрешневъ: «Будетъ сынъ!»

— «Да какъ ты знаешь мои завѣтныя думы?»

— «Государь, это дума всего твоего царства.»

— «Отчего же сынъ?»

— «Ну, ужъ такъ Государь; я не пророкъ, а отгадчикъ. Я по примѣру Царя Адріана гадалъ на Энеидѣ, и вышелъ стихъ такой, что быть не дочери, а сыну; загадалъ сонъ, и приснилось, что стою предъ ракой Алексія, и приносишь ты на гробъ Святителя соименнаго ему сына.... Проснулся я, и сталъ молиться. И невѣдомо, отъ чего, поминая дочерей твоихъ, я помянулъ и утробнаго сына твоего.... Быть сыну, Государь!...»

— «Быть великой радости всему царству, а отгадчику всякая милость; чего ни попросить, что ни вздумаетъ—все исполню...»

— «Да мнѣ ничего не нужно.... Нѣтъ, Государь, я вспомнилъ. Есть и у меня нужда, да не знаю, захочешь ли ты сдержать слово....»

Государь не успѣлъ отвѣчать. На дворѣ послышался шумъ. Кого-то не пускали въ покои; Стрешневъ поглядѣлъ въ окно и вскрикнулъ: «Лесли! Лесли воротился.» Царь приказалъ впустить своего вѣрнаго полковника, украшеннаго многими иностранными орденами. Государь принялъ его ласково, допустилъ къ рукѣ своей, выслушалъ любопытный разсказъ о дѣйствіяхъ и дипломатическихъ сношеніяхъ Лесли въ чужихъ земляхъ, обѣщалъ милость и приказалъ приготовить все войско къ смотру къ 10 числу марта и, простясь съ вѣрными слугами своими, уѣхалъ. Только уѣхалъ Государь, въ комнату, гдѣ остались наши друзья, вбѣжалъ Тимоша, бросился на шею Лесли и сталъ душить его въ своихъ объятіяхъ.

— «Ай да, племянникъ! А сколько у него новыхъ пряниковъ! Да какъ расписаны, да разволочены! Любо дорого смотрѣть! Съ рожи, все тотъ же, а каковъ-то на изнанку сталъ, какъ-бы его выворотить нутромъ вверхъ. Ну, племянникъ, покажи-ка сердце, отвори-ка душу, кто тамъ?»

И шутъ сталъ глядѣть въ кулакъ на грудь Лесли.

— «Ты меня не знаешь, Тимоша, и я прощаю твоей недовѣрчивости. Какъ эти Китайскіе цвѣты растутъ и веселятся полною жизнію въ обителя

моего благодѣтеля, такъ и цвѣтокъ Лукьяна Степановича у меня въ сердцѣ...»

— «Ай да племянникъ! И какъ говоритъ по заморскому, словно сказку читаетъ...»

— «Я тотъ, да она та ли? Много воды ушло.»

— «Да...» сказалъ Стрешневъ: «если ты и слезы Парани водою считаешь. Она любитъ тебя. Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Много жениховъ было, я Государя объ одномъ просилъ: не отнимать у Парани воли — и всѣ женихи остались...»

— «Съ носомъ!» докончилъ шутъ. «Вотъ какъ мы любимъ. Ужъ это у насъ вся семья такая, и я, и братецъ, и Параша... Можемъ похвалиться, чудо не люди. Ну, а ты?..»

— «Въ самомъ дѣлѣ...» спросилъ Стрешневъ: «что съ твоимъ семействомъ?»

— «Признаюсь, Лукьянъ Степановичъ двѣ лишнихъ недѣли я у Царскаго дѣла утаилъ. Я нашелъ мою семью, графиню, графа, Берту, матушку, судью и двухъ дѣтей Берты, въ полномъ довольствѣ, въ полномъ счастіи. Всѣхъ ихъ печалило только мое отсутствіе. Не матушка моя не перенесла радости свиданія; утомленная восторгомъ материнской любви, Гертруда заснула сномъ крѣпкимъ и уже не проснулась. Графиня съ Бертой и съ дѣтьми переѣхали въ Ригу, чтобъ быть отъ насъ поближе, а графъ Орселей перемѣнилъ фамилію и служитъ у меня капитаномъ въ третьемъ полку. Не хочетъ чужаго хлѣба ѣсть, особенно когда узналъ, что и я имѣю нѣкоторыя намѣренія, нѣкоторыя надежды...»

— «Женой обзавестись?» докончилъ путь.

— «Ну а у васъ, Лукьянъ Степановичъ, что новаго?..»

— «И у меня кое-что есть... Нѣмецкому языку выучился... Вотъ твои книги дочитываю...»

— «А у тебя, Тимоша?..»

— «Есть, есть и у меня обновка: я Нѣмецкому языку разучился. Да что обо мнѣ! Вотъ ты лучше скажи: гдѣ мой должникъ?»

— «Какой?»

— «Какъ какой! Я все молчу, да молчу; про Персидскія шашни его никому ничего не сказываю, а онъ мнѣ третій годъ жалованья не платитъ.»

— «Бѣдный Орлей, пожалѣйте объ немъ!»

— А что такое?..»

— «Въ Лондонѣ онъ хотѣлъ по легкомыслію повторить Персидскую шалость; его поймали и зарѣзали.»

— «Опять Персіянку?..»

— Нѣтъ, его самого...»

— «Ну, что же тутъ важнаго? Око за око, зубъ за зубъ. Мало ему было у насъ науки; мы, послѣ Капитанскаго случая, съ братцемъ такъ перепугались, что совсѣмъ за красными перестали волочиться.»

Счастливые собесѣдники просидѣли до поздняго вечера; ихъ пріятное общество было умножено четвертымъ гостемъ капитаномъ Эльдреномъ, т. е. Графомъ Орселеемъ. Нѣсколько дней пріѣздъ Лесли былъ совершенною тайной для всей Москвы. Немногіе однако же знали, кому о томъ вѣдать

надлежало, и читатели догадаются, что эти немногіе были: Государыня Царица, да первая Комнатная Ея Величества дѣвица, боярыня Прасковья Ивановна. Наступило и десятое число марта. Войско Нѣмецкое, состоявшее изъ тридцати тысячъ разныхъ націй иноземцовъ, стояло въ полѣ между Сокольниками и Тверскою дорогой. Государь съ Боярами, отслушавъ обѣдни, поѣхалъ на смотръ. Лесли представилъ Государю сперва всѣхъ военачальниковъ; потомъ по полкамъ и все войско: тутъ были и Англичане и Шотландцы, и Датчане, и Шведы, и Французы, и Голландцы, и разныхъ государствъ Нѣмцы. Произведенные ими военные примѣры весьма понравились Государю, привели въ изумленіе бояръ. Смотръ оканчивался опытами новыхъ пушкарей изъ пушекъ, недавно отлитыхъ на Москвѣ; поставили далеко мишени, навели орудія. Лесли скомандовалъ и громъ орудій огласилъ все поле. «Сынъ или дочь?» задумалъ Государь, поглядѣлъ — ни одной мишени не осталось, только въ воздухѣ кружились щепки. Стали заряжать орудія для втораго опыта... Вдругъ, цѣликомъ, по полю, летятъ два всадника, одинъ безъ шляпы, другой въ дурацкомъ колпакѣ... Пушкари пріостановились. «Палите, стрѣляйте» кричалъ Тимоша:» сейчасъ и съ Кремля стрѣлять будутъ!.. Слышь! Стрѣляютъ! Слышь! Трезвонятъ!» И Государь догадался и, не ожидая извѣстія, поскакалъ въ Москву. Бояре за нимъ. Поровнявшись съ Стрешневымъ, Государь спросилъ только «Сынъ!»

— «Алексѣй Михайловичъ!» сказалъ громко

Стремянъ и громкое ура сорвалось съ боярскихъ устъ, и все поле повторило радостное восклицаніе....

Миновались первые восторги отцовской радости. Государь сталъ исполнять разные обѣты, данные Богу, вспомнилъ и данный человѣку; позвали отгадчика... Досказывать ли?.. Кажется, не нужно. Всѣ были счастливы и довольны; одинъ только Кречетъ не могъ успокоиться; на свадьбѣ своей дочери умеръ съ тоски. Передъ смертью онъ сказалъ Тимошѣ:

— «Умираю! Велика была обида; я не могъ проглотить ее, умираю...»

— «Полно, такъ ли, братецъ?» сказалъ шутъ: «ты на пирѣ у Александры Ульяновича одинъ проглотилъ цѣлаго фазана съ миндалями. Вотъ это я видѣлъ. А вотъ теперь вижу, какъ фазанъ тебя доѣдаетъ! За то, братецъ, отомщу я всѣмъ фазанамъ за тебя, если ты по себѣ добрыя похороны справишь. А впрочемъ, знаешь что, братецъ, не умирай лучше; скучно...»

Но Кречетъ не послушался, повернулся, заохалъ и кончилъ жизнь, и нашу повѣсть.

ПСИХЕЯ.

Новелла.

—

I.

«...Вы требовали, я исполняю. Въ первый разъ рѣшаюсь импровизировать новеллу. Содержаніе Богъ дастъ, а задачу — вы, очаровательныя звѣзды Итальянскаго неба; да; если бы я управлялъ зодіакомъ, небесныя звѣзды перемѣнили бы имена; въ кружокъ, вотъ какъ сидите, я назвалъ бы Целестиной, Джюдитой, Гортензіей... Гортензіей! Вы покраснѣли, синьора — и подѣломъ! Нестыдно ли напоминать старику блаженныя мгновенія отцвѣтшей юности, дни надеждъ, годы испытаній и цѣлую вѣчность раскаянья...»

— «Разскажите, разскажите!» — зашумѣли дамы. Сильвіо Теста, профессоръ медицины и врачъ знаменитый по всему озеру Комо, съ улыбкой посмотрѣлъ на своихъ очаровательныхъ паціентокъ, стукнулъ пальцами нѣсколько разъ по золотой табакеркѣ, украшенной лѣпнымъ портретомъ женщины, привсталъ, лодка закачалась, дамы насильно усадили его на прежнее мѣсто и снова настоятельно требовали разсказа.

— «Разскажите!...»

— «Слова медика — рецепты; о, если бы разсказъ мой могъ хотя одну изъ васъ вылечить отъ врожденной болѣзни, которая вамъ столько доставляетъ блаженныхъ сновъ, сколько не произведетъ цѣлый фунтъ опіума. Попытаюсь; нынче такъ много новыхъ системъ леченія; можетъ быть и я близокъ къ открытію легкой и простой методы пользовать человѣчество — разсказами. Дешевый способъ. Я же пойду по міру, но извольте, приготовтесь! Начинаю.

—

II.

«...Оглянитесь; надъ вами возвышаются живописныя развалины замка Комо; внизу въ оливковыхъ садахъ и каменной рамкѣ стѣнъ спитъ нашъ торговый городокъ; чулочницы и перчаточницы шушукаютъ въ постеляхъ; фабриканты бархата и тафты сводятъ счеты; дѣятельность уснула; такъ бывало и въ прежніе годы; только на склонѣ бѣловатыхъ горъ, видите вотъ тамъ, гдѣ бока огромныхъ холмовъ изрыты орудіями человѣка, только тамъ въ прежніе годы копошились люди далеко за полночь, добывали мраморъ для епископскаго собора, или дворцевъ Галли и Одескальки, украшающихъ предмѣстіе Вико, или для работъ на виллу Д'Эсте, куда герцогъ Торлонія бросилъ часть избытка своихъ непомѣрныхъ богатствъ. Мраморъ нашъ неровенъ; случаются превосходные куски и ваятели со всѣхъ сторонъ Италіи нерѣдко навѣщаютъ нашу мраморную ложку...

Въ 1783 году я возвратился на родину; вотъ

на такой же лодочкѣ каждый день уѣзжалъ на озеро, и возвращался домой поздно ввечеру; новая медицинская книга и новыя ноты для флейты были со мной неразлучны; при такой жизни, конечно, практика моя была весьма ограниченна; на зовъ къ больному я шелъ неохотно, повинуясь болѣе обязанности, нежели необходимости промышлять деньгу; молодой человѣкъ двадцати шести лѣтъ, въ тогѣ доктора философіи, хирургіи и медицины, купленной въ Италіи и Германіи не деньгами, а трудомъ и небольшими способностями... не правда ли, будущность улыбалась? Свѣжесть юности, огромныя права моего званія, недостатокъ въ медикахъ и множество больныхъ желаніемъ лечиться на очаровательномъ озерѣ.... не смотря на все это, я не вѣрилъ моему назначенію: мнѣ казалось, родители ошиблись въ моихъ склонностяхъ; музыка меня сводила съ ума; живописные берега озера просились подъ карандашъ и сами отзывались во мнѣ звучными, красивыми строфами стиховъ; вмѣсто медицинскихъ книгъ со мной плавали Аріосто и Тассо, и часто весла гребцовъ останавливались отъ поразительныхъ описаній, особенно изъ Аріостова Орландо. Такъ прошло болѣе трехъ недѣль; немногіе больные, съ первыхъ дней моего пріѣзда призвавшіе меня на помощь, выздоровѣли; я совершенно сталъ свободенъ, и цѣлый день, а иногда и большую часть ночи, озеро оглашалось октавами стиховъ или звуками флейты. — Въ одну изъ прогулокъ я замѣтилъ лодку; въ теченіи двухъ слишкомъ часовъ

она плавала по слѣдамъ моей, но въ такомъ отдаленіи, что я не только не могъ разглядѣть лицъ, но даже одеждъ; я уходилъ, перемѣнялъ направленіе плаванія, сердился, все напрасно; наконецъ пошелъ прямо къ ней на встрѣчу; враждебная лодка шибко бросилась къ городу; я прибавилъ ходу, но не смотря на всю поспѣшность, она пристала прежде насъ къ берегу, и я видѣлъ, что двѣ женщины съ особенною легкостію выпрыгнули и скрылись.... Распрашивать гребцовъ не позволяла гордость; я возвратился на озеро. Но странное дѣло: съ этого мгновенія я забылъ Тассо, Аріосто и флейту; скрестивъ руки, я недвижно глядѣлъ на пѣнящійся слѣдъ лодки; въ первый разъ въ жизни я впалъ въ глубокую задумчивость, т. е. ничего не думалъ; предметы быстро, но безпослѣдовательно смѣнялись въ воображеніи; мнѣ стало грустно; я не понималъ причины; какъ будто попался въ запутанное дѣло и не зналъ какъ изъ него выдти. Не знаю, чѣмъ бы все это кончилось, если бы крикъ: «берегъ!» не разбудилъ меня.

— «Гдѣ мы?» спросилъ я.

— «А вотъ у мраморной ломки...» отвѣчалъ гребецъ: «Поло сходитъ къ своему брату, что на работахъ, а мы пока отдохнемъ; устали.»

— «Пойдемъ, Поло!» сказалъ я, почти не думая, что дѣлаю, чего желаю, и вскорѣ мы остановились у мраморной глыбы, которую весьма внимательно осматривало нѣсколько человѣкъ.»

— «Для большаго и столь сложнаго памятника

мраморъ вашъ рѣшительно не годится...» сказалъ человѣкъ небольшаго роста, въ темномъ сюртукѣ и широкополой соломенной шляпѣ: «Но я возьму у васъ нѣсколько кусковъ меньшаго размѣра; для небольшихъ статуй, я думаю, они будутъ хороши; я постараюсь въ отдѣлкѣ придать какъ можно болѣе нѣжности, лоска; можетъ быть это послужитъ въ пользу для вашихъ горъ...»

— «Повѣрьте, синьоръ...» отвѣчалъ небольшой человѣкъ, безпрестанно кланяясь: «повѣрьте честному слову, что у насъ случаются такія глыбы, какихъ нѣтъ и въ Каррарѣ; только въ томъ наша бѣда, что гг. скульпторы называютъ нашъ мраморъ Каррарскимъ, чтобы сбыть свои произведенія подороже, а иногда и по незнанію, потому что покупаютъ не у насъ изъ первыхъ рукъ, а у Римскихъ и Флорентинскихъ барышниковъ. Синьоръ Канова! вашимъ произведеніямъ не придастъ цѣны происхожденіе мрамора, а достоинство его вы сами испытаете; хотите, не хотите, а я все-таки пошлю вамъ эту глыбу въ Римъ и увѣренъ, что она попадетъ въ Ватиканскую Базилику или къ Апостоламъ. Денегъ не беру! Сами пришлете, какъ поработаете. Мягкій безъ дряблости, жилокъ не много; пещерокъ вовсе нѣтъ; увидите, сами увидите; только объ одномъ прошу: не скрывайте, что этотъ мраморъ съ нашего озера!»

Канова улыбнулся и сказалъ ласково:

— «Я беру мраморъ и прошу прислать мнѣ въ Римъ пять, шесть кусковъ для малыхъ статуй, а

изъ этого, Піетро, я сдѣлаю Психею; давно на душѣ лежитъ, да не могу найти лица...»

И пошелъ съ своимъ Піетро къ лодкамъ; я за нимъ; извѣстность Кановы въ то время уже была обширна, но меня влекло къ нему еще какое-то особенное предчувствіе, которому я повиновался, какъ слуга приказанію хозяина.

— «Напрасно вы набрали такую кучу мрамора!» сказалъ Піетро: «Богъ знаетъ, будетъ ли изъ него еще прокъ...»

— «Я убѣжденъ, что мраморъ плохъ; но мнѣ стало жаль трудолюбиваго Цекки; вся Италія спитъ сномъ летаргическимъ отъ того, что ни въ комъ, ни къ чему нѣтъ охоты, нѣтъ ободренія; нѣсколько сотъ скудъ не раззорятъ насъ; Цекки на десять недѣль будетъ чѣмъ жить и кормить два три десятка нищихъ работниковъ!...

—

III.

«...На другой день мнѣ уже не хотѣлось ѣхать на озеро; какъ будто я чего-то боялся; дома было скучно; я пошелъ навѣстить немногихъ знакомыхъ, и, такъ сказать, не моихъ, а старыхъ пріятелей покойныхъ моихъ родителей, и началъ съ одной старушки, у которой не былъ съ пріѣзда. — Было еще очень рано, къ ней лежалъ путь по самымъ отдаленнымъ переулкамъ предмѣстія Вико; на улицахъ почти никого не было; только слуги носили въ дома воду, мели дворы, и т. д. Не доходя шаговъ двадцати до небольшаго домика моей знакомки, вдругъ вижу: окно распахнулось и старушка

покапливая кричала пискливымъ голосомъ, грозя пальцемъ: «Маріанна, Маріанна! Вода уже черезъ бѣжитъ!..» Я оглянулся и увидѣлъ забавную сцену; подъ водометомъ стояло ведро; вода давно его наполнила и бѣжала черезъ верхъ полнымъ кругомъ, какъ колпакъ; дѣвушка одну руку протянула къ ведру, другою подавала розу молодому человѣку, который, вѣроятно испуганный неожиданною свидѣтельницею дружескихъ его объясненій, отворотился отъ Маріанны въ противную сторону и, покраснѣвъ до ушей, манилъ рукою собаку; онъ воображалъ, что эта хитрость совершенно увольнитъ Маріанну отъ наставленій, упрековъ, а можетъ быть и отъ дѣйствительнѣйшихъ, убѣдительнѣйшихъ фигуръ домашняго краснорѣчія... Этотъ мимическій балетъ продолжался мгновеніе, и молодой человѣкъ, недовольный собакою, старушкою и судьбою, пошелъ своею дорогою; я потерялъ охоту навѣстить старую знакомую, боясь попасть изъ балета въ трагедію, и пошелъ за молодымъ человѣкомъ безъ всякой цѣли... Онъ оглядывался безпрестанно, вѣроятно желая видѣть или, по крайней мѣрѣ, угадать, какъ выпла его Маріанна изъ затруднительнаго положенія, и я невольно догналъ его. Мы разговорились, и я узналъ, что онъ служитъ у другой старушки также не совсѣмъ кроткаго нрава; фамилія показалась мнѣ знакомою; вдругъ распросы мои были прерваны. — «Синьора въ окнѣ!» закричалъ Джакомо; такъ звали моего новаго знакомца: «О Санта Марія! А я и забылъ, зачѣмъ меня посылали.»

— «А за чѣмъ же тебя посылали?» спросилъ я.

— «За докторомъ, синьоръ...» отвѣчалъ Джакомо, почти съ плачемъ: «Будетъ же теперь мнѣ... Ахъ, Маріанна, Маріанна, зачѣмъ ты такъ рано ходишь за водой? Зачѣмъ къ этому проклятому водомету? и вода нехороша; тамъ только лошадей поятъ...»

И конца бы не было его упрекамъ, если бы я не сжалился надъ бѣднымъ Джакомо, и не сказалъ ему, что я также медикъ и могу помочь его горю... Гермесъ, прибавилъ я съ неумѣстною важностью, покровительствуетъ и любовниковъ и нашу братью.

—

IV.

«...Мы были слишкомъ близки къ окну, въ которомъ съ выраженіемъ искренняго нетерпѣнія торчала старушка лѣтъ шестидесяти; Джакомо сзади шепталъ мнѣ что-то; но я не могъ разслушать. Мы вошли, и Джакомо, не запинаясь, объявилъ, что синьора Лангодуччи онъ не нашелъ дома и рѣшился обратиться ко мнѣ, по указанію одного товарища, который шелъ къ ранней обѣднѣ въ соборную церковь...

Старушка, не смотря на преклонныя лѣта, была совсѣмъ одѣта, съ особенною важностью и особенно отборными словами привѣтствовала меня. Я кланялся и отвѣчалъ довольно ловко...

— «Все мое богатство...» говорила старушка:

»единственная драгоцѣнность — Гортензія. Я живу для нея. Она сирота. Отецъ умеръ въ Неаполѣ, а дочь моя, мать Гортензіи, перешла въ вѣчность здѣсь въ Комо; вы вѣроятно видѣли мраморный памятникъ въ церкви Св. Луки; мнѣ прислалъ для него рисунокъ синьоръ Канова, когда онъ еще учился въ Венеціи. Я тотчасъ угадала въ немъ генія; мраморщики перепортили — но я имъ не простила и наказала по своему.. »

Я никакъ не могъ понять зачѣмъ зовутъ доктора; гдѣ больной, гдѣ опасность, къ чему эта откровенность?.. но вскорѣ все разрѣшилось... Тяжело и сладостно вспоминать эту ужасную встрѣчу; о, прелестныя, милыя, очаровательныя женщины, зачѣмъ вы не скрываетесь въ монастыряхъ и прямо изъ келіи не идете къ брачному обряду? За чѣмъ, на пути къ этой единственной цѣли, вы волнуете, волнуетесь, и всѣ воспоминанія свои наполняете жертвами, какъ аптекари свою библіотеку, исполненными безполезными рецептами! Вошла, вбѣжала больная; румянецъ здоровья игралъ во всю щеку; черные какъ смоль волоса, въ мелкихъ косичкахъ, скользили по бѣлой одеждѣ; черные большіе глаза блистали ярко; станъ высокій, стройный, гибкій; правильныя черты, — и наконецъ нечаянность... Не смѣйтесь, синьоры, — я влюбился. Влюбился съ перваго взгляда; влюбился такъ, что у меня потолокъ въ глазахъ вертѣлся; влюбился такъ, что и бабушка улыбнулась, и внучка покраснѣла; такъ, что до сихъ поръ не могу освободиться отъ этихъ докучныхъ слезъ...»

Сильвіо Теста отвернулся, желая скрыть, по крайней мѣрѣ, стереть живые признаки живыхъ воспоминаній и, не позволяя опомниться слушательницамъ, продолжалъ:

— «Вотъ больная!..» съ улыбкой сказала старушка:» Она всѣхъ ужасно перепугала; на меня нашелъ паническій страхъ. За полночь Морфей раскинулъ своей маковой покровъ, и мы уснули. — И я въ свое время была не хуже Гортензіи; и у меня были Нарцисы и Адонисы; но всѣхъ болѣе понравился мнѣ синьоръ Каэтано Алальки, здѣшній фабрикантъ тафты и бархата; вы можете судить по его портрету, который вмѣстѣ съ моимъ, видите, виситъ вотъ тамъ на стѣнѣ, надъ моею кроватью; давно мы съ нимъ разстались, но въ продолженіи тридцатилѣтней нашей разлуки, съ вечерними молитвами всегда сливалось и объ немъ воспоминаніе; такъ было вчера. Только что я уснула, и представьте себѣ: гляжу, какъ-будто наяву; и я, и онъ улыбаемся на портретахъ; я со всею скромностію невѣсты, онъ со всею внимательностію жениха; онъ необыкновенно нѣженъ и учтивъ; во всемъ Комо и кругомъ по озеру, онъ считался первымъ щеголемъ, а въ наше время нашествіе Французской моды сдѣлало щегольство затруднительнымъ и дорогимъ; пошли кафтаны à la Louis XIV; пошли мушки и фижмы; Каэтано, я думаю, половину произведеній фабрики тратилъ на себя и невѣсту. Мы были уже на дружеской ногѣ, и я нерѣдко позволяла себѣ дѣлать замѣчанія. Такъ и вчера...» Ахъ Каэтано, говорю я ему...

опять повый костюмъ!» — А онъ, шалунъ, вмѣсто отвѣта, подаетъ мнѣ розу и съ такою улыбкою, просто изъ Гольдоніевской комедіи, я такъ и расхохоталась...

Старушка въ самомъ дѣлѣ расхохоталась и закашлялась.

Все время я слушалъ ее опустивъ глаза; теперь хотѣлъ воспользоваться удобною минутой, украдкой взглянуть на Гортензію, но не успѣлъ рѣшиться, какъ старушка опять забарабанила:

— «Не знаю, чѣмъ бы кончилось свиданіе съ Каэтано, какъ вдругъ слышу чьи-то стоны, крикъ, просыпаюсь, и при слабомъ блескѣ лампады вижу, моя Гортензія лежитъ вся скорчившись, въ ужасѣ, совсѣмъ раскрылась; на лицѣ видно, что ее тяготитъ страшный сонъ; не успѣла я приподняться, какъ она вскрикнула пронзительно, и вскочила... «Что съ тобой, Гортензія?..» — Гдѣ онъ? спросила она. — «Кто?» — Мой мавзолей и эти ужасные барельефы? — «Какіе?» — Ахъ, бабушка, что мнѣ снилось! Въ этомъ углу двое мужчинъ ставили мнѣ памятникъ! Я, мертвая, лежала уже въ гробу, они хотѣли опустить меня въ склепъ; съ ужасомъ вглядываюсь въ мою гробницу; на ней, вмѣсто барельефовъ, какіе-то крылатые кони, скелеты, сказочныя, чудовища. — Не хочу! закричала я. — Не хочешь, глухо застонали чудовища, ожили, снялись съ мрамора, и закружились надъ моею головою въ воздухѣ съ ужаснымъ шумомъ и хохотомъ; я хотѣла укрыться подъ саванъ; не нахожу его; они все ближе; одинъ барель-

ефъ, крылатый всадникъ, вырвалъ меня изъ гроба и понесъ по воздуху; я собрала послѣднія силы, закричала и проснулась...» Представьте, синьоръ, мое положеніе! Гортензія — все мое богатство, единственная драгоцѣнность; не успѣла она разсказать свой сонъ, какъ уже разумѣется весь домъ былъ на ногахъ, а Джакомо на пути къ доктору. Слишкомъ часъ Гортензія не могла успокоиться, наконецъ мало по мало затихла и уснула; но я тотчасъ одѣлась и до сей поры просидѣла у окошка. Благодаренье Богу! Гортензія, какъ сами видите, теперь внѣ опасности; но я должна была, согласитесь сами, на всякій случай принять свои мѣры; а теперь не могла не разсказать подробно причины, по которой я обезпокоила васъ и вмѣстѣ пріобрѣла пріятное знакомство. Ваша готовность заслуживаетъ полную мою признательность...» — Благодаренія посыпались градомъ, такъ что я не зналъ куда дѣваться и считалъ себя дважды счастливымъ, когда они окончились завтракомъ...

—

V.

«...Если бы старушка не перепугала Джакомо и Маріанны, а глупый сонъ не посѣтилъ Гортензіи; если бы эти два совершенно ничтожныя обстоятельства не вмѣшались въ мою жизнь, можетъ быть... нѣтъ! такъ слѣдовало, такъ нужно было для тайнаго порядка природы, для глубокихъ и мудрыхъ намѣреній промысла, и ропотъ мой похожъ на негодованіе ребенка, когда его заставляютъ гулять во время бури

и ненастья, и стараются пріучить съ малыхъ лѣтъ нѣжную его природу ко всѣмъ перемѣнамъ воздуха.

За завтракомъ старуха говорила одна долго и много; между прочимъ, какъ сонъ игралъ немалую роль во всемъ этомъ происшествіи, старушка нашла и ему законную причину, именно: вчера со внучкой они ходили къ С. Лукѣ и молились у праха матери Гортензіи. И она была очень тронута, продолжала старушка, плакала; я ей разсказывала всю жизнь ея матери и какое дала воспитаніе доброй моей Авреліи, и какъ она прекрасно играла на арфѣ, и какъ хорошо писала портреты и небольшія картины, и какъ знаменитый Феррари, племянникъ или внукъ Торрети, сожалѣлъ, что она уже за мужемъ, и какъ я досадовала, что поспѣшила ея замужствомъ; онъ хотѣлъ увезти Аврелію отъ мужа, также фабриканта Комскаго, но Аврелія, правда, хотя и любила его искренно, однакожъ покорилась долгу добродѣтели и моимъ совѣтамъ, и какъ дорого за то заплатила! Въ отчаяніи онъ уѣхалъ, а моя Аврелія въ шесть мѣсяцевъ исчахла, изсохла, умерла, оставивъ мнѣ живое свое изображеніе въ десятилѣтней дочери; знаменитый Феррари, узнавъ о ея смерти, захворалъ; ученикъ его, Канова, желая утѣшить учителя, сдѣлалъ рисунокъ ея памятнику; получивъ рисунокъ, я тотчасъ угадала въ Кановѣ геніи и приказала нашимъ мраморщикамъ сдѣлать гробницу по этому рисунку изъ нашего мрамора. Испортили, испортили: это просто ремесленники, барышники. Я сначала думала жаловаться; но потомъ

рѣшилась наказать ихъ самымъ чувствительнымъ, образомъ: ничего не заплатила имъ за работу, они не посмѣли жаловаться... И этотъ памятникъ, и воспоминанія о жизни Авреліи, вѣроятно, навѣяли на нее такой тягостный сонъ... Не правда ли, синьоръ? Какъ вы думаете?..

Продолжительныя рѣчи старушки дали мнѣ нѣкоторую возможность придти въ себя, и я довольно порядочно могъ отвѣчать на этотъ вопросъ: но въ соображенія медика вмуталась германская мечтательность, и я въ заключеніе прибавилъ: «—Впрочемъ за горами, подобные сны и даже существенныя, важныя событія жизни любятъ приписывать таинственнымъ отношеніямъ людей, невидимой связи душъ, магнетическому сродству... и признаюсь, многіе опыты заставляютъ подозрѣвать въ этихъ предположеніяхъ нѣкоторую степень истины. За горами непремѣнно-бы сонъ синьоры Гортензіи приписали пріѣзду Кановы въ нашъ городъ...»

— «Развѣ онъ здѣсь?» вскрикнули обѣ. И я примѣтилъ на лицѣ Гортензіи такое странное смѣшеніе удовольствія и досады; въ румянцѣ такую сильную перемѣну, въ голосѣ такіе звуки, что невольно затрепеталъ всѣмъ тѣломъ. Скрѣпя сердце, я разсказалъ, какъ я его увидѣлъ; но когда разсказъ коснулся обстоятельствъ, которыя привели меня на мраморную ломку, новое удивленіе! — Гортензія покраснѣла, отворотилась отъ старушки, а я совершенно смѣшался. Старушка отъ души смѣялась и журила за мечтательность; къ проно-

вдри она вдругъ приложила обращеніе къ внучкѣ:
— «Вотъ и ты, Гортензія, связалась съ этой Идой, что спитъ и видитъ картины, стихи, музыку... И онъ тоже, синьоръ, частенько гуляютъ по озеру вдвоемъ, и воротясь пишутъ стихи, а Гортензія перечертила почти всѣ берега нашего озера, и очень недурно: у нея талантъ посильнѣе еще, чѣмъ у Авреліи. Покажи, Гортензія, свои рисунки.»

— «Помилуйте, бабушка...»

— «Покажи, покажи! Неумѣстная скромность! Очень хорошо, нечего стыдиться... И если Канова скажетъ, что изъ тебя можетъ выйти со временемъ хорошая художница, я найму тебѣ учителя, а до тѣхъ поръ я дозволяю твои занятія, какъ забаву... Ну, Гортензія, покажи, покажи свои маранія...»

Гортензія заплакала съ досады и усѣлась у окна съ видимою рѣшительностію не показывать рисунковъ....

— «Упрямица! неблагодарная!» и упреки посыпались градомъ. Я не хотѣлъ быть свидѣтелемъ домашней сцены и началъ откланиваться... «Нѣтъ, погодите, погодите, синьоръ! Я поставлю на своемъ...» — «Никогда, бабушка!» вскочивъ сказала Гортензія и стрѣлой бросилась въ спальню. Не прошло минуты, Гортензія вышла держа въ горсти кучу лоскутовъ.»

— «Вотъ мои работы, бабушка!...» и вѣтеръ разнесъ ихъ по пустой улицѣ.... Я ушелъ.

—

VI.

На улицѣ никого не было; лоскутки кружились, вѣтеръ опять подымалъ ихъ и разбрасывалъ; точно мои мысли, мои чувства въ это ужасное утро: я собиралъ лоскутки, и у самаго окна поймалъ на лету послѣдній. До того времени я и не примѣтилъ, что у окна стояла Гортензія, но въ эту минуту она перевѣсилась черезъ окно и шепотомъ сказала мнѣ:

— «Синьоръ, не стыдно-ли?»

Я остолбенѣлъ.

— «Отдайте мнѣ....»

— «Не могу!...» И постоянно воспламеняясь, я началъ цѣловать кучу лоскутковъ съ восторженными приговорками.... Голосъ мой возвышался. —«Бабушка идетъ, бабушка! Сожгите ихъ...» торопливо сказала Гортензія; окно захлопнулось, а я, какъ стрѣла, умчался въ противную сторону, такъ, что старушка не могла меня замѣтить.

—

Три дня я не выходилъ изъ дому; ползалъ по полу, складывалъ лоскутки, подобранные подклеивалъ; вѣтеръ унесъ у меня нѣсколько кусковъ и первый мой выходъ былъ прямо къ дому Алальки; поиски мои были напрасны; завистливый вѣтеръ далеко уже тѣшился своею добычей; но и моя побѣда была немаловажна; въ три дня я успѣлъ сложить 43 разной величины эскиза, рисованныхъ карандашемъ въ однѣхъ чертахъ и съ тушовкой. Видовъ озера Комо было немного,

большею частію миѳологическія бредни молодаго, но художническаго воображенія. Конечно, все это было плохо связано, плохо нарисовано, но во всемъ однакожъ проявлялось сильное, возвышенное чувство. Удачнѣйшими были граціозныя фигуры дѣтей и женщинъ.... Почти въ каждомъ сочиненіи съ фигурами, я замѣчалъ одну и ту же дѣвушку, съ гордой осанкой, съ повелительными жестами, но съ тѣмъ вмѣстѣ съ какою-то простодушною невинностью въ лицѣ. — Эта дѣвушка никогда не принимала участія въ главномъ дѣйствіи; занималась то разсматриваніемъ памятника, то чтеніемъ книги, то держала на рукѣ за легкія крылышки мотылька, то карандашемъ чертила виды далекихъ горъ.... но болѣе всѣхъ поразилъ меня одинъ эскизъ. На озерѣ въ лодкѣ человѣкъ, будто играетъ на флейтѣ; и тутъ та же дѣвушка на берегу, но не одна, а съ подругой; онѣ обнялись; будто слушаютъ далекую игру.... Не было больше сомнѣнія; это она, это я!... Самолюбіе, какъ кошка, любитъ само себя нѣжить; любовь оправдывала всѣ предположенія, а догадки обращала въ доказанныя истины. Нѣсколько разъ я приходилъ къ дому Алальки и не могъ войти; не стыдъ, а какая-то добрая судьба была на стражѣ; наконецъ я одолѣлъ это ужасное чувство, вошелъ и вижу: за столомъ сидитъ Канова; передъ нимъ большая книга; онъ что-то чертитъ; за его столомъ, преображенная, едва дыша, стояла Гортензія и блестящими глазами слѣдовала за всѣми движеніями знаменитой руки. Старушка, надѣвъ

очки, сидѣла возлѣ и также не безъ вниманія разсматривала работу.

—

VII.

«...Я не зналъ, уйти,—или остаться, но старушка первая замѣтила меня и вывела изъ затруднительнаго положенія.—Милости просимъ, милости просимъ! сказала она, и опять принялась глядѣть на работу. Ни Канова, ни Гортензія не замѣтили меня, даже послѣ привѣтствія старушки.... Я подошелъ къ столу и невольно посмотрѣлъ на работу; это былъ портретъ Гортензіи, именно въ томъ самомъ положеніи, которое чаще другихъ повторялось въ ея собственныхъ эскизахъ — *съ бабочкой на ладони*.... Когда я подошелъ, художникъ уже подписывалъ: Антоніо Канова, Комо. 1783 года.

— «Похожа ли?» спросилъ онъ старушку, съ самодовольною улыбкою подавая ей книгу....

— «Удивительно, удивительно!...» кричала старушка....

— «Такъ вчера я первый разъ имѣлъ удовольствіе васъ встрѣтить и не могъ налюбоваться....» сказалъ Канова, обращаясь къ Гортензіи: «А знаете ли причину? Я нашелъ въ васъ совершеннѣйшій идеалъ Психеи, и какъ только пріѣду въ Римъ, постараюсь передать черты ваши мрамору, въ этомъ самомъ положеніи.»

— «Вы скоро ѣдете?» съ трепетомъ спросила Гортензія....

— «Сегодня.»

— «Сегодня!» и смертная блѣдность смѣнила живой ея румянецъ.

— «Что, синьоръ...» сказала старушка, обращаясь ко мнѣ: «я поставила на своемъ. Великій Канова видѣлъ работы моей Гортензіи и настоятельно требуетъ, чтобы она продолжала свои занятія; но вотъ бѣда, у насъ учителя плохи.»

— «Они нужны только для механизма, а талантъ въ дружбѣ съ натурой: скоро познакомится со многими ея таинствами и сдѣлается независимымъ...» — Сказавъ это, Канова взялъ шляпу...

— «Вы уже уходите?...»

— «Я долженъ былъ уѣхать еще вчера. Психея задержала.... Піэтро сердится.... Въ Римѣ ждутъ работы.... Мы невольники.... не имѣемъ права располагать своимъ временемъ. Постоянный трудъ —наша постоянная обязанность....»

Распростился.... ушелъ.... и старушка разсказала подробную, но незанимательную исторію, какъ она заманила Канову въ свой домъ, какъ показала рисунки внучки, полученные ею давно еще въ подарокъ и пр. и пр. Я слушалъ вскользь, не сводя почти глазъ съ прекрасной Гортензіи. Что дѣлалось въ душѣ ея, не знаю, но лице тысячу разъ принимало другое выраженіе.... Глубокая грусть осѣнила наконецъ мраморное чело Психеи, и она, безмолвная, ушла въ спальню. Бабушка продолжала свой разсказъ.... я уже ничего не слушалъ и не слышалъ.... вдругъ съ заплаканными глазами выходитъ Гортензія. — «Пойдемъ гулять, бабушка....» — «Что ты это, другъ

мой? теперь наступаетъ зной...» Гортензія какъ была въ соломенной шляпкѣ, такъ и сѣла за столъ, и глядя на чудную Психею, погрузилась въ глубокое размышленіе.... Бабушка ушла.... мы остались одни въ первый разъ и.... но, слушайте, слушайте.... теперь только начинается существенная часть моего разсказа....

— «Вы сожгли ихъ?» спросила она тихо и съ дивнымъ спокойствіемъ.

— «Нѣтъ.»

— «Благодарю. Теперь они имѣютъ для меня какую-нибудь цѣну; жаль, что ихъ не видѣлъ Канова.... Нѣтъ! къ лучшему.... Успѣхи будутъ замѣтнѣе; вы рисуете?...»

Я улыбнулся...

— «Нарисуйте мнѣ что нибудь на память....»

— «Послѣ Кановы!?...»

— «Правда! Кто осмѣлится бросить мысль свою на бумагу возлѣ этаго дивнаго карандаша, обратившаго обыкновенную дѣвушку въ греческую богиню!... Полюбуйтесь, синьоръ, полюбуйтесь! И бабушка находитъ, что эта Психея похожа на меня! Нѣтъ, это не я; это дума Кановы, небесная, чистая душа! Невинная, она ищетъ уединенія, бесѣды съ природой; посмотрите, какъ она глядитъ на легкокрылую бабочку, какъ боится стереть эту живопись, которою украшены прозрачныя крылышки!... И онъ ѣдетъ, уѣхалъ!...» почти забываясь, шептала Гортензія.... и въ это мгновеніе, она точно не походила на портретъ свой; какая-то странная важность, царственное

величіе разливалось во всей фигурѣ Гортензіи; она сидѣла, какъ статуя Агриппины; голова упиралась мраморнымъ бодбородкомъ въ нѣжную грудь, и эту грудь подымали рѣдкіе, но глубокіе, тяжкіе вздохи.

— «Призваніе!...» съ горькою улыбкою сказала Гортензія: «Во мнѣ есть призваніе, сказалъ ты!!... Къ чему, Антоніо?»

— «Къ искусству, синьора, которое усладитъ самыя горькія минуты, украситъ самую печальную жизнь....»

— «Не думаю.»

— «О, я испыталъ....» съ жаромъ сказалъ я: «все блаженство, всѣ райскія наслажденія, даруемыя музами....»

— «Такъ будьте же моимъ проводникомъ въ этотъ рай; я не вижу пути: мнѣ кажется, искусство приведетъ меня...»

Она остановилась и потомъ, какъ будто припоминая, спросила:

— «И не уже ли на Божьемъ свѣтѣ нѣтъ болѣе блаженства?..»

— «Въ одной любви, синьора.»

— «Въ любви!» съ примѣтнымъ опасеніемъ спросила Гортензія: «Ихъ нельзя, не должно любить! Не наши!..»

— «Кого, синьора?..»

Бабушка вошла и, спустя нѣсколько мгновеній, я ушелъ и безпрестанно повторялъ вопросъ въ душѣ моей... Кого, Гортензія? Кто они?..

VIII.

— «Бѣда съ учителями!..» сказала бабушка, когда я на третій день посѣтилъ домъ Алальки. У насъ въ Комо всего ихъ двое: ни одинъ, ни другой не годится. Гортензія говоритъ, что она сама больше знаетъ, а сама ничего не работаетъ; вотъ нарисовала бы мой портретъ, вѣдь мнѣ седьмой десятокъ; умру скоро.. .»

Гортензія мрачно взглянула на старушку; мнѣ показалось, какъ будто въ глазахъ ея былъ написанъ вопросъ: «А скоро ли?...»

— «Или вотъ портретъ нашего новаго и добраго знакомца...» продолжала старуха: «Сидитъ, сложивши руки; Богъ знаетъ, объ чемъ думаетъ; вчера и вечернихъ молитвъ не прочитала бъ, если бы я не напомнила....»

Прошла недѣля. Гортензія совершенно перемѣнилась; объ искусствѣ и думать позабыла; румянецъ весьма уменьшился; глаза впали; отъ окошка къ столу или въ постель, и опять къ окошку; въ разговорахъ мелькали мысли и слова безъ значенія.... Я предвидѣлъ, что мнѣ придется оставить любовь и приняться за медицину; такъ и случилось.... Не прошло трехъ, четырехъ дней, какъ меня перепугалъ Джакомо ужаснымъ извѣстіемъ: «Пожалуйте къ намъ, молодая синьора умираетъ...» Признаюсь, я повѣрилъ Джакомо; не помню промежутка времени, въ который я пробѣжалъ отъ себя въ спальню Гортензіи, а это было съ добрую четверть мили.... Я нашелъ ее въ сильной горячкѣ; сонъ, который мы съ бабушкою считали слу-

чайностью, воскресъ въ больномъ воображеніи. Странны, непонятны были явленія ея болѣзни; ей все видѣлся какой-то ненавистный вѣнецъ; она рвала его, топтала, называла своими цѣпями; то вдругъ рубила статую изъ мрамора и, дико оглядываясь, съ страшною улыбкою спрашивала у насъ: «Не правда ли, какъ я похожа?» Мнѣ удалось сильными медицинскими средствами унять горячку; всю ночь я просидѣлъ у больной, наблюдалъ за всѣми послѣдствіями моихъ лекарствъ и ходомъ болѣзни; добился хорошей испарины, и не сводя глазъ съ спящей Психеи, просидѣлъ при ней до утра. — Она проснулась.... Первыя мгновенія были для меня сладостны; она какъ-будто угадала мою заботливость, и выраженіе нѣмой благодарности отразилось въ потускломъ глазахъ и улыбкѣ.... Но увидя бабушку, Гортензія мгновенно потеряла веселый видъ и отвернулась.... «Надо оставить больную одну...» сказалъ я: «ей нуженъ покой...» Гортензія опять повернулась къ намъ и сказала слабымъ и умоляющимъ голосомъ: «да, да.... одну.... докторъ... не уходите!...»—«Я буду въ другой комнатѣ...» отвѣчалъ я: «и въ свое время приду навѣстить васъ... Уйдемте!...»—«Благодарю!...» прошептала больная; мы вышли; старушка, что то разсказывая, уснула. .. усталость и безсонница взяли свое; я сѣлъ возлѣ самой двери въ спальню и безпрерывно прислушивался, что дѣлаетъ больная... Она тяжко вздохнула. Тихо, не слышно, какъ тѣнь, я проскользнулъ въ спальню....

— «Садитесь, Сильвіо!...»

Я былъ очарованъ дружескимъ обращеніемъ и позволилъ себѣ отвѣчать языкомъ домашняго, близкаго человѣка.

— «Гортензія! Не хотите ли чего?...»

— «Воды. Меня томитъ жажда.... Нѣтъ, Сильвіо....» печально сказала она, возвращая кубокъ съ водою: «ничто не утолитъ меня; одна независимость... Сильвіо, я не больна... не лечите меня.. вы не можете вылечить.... воздухъ Комо для меня отравленъ.... Въ Римъ, Сильвіо, въ Римъ!... тамъ больница для такихъ больныхъ.... Тамъ произведенія Рафаэля и его божественнаго потомства, тамъ....

Она остановилась; я догадывался; смѣсь досады и состраданія щемила сердце....

— «Договаривайте... договаривайте!...» сказалъ я почти задыхаясь...»

— «Зачѣмъ же сердиться?—Пожалѣйте лучше и помогите несчастной; или въ Римъ или въ могилу; я въ вашихъ рукахъ, Сильвіо; вы знаете мою тайну, теперь лечите;... послушайте.... Сильвіо... мнѣ страшно говорить.... Она стоитъ надъ гробомъ; ей нельзя ѣхать, безъ нея также нельзя.... все наше достояніе принадлежитъ ей; она не пуститъ меня, да и съ кѣмъ, куда, зачѣмъ?... Бѣжать!... Но что найду я въ Римѣ? Можетъ быть стыдъ, котораго я не снесу.... Убить ее, покрыть себя двойнымъ стыдомъ, вдругъ потерять все.... И кому, чему я вѣрю?... Мечтамъ!...

Сильвіо, Сильвіо, неужели старость не имѣетъ своихъ предѣловъ?...»

Мнѣ стало страшно отъ этого вопроса, и я принялъ на себя обязанность духовника. Гортензія была тронута; я ожидалъ счастливой перемѣны и вдругъ слышу:

— «Такъ, Сильвіо, все, что вы говорите, я уже передумала; сто разъ повторила, и всегда мысли мои возвращались въ Римъ, въ мастерскую Кановы; я сидѣла возлѣ него; мы вмѣстѣ работали, и неиспытанное, непонятное блаженство водворялось въ душѣ моей.... Сильвіо!...» съ чувствомъ сказала Гортензія, схвативъ мою руку и обливая ее слезами: «Сильвіо, въ Римъ или въ могилу!...»

— «Не намъ судить...» сказалъ я съ притворнымъ спокойствіемъ: «почему такъ, а не иначе Богъ создалъ человѣка; но, синьора, ваша дружеская искренность и права медика заставляютъ сказать правду. Вы полюбили не человѣка, а его славу...»

Болѣзненный румянецъ вспыхнулъ на лицѣ Гортензіи; я продолжалъ:

— «Какія надежды могутъ волновать васъ? — Любовь, замужство? Не тщеславіе ли это? Супруга перваго италіянскаго скульптора, можно сказать, одного и единственнаго художника въ цѣломъ свѣтѣ.... конечно, почетный титулъ!... Но неужели въ именахъ блистательныхъ обитаетъ счастіе нашей жизни.... Знаете ли вы, убѣждены ли, что сердце Кановы также прекрасно, какъ его слава? Васъ смутила Психея. Но не носитъ ли въ себѣ душа его десятка вашихъ соперницъ?» —

Гортензія глазами умоляла меня замолчать; сжавъ сердце, я продолжалъ:

— «Можете ли вы думать, что художникъ будетъ любить васъ больше своего рѣзца и мрамора. Конечно, нѣтъ. Положимъ, что сердце его свободно, онъ васъ полюбитъ.... На долго ли? Пока встрѣтитъ Венеру или другую богиню въ костюмѣ земной женщины.... Въ измѣнѣ, въ неминуемой измѣнѣ, васъ утѣшаетъ честность художника, святость обязанностей, нерушимость союза.... Никто болѣе художника не ищетъ независимости, и какую жизнь вы себѣ готовите?... — Сердце художника рѣдко бываетъ человѣческимъ; внутреннее неудовольствіе на постоянный неуспѣхъ приблизиться къ натурѣ дѣлаетъ его желчнымъ, раздражительнымъ, вспыльчивымъ, лесть — свенравнымъ, а зависть—злопамятнымъ. Только тщательное воспитаніе и обширное образованіе умственныхъ способностей съ нѣжнаго возраста, могутъ устранить подобное направленіе нрава, а объ этомъ отцы и матери такъ мало думаютъ. И вотъ почему въ великомъ художникѣ рѣдко найдете вы великаго человѣка. — Не думайте извинять ихъ какими-то небывалыми законами натуры и прощать имъ всѣ чрезмѣрности, всѣ дерзкія выходки своевольнаго себялюбія. Пустое! Человѣкъ прежде всего долженъ быть человѣкомъ, а тогда уже сенаторомъ, живописцемъ или плотникомъ.... Невозможности согласить хорошія качества человѣка съ высокими достоинствами художника—я не вижу, и примѣръ Рафаэля, какъ нельзя лучше, уничтожаетъ эту

невозможность.... Но, можетъ быть, Канова не таковъ; можетъ быть, онъ ангелъ во плоти, лучше Рафаэля, Доменикина.... Но согласитесь, вы полюбили не его, а славу, которая со всѣхъ сторонъ Италіи гремитъ ему похвальные гимны.... Погодите; можетъ быть, и самая слава Кановы есть честолюбивая лесть матери, которая, къ несчастію, имѣя только одного, единственнаго сына, не можетъ довольно нахвалиться его достоинствами и, въ увлеченіи, про единороднаго разсказываетъ небывальщину....»

Лекарство не помогло.

— «Все знаю....» съ язвительною улыбкою отвѣчала Гортензія: «и понимаю, что люди съ его талантомъ однимъ въ утѣшеніе, другимъ въ тягость....»

Я вспыхнулъ.

— «Неужели думаете вы, синьора, что зависть говорила моими устами?...»

— «Нѣтъ? Такъ чтоже?...»

— «Ахъ, Гортензія, такая же безумная страсть, какъ и ваша; такая же самолюбивая мечта, обожающая недоступную богиню, однимъ словомъ....

— «Знаю, знаю!...» прервала Гортензія: «и потому-то у меня никогда не будетъ друга....»

— «Вы ошибаетесь, Гортензія. Я не художникъ. Полюбивъ разъ, мнѣ кажется, я не съумѣю разлюбить даже и тогда, когда самою несправедливою клеветою вы предадите меня на посмѣяніе черни.... Требуйте доказательствъ, Гортензія....»

— «Сильвіо!...» опять прервала Гортензія, про-

тянувъ ко мнѣ мраморную, очаровательную руку: «или въ Римъ, или въ могилу! И то и другое въ вашей власти!»

— «Въ Римъ!» отвѣчалъ я рѣшительно... но въ то же время сердце рухнуло, брызнули слезы, и я, безъ тиранны и памяти, прибѣжалъ къ дверямъ моей кельи.

IX.

«...Не скоро я опомнился; но первое чувство было... смѣшно вспомнить... было чувство дружбы; я хотѣлъ себя увѣрить, что я только другъ Гортензіи, и опрометью бросился къ бабушкѣ. Старушка насъ неожиданно удивила... Слушая продолжительное исчисленіе причинъ, надъ которыми въ душѣ я самъ смѣялся, она только покачивала головою, но когда въ концѣ моей рѣчи я, утвердительно, возвысивъ голосъ, сказалъ, что Гортензія умретъ, если не поѣдетъ въ Римъ, всѣ ея сомнѣнія исчезли...

— «Добрый Сильвіо!...» сказала старушка, отирая слезу: «Скажите, но по совѣсти, умоляю васъ, твердо ли вы увѣрены, что Римъ поможетъ ей?»

Я примѣтно смутился — но мгновеніе, и я сталъ лжесвидѣтелемъ. О, проклятая дружба!

— «О, если такъ...» сказала старушка: «мы ѣдемъ завтра же!..»

— «Какъ! и вы, синьора?»

— «А вы думали, что я безъ себя отпущу Гортензію, когда, можетъ, мнѣ остается быть съ нею нѣсколько дней? На что мнѣ жизнь? Я жи-

ву для нея. Умру ли здѣсь, въ дорогѣ, въ Римѣ, не все ли равно; покрайней мѣрѣ до послѣдней минуты я дважды исполнила на этомъ свѣтѣ долгъ матери. Меня пугаетъ только одно: женщины, путешествіе не близкое, на Джакомо трудно положиться; надо будетъ нанять надежнаго слугу, а это у насъ въ Комо не такъ легко.»

Къ удивленію и особенной примѣтной радости старушки, я предложилъ мои услуги... На десятый день мы увидѣли Римъ... всѣ трое въ первый разъ!... Боже мой, Боже мой! какой счетъ лѣтъ назначенъ для старости? Мнѣ кажется, что это было вчера, и воспоминаніе свѣжѣе утра... страшнѣе ночи... Дайте отдохнуть... Я не привыкъ разсказывать собственныхъ несчастій...

—

X.

Все молчало: и природа, и люди. Лодочники устали; просились къ берегу; никто не отвѣчалъ и лодку причалили... Дамы вышли. Сильвіо также; всѣ стояли на берегу; экипажи подъѣхали; слуги засуетились; никто не думалъ расходиться. Сильвіо первый вышелъ изъ задумчивости. «Куда же теперь?» сказалъ онъ хладнокровно: «Поѣдемъ ко мнѣ, если хотите дослушать разсказъ мой. Старый холостякъ! Позволительно посѣтить его келію добрымъ друзьямъ. Не такъ ли?...» — «Поѣдемъ, поѣдемъ!..» зашумѣли дамы, и старый Джакомо не могъ понять, откуда столько гостей и въ такую позднюю пору...

—«Дома твоя Маріанна?..» спросилъ Сильвіо, входя на крыльцо... «Дома!» отвѣчалъ изумленный Джакомо, едва складывая слово... «Пусть хозяйничаетъ. Свѣту, камелекъ и прочее... Ступай, ступай, Джакомо...»

—«Джакомо, Маріанна?!..» шептали дамы, и Сильвіо улыбаясь сказалъ имъ: «Вы съ ними уже знакомы... Двѣ руины печальнаго дворца; онѣ мнѣ дороги какъ эти подклеенные эскизы бѣдной Гортензіи...»

И дамы бросились разсматривать цѣлую галлерею эскизовъ, нарисованныхъ ручкой Психеи... Между тѣмъ Джакомо и Маріанна распорядились; принесли свѣчей, затопили камелекъ, и Сильвіо опять началъ разсказъ свой...

«Римъ въ девятидесятыхъ годахъ не то, что теперь. Всѣ сословія толковали о политикѣ; всѣ мысли невольно стремились къ Франціи и Россіи; погода въ Парижѣ была бурная; надъ Россіей заходило блистательное, покойное солнце, и царственными лучами озаряло и огромность новой Имперіи, и необъятныя ея силы. Италія, вѣчная страдалица отъ усилій чужаго честолюбія, въ самомъ смѣшномъ, каррикатурномъ географическомъ раздѣленіи, съ нетерпѣніемъ ожидала разрѣшенія грозы; всякая перемѣна, намъ всѣмъ такъ казалось, будетъ къ лучшему; но въ самыхъ желаніяхъ Италіанцы никогда не соглашались и никогда не могли пользоваться политическою независимостью. Когда нибудь я разскажу вамъ, что надѣлало у насъ появленіе Суворова; теперь толь-

ко прибавлю, что Римъ совсѣмъ не былъ похожъ на столицу міра, а на кофейный домъ, куда сбѣгались спорщики по ремеслу изо всѣхъ возможныхъ клубовъ. — Въ одномъ только человѣкѣ я нашелъ истинный благонамѣренный патріотизмъ, и этотъ человѣкъ былъ—Канова. Когда я къ нему явился, Антоніо обрадовался нашему пріѣзду, какъ ребенокъ; хвалилъ бабушку, даже меня, не зная кто я, и зачѣмъ пріѣхалъ... дѣтское, простодушное веселіе Кановы навело на меня грусть; между тѣмъ, продолжая шутить, Канова одѣлся...

— «Пойдемъ, пойдемъ: поглядимъ, похожа ли она теперь на мою Психею... Вы не повѣрите...» продолжалъ онъ дорогой: «какъ у насъ скучно въ Римѣ. . Никуда пойти нельзя... Парижъ да Парижъ, Европа да Европа... Объ искусствѣ не услышишь слова... У насъ теперь будетъ свой кружокъ, она, вы, да я... Вы скульпторъ или живописецъ?... Постойте, постойте, я вамъ покажу Римъ. Я буду вашимъ путеводителемъ. Только надо вамъ переѣхать поближе; неужели ей работать въ моей мастерской; неловко; а мнѣ каждый день ходить такъ далеко тоже трудно; я и отъ этого не прочь: у нея талантъ большой; но у меня теперь такія работы...»

«Все погибло!...» подумалъ я, и дружба мнѣ стала въ тягость.

Первое свиданіе было непродолжительно, но предчувствія мои сбылись; любезность Кановы, непритворная готовность быть наставникомъ Гортензіи, вдость о нашемъ пріѣздѣ, все, все привело въ

восторгъ несчастную, и едва ушелъ Канова, она цѣловала со слезами руки бабушки, чуть чуть не обняла меня, суетилась, бѣгала, прыгала... а я, безмолвный свидѣтель чужаго счастія... я... другъ... другъ!.. А?.. Подумайте, каково было мнѣ?

Чудный человѣкъ этотъ Канова. Не прошло пяти, шести дней, я самъ въ него влюбился... Каждый день я приходилъ за нимъ и провожалъ домой, часто очень поздно; бывали случаи, что мы на капитолійской лѣстницѣ заговаривались до утренней зари; разговоръ его — истинное очарованіе; никакихъ вспышекъ себялюбивой самоувѣренности; мнѣнія свои онъ всегда предлагалъ какими-то вопросами, на которые по неволѣ надо было отвѣчать утвердительно; если, бывало, по желанію судить обо всемъ, и проговоришься, онъ опровергнетъ ложную мысль съ такою кротостію, что умъ противника старается самому себѣ доказать нелѣпость выходки; безобидно, кротко, но убѣдительно и сильно... Чудный человѣкъ, этотъ Канова! Познанія его меня удивили. Ватиканская библіотека, казалось, сидѣла цѣликомъ въ этой прекрасной головѣ; но вы могли замѣтить это только въ дружеской, откровенной бесѣдѣ; иначе Канова больше слушалъ, нежели говорилъ; даже нерѣдко соглашался съ людьми совершенно ничтожными; когда они уходили, онъ не позволялъ себѣ насмѣшки, но всегда жалѣлъ и сердился на тогдашнее образованіе юношества. Въ немъ именно нашелъ я высокое и рѣдкое соединеніе великаго человѣка съ великимъ художникомъ... Множество

бѣдныхъ, особенно художниковъ, пользовались постоянною его помощію; другъ его и казначей, архитекторъ Сельва, не переставалъ сердиться; Канова всегда обѣщалъ не входить въ новыя обязательства, и каждый день казначейство скульптора обременялось новыми благотворительными выдачами. Всѣ мысли его поглощали искусство и благотвореніе... Сегодня онъ создавалъ лежащую группу Амура и Психеи; завтра проектъ капитолійскаго музея, и для чего? Чтобы дать своимъ же соперникамъ работу и заплатить за всѣ эти мраморные бюсты изъ своего кармана... Женщина для него была святыня; онъ никогда не шутилъ чувствами невинной дѣвушки, не искалъ возбуждать страстной жажды въ груди зрѣлой женщины... Простодушіе вовлекало его въ самыя забавныя происшествія; онъ всегда выходилъ изъ нихъ чистъ, не замѣтивъ даже, гдѣ была опасность. Правда, были жертвы его благородной, можетъ быть, и умышленной нечувствительности, но скала невиновата, если страстная волна распибется въ мелкія брызги, бросаясь поцѣловать гранитное ея чело! —Ахъ, Гортензія! И въ твоей судьбѣ невиноватъ Канова!

XI.

«...Первый выходъ Гортензіи былъ, само собою разумѣется, въ мастерскую Кановы. Входимъ. Первый предметъ, который предстовился глазамъ нашимъ, былъ—извѣстная Психея, съ мотылькомъ на ладони, или лучше сказать, сама Гортензія...

только тремя, четырьмя годами помоложе... Мраморъ дышалъ, лице жило... Мы не могли, не смѣли произнести слова... даже бабушка не болтала... Канова глядѣлъ на насъ, покраснѣвъ; ему казалось, что онъ далеко еще не достигъ образца, а Гортензія... слезы катились по лицу, озаренному какимъ-то высшимъ неземнымъ восторгомъ; этотъ восторгъ примѣтно возрасталъ; Гортензія болѣе и болѣе одушевлялась; Психея умирала, Канова краснѣлъ...

— «Не похожа! не похожа! Я сдѣлаю вторую, третію, сотую Психею, я добьюсь натуры; меня сбили эти Нѣмцы съ своими подражаніями древнимъ. Да! надо подражать — теперь я понимаю; но какъ? Этого никогда не поймутъ краснорѣчивые педанты.»

И полотно упало; Канова закрылъ Психею, и опять сталъ веселъ, любезенъ, простъ... Долго мы разсматривали модели большихъ статуй для разныхъ памятниковъ, эскизы, рисунки; Канова изумилъ насъ обширностью своей дѣятельности, геніальнымъ соображеніемъ, преимущественно граціей, разлитою вездѣ, даже въ героическихъ предметахъ...

— «Завтра первый урокъ!..» сказалъ Канова: «и я пришлю вамъ, синьора, голову Лаокоона; копируйте эту чудную голову; поговоримъ объ ней въ свое время.»

Уроки начались и продолжались около трехъ недѣль постоянно; въ это время мы обошли рѣшительно весь Римъ; познакомились съ главнѣй-

ними сокровищами; сдѣлали двѣ, три поѣздки за городъ. Успѣхи Гортензіи въ рисункѣ были поразительны; я покажу вамъ ея работы; у меня не всѣ: нѣкоторыя остались у Кановы. Но къ чему вамъ разсказывать всѣ эти подробности? Скажу вамъ только, что три первыя недѣли нашего пребыванія въ Римѣ были для насъ золотымъ вѣкомъ. Гортензія была совершенно счастлива; я, какъ другъ, въ самомъ дѣлѣ, пользовался полною ея откровенностью; Гортензія увѣряла меня, что она замѣчаетъ и въ Кановѣ нѣкоторые признаки любви; что хотя онъ не проронилъ ни одного слова, которое бы могло обнаружить, въ какой степени развивалась уже неминуемая эта любовь, но изо всего однако же было видно, что эта любовь есть... и мы... торжествовали побѣду... Я жилъ черезъ домъ отъ Гортензіи, такъ что она у себя слышала, какъ я звалъ слугу... Однажды по утру, очень рано, я записывалъ всѣ мысли, какія вчера навѣяли на меня фрески Андрея де ла Валле... вдругъ слышу голосъ Гортензіи... пронзительный голосъ: «Сильвіо... Сильвіо!..» Въ одной рукѣ съ кинжаломъ, который я сорвалъ со стѣны, при первомъ крикѣ, а другою поддерживая плачущую Гортензію, я стоялъ передъ бездушнымъ трупомъ бабушки... Очки и письмо лежали на полу... Усадивъ Гортензію въ кресла, я поднялъ письмо... извѣстіе точно было убійственно: фабрика, домъ со всѣми запасами, машинами и пожитками — сгорѣли... сгорѣли до тла....

—

XII.

«...Съ бабушкой ушло и наше счастіе. Канова приходилъ рѣже, только для уроковъ; Гортензія совершенно лишилась всякаго состоянія; я сдѣлался искателемъ; при содѣйствіи Кановы практика моя распространилась; деньги, благодареніе Богу, лились обильно; я отдавалъ ихъ Джакомо, и Гортензія не могла примѣтить ни малѣйшей перемѣны противу прежней жизни... Да впрочемъ она на хозяйство и не обращала никакого вниманія. — Кругъ знакомыхъ былъ уже въ это время довольно обширенъ; Гортензію навѣщали дамы и художники; утро проходило въ уединенной работѣ; ввечеру урокъ, прогулка и гости; такъ промелькнуло еще нѣсколько дней; но однажды прихожу къ обѣду, вижу: Гортензія не своя; будто больна, сердита, ни то и не се; на вопросы ни полъ слова; за обѣдомъ мы почти ничего не ѣли; я и говорить пересталъ; вдругъ неожиданный вопросъ поразилъ меня...

— «Вы видѣли ее?»

— «Кого, Гортензія?...»

— «Сильвіо, не притворяйтесь! Говорятъ, маркеза такая красавица, какой на этомъ свѣтѣ не бывало...»

— «Какая маркеза?..»

— «А эта пріѣзжая Полька?»

— «Я не видалъ ее.»

— «Вѣрно по дружбѣ ко мнѣ...»

— «Гортензія!..» сказалъ я съ упрекомъ.

— «Онъ дѣлаетъ ея бюстъ, слышите, бюстъ, и

не говоритъ намъ ни слова; вечера проводитъ не съ нами, понимаете ли? Онъ забылъ Исихею, понимаете?»

Въ эту минуту, повѣрите ли, чудная Психея была безобразна; лице искривилось; глаза блистали, но страшно, дико; не румянецъ, а багряное зарево внутренняго пожара горѣло на тренещущихъ щекахъ.

— «Весьма естественно...» сказалъ я, если онъ дѣлаетъ ея бюстъ...»

— «Что весьма естественно?» закричала Гортензія, схвативъ меня за руку...»

— «Надо же вглядѣться въ физіономію...»

— «Зачѣмъ, зачѣмъ?..»

Бѣшенство возрастало; я не зналъ, что говоритъ, что дѣлать; выручилъ Канова — вошелъ, и тучи разбѣжались, и радость, и взоры испытующіе, и дружескія рѣчи, и съ трудомъ подавляемые вздохи... Она была жалка въ это мгновеніе... Канова усѣлся между нами, опустилъ глаза по обыкновенію, и первой сталъ говорить съ своимъ чуднымъ, очаровательнымъ хладнокровіемъ...

— «Сегодня графиня...» — онъ назвалъ какую-то польскую фамилію, теперь не упомню: «уѣхала на виллу; звали меня; я отговорился, чтобы имѣть удовольствіе побесѣдовать съ вами...»

Бѣдная Гортензія!

— «Къ чему эти жертвы, эта милостыня, Антоніо?» спросила она.»

— «Я васъ не понимаю, Гортензія! Неужели вы полагаете, что какое-нибудь общество въ мірѣ можетъ замѣнить нашъ дружескій тріумвиратъ, нашъ художественный клубъ, гдѣ сердце отдыхаетъ въ прохладѣ простодушной и всегда питательной бесѣды... О, вы ошибаетесь, вы не знаете, какъ я берегу мою независимость; хожу къ графинѣ точно такъ же, какъ въ Ватиканъ; гляжу на нее, какъ на мраморы Альбани. Ахъ, какъ она хороша, Гортензія! повѣрить трудно! Завтра я начну лѣпить бюстъ; пріѣзжайте, посмотрите, полюбуйтесь... Я непремѣнно украду ее у природы и создамъ Венеру. Ей Богу! простительное самолюбіе... Клянусь, польская Венера лучше греческой, что бы ни говорили эти Нѣмцы... Сравнивая ихъ, я прихожу въ отчаянье. Если живая женщина выше образца красоты и граціи... такъ что же наше искусство!..»

Бѣдная, бѣдная Гортензія! что съ нею дѣлалось!...

— «Покажите, Гортензія, вашу работу; сегодня мы можемъ заняться долѣе...»

— «Я была нездорова; я и теперь нездорова... Сильвіо!» прибавила она съ притворною улыбкою: «Мнѣ надо, кажется, не учиться, а лечиться...

— «Вотъ видите, Гортензія!..» сказалъ простодушно Канова: «вы не слушаете вашихъ друзей, простите упреку: мы оба говорили, что вы ужъ черезъ чуръ прилежны; я самъ вамъ не позволю заниматься болѣе трехъ часовъ въ сутки; а теперь цѣлую недѣлю, по крайней мѣрѣ три, че-

три дня мы вамъ не дадимъ карандаша въ руки....

— «Понимаю, понимаю! Конечно... ваше время слишкомъ драгоцѣнно .. Оно вамъ такъ нужно...»

Гортензія не договорила; слезы брызнули, но Канова ихъ не видѣлъ... Гортензія ушла.

— «Что съ нею?» спросилъ онъ съ видомъ непритворнаго участія...

— «Очень больна!..» отвѣчалъ я: «Надо пойти къ ней...»

— «Идите, идите! Если успокоится, заснетъ, приходите ко мнѣ; потолкуемъ. Хорошо?»

— «Приду.»

—

XIII.

Вхожу въ спальню; передъ образомъ Лоретской Божіей матери на колѣняхъ стоитъ Гортензія; но увы! ни на устахъ, ни во взорахъ не было молитвы; какое-то отчаяніе, истома, недугъ написаны были крупными чертами на лицѣ Гортензіи...

— «Сильвіо, Сильвіо! И вотъ награда за мою любовь, за жертвы, за страсть къ этому глупому, пустому искусству... Онъ хочетъ оттолкнуть меня навсегда. Зачѣмъ же медлить? Пусть лучше скажетъ: Психея, я разлюбилъ тебя... Да, онъ любилъ меня. Поглядите на статую, поглядите! Неужели вы не читаете въ ней пламенной страсти къ образцу... О, новая Венера! Ты умнѣе греческой; ты погубишь меня!..»

— «Гортензія! какъ вы можете упрекать Ан-

тоніо? гдѣ его обѣты? гдѣ ваши права? да и знаетъ ли онъ, какое чувство привязало васъ къ учителю рисованія и доброму пріятелю! Мнѣ жаль васъ, Гортензія. Позвольте, намекомъ, такъ, издали, нечаянно дать знать ему...»

— «Что вы, что вы, Сильвіо! Равнодушіе — и сожалѣніе! Хороши мои друзья; корона и я!... А, предложеніе! Дружеское предложеніе! И вамъ не стыдно; вы хотѣли меня уронить въ его мнѣніи; онъ могъ бы подумать... О, я понимаю вашъ дружескій расчетъ... Выбросьте изъ головы глупыя надежды! Или онъ, или смерть!»

— «Гортензія! Такъ скажите ему сами, а такъ право нѣтъ возможности догадаться, особенно съ его ангельскою невинностью, съ его простодушною вѣрою въ вашу любовь къ одному искусству...»

— «Искусство! Пропади оно совсѣмъ... Нѣтъ, Сильвіо, нѣтъ! Я не могу признаться ему; я не могу... одинъ намекъ, и я не снесу; сердце разорвется... Правда, если бы я могла положиться на чистоту вашей дружбы... Поклянитесь! Не унижайте меня; достоинство женщины... Поклянитесь, Сильвіо, поклянитесь! Вы можете спасти меня...

— «И спасу насильно!» сказалъ я и поцѣлъ къ Кановъ. О, проклятая дружба!...

—

XIV.

«...Антоніо былъ въ мастерской одинъ, почти одинъ, потому что Англичанинъ, лордъ Дрюрлей, или какъ-то въ этомъ родѣ, сидѣлъ въ креслахъ въ глубокой

задумчивости и не обращалъ на насъ никакого вниманія.

— «Что, какова она?» спросилъ Канова немного...

— «Не хороша. Надо лечить ее иначе.»

— «Я угадалъ лекарство. Мнѣ кажется, я понялъ, въ чемъ дѣло; есть болѣзни возраста; искусствомъ нельзя удовлетворить всѣхъ желаній сердца; художникъ все таки человѣкъ; и ей теперь нужна любовь, и лучше сказать, замужство; я буду счастливѣйшимъ человѣкомъ, если не обманулся, и устрою этого милаго, пламеннаго, талантливаго ребенка; скажите ей, что черезъ часъ я приду для важнаго объясненія; не отходите отъ нея, любезный Сильвіо; мнѣ нужна ваша помощь.

—

XV.

Я шелъ, нѣтъ, я летѣлъ къ Гортензіи. Слезы просасывались на глазахъ моихъ; съ объясненіемъ Кановы конецъ моей дружбѣ, моему блаженству; я уѣду въ Комо, — нѣтъ, въ Германію, въ Англію, въ Америку; я былъ несчастливъ: но я спѣшилъ съ вѣстію счастливою; послѣдній разъ я хотѣлъ явиться благовѣстителемъ и завтра проститься съ нею навсегда. Быть свидѣтелемъ свадьбы... нѣтъ, это уже слишкомъ, говорилъ я, и съ этими мыслями вхожу къ Гортензіи...

— «Прочь, прочь! «кричала она:» Я не хочу подаянія!..»

— «Но, синьора...» говорилъ Джакомо: «чѣмъ же мы будемъ жить?»

— «Ступай себѣ, Джакомо. Божій свѣтъ широкъ. Мнѣ не нужно слуги. Я — нищая... А! синьоръ Теста...» сказала она, увидѣвъ меня: «кто вамъ далъ право обременять меня непрошенными благодѣяніями. Вы думали обязать меня... купить?..»

— «Синьора!» отвѣчалъ я почтительно: «Антоніо Канова желаетъ съ вами видѣться еще сегодня и объясниться по весьма важному дѣлу...»

И распросамъ не было конца. Я нѣсколько разъ долженъ былъ повторять его слова; Канова ни шутку не давалъ честнаго слова; но если говорилъ: «я приду, я сдѣлаю» то никакія препятствія не могли удержать его отъ исполненія сказаннаго; частенько двѣ три ночи проводилъ онъ безъ сна, только чтобы исполнить свое: «я сдѣлаю». Я повторялъ уже въ десятый разъ его рѣчь; онъ вошелъ. Мы усѣлись по обыкновенію: Канова, опустивъ глаза, началъ говорить о скукѣ холостой жизни, особенно для женщины...

— «И когда я объ этомъ думаю...» продолжалъ онъ: «передо мною является Психея... и этотъ бѣдный, честный, благородный лордъ...»

Мы взглянули другъ на друга; ни я, ни Гортензія не могли понять, къ чему могутъ относиться слова Кановы.

— «Да...» продолжалъ онъ: «случай забавный, но у этихъ оригиналовъ почти всегда высокія чувства.... Недѣли двѣ тому назадъ, лордъ Дрюрей пріѣхалъ въ Римъ, удостоилъ посѣтить мою мастерскую и влюбился въ Психею; безъ шутокъ,

влюбился; сначала мнѣ казалось это страннымъ, непонятнымъ, но потомъ стало жаль добраго лорда; онъ приходилъ каждый день въ мастерскую, садился въ кресла и не говоря никому, даже мнѣ, добраго слова, просиживалъ передъ Психеей въ глубочайшей задумчивости по нѣсколько часовъ..» «И зачѣмъ теперь нѣтъ такихъ женщинъ?» спросилъ онъ однажды со слезами на глазахъ.

—«Вы ошибаетесь, милордъ!» отвѣчалъ я: «оригиналъ живетъ въ Римѣ, и эта Психея столько же похожа на свой образецъ, какъ французскіе пейзажи на Тиволи и Альбано!...

—«Вы шутите?» дрожа сказалъ лордъ Дрюрлей.

—«Увидите сами!—И помните, въ одно утро я просилъ васъ посѣтить мою мастерскую будто для того, чтобы поглядѣть на модель Амура... Помните!.. Бѣдный Эдваръ увидѣлъ васъ и сошелъ съ ума... Каждый день ходилъ въ церковь, гдѣ вы бываете, и оттуда возвращался прямо къ Психеѣ; каждый день разспрашивалъ о вашемъ здоровьѣ и опять предавался мечтамъ своимъ... Сегодня возвращаюсь отъ васъ и нахожу его на своемъ мѣстѣ... «Что Психея?» спросилъ онъ... «Больна...» Да вы и были больны, не правда ли? «Больна! закричалъ Эдваръ, больна! Нѣтъ! не больна; она любитъ васъ, сиръ, васъ, вы мой соперникъ... Если бы я не такъ много уважалъ искусство... дуэль... смерть... да... да... зачѣмъ она любитъ васъ, а не меня? Слышите ли! Что вы со мной сдѣлали? я былъ счастливъ, пока думалъ, что предметъ моей страсти — мраморъ, и

хотѣлъ купить... просто хотѣлъ украсть его, если не продадите, а вы сняли маску съ моей Изиды и сожгли меня... Женитесь на ней, сиръ, слышите, женитесь; или не препятствуйте моему счастію, помогите мнѣ!..» И лордъ Дрюрлей сталъ такъ грозенъ, что я тотчасъ схватилъ карандашъ, чтобы поймать выраженіе лица для моего Тезея... — Что вы дѣлаете? закричалъ онъ. — Продолжая рисовать, я объяснилъ ему, что мы добрые друзья, что слишкомъ далеки отъ взаимной страстной любви, что въ самомъ дѣлѣ, если бы я задумалъ жениться, такъ вѣрно бы не хотѣлъ жены ни лучше васъ, ни умнѣе, ни добрѣе: однимъ словомъ, я сдѣлалъ вамъ портретъ во второй разъ, и счастливый Эдваръ опять усѣлся въ свои кресла. — «Завтра же вы должны меня съ нею познакомить.. » сказалъ онъ, послѣ минутнаго молчанія... Охотно, отвѣчалъ я, но зачѣмъ?... «Я хочу жениться на ней.» — Если такъ, позвольте мнѣ быть посредникомъ... Въ это мгновеніе вошелъ Сильвіо; не успѣлъ онъ уйдти, какъ Эдваръ, слышавшій нашъ разговоръ, рѣшительно требовалъ уже моего посредничества и, Гортензія, я пришелъ именно съ тѣмъ, чтобы предупредить васъ. Лордъ Эдваръ человѣкъ умный, благородный, страстный; сверхъ того весьма богатый, безъ родителей и близкихъ родственниковъ; располагаетъ жить всегда въ Италіи, гдѣ назначитъ Гортензія. Лучше партіи и желать нельзя; но вы должны прежде познакомиться, сблизиться...»

До сихъ поръ Канова говорилъ, не обращая ни-

какого вниманія на насъ, опустивъ глаза, какъ онъ обыкновенно дѣлалъ при каждомъ случаѣ, когда разговоръ касался сколько нибудь важнаго предмета, но тутъ вдругъ взглянулъ на Гортензію, на меня и онѣмѣлъ... Гортензія смотрѣла на него, знаете такъ, какъ глядитъ мать на неблагодарнаго сына, и старается скрыть всю тоску въ глубинѣ сердца, а это сердце исходитъ кровію... Гортензія была недвижна... Блѣднѣе своего мраморнаго портрета, бѣдная, она еще улыбалась; такъ улыбаются иногда умирающія женщины, видя отчаяніе мужа и стараясь въ послѣднія минуты скрыть всю полноту страданій отъ супружеской чувствительности; я зналъ опасность ея положенія; Боже! я зналъ все, и волоса поднялись дыбомъ; протянувъ руки къ Гортензіи, я стоялъ надъ нею въ мрачномъ ожиданіи, чѣмъ разрѣшится эта предсмертная тоска...

Слезами... проливными слезами! Канова вскочилъ, испугался, поблѣднѣлъ, отвелъ меня къ окну; не знаю, какъ я повиновался...

—«Скажите, Сильвіо, что все это значитъ? Ради Бога, скажите; я никогда не прощу себѣ этой дерзости... Клянусь вамъ, одно желаніе добра, чувство...»

—«Молчите, молчите!» съ трудомъ проговорилъ я, и плакалъ, плакалъ слезами Гортензіи на груди Кановы...

— «Уйдите, уйдите! Я вамъ все разскажу... только теперь уйдите! Ваше присутствіе — отрава; каждое мгновеніе—новая капля... Уйдите!»

И Канова не могъ удержаться отъ слезъ...
—«Что я надѣлалъ? что я надѣлалъ...?» шепталъ онъ мрачно и ушелъ. .

—

XVI.

«...Прошло еще нѣсколько минутъ; Гортензія подняла голову и съ выраженіемъ особенной нѣжности произнесла мое имя...

—«Сильвіо!»—и я бросился къ ногамъ ея и слезами и поцѣлуями покрывалъ ея руки...

—«Ахъ! зачѣмъ суждено любить только одного и только единожды!» рыдая, сказала Гортензія.

— «О, повѣрьте мнѣ.... Не онъ, а вы виноваты; одно слово признанія, одно искреннее слово такой безмѣрной любви, и Канова понялъ бы свое блаженство. Великій во всемъ, онъ поставляетъ свое счастіе въ счастіи любимаго предмета; онъ думалъ устроить вашу судьбу, его сердце...»

—«Довольно, довольно, Сильвіо, послѣдній опытъ, и сегодня же, сей часъ, сію минуту!..»

Она встала. Не знаю почему, мнѣ она показалась больше ростомъ; величественно и медленно ушла она въ свою спальню.... Не прошло пяти минутъ, Джакомо опрометью пробѣжалъ мимо оконъ съ письмомъ въ рукахъ; въ то же время вошла Гортензія...

— «Куда это побѣжалъ Джакомо?»

— «Съ письмомъ къ Антоніо...»

— «А о чемъ оно?» спросилъ я, но отвѣта не было... Вотъ оно...

И Сильвіо вынулъ изъ чернаго ящичка, обложеннаго серебряными кружевными украшеніями, два письма...

«Антоніо!» читалъ Сильвіо: «благодарю за нѣж-«ное участіе, но я не могу принять предложенія... «Нѣтъ! моя судьба въ вашихъ рукахъ,.. Знаю... «Но молю, не отдавайте меня этому лорду... Вы «знаете мою бѣдность, нищету, и хотѣли обога-«тить меня... Не нужно... Нѣтъ! прости, Антоніо! «Я богата твоимъ вниманіемъ; только твоя рука «можетъ вести меня къ счастію! Только твоей по-«мощи не отвергнетъ — *твоя Гортензія*...»

Скоро возвратился Джакомо съ отвѣтомъ; издали завидѣла его Гортензія; протянувъ руку въ окно, она ожидала всего, всего отъ страшнаго вѣстника... Прочла... глаза помутились... глухо простонала она:.... «Пенсіонъ!... пенсіонъ—нищей Гортензіи! Силы небесныя!...»—И безъ малѣйшаго признака жизни рухнулась на земь!... Пока мои средства успѣли привести ее въ чувство, я пробѣжалъ отвѣтъ Кановы...

«Дорогая Гортензія! Два упрека: зачѣмъ сты-«диться бѣдности? зачѣмъ скрывать ее отъ своихъ «друзей..? Сельвы нѣтъ дома; не знаю какою сум-«мою могу я располагать сей мѣсяцъ; но сколько «бы ни было, все пополамъ; и впередъ будьте по-«койны, я не допущу васъ до труда; придетъ «Сельва, мы съ нимъ посовѣтуемся и обезпечимъ «вашу будущность... Благодарю за искренность. «До завтра. Весь вашъ, А. Канова.»

Она очнулась...

— «Да, очнулась!» сказалъ кто-то другой, не Сильвіо. Съ крикомъ вскочили дамы; у дверей сѣдой Джакомо продолжалъ говорить прерывистымъ отъ плача голосомъ, а Сильвіо, закрывъ лице руками, вторилъ ему рыданіями.

—«Да, да, очнулась въ сумасшествіи! И пока мы успѣли прибѣжать съ этимъ господиномъ, Богъ ему прости... она уже была на мосту... И только на другой день, и то на силу, мы отыскали трупъ покойницы... далеко въ полѣ, на берегу Тибра...

Странное дѣло! Неожиданное вмѣшательство Джакомо вдругъ разогнало слушательницъ; безъ прощаній, безъ благодареній, нѣмыя, блѣдныя, онѣ оставили домъ Тесты... Комната опустѣла, и два старика, каждый про себя, долго, долго думали о прошедшемъ... Вдругъ въ раскрытыя двери вошелъ третій старикъ, — Антоніо Канова.

БЛАГОДѢТЕЛЬНЫЙ АНДРОНИКЪ.

Повѣсть съ эмблемами.

Нѣсть рожанаго цвѣта бэзъ терніи.
Armes Spina Rosas, mella tegunt apes.
Nulle rose sans épine.
Non é dolce senza amaro.
Keen Roozen zonder doornen.
No roses without thors.
Keine Rose ohne Dornen.

Эмблема 339.

I.

Какъ мастеръ и подмастерье занимались въ саду прогулкой.

Збираю злѣ, да могу что во ино мѣсто принесть.
Hinc studiis alimenta meis.

Эмблема 257.

Проѣзжая черезъ Воронежъ, вы непремѣнно видѣли внизу, за рѣкою, старый каменный остовъ трехъ-этажнаго цейхгауза, построеннаго Императоромъ Петромъ Великимъ. Священный останокъ! Какъ много пробуждаетъ онъ историческихъ воспоминаній! Какъ грустно, и вмѣстѣ величественно, отражаетъ то время, когда Воронежъ походилъ на какой-то Портсмутъ, Марсель, гдѣ строилась морская сила Россіи; гдѣ Великій, собственными руками, клалъ основные камни будущаго

величія новой имперіи.... И теперь на Воронежѣ есть «Чижовскія» горы, «Акатово» предмѣстье, и многія урочища съ своими завѣтными именами: но уже нѣтъ тамъ Петровскаго Воронежа! Огонь, вода и люди истребили слѣды памятной поры, и, вмѣсто монумента, оставили одинъ старый цейхгаузъ, — нѣмаго свидѣтеля славы Воронежа.

Посмотрите на эти горы. Тамъ, у деревяннаго собора, въ тихой кельѣ, обиталъ Епископъ Воронежскій и Елецкой, святый именемъ и дѣломъ. Нѣсколько приходскихъ церквей, съ золоченными главами, живописно, тѣснились около собора. Высоко надъ паствою своею жилъ святой Митрофанъ, богомолецъ и сподвижникъ Петра Великаго. Свѣтскіе люди, какъ-будто съ почетомъ и благоговѣніемъ, отступили отъ святой горы и расположили жилища свои вдоль по Воронежу, на низу, не много повыше весенніхъ разливовъ своенравной рѣки. Самъ Государь завелъ себѣ садъ и построилъ дворецъ на Воронежской набережной; возлѣ подымался домъ князя Меншикова; по другую стоялъ вполнѣ оконченный, красивый домикъ адмирала Апраксина. Вездѣ вехи и кресты означали новыя постройки. Недалеко отъ Дворцовой Части лѣпилась и кипѣла народомъ Нѣмецкая Слобода. Два огромные пѣтуха вертѣлись на двухъ нѣмецкихъ киркахъ. Тамъ, въ Чижовкѣ, въ день Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи, шелъ шумный торгъ; тамъ, на Акатовѣ Предмѣстьѣ, тогда еще около полуверсты отъ города, въ воскресный день, подъ-вечеръ, гуляли жены и дочери зажи-

точныхъ Воронежскихъ горожанъ, вдоль по узкимъ улицамъ, по деревянной бревенчатой мостовой. Подъ Чижовскими Горами скромно висѣла Гусиная Свобода: только дымъ стлался по рѣкѣ отъ кузницъ, или переходилъ въ широкіе овраги; но и тамъ не было пусто: въ стрѣлецкомъ Лоскѣ еще жили стрѣльцы, въ Чарновской Балкѣ, въ Нищенской Слободкѣ, въ Придачѣ, въ Клементьевкѣ, по всей околицѣ, во всѣхъ пригородахъ, на Крымской, или лѣвой Сторонѣ, жили рабочіе, поднимались суконныя фабрики, литейные, якорные, канатные заводы.... И тутъ еще было тѣсно! На островахъ, образуемыхъ капризнымъ Воронежемъ, чернѣлъ цѣлый муравейникъ; возлѣ цитадели, на уступѣ, корабельная верфь то и дѣло спускала себѣ корабли; вездѣ стукъ топоровъ и молотовъ; дымъ, копоть, шумъ; воздухъ дрожалъ; поминутно раздавались подъохиванья тяжело рабочихъ, перекличка, команда.... Воронежъ жилъ полною дѣятельною жизнію приморскаго военнаго города. А море было куда далеко! Да и какое море? Азовская лужа! Но тогда для Россіи оно, не казалось, а было дѣйствительно, океаномъ, раздѣлявшимъ Америку Колумба отъ Испаніи Фердинанда и Изабеллы!...

Это было въ пятницу. Я никакъ не ошибаюсь, потому что это была десятая пятница послѣ Пасхи, и весь Воронежъ былъ занятъ открытіемъ главной своей ярмарки на Акатовѣ. Іюньское солнце, казалось, прожигало насквозь и дома и землю; Воронежъ съежился и на обширныхъ отме-

лѣхъ оставилъ множество лодокъ. Цыгане съ луговой стороны переправились на островки, образованные убылью воды на Воронежѣ, и каждое утро посылали на ярмарку депутатовъ: воровать и забавлять публику пляской, пѣснями и ворожбой; но въ то же время значительные дессанты Цыганъ извѣщали другіе пригороды и преимущественно Нѣмецкую слободу, гдѣ ученые и простодушные иностранцы считали себя въ совершенной безопасности отъ всякаго плутовства и мошенничества, и часто, отправляясь на работы или на ярмарку, оставляли дома только дѣтей да дряхлыхъ кухарокъ. Нѣмецкая улица, или Слобода, по наружному виду своему и по мѣстоположенію, могла называться истинною диковиною въ Россіи. Всѣ дома будто съ иголочки, всѣ въ разномъ вкусѣ: тутъ голландская неуклюжая крыша глядѣла нахмурясь на легкія галереи швейцарскаго домика; тамъ англійская изба съ узкими окнами, раскрашенная подъ кирпичъ, стояла будто безъ шляпы изъ уваженія къ миніатюрному палаццо въ три окна съ террасой, принадлежавшему венеціянскимъ корабельнымъ архитекторамъ, братьямъ Гуадо. Возлѣ кто-то строился. А дальше опять дома. И все это какъ-будто обсыпано деревьями; сады, садики, палисадники, цвѣтники, дубки.... А какая мостовая! Какъ пойдетъ дождикъ, да вымоетъ: такъ словно полъ въ нѣмецкой кухнѣ! Гладко, будто стругомъ по улицѣ прошелъ столяръ!... И ужъ какъ на этомъ паркетѣ подъ-вечеръ весело!... Кто на флейтѣ соловьемъ заливается; кто

въ шахматы играетъ; дѣвушки поливаютъ цвѣты, а у нихъ, знаете, какой норовъ: и этой пустой работы безъ помощи молодыхъ людей не любятъ, а ужъ гдѣ эти молодые люди замѣшаются, — бѣда! На Воронежѣ было ихъ много, и подъ-вечеръ въ Нѣмецкой Слободѣ всегда такой гвалтъ и гамъ разведутъ, что во дворцѣ слышно. Самъ Государь, чертя съ Вейде новыя ландкарты, усмѣхается и значительно киваетъ на Адамку, какъ-будто говоритъ: — «Видишь, твои Нѣмцы какъ возятся. Видно, плохо сегодня работали: не умаялись. — «Эхъ, Государь, Твое Величество! Отъ устали стать рабочей веселое слово да милое личико лечатъ ..»

Да, превесело подъ-вечеръ на Воронежѣ, въ Нѣмецкой Слободѣ! Но за то днемъ пустехонько, хоть шаромъ покати.

Вотъ, въ ту пятницу, что я разсказываю, всѣ на ярмарку ушли; слобода опустѣла: только на томъ дворѣ, гдѣ новый домъ строился, двѣ тѣни ходили. Хозяинъ съ сыномъ все по саду нагнувшись ходятъ, да чего-то ищутъ; хоть бы слово обронили. Молчатъ-себѣ будто нѣмые. Ужъ точно Нѣмцы! Одинъ старый, въ длинномъ сѣромъ кафтанѣ съ костяными пуговицами, въ красныхъ чулкахъ и башмакахъ со стальными гранеными пряжками. На головѣ у него круглый брыль, словно въ Польшѣ у фурмановъ. Ходитъ-себѣ со стеклышкомъ, шею выгнулъ, и переступаетъ съ ноги на ногу, словно дрофа въ степи. Другой молодой, тоже въ нѣмецкомъ кафтанѣ, только въ

синемъ: пуговицы противу стараго по-меньше; такъ, не больше пятака; тоже и чулки, и баннаки, и брыль; но лице совсѣмъ не нѣмецкое, не поджаристое, а круглое, полное; также и ростъ не приземистый, а высокій; и всѣ стати такія порядочныя, что хоть прямо въ рекруты: не забракуютъ. И ходитъ-то онъ не такъ какъ дрофа, а какъ-то проще; ногъ не подымаетъ, да и къ землѣ головы не гнетъ: ходитъ-себѣ будто прогулкою. Одно только забавно, что оба ходятъ не владъ и не по дорожкамъ, а цѣликомъ по травѣ и врозь, то на право, то налѣво. Походили, помолчали; старому, вѣрно, прискучилось; онъ сорвалъ какую-то травку, и заговорилъ по-нѣмецки:

— «Quo modo,» кричитъ сыну: «vulgo, ruthenice, vocatur Carduus Acanthoides?...

— «А тотъ ему по-русски, во все горло: — «Чертополохъ!»

А тотъ опять ему по-нѣмецки:—«Et Eryngium officinale?»

А сынъ опять по-русски:—«Чертополохъ, только синій.»

— «Bene!» сказалъ старикъ, и оба опять давай ходить, да молчать.

Прошли добрые полчаса. Нѣмцы все молчатъ да ходятъ, или ходятъ да молчатъ. Садъ ихъ, въ которомъ они въ такую диковинную молчанку играли, примыкалъ къ италіянскому домику братьевъ Гуадо; въ домикѣ всѣ окна и двери настежъ; ни въ одномъ окнѣ души не видно: только у за-

бора, что былъ у нѣмецкаго сада, дитя, будетъ такъ лѣтъ восьми девяти, на грядкѣ сидя, траву себѣ пололо. Вдругъ мимо забору шорохъ; будто что проскользнуло и упало въ кусты. Старый нѣмецъ съежился и все задомъ, задомъ ползетъ къ сыну, да и говоритъ тихонько: — «Audisne? (Слышишь?)»

Тотъ: — «Audio!»

— «Что тамъ такое?» спросилъ сынъ, примѣтно обезпокоясь: «Не змѣя ли?»

— «Serpens generis humani! (Змѣя человѣческаго рода)» отвѣчалъ старикъ дрожащимъ голосомъ, продолжая указывать рукою на грядку сосѣда.

Въ самомъ дѣлѣ, къ грядкѣ ползкомъ приближалась оборванная человѣческая фигура. Сынъ въ одно мгновеніе былъ уже на заборѣ, соскочилъ въ сосѣдній садъ и, когда Цыганъ протянулъ уже мѣнокъ, чтобы набросить его на ребенка, безпечно занятаго гербаризаціей своего рода, молодой нѣмецъ схватилъ его за обѣ руки, опрокинулъ, и, прижавъ колѣномъ къ землѣ, призывалъ на помощь отца по-русски. Старикъ взобрался на заборъ, но дальше ни шагу, и закричалъ оттуда: «Habet ne gladium seu alteram aciem? (Нѣтъ ли у него меча или другаго оружія?)»

— «Ни меча, ни ножа, батюшка! Только ступайте поскорѣе.»

— «Mirandum! Gens illa nunquam sine armis incessit! (Удивительно! Этотъ народъ никогда безъ оружія не наступаетъ!)»

— «Батюшка! Отецъ родной! Молодчикъ ты мой, бѣлой баринъ!» завопилъ Цыганъ: «не колдуй со своимъ старикомъ.... я тебя, красавчика, за самое лучшее яблочко засватаю, хоть за Машеньку Андреевну.... Только отпусти!...»

Видно Цыганъ и въ правду былъ колдунъ. Не успѣлъ онъ этого вымолвить, какъ Нѣмецъ и руки врозь.

— «Ступай!...» говоритъ Цыгану: «да гляди, не обмани!...»

И Цыганъ, на рукахъ и ногахъ колесомъ, скатился внизъ къ лодкѣ, и, не прошло мгновенія, скрылся, вмѣстѣ съ лодкой, въ кустахъ, покрывавшихъ островки воронежскіе. Старый Нѣмецъ все сидѣлъ на заборѣ и повторялъ въ ужасѣ: — «Facies visu horrenda! (Видъ для взора ужасный!)»

— «Успокойтесь, батюшка, онъ уже не воротится....» сказалъ молодой Нѣмецъ.

Лице его пылало. Дума глубокая отѣняла глаза. Онъ дышалъ тяжело и оглядывался. Старикъ опять испугался; и сказалъ: — «Terror te premit? (Страхъ тебя мучитъ?)»

— «Нѣтъ, батюшка, какой тутъ страхъ! Пустяки! Я его пугнулъ. А вспомнилъ, что сегодня на Акатовѣ ярмарка. Государь тамъ будетъ; адмиралы, офицеры; а мы здѣсь травъ ищемъ, когда и старыхъ никто не покупаетъ.»

— «Ars urgit.... (Искусство понуждаетъ).»

— «Да полно, батюшка, все по латыни да полатыни! Не вы ли сами мнѣ приказывали говорить

съ вами всегда по-русски?... Право, стыдно! Который уже годъ на Руси, а не можете порядочно десяти словъ склеить: а все эта кухонная латынь!...»

— «Дуракъ!... Officinalis, а не кухонный!»

— «Все одно, батюшка! И поглядите! Вотъ Розенау третій домъ строитъ, а намъ жить негдѣ. Дряннаго домишка не можемъ достроить. Андрею Александровичу четыре сотни должны, а пятую хоть украсть приходится....»

— «Красть! Я лучше будетъ умеритъ....»

— «Да и такъ прійдется съ голода и съ холода, какъ зима прійдетъ....»

— «Зима эще далекъ; будетъ разный болѣнъ; деньга придетъ....»

— «Конечно! когда вы и купцовъ даромъ лечите....»

— «Ты есть лжецъ. Я беритъ, что даютъ.»

— «А за чѣмъ вы берете, что даютъ? Вы сами назначайте. Нога болитъ — полтина, рука — рубль, носъ — два.»

— «Ты съ ума сошелъ! За носъ два рубль, когда можно съ саломъ пачкать!»

— «Что по-выше, то и дороже. Вы такъ дѣлайте какъ Розенау на Москвѣ дѣлывалъ.»

— «А какъ онъ дѣлалъ?»

— «Да вотъ, онъ лечилъ у одного боярина дочку. Вылечилъ, да и говоритъ: Вѣрно сто червонныхъ дадутъ... Уходитъ. Бояринъ ему свертокъ. Рука инаго уха чутче: слышитъ, что мало; брякъ объ полъ, будто ненарокомъ. Тутъ слуги

давай подбирать; подобрали, отдали; онъ пересчиталъ; двадцать пять. — «Э нѣтъ, дѣти! смѣючись говоритъ: поищите-ка получше! Видно куда подкатились. Не можетъ быть, чтобы боярин за такой недугъ только двадцать пять пожаловалъ: тутъ было по-малой мѣрѣ сто. Ищите-на, ищите...» Слуги не поняли, бросились искать; а боярин смѣкнулъ, да въ мошну, да и приплатилъ семьдесятъ пять, приговаривая: «Тебѣ некогда, Карлъ Ермолаевичъ; вотъ твои деньги, а эти мы помаленьку отыщемъ да соберемъ... Прости, съ Богомъ!...»

— «Да это Геродъ!.. Перо!.. Катилина!..»

— «А три дома выстроилъ.»

— «Что жъ ты хочишь, чтобы я плутовать?..»

— «Боже меня сохрани! А все бы не худо объ деньгахъ думать. Я работаю, сами видите. Вся ваша лабораторія — одинъ я; и лекарствъ столько, что хоть весь Воронежъ захворай, станетъ! Да никто къ намъ нейдетъ. Ни вывѣски, ни надписи.»

— «Полноль! меня самъ Государь знаетъ!»

— «Да не у васъ покупаетъ.»

— «Да онъ, слава Богу, здоровъ!»

— «Слава Богу! Да у него есть лазареты.»

— «Гмъ! Тутъ надо больныхъ людей дарить...»

— »Ну, подарите имъ по фунту дѣвичьей кожи.»

Старикъ не вытерпѣлъ, и, всё еще сидя на заборѣ, завопилъ:

— «Взятка! Государь будетъ кнутъ давать. Поѣзжай вонъ!»

— «Экой упрямый Нѣмецъ!» сказалъ сынъ со вздохомъ.

— «А ты русска человѣкъ!» сказалъ отецъ и расхохотался: «Sehen Sie mahl!.. Русска человѣкъ! Ступай, ступай на ярмарка! возьми, пожалуй, порошковъ, тва, три...»

И старикъ слезъ съ забора, изъ низкой мужицкой избы вытащилъ ящикъ съ порошками и подалъ сыну, приговаривая:

— «Ступай, лечи зуба и брухи, а я буду трава забирать.»

—

II.

Въ какомъ видѣ благодѣтельный Андроникъ является на поприще своей славы.

Не всякому птицею прилично быть.
Non cuivis passerem esse licet.
Эмблема. 107.

—

Воронежскій магистратъ почти собрался. Несмотря на ярмарку, у всѣхъ членовъ, и даже у самаго бургомистра, лица были такія не праздничныя, знаете, такъ, будто въ постный день на скоромное смотрѣли. Не то, чтобы на нихъ написана была какая-либо печаль или горесть: нѣтъ: а такъ, кислыя рожи, будто не выспались, недовольныя, мизирныя. Бороды у всѣхъ учесаны, а у нѣкоторыхъ и жиромъ смазаны; разрядка на головѣ

до послѣдняго волоса бережно отобрана; кафтаны, или, правильнѣе сказать, армяки праздничные, синіе, съ золотыми, вмѣсто пуговокъ, шариками; пояса у всѣхъ красные; изъ-за нихъ торчали русскія тисненыя рукавицы. Хотя ноги почтенныхъ членовъ были подъ общимъ столомъ, однакожъ историческая истина принуждаетъ насъ сказать, что исподниц у всѣхъ присутствующихъ были плисовыя, широкія, собранныя въ сапоги большаго калибра и непріятнаго запаха. Магистратъ безмолствовалъ: не доставало еще одного и весьма важнаго члена, Андрея Александровича Ковригина, первостатейнаго воронежскаго купца и подрядчика. Бургомистръ и члены изъявляли нетерпѣніе, но не словами, а знаками, какъ-то, иные зѣвали, другіе перестанавливали подъ столомъ ноги, всегда однакоже стараясь дѣлать эту операцію какъ-можно тише; третьи поглаживали бороды то одною, то другою рукою въ очередь. Наконецъ магистратскіе часы зашипѣли и кукушка прокуковала десять.

— «Ну, Андроникъ Евстафьичъ....» сказалъ бургомистръ, поворачиваясь довольно смѣло въ своихъ креслахъ: «изволька, начинай! Что тамъ у тебя? Что ни есть въ печи, все на столъ мечи!»

— «Да вотъ!» отвѣчалъ Андроникъ Евстафьевичъ, магистратскій секретарь, въ длинномъ-предлинномъ нанковомъ халатѣ, подпоясанный набивнымъ бумажнымъ платкомъ, и выдернулъ изъ подъ воротника косичку, которая въ трудахъ и запи-

тіяхъ было спряталась: «признательно доложить, маклерскія книги на новый ладъ, со всѣми купеческими секретностями, то есть, такъ-сказать, долговыми обязательствами, купно съ означеніемъ суммъ, то есть наличнаго количества имѣющаго быть въ полученіи у заемщика и въ убыли у заимодателя, съ положеніемъ терминовъ, то есть, соотвѣтствующихъ сроковъ, и платежемъ узаконенныхъ, то есть, положенныхъ законами, процентовъ, то есть, чиселъ, подъ коими тѣ обязательства внесены, и *дата*, то есть, также чиселъ мѣсяца, и съ выставленіемъ въ особыхъ графахъ, то есть, вотъ здѣсь, изволите видѣть, на бокахъ, особнякомъ, цыфирью, казеннаго интереса, то есть, сбора, и прочая, что къ тому дѣлу надлежитъ и принадлежитъ, безъ почистокъ; а гдѣ есть почистка, съ узаконенными, то есть, положенными законами, оговорками и росписками, и такъ далѣе, и такъ далѣе...»

— «Спасибо!» сказалъ бургомистръ ласково и важно: «спасибо, Андронникъ Евстафьичъ, что ты это намъ все такъ докладно толкуешь! А то, съ нынѣшними порядками, чертъ ногу сломитъ.»

При словѣ «чертъ» бургомистръ, а за нимъ всѣ члены и секретарь отплюнулись.

— «Ну!..» продолжалъ бургомистръ: «теперь ты эти маклерскія книги изволь-ка докладывать. Да безъ пропусковъ! Тутъ, братъ, Андрей Евстафьевичъ, не то что гдѣ-нибудь: того гляди, попадешься. Вонъ, Государь уже и дворецъ построилъ, чтобы смотрѣть за нами... Изволь-ка, начинай!»

Андроникъ Евстафьевичъ откашлялся, поправилъ косичку, и ровнымъ голосомъ, безъ малѣйшаго повышенія и пониженія, безъ всякихъ въ произношеніи знаковъ препинанія, покатилъ свой докладъ. Безъ малѣйшихъ пропусковъ читалъ онъ всѣ векселя и заемныя письма, совершенныя у маклерскихъ дѣлъ, и, не прошло десяти минутъ, присутствіе погрузилось въ дремоту. Тогда дьячекъ, онъ же и магистратскій секретарь, забылъ предостереженіе бургомистра, и огромныя листы быстро перескакивали, чтеніе не прекращалось; изъ ста векселей такимъ образомъ выходилъ одинъ, совершенно безъ смысла. Андроникъ Евстафьевичъ былъ уже близко конца первой книги, когда двери присутствія въ шумомъ отворились: бургомистръ и члены въ испугѣ вскочили съ креселъ, дьячекъ онѣмѣлъ; вошелъ Ковригинъ. Бургомистръ, а за нимъ члены и секретарь, снова отплюнулись.

— «Что ты это, Андрей Александровичъ, въ самомъ дѣлѣ, право, признательно сказать...» проговорилъ бургомистръ съ примѣтнымъ неудовольствіемъ, опускаясь въ кресла.

— «А что такое?» оторопѣвъ, спросилъ Ковригинъ.»

— «Какъ, что такое! Будто не знаешь, что къ дверямъ присутствія и кирпичей я не велѣлъ привѣшивать, чтобъ не хлопали, да подъ часъ не пугали. Вскочилъ, право, признательно сказать, словно денщикъ Государевъ. Я было подумалъ такое, что, право, лихорадкой меня вздернуло. Ну-опоздалъ, такъ опоздалъ! Велика бѣда! Свой чело-

вѣкъ: въ журналъ не запишемъ... Да входить съ такимъ шумомъ, право, признательно сказать, не годится... Видишь и самъ, того, не безъ испуга... Присутствіе не свой братъ... Да ну-же, Андрей Александровичъ, очнись! Садись съ нами маклерскія книги рѣшать... Что ты стоишь?..»

Ковригинъ совершенно оторопѣлъ и хлопалъ глазами, ничего не понимая, что вокругъ него происходитъ. Въ испугѣ, ни Бургомистръ, ни члены не замѣтили безпорядка въ его одеждѣ и прическѣ. Борода была всклочена; волосы на головѣ также; кафтанъ безъ пояса, на распашку. Не безъ труда ближайшій членъ усадилъ Ковригина, а Бургомистръ, нагнувшись, сказалъ:

— «Андрей Александровичъ, что съ вами? Застегнитесь!»

Но Ковригинъ, къ общему соблазну и удивленію, не только не застегнулся, но обоими локтями повалился на столъ и руками закрылъ глаза свои и бороду... Длинная фигура секретаря и дьячка выросла отъ удивленія, такъ, что нанковый сюртукъ оказался ему впору. Потомъ присѣлъ онъ за свой небольшой столикъ и, сдѣлавъ изъ двухъ маклерскихъ книгъ родъ ширмы, глядѣлъ въ щелку на присутствующихъ. Бургомистръ, который былъ, не только въ торговыхъ, но и родственныхъ отношеніяхъ съ Ковригинымъ, потерялъ, какъ говорятъ, куражъ, полагая, что съ Ковригинымъ случилось какое-либо несчастіе по многочисленнымъ его подрядамъ, и неотступно уговаривалъ объяснить причину печали.

— «Да что, государь Лупъ Власьевичъ!..» съ досадой заговорилъ Ковригинъ: » Ну, испорчена! Вотъ и всё тутъ!»

Бургомистръ и члены нагнулись-было для слушанья длинной рѣчи; но, послѣ краткаго отвѣта Ковригина, всѣ опрокинулись на спинки креселъ, а дьячекъ, онъ же и секретарь, такъ чихнулъ съ перепуга, что маклерская ширма повалилась: онъ вскочилъ и сюртукъ опять сталъ впору. Никто не замѣчалъ эластическихъ прыжковъ Андроника; всѣ были поражены страшнымъ извѣстіемъ; не оставалось сомнѣнія, что испорчена Марія Андреевна, единородная дщерь Ковригина, украшеніе и слава Онуфріевскаго прихода. Машенькѣ тогда было лѣтъ восемнадцать; черезъ три года приходилось за мужъ выдавать, а жениха уже около двухъ лѣтъ пріискивалъ Андрей Александровичъ, и парня три четыре уже были на примѣтѣ... Извѣстно, три года — бездѣлица; прежде, бывало, въ приказѣ каждое дѣло три года рѣшалось. Правда, теперь въ магистратѣ сталъ иной порядокъ: Государь больно изволитъ наѣдываться; да всё-таки три года, на Воронежѣ, считалось наканунѣ. И наканунѣ свадьбы невѣста испорчена! Кромѣ того, что недугъ великъ, да и стыдъ не малъ! Какъ черный глазъ Машеньку видѣлъ? Какъ колдуньи не примѣтили? Гдѣ няня была? Что она дѣлала? Видишь, маковники рѣзала, да просушивала, да набрала къ себѣ въ дѣвичью сиротъ для забавы; а тѣ голубей завели, и няня за ними, вмѣстѣ съ дѣтьми и съ Машень-

кой, по двору гонялись; ну, а у Андрея Александровича торгъ великъ: амбары вокругъ двора, словно дородные купцы столъ обсѣли; иной разъ до поздней поры ворота настежъ; однѣ телѣги на дворъ, другія со двора... Такъ не диво, что Маненьку Цыганка видѣла, или какая-нибудь нечистая сила обошла, или что ни на есть такое приключилось.

Первый прервалъ молчаніе бургомистръ, потому что въ воронежскомъ магистратѣ, даже и въ экстренныхъ случаяхъ, сохранялось строгое чинопочитаніе во время пребыванія на Воронежѣ самого Государя.

— «Вотъ, признательно сказать, Андроникъ Евстафьевичъ...» началъ говорить бургомистръ: «наведика справку, какого года и числа городничій оберъ-комендантеру лепортовалъ, того, чтобы Цыганъ отъ Воронежа подалѣе пугнуть?»

Прямолинейный голосъ Андроника покатился:

— «Прошлаго семь-тысячъ-двѣсти-седьмаго года, мѣсяца января въ осьмой день. Но какъ, по наведеннымъ справкамъ, за рѣкою Воронежемъ, на луговой сторонѣ, ни одного цыганскаго табора, то есть, скопища, не обрѣтено, то есть, не найдено, то и оберъ комендатерскій указъ оставленъ безъ исполненія...»

— «То есть, не исполненъ! «воскликнулъ бургомистръ:» Погубилъ ты насъ, Андроникъ Евстафьевичъ! Какъ хочешь, а надо было исполнить и лепортовать. Ты, братъ, даромъ что пти-

ца, да я вѣдь и самъ въ нынѣшнихъ порядкахъ маленько смѣкаю.»

— «Да какъ же исполнить, когда цыганъ не оказалось?»

— «Да не умничай, Андроникъ Евстафьевичъ! Сказано исполнить, такъ и исполнить! Сейчасъ пиши указъ, чтобы Цыганъ за пять верстъ отъ города отогнать.»

— «Да мы не смѣмъ...»

— «А на что же мы магистратъ, что ужъ и Цыганъ гонять не можемъ безъ указа? Они, пожалуй, у насъ всѣхъ дочерей да женъ перепортятъ, а мы будто и не магистратъ, будто простые купцы безголосные? Пиши, пиши!»

— «Помилуй, Лупъ Власьевичъ!» завопилъ Ковригинъ: «Что ты это дѣлать хочешь? Ну, уйдутъ Цыгане, кто Марью-то вылечитъ? Вѣдь они, окаянные, для того на нее и напустили, чтобы съ меня деньгу сорвать... чертъ ихъ побери!»

Всѣ отплюнулись; Ковригинъ продолжалъ:

— «Заплачу, да потомъ, Лупъ Власьевичъ, такъ дернемъ, что небу жарко будетъ!»

— «Нѣтъ, съ позволенія вашего доложить...» сказалъ младшій членъ: «Мнѣ сдается, чтобы Цыганъ сегодня же пугнуть. А то половину ярмонки на луговую сторону перетаскаютъ. А что Марья Андреевна испорчена, такъ бѣды большой нѣтъ: всё-равно кому платить, Цыгану али Нѣмцу; а Нѣмцу всё-таки лучше.»

— «Вотъ то-то и есть!» отворачивая голову, тихо сказалъ Бургомистръ: «Яица стали курицу

учитъ... Нѣмецъ! Да знаешь ли, что такое нѣмецкій колдунъ? Пусти-ка его въ домъ: всѣ углы заколдуетъ, на всѣхъ недугъ наведетъ, и потомъ давай лечить. И не спохватишься, а ужъ весь, съ цѣлымъ домомъ, въ кабалу къ Нѣмцу попалъ! А онъ, знай себѣ, оброкъ лупитъ, словно далась ему вотчина съ душами... Оно, вѣстимо, и Цыганъ-то дорого прійдется, возьметъ много денегъ, такъ, днемъ, при всѣхъ; да еще другую толику тайкомъ; да, за то, въ одинъ разъ. Оно такожде и то правда, что возьметъ даромъ и не поправитъ; да, за то, можно его въ амбаръ запереть, веревкой за ногу привязать; а не сниметъ порчи, и на конюшнѣ потрепать; да, возни много, и Государь въ городѣ... А ты бы, Андрей Александровичъ, папоротникъ подъ ложечку приложилъ...»

— «Не помогло.»

— «Такъ ты бы нянѣ къ глазамъ опосля тотъ же папоротникъ приложилъ. Помогаетъ.»

— «Не помогло.»

— «Эхъ, Андрей Александровичъ!» сказалъ одинъ изъ членовъ: «Ты бы Марьѣ Андреевнѣ на голову горшокъ надѣлъ, да потомъ палкой. Знаешь, немочь такъ съ черепками и растрескается... Проходитъ.»

— «Э, не всякому это пригодно. А вотъ, взять сивую кобылку, да пускай ей Марья Андреевна на ушко пожалуется, а кобылку плетью: она побѣжитъ и немочь съ собой унесетъ.»

— «Сказки, сказки!» сказалъ Бургомистръ: «А

лучше всего въ подолъ все сговорить, да снести на Воронежъ, да въ воду и бросить.»

— «Вотъ это, не во гнѣвъ будь сказано, бабы сплетни!» сказалъ второй членъ.

— «Не ты бы говорилъ, не я бы слушалъ!»

— «Да ужъ, вѣрно, я въ этомъ дѣлѣ больше смыслю...»

— «Много ты смыслишь! Черта дикаго! Вонъ который годъ у тебя всѣ дѣти отъ скупости твоей хвораютъ!»

— «Ну, ужъ ты тороватъ, небось!.. Бурмистеръ, а нищіе полушки отъ тебя не видали!»

— «Врешь ты, плѣшивая мышь!»

— «Мышь?.. Кто?.. Я мышь? Того, я?..»

Андроникъ Евстафьевичъ, онъ же и секретарь, онъ же и дьячекъ, видя, что тучи собрались, молніи посыпались, близко и до громовыхъ ударовъ, бросился къ окну съ особенною торопливостью и закричалъ: «Государь! Государь!...» Бургомистръ и члены вытянулись въ струнку, и сидѣли чинно и безмолвно, вперивъ глаза въ зерцало; даже Андрей Александровичъ застегнулся и поправилъ волоса и бороду.

— «Никакъ къ Курбатову на заводъ завернулъ....» продолжалъ Андроникъ Евстафіевичъ: «Нѣтъ, мимо! Свернулъ къ оврагу.... уѣхалъ!...»

И, не позволяя членамъ опомниться, онъ сталъ на свое мѣсто и громогласно продолжалъ прерванный докладъ.

— «Да что его слушать....» сказалъ Бурго-

мистръ, поднимаясь съ-мѣста: «Довольно слушали; пора и червяка заморить.»

Секретарь, онъ же и дьячекъ, видя, что одно неудовольствіе на дерзкаго члена подвинуло Бургомистра съ креселъ, подбѣжалъ къ дверямъ присутствія, вытянулся, и, не произнося ни слова, одною рукою указывалъ на часы, а другой на зерцало. Бургомистръ безмолвно пятился къ оставленнымъ кресламъ, поглядывая то на секретаря, то на зерцало, а злодѣй Андроникъ Евстафіевичъ тогда только опустилъ руку, когда Бургомистръ совершенно погрузился въ кресла и спряталъ плисовыя исподни подъ зеленымъ сукномъ общаго стола.... Настала тишина, и весьма кстати; потому что, не прошло и двухъ минутъ, двери присутствія съ шумомъ распахнулись и вошелъ денщикъ Государевъ. Видъ его не обѣщалъ милости; слова и того меньше.

— «Что вы тутъ сидите?» заговорилъ денщикъ: «Государь по ярмонкѣ ходитъ; никого изъ магистрата тамъ нѣтъ.»

— «Андроникъ Евстафьевичъ!...» сказалъ бургомистръ тихо и жалобно: «Что жъ ты молчишь?»

— «Да мнѣ какое дѣло! Вѣдь я не магистратъ.»

— «Да полно отнучиваться, Андроникъ Евстафьичъ! Скажи ему что-нибудь изъ печатнаго.»

— «Да что же я ему скажу?»

— «Не учить же тебя! Да ну, Андроникъ Евстафьичъ, гляди, вѣдь онъ, право, опять насъ пугнуть собирается..... Пожалуй, не выдай!»

Андроникъ Евстафіевичъ и самъ струсилъ; но, не желая въ глазахъ магистрата оказаться неповоротливымъ, откашлялся, поправилъ косичку, и, заикаясь, сказалъ довольно громко, не глядя однакоже на денщика:

— «Какъ?... что-съ?»

— «Не тебя спрашиваютъ.» сказалъ денщикъ.

Секретарь поклонился и, не ризгибаясь, повернулся къ Бургомистру и шепнулъ не на ухо, а въ руку, потому что голова его приходилась прямо противу сѣдалища бургомистерскихъ креселъ:

— «Изволишь слышать? Не меня спрашиваютъ: тутъ, кажись, печатное не поможетъ.»

— «Да добьюсь ли я отъ васъ толку?» закричалъ опять денщикъ: «Слышите, Государь по ярмонкѣ одинъ ходитъ?...»

Бургомистръ былъ въ величайшемъ замѣшательствѣ, и снова шопотомъ сказалъ Андронику:

— «Ну, подсказывай.»

Андроникъ и давай подсказывать; онъ на это былъ большой мастеръ.

— «Говори!» шепталъ онъ, отворотясь отъ денщика къ окну и будто разсматривая маклерскую книгу: «говори, указа-де не получали.»

— «Указа-де не получали... » повторилъ тихо Бургомистръ.

— «Да какого вамъ еще указа надо? Ваше дѣло — смотрѣть; чуть Государь въ городъ, быть при немъ, или гдѣ укажетъ изустно.... Понялъ

скорѣе на ярмонку, а то бѣда вамъ будетъ. Поворачивайтесь!»

Денщикъ ушелъ. Магистратъ пребылъ въ прежнемъ замѣшательствѣ, съ тою только разницею, что всѣ опрокинулись на секретаря. И дьячокъ-то онъ простой, и дѣла не смыслитъ, и глупъ, и плохъ, и батюшка у него былъ съ изъяномъ, и матушка тоже....

Андроникъ далъ имъ всѣмъ порядкомъ наговориться, и, когда они истощили всю брань и обидныя догадки, секретарь значительно улыбнулся, съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на магистратъ, поправилъ торжественно косичку и сталъ собирать всѣ книги и бумаги. Члены слѣдовали за всѣми его движеніями въ недоумѣніи. Набравъ цѣлое беремя книгъ и бумагъ, Андроникъ подошелъ къ дверямъ и, не оглядываясь, произнесъ величественно:

— «Нечестивіи! И снидетъ всякое зло на главы ваши!»

Бургомистръ уже держалъ его за полы, за безмѣрныя полы безмѣрнаго нанковаго сюртука; Андроникъ рвался въ двери.

— «Куда ты это, Андроникъ Евстафьичъ?» вопилъ Бургомистръ, и, съ помощью сочленовъ, втащилъ секретаря обратно въ присутствіе.

— «Покайтеся, грѣшники!» закричалъ Андроникъ; но ему зажали ротъ, усадили въ бургомистрскія кресла, и, лаская привѣтными словами, требовали совѣта.

— «Грядите на мѣсто лобное....» отвѣчалъ Ан-

дроникъ съ возрастающею торжественностью: «и покайтеся въ винахъ вашихъ Царю Царствующему. Да не поплетъ на вы полчища свои и не посѣчетъ мечемъ, и огнемъ не сожжетъ жилища ваши, да не ударятъ въ кимвалы и органы...»

Андроникъ онѣмѣлъ, и весь магистратъ также. Изстари извѣстно, что бѣда одна не ходитъ. Андроникъ онѣмѣлъ не безъ причины: вдали послышались, не кимвалы и органы, но барабаны и флейты; черезъ минуту вся улица наполнилась солдатами; магистратъ остолбенѣлъ; Андроникъ не вѣрилъ глазамъ своимъ.

—

III.

Какъ для всякой Савишны полезно имѣть въ запасѣ нѣмецкія лекарства.

Недалеко отъ ратуши или магистрата, тогда еще находившагося на Акатовѣ предмѣстьѣ, въ грязной улицѣ, между низенькими приземистыми домиками воронежскихъ мѣщанъ, бѣлѣла высокая стѣна, окружавшая домъ и службы купца Ковригина. На этотъ разъ ворота были заперты, псы спущены, ставни нижняго жилья закрыты; словомъ, всѣ предосторожности отъ всякой порчи и колдовства были приняты; только въ высокой свѣтелкѣ сидѣла на дѣвичьей своей постелькѣ Мары Андреевна, а при ней Савишна, по имени Домна; но это имя никѣмъ и никогда употребляемо не было; «Савишна» замѣняло все, и если бы нянямъ, какъ и другимъ порядочнымъ людямъ, ста-

вили надгробные памятники, то на мавзолеѣ Домны любопытное потомство, вѣроятно, нашло бы только одно это наименованіе: «Савишна,» да и полно! Но за то Савишна была не простая няня: у ней въ роднѣ были разные именитые люди. Родная сестра была за дьякономъ новаго Петропавловскаго прихода; братъ былъ въ корабельныхъ подмастерьяхъ; у шурина была мелочная лавка въ Гусиной Слободѣ; наконецъ дьячекъ, онъ же и секретарь, Андроникъ Евстафіевичъ, приходился ей внучатнымъ братцемъ. Съ такой родней, вы можете представить, какую важную роль играла Савишна, не только въ домѣ Ковригина, но и во всѣхъ пригородахъ Воронежскихъ! Напримѣръ, ужъ кому, а Савишнѣ въ Тихвино-Онуфріевскомъ приходѣ каждое воскресенье была просвира, которую дьячекъ всегда подносилъ ей особо на поддонышкѣ. У заутрени ли, у обѣдни, а Савишна, когда бы ни пришла, всегда къ самому клиросу дойдетъ безъ толчковъ, будто по улицѣ. Взятки тогда были въ модѣ, какъ въ модѣ теперь говорить о честности. Магистратскому члену принесутъ, а Савишнѣ особо. Савишна была женщина благочестивая и, въ такихъ случаяхъ, смиренно повторяла: «Всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ». Хотя она и прозывалась Домна, да была бездомная, жила всегда въ людяхъ; на мѣстахъ ей прежде не сидѣлось; но послѣднія восемнадцать лѣтъ, четвертый и пятый десятокъ своего возраста, Савишна прожила у одного хозяина, и свила себѣ у него прочное гнѣздышко;

и амбаръ у нея на дворѣ Ковригина былъ свой; такъ и прозывался: «амбаромъ Савишны». Ужъ какъ ее угораздило грамотѣ сподобиться, этого ни одна колдунья не могла доискаться; знала-себѣ грамотѣ и читала уставомъ и полууставомъ. Словомъ, Савишна принадлежала къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій въ концѣ семнадцатаго вѣка. Слухъ о ней распространился во всемъ уѣздѣ, и даже на Тавровской Верфи не рѣдко, подъ-вечеръ, работники, бесѣдуя о достопримѣчательностяхъ Воронежа, съ почетомъ упоминали о Савишнѣ. Можете себѣ вообразить, каково было удивленіе горожанъ, когда услышали, что Марья Андреевна испорчена на глазахъ у этой Воронежской Семирамиды! Но Савишна не удивлялась, и, сидя съ Марьей Андреевной въ свѣтлицѣ, подчивала ее только-что подсушенными маковниками собственнаго издѣлія.

— «Семъ-ка, прикушай, Машинька!» говорила она: «Немочь наша маленько попритихла. Полно, ужъ не кручинься: не даромъ я у тебя Савишна... Полно же, дитятко!... Ну, приглянулся, такъ приглянулся. Прійдетъ: я съ нимъ потолкую. Увидишь, какъ-нибудь дѣло сваримъ. Знаю я, что Андрюшка поперечить мнѣ станетъ; да ужъ за то и я ему задамъ трезвону! А тамъ поглядимъ, да посмотримъ....»

— «Ахъ, Савишна!...»

— «Что, мое дитятко?»

— «Сердце ёкнуло.»

— «Стало-быть, близко.»

— «А можетъ далеко....»

— «И! Христосъ съ тобой!... А икотка была у тебя сегодня?»

— «Была.»

— «Ну, такъ прійдетъ, не забудетъ.»

— «Да какъ же я, нянюшка, его увижу?»

— «Вотъ Машенька, ты сейчасъ и свидѣться хочешь! Дай напередъ *мнѣ* жениха раскусить, а потомъ уже ты.»

— «А какой онъ, няня, хорошенькой!»

— «Вотъ ужъ и хорошенькой! Ну, гдѣ таки Нѣмцу быть хорошенькимъ! Чай, рыба поджарая.»

— «Эхъ, няня, что ты въ молодцахъ-то смыслишь!»

— «Ну, Машенька! Теперь, того, помятнулась; нечего сказать, нѣтъ старой удали; а, бывало, того, въ свѣтелкѣ на снуркѣ не удержишь. Въ калиткѣ, матушка, съ тремя парнями за-разъ любовь вела: да какіе всѣ трое ребята!... Аховскіе!... Ну, да покойная сестра, Авдотья, не тѣмъ будь помянута, двоихъ отбила, а третій самъ отсталъ.»

— «Да какъ же это, нянюшка? Видно за вами присмотру не было?»

— «Гмъ! Присмотришь за дѣвками, когда онѣ сами молодцевъ присмотрятъ!... Батюшка-отецъ, не тѣмъ будь помянутъ, огородничалъ, да съ торга всякій разъ баклаги три четыре вина привезетъ, да въ субботу работниковъ соберетъ, и ну субботничать; мы, съ матушкой, и пойдемъ за во-

рота плакать; поплачемъ, поплачемъ, а тутъ, откуда ни возьмись, и подлипнутъ съ маковниками, съ орѣхами въ меду, подъ-часъ и платочекъ въ руку сунетъ.... Вотъ, матушка и сама то развеселится.... Ну, ужъ намъ не приходится скучать... Вотъ, мы на другую субботу то грибы выдумаемъ, то ягоду, то гаданье какое.... Да разъ, того, и насъ нечистая сила попутала: отецъ мало продалъ, и мало купилъ, не охмѣлѣлъ: за ворота, и ну матушку за волосы, да палкой; три дни похворала, да и похоронили. Тутъ ужъ намъ другое житье пошло. Авдотья хотѣла-было по-прежнему, да то же подъ палку попала, да и умерла; Аксинью дьяконъ засваталъ; а мнѣ домъ опротивѣлъ; тайкомъ въ люди пошла....»

— «Ахъ, няня, няня! Какъ ты это долго разсказываешь.»

— «Что ты, мать моя? Прійдетъ, прійдетъ! А то я его, Нѣмца!.. »

— «А если батюшка увидитъ?»

— «Куда ему! онъ въ магистратѣ до полудня просидитъ, а оттуда прямо хотѣлъ къ Стешкѣ Цыганкѣ, что на бобахъ перекидываетъ.»

— «Няня, няня, а что если онъ узнаетъ?»

— «Эхъ, ты, мое дитятко! Я ужъ, того, Андронику Евстафьичу сказала: «Смотри, братецъ, чтобы Стешка не обмолвилась, проклятая.» А онъ у меня, Андроникъ Евстафьичъ, послушный, и у лукавыхъ Цыганъ — все одно, что гетманъ у Казаковъ: духу боятся!»

— «Да развѣ Стешка все знаетъ?»

— «Экая молодость! Колдунья: такъ какъ же ей не знать! Я потому вотъ и на ярмонкѣ каждый разъ, то платокъ набивной, то ситцу какого всегда ей покупаю. Оно все такъ: братецъ у нихъ въ силѣ; да какъ у самого-то крылышки подрѣжутъ, тогда, поди, со Степкой не совладаешь.... А время, сама вѣдаешь, крутое.»

— «Глянь, няня, коровы ложатся: видно полдень.»

— «Что ты, матъ моя! солнышко еще бочкомъ виситъ. А коровы — глупый звѣрь; такъ, съ дуру ложится.... Я одного боюсь, дитятко мое....»

— «Господи Боже мой! чего же ты боишься, няня?...»

— «Да мнѣ сдается, что Нѣмецъ тебя приколдовалъ, да и полно! Ну, гдѣ тебѣ, такой молодушкѣ, дитятку такому неразумному, по уши втюриться, когда, я чай, ты и молодцевъ всего-то штуки три четыре на вѣку своемъ видѣла!»

— «Э, няня! будетъ по-болѣ.»

— «Ну, пусть и по-болѣ; да все-таки онъ Нѣмецъ; чай, и одѣтъ по-нѣмецки.»

— «Одѣтъ такъ, какъ Государь одѣвается....»

Савишна поперхнулась и закашлялась. Пропустивъ чрезъ глотку стаканъ воды, она значительно покачала головою и молвила:

— «Соблазнъ, Марья Андреевна, право соблазнъ, ересь!... Поди!... Кафтаны такіе кургузые; борода и все наружу.... Право, соблазнъ! И я ужъ не знаю, какъ я съ нимъ говорить стану!... Что ужъ и въ ванней любовницѣ есть та-

кое нечистое, не потаю, и, знаешь, страхомъ проникаетъ.»

— «Ахъ, няня, какой онъ хорошенькой... добренькой... ласковой!..»

— «Постой, постой!.. Кажись, кличетъ.»

Марья Андреевна проворно соскочила съ постели и бросилась къ раскрытому окну. По улицѣ шелъ молодой аптекарь. На кожаныхъ помочахъ висѣла передъ нимъ походная аптечка. Онъ шелъ тихо возлѣ ограды Ковригиныхъ и кричалъ: «Добрыя нѣмецкія лекарства противъ всѣхъ немочей и недуговъ. Дешево, да знатно!» И, прокричавъ воззваніе, запѣлъ нѣмецкую пѣсню, которой Исторія не сохранила.

— «Ну, такъ и есть!» сказала Савишна: «Знакъ подаетъ; такъ мнѣ и Андроникъ Евстафьичъ сказывалъ... Прощай, мое дитятко!»

— «Матушка моя, няня, Савишна! Возьми и меня съ собою.»

— «Что ты это?.. Противъ отцовскаго запрета!.. Ты ложись, да охай. Я Акулину къ тебѣ пошлю, а сама пойду съ Нѣмцемъ дѣло стряпать.»

— «Только послушай, няня. Я твой норовъ знаю: ты еще, пожалуй, старое вспомнишь, да Стешку подучишь, да, того, къ себѣ его приколдуешь.»

— «Экая ты, глупая! Да вѣдь ты мнѣ все равно, что дочь.»

— «Ну, иная матушка и дочкѣ завидуетъ: вонъ вдова Анкудинова за дочернято жениха замужъ вышла.»

— «Полно, полно ревновать, Машенька! Вѣдь и старуха.»

— «Да, гляди вамъ старухамъ въ зубы!.. Изъ чего ты сегодня такъ разрядилась?«

— «Я!.. Да что ты, мать моя?.. Ты знаешь, какой у насъ домъ. Господа бываютъ, такъ я всегда къ полудню готова.»

— «Да что же ты, няня, нейдешь. Болтаешь безъ толку, а онъ и уйдетъ.»

— «Уйдетъ!.! Какъ бы не такъ! Теперь его отъ нашей калитки и сомъ за ногу не оттащитъ... Ну, да Богъ съ тобой! Что тебя мучить! Иду!... Только постой, Машенька; какъ же я съ нимъ, того, говорить буду? Вѣдь я по-нѣмецкому не разумѣю.»

— «Вотъ тебѣ разъ!.. А и въ самомъ дѣлѣ, какъ же ты съ нимъ говорить-то будешь?»

— «Знаешь, и дѣло такое: толмача взять нельзя; а у меня есть знакомый парень знатной; изъ Нѣмцевъ; Тальянецъ, кажись. Да онъ самъ-то на тебя въ саду искоса поглядывалъ; такъ, того, чтобы изъ зависти Андрею Александровичу не пересказалъ.»

— «Да какъ же онъ на меня поглядывалъ искоса?»

— «Любопно, знаешь, такъ, улыбаючись.»

— «А хорошенькой?»

— «Да куда твоему Нѣмцу!.. Кровь съ молокомъ!

— «Да ты, няня Савишна мѣсто-то не видала...

Ну, да что-же ты не идешь? Слышишь, опять поетъ?..»

— «Матушка ты моя! по-русски!.. слышишь? по-русски!..»

— «Право, няня Савишна, по-русски!»

— «Ей Богу, по-русски... Слышишь, слышишь? Ай люли...»

— «Ай люли, няня Савишна!»

— «Наина взяла!.. съ Богомъ! А ужъ мнѣ приходилось съ нимъ на рукахъ разговаривать... Если бы за себя, туда-сюда: за-разъ бы смѣкнулъ! А за другую, того... Трудно... Ну, прощай, мое дитятко! Не гляди въ окошко, а то ненарокомъ сосѣди подмѣтятъ.»

Вышла Савишна за ворота. Акулина за ней калитку заперла. Ни живой души на улицѣ; всѣ на ярмаркѣ: только мальчишки въ бабки играли, и то по-одаль.

— «Знатно!» подумала Савишна: «Тутъ-то онъ мнѣ турусы на колесахъ подпуститъ; а я, знаешь, напередъ будто не смѣкаю; такъ и оборву его: «Что твоей милости надо? Ступай своей дорогой, а красныхъ дѣвушекъ не замай!»

Аптекарь сидѣлъ въ раздумьѣ на прилавкѣ и даже не замѣтилъ, какъ вышла Савишна, какъ, охорашиваясь, уткою переступала по деревянной кладкѣ. Прошла Савишна; Нѣмецъ не пристаетъ. Вернулась Савишна, да ненарокомъ, съ деревянной кладки оступилась и вскрикнула. Аптекарь опомнился, проснулся, и, вскочивъ, не зналъ, что ска-

затъ Савишнъ: слова спутались, сердце забилось. Няня разсердилась.

— «Тьфу ты, какой не обычный! а еще, того, на любовь вызываетъ!» подумала Савишна, и схватилась уже за кольцо. Но молодой аптекарь вспомнилъ все, и, поклонясь вѣжливо, сказалъ тихимъ и привѣтнымъ голосомъ:

— «Не имѣю ли я чести видѣть Домны Савишны?»

— «А тебѣ на что?»

— «Да мнѣ Андроникъ Евстафьевичъ сказывалъ, будто умнѣе Домны Савишны во всемъ Воронежѣ нѣтъ, и не бывало.»

— «Коли сказывалъ, такъ онъ вѣрно про то и знаетъ, а наше дѣло сторона.»

— «Конечно; потому что, примѣрно сказать, вы скромничать изволите.»

— «Дѣвичье дѣло, батюшка, дѣвичье дѣло.»

— «А, позвольте спросить, Андрей Александровичъ дома?»

— «А тебѣ какое дѣло?»

— «Мнѣ-съ?.. Право ничего! Такъ, спроста спросилъ, ради учтивства.»

— «Отваливай, братъ, отваливай! Видно къ Марьѣ Андреевнѣ въ свѣтелку норовишь. Да, видишь, у насъ все на запорѣ; собаки знатныя; Савишна, того, у воротъ ходитъ; даромъ не пройдешь!»

— «Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ аптекарь: «Чѣмъ же я ее подарю? И на алтынъ еще непродалъ.»

Но, дѣло извѣстное, Нѣмцы на выдумки гораз-

ды. Аптекарь уставилъ на Савишину глаза, скорчилъ рожу такъ жалобно, и такъ сладко сталъ говорить, будто отецъ съ дочкой:

— «Что это у васъ, Домна Савишна, на лицѣ?»

Савишна совершенно смутилась, потому что не знала къ чему относится этотъ ужасный вопросъ, къ морщинамъ или веснушкамъ: и тѣ и другія обильно покрывали лобъ и ягоды, по-ученому, ланиты Домны Савишны.

— «Чего ты пристадъ ко мнѣ, Нѣмецъ?» полугнѣвно, полу-робко отвѣчала няня, отворачиваясь.

— «А вотъ, изволите видѣть, у меня тутъ есть разныя лекарства; и для вашего лица есть. Вотъ, возьмите эту баночку и эту траву. Травы щепотку бросить въ котелъ, заварить, остудить, да каждое утро, какъ умоетесь, конецъ чистенькаго ручника намочите въ настоѣ, да и вытрите личико. А въ баночкѣ мазь. На ночь возьмите мази, такъ, съ горошину, да и притрите легонько:... и пройдетъ!»

— «Что, батюшка, пройдетъ? Веснушки, али вотъ складочки... какъ-бишь ихъ называютъ?»

— «Полно, Домна Савишна! Это у васъ не морщины; эта такъ, съ-вѣтру... Возьмите травки и баночку.»

— «Трава-то еще туда сюда, да размазня-то я боюсь.»

— «Помилуйте, Домна Савишна! Да это чистый рыбій жиръ.»

— «А изъ какой рыбы, батюшка?»

— «Изъ заморской, сударушка моя. Названіе у

ней премудренное: можетъ-быть, слышали, кить рыба...»

— «Что ты это, кормилецъ! Да вѣдь эта рыба только на Песьихъ Островахъ водится!»

— «Точно такъ, Домна Савишна, на Песьихъ Островахъ, за Аглецкимъ Островомъ.»

— «Вотъ, чай, дорого-то вамъ приходится!»

— «Да больше рубля золотникъ.»

— «Такъ не диво, что отъ ней проходятъ морщинки, или... какъ ты, батюшка, ихъ называешь?..»

— «Такъ, съ-вѣтру...»

— «Да, такъ, съ-вѣтру... Жаль, что я не при деньгахъ!»

— «Что вы это, Домна Савишна, обижать меня изволите. Стану я съ такой госпожи деньги брать. Да ужъ одно то, что вы возьмете отъ меня травки да баночку, ужъ это мнѣ въ честь. Право никогда не забуду... Примите, пожалуйте!»

— «Да, того, батюшка, чтобы люди не вѣдали.»

— «Стану я хвастать такою послугою!»

— «Да чтобы и не видали.»

— «Только приказывайте, Домна Савишна! Я не знаю отчего, а такъ васъ полюбилъ, что въ сыновья къ вамъ пойду; только возьмите!»

— «Видишь, къ чему приговаривается...» сказала Савишна, потрепавъ аптекаря по щекѣ любовно и улыбаючись, какъ не за долго сама говорила. «Я не прочь, батюшка; да кто ты; какъ тебя зовутъ, того, и прочая?»

— «Зовутъ меня, Домна Савишна...»

— «Что жъ ты мнѣ тёзка, что ли?»

— «Не то, Домна Савишна! Зовутъ меня Германомъ Андреичемъ; прозвище у меня Ландшафферъ; ремесло аптека; отца Государь знаетъ и жалуетъ.»

— «А какъ же все это, батюшка, по-русски будетъ? Имя-то я смѣкнула, Гаврило Андреичъ: ну, это ладно; прозвище туда сюда: Ландышевъ, говоришь ты; видно, по шерсти и кличка: траву продаешь, такъ по травѣ и прозываешься. Ну, а ремесла, батюшка, не отгадаю. Опека... что за ремесло такое?.. Ну, да намъ до ремесла и дѣла нѣтъ! Да ты, знаешь ли что... того... Марья Андреевна такъ любви съ тобой вести не хочетъ; женись!»

— «Ахъ, матушка Домна Савишна, дайте, я ваши ручки расцѣлую!»

— «Поди, поди, волокита, не нали!..» отвѣчала Савишна, кобенясь и оглядываясь, не отнимая однако же рукъ отъ благодарнаго Германна; но, къ ужасу няни, за калиткой послышались шаги и голосъ Марьи Андреевны. Марья Андреевна кричала съ бѣшенствомъ:

— «Няня Савишна!.. Няня Савишна!»

— «Это она!» вскричалъ Германнъ.

— «Нѣтъ, не она...» отвѣчала смущенная Савишна.

— «Не правда, я сама!..» кричала со двора Марья Андреевна.»

— «Пустите меня! Дайте взглянуть на Марью Андреевну!» кричалъ Германнъ.

— «Пусти няня!» вопила со двора Марья Андреевна. Но Савишна закричала въ свою очередь:

— «Андрей Александровичъ идетъ!»

Ключъ щелкнулъ; на дворѣ Ковригина все утихло. Германнъ стоялъ съ банкой и съ травой въ рукахъ, остолбенѣвъ и не смѣя оглянуться.

Савишна обманула, но не обманулась: не успѣлъ еще Германнъ прійти въ себя, какъ въ концѣ улицы показался Ковригинъ. Онъ пошелъ быстро, потупивъ голову и размахивая руками. Аптекарь, перекинувъ свою походную аптечку на спину, пошелъ къ нему на встрѣчу тихимъ, мѣрнымъ шагомъ, и, поровнявшись, закричалъ: «Добрыя нѣмецкія лекарства ото всякой немочи и недуга.» Ковригинъ остановился, посмотрѣлъ на Германна съ досадой и презрѣніемъ, и сказалъ довольно громко:

«Нѣтъ, братъ! Только одна Стешка поможетъ.» Ковригинъ исчезъ.

«Стешка!... Цыганка!...» также громко воскликнулъ Германнъ, и побѣжалъ по улицѣ сколько силъ было.

—

IV.

Какъ можно черезъ зобъ пройти въ сердце.

Большіе съ меньшими согласно звенятъ.
Majora minoribus consonant.

Эмблема 294.

Есть имена самыя романическія, которыхъ, къ особенному удивленію, вовсе не употребляютъ наши романисты, и надобно дожидаться какой-либо чисто исторической статьи, чтобы встрѣтить

сколько-нибудь интересное имя. Если бы не исторія, мнѣ бы никогда и въ голову не пришло, что жена Андроника Евстафьевича называлась Голендухой Демьяновной. А какое романическое имя! Оно одно уже цѣлый романъ! А если къ этому прибавить еще романическій ея характеръ, тогда жена Андроника рѣшительно покажется цѣлою библіотекой романовъ. Домна Савишна хороша, но, въ сравненіи съ Голендухой Демьяновной, лице совершенно ординарное. Какой же былъ характеръ у Голендухи Демьяновны, спросите вы? Романическій; то есть, въ ней не было никакого характера. Она была добра, когда бесѣдовала съ Андроникомъ Евстафьевичемъ; молодилась и охорашивалась, когда передъ ней сидѣла Домна Савишна; злилась и била сестру свою, малолѣтную Палашку, когда слышала, что на сосѣднемъ дворѣ попадья производила экзекуцію надъ неисправной челядью; заикалась даже, когда Ерема Костыль, дьячекъ Тихвино-Онуфріевскаго прихода, великій заика, приходилъ къ главѣ и солнцу всѣхъ Воронежскихъ дьячковъ и произносилъ торжественную рѣчь, чарки ради. Когда Андроникъ Евстафьевичъ, изрядно напуганный, прибѣжалъ изъ магистрата домой, Голендуха Демьяновна сидѣла подъ образами и горько плакала. Андроникъ вытянулся отъ удивленія; сюртукъ послѣдовалъ за его движеніемъ.

— «Что приключилось?» спросилъ онъ.

— «Ахъ, Дроня ты мой! Не могу наплакаться; такъ жалостно! Отецъ Павелъ умираетъ.»

— «Павелъ Ивановичъ?...»

— «Ивановичъ!...»

И Голендуха опять зарыдала.

— «Да развѣ онъ въ какой фамиліарности, то есть, въ родствѣ или знакомствѣ съ тобой находился?»

— «И въ глаза не видала! Да Костылева приходила, стала плакать и меня разжалобила.»

— «Павла Ивановича жаль; весь Тихвино-Онуфріевскій приходъ будетъ плакать; а ужъ моя Савишна, чай, недѣли двѣ лукомъ будетъ себѣ глаза мазать, то есть, натирать.... Да, можетъ-статься, Павелъ Ивановичъ съ перепуга несмогъ. Правду сказать, и я струхнулъ.»

— «А что такое? Дроня, говори, не мучь!... что такое?»

— «Война на Воронежѣ...»

— «Что ты, что ты, Дроня!... Какъ война?»

— «Говорятъ тебѣ, война: солдаты пришли!»

— «Солдаты!... Палашка! Палашка! Запирай ворота! Солдаты пришли; война будетъ!... А съ кѣмъ же война, Дроня?»

— «Это не вѣдомо, то есть, секретно. Какъ Государь укажетъ. — Ярмонку всю разогнали. Теперь ихъ по квартирамъ разводятъ; того гляди, и къ намъ поставятъ.»

— «Что ты, Дроня! да ты развѣ не магистратскій секлетарь?»

— «Тѣмъ хуже! Того гляди, еще съ меня начнутъ.»

— «Палашка! Не пускай!... Слышишь, не пускай! Ужъ стучатся.»

— «Смирно, жена! Тутъ надо показать амбицію,

то есть, надлежащую честь, чинъ и званіе.... Ты знаешь, я человѣкъ благодѣтельный: мнѣ нельзя какъ-нибудь. Эй, Палашка! Отвори! Кто тамъ? Я сяду, а встану, смотря по чину. А ты, Душка, убирайся куда нибудь: ты у меня теперь, по милости Нѣмца, авантажная, то есть, благовидная такая; а про солдатовъ, а еще пуще про офицерство, я довольно наслушался разныхъ исторій, то есть, случаевъ... Ну, Душка, пошла же, когда тебѣ говорятъ!»

Должно замѣтить, что «Душка» происходило, не отъ души достойной супружницы Андроника, а отъ ея романическаго имени; почему я и пишу это слово съ большой буквы.

Какъ ни велико было, по женской натурѣ Голендухи Демьяновны, любопытство видѣть солдата, — вещь на Воронежѣ давно невиданную, — но романическій характеръ покорно уступилъ волѣ мужа. Голендуха уже двигалась по направленію къ дверямъ. Въ самомъ дѣлѣ, благодѣтельный человѣкъ былъ правъ. Супружница его была очень миловидна; шелковый платокъ на головѣ, и набивной на плечахъ, придавали красотѣ ея нѣкоторое щеголеватство, а походка, весьма похожая на утиную, какое-то барство. Въ самыхъ дверяхъ, Голендуха Демьяновна столкнулась съ Палагеей Демьяновной, которая, лицомъ и возрастомъ, весьма превосходила сестру свою, но за то, въ подраженіе другой сосѣдкѣ, которая ревновала къ мужу родную сестру, Голендуха Демьяновна глядѣла на Палашку всегда искоса и держала ее въ

черной кожѣ, то есть, на грязномъ дворѣ, безъ башмаковъ и въ дурномъ платьѣ.

— «Ты зачѣмъ въ избу, Палашка? Того гляди, солдаты птицу разнесутъ.»

— «Гаврила Андреичъ пришелъ, за воротами стоитъ, къ Андронику Евстафьичу просится.»

— «Зови, проси, возгласи: Милости просимъ, благодѣтель и другъ дому сему!»

Палашка побѣжала, а почтенный Андроникъ преспокойно снялъ нанковый хитонъ, уложилъ его въ скриню, или ларь, служившій и хранилищемъ и сѣдалищемъ, снялъ висѣвшую на веревочкѣ канифасную куртку, облачился, и на легкѣ, съ разверстыми объятіями, принялъ Германна.

— «Что, Гаврило Андреевичъ! Да услышу протестъ, то есть, объявленіе ваше о здоровьѣ родивнаго тя и вашемъ!»

— «Слава Богу, слава Богу!» отвѣчалъ скороговоркою Германнъ, сбросивъ съ плечъ и поставивъ въ уголъ коробку съ чудесными нѣмецкими лекарствами: «Теперь все счастіе мое въ вашихъ рукахъ, Андроникъ Евстафьевичъ.»

— «То есть, въ десницѣ моей?»

— «Да, батюшка мой, да! Андрей Александровичъ хочетъ къ Стешкѣ на совѣтъ....»

— «Къ Стешкѣ язычницѣ, то есть, Цыганкѣ?...»

— «Точно такъ.»

Андроникъ съ улыбкою взялъ за руку Германна и сказалъ значительно:

— «Зобъ есть недугъ велій, благообразіе разрушаяй, и уподобилась моя возлюбленная супружни-

ца индѣйкъ. Зобъ ея устрашалъ прихожанъ моихъ и отгонялъ ихъ отъ дома и вратъ моихъ далече, и бѣ смута на дворѣ моемъ, и прінде въ онъ день Гавріилъ Нѣмчинъ, и приложи персты своя къ зобу, и сокруши недугъ, и возликовахъ, яко.... То есть, просто сказать, ожилъ я, ожилъ, и Голендуха Демьяновна, и приходъ, и магистратъ, цѣлое засѣданіе резоновали, то есть, разсуждали, объ исчезновеніи зоба, и Савишна разнесла вѣсть о томъ и горѣ и долу, по всѣмъ приходамъ.... Я человѣкъ благодѣтельный, Гаврило Андрѣевичъ, и на томъ стою и амбицію мою ставлю. Грядемъ за Воронежъ!»

— «Позвольте; Андроникъ Евстафьевичъ, позвольте!»

— «Грядемъ, и кончено!... Но единая препона простерлась на пути нашемъ.

— «Какая препона?»

— «Война на Воронежъ; солдаты.»

— «Такъ что же?»

— «Какъ что? Война и вои...»

— «Да это на Турка идутъ: будутъ въ Воронежъ на тѣ новыя суда садиться....»

— «На Турка!.. О!, да исполнится уста моя всякаго хваленія Царю Царствующему, зане ополчается сокрушити рогъ гордыни Султана Турскаго... Грядемъ! или, первоначально.... виновать прелиминарно.... перекусимъ.»

— «Перекусимъ, перекусимъ!» кричала Савишна, входя поспѣшно въ избу. «На перепутьѣ не

вмѣшаетъ пенничку съ перцемъ... Ахъ, и ты, Нѣмецъ, здѣсь!»

— «Здѣ, по глаголу моему. Сестрица Савишна, кланяемся и поздравляемъ.»

— «Съ чѣмъ, батюшка?»

— «Со всякимъ авантажомъ, то есть, благовидностью: вы сегодня лицезрите такъ благопріятно...»

— «Эхъ, ты братецъ! Право не знаю, какъ языкъ твой ноги не сломитъ!»

— «Безъ ногъ бо есть; и собственно, утверждая...»

— «Ну зацѣпила! Поѣхалъ! Слова не дастъ вымолвить: да еще и при гостѣ! И времени-то у меня не хватитъ, учтивства ради, съ Гаврилой Андреичемъ слова два перекинуть. Шутка ли? Къ Стешкѣ...»

— «Къ Стешкѣ?..» воскликнули всѣ, не исключая и Палашки.

Но, за такое вмѣшательство, Палашка получила по принадлежности толчка и очутилась на обычной стражѣ у домашней птицы.

— «Къ Стешкѣ, батюшка-братецъ, посылаетъ Андрей Александравичъ къ Стешкѣ; говоритъ: приведи, да и полно!»

— «Премудры пути твои, Господи!» умиленно воскликнулъ благодѣтельный Андроникъ, и, указавъ подъ образа, сказалъ съ обыкновенною своею важностью: «Сотворимъ совѣтъ.»

И, попивая пенничекъ съ перцемъ, прикусывая рѣдечкой, собесѣдники окончили свой совѣтъ съ

небольшимъ часа въ два: довольно скоро, если принять въ соображеніе врожденное фамильное расположеніе и сестрицы и внучатнаго братца ея къ гражданскому краснорѣчію. Жаль, что исторія сохранила только результаты этого занимательнаго совѣта, а слова и рѣчи пропали, какъ зобъ у Голендухи Демьяновны. Изъ этихъ результатовъ видно слѣдующее: Бѣдный Германнъ, съ походной аптекой своей, обходилъ въ день почти весь Воронежъ, заглядывалъ во всѣ закоулки, и какъ бургомистерскій дворъ состоялъ изъ тридцати разнаго пола и возраста членовъ, то главная продажа ежедневная, которая простиралась иногда и до полтины, производилась тамъ. Машенька нерѣдко навѣщала бургомистровыхъ дочекъ, ѣла съ ними маковники и яблоки, щелкала орѣшки, ѣздила съ ними за Воронежъ, въ лѣсъ, по ягоду и за грибами. Увидалъ ее Германнъ на дворѣ у бургомистра, когда она въ горѣлки играла, и прилипъ будто тѣнь. Домой Савишна провожаетъ Машеньку, — Германнъ издали идетъ за ними; на грибахъ ли, на ягодахъ, — и Германнъ тамъ съ сумкою, на гербаризаціи, заколдованныхъ травокъ ищетъ. Машенька сначала глядѣла съ любопытствомъ на Германна, потомъ стала догадываться, потомъ догадалась: и загорѣлась дѣвка; никуда изъ свѣтелки не выходитъ, въ гости нейдетъ: такъ и боится, чтобы съ Германномъ не встрѣтиться; такъ и горитъ, а все только объ немъ думаетъ. Пошелъ, что называется, недугъ, по-граждански, любовь. Слушая любовныя похожденія Савишны, и

правдивыя и вымышленныя, Маменька еще пуще расхворалась. Савишна испугалась, да къ Андронику на совѣтъ. Но, на бѣду, Андроникъ былъ самъ по седьмому дню въ радостной лихорадкѣ: лекарствами Германна зобъ у Голендухи совершенно исчезъ; честь Андроника такимъ образомъ была вполнѣ возстановлена; Голендуха опять стала безъ изъяна. Какъ благодѣтельный человѣкъ, Андроникъ искалъ случая отблагодарить Германна, но... увы! денегъ Германнъ не бралъ, потому что Андроникъ ихъ не давалъ; другія услуги были ненужны влюбленному аптекарю; но, уступая настоятельнымъ требованіямъ Андроника, Германнъ сдѣлался его другомъ и частымъ гостемъ, и подъ веселую минуту признался въ своемъ горѣ. Можно себѣ представить, какъ Андроникъ обрадовался, когда узналъ отъ Савишны, что дѣлается у Ковригина въ свѣтелкѣ. Удружить другу, и кончено! Андроникъ ни на что болѣе не обратилъ вниманія; воздвигся на Савишну всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, и побѣдилъ. Савишна имѣла свою амбицію и, вмѣстѣ съ достойнымъ братцемъ, безкорыстно хлопотала за неизвѣстнаго ей Нѣмца. Таковы были великіе романическіе характеры въ старое время. Гдѣ вы теперь найдете подобное безкорыстіе? Конечно, и тогда не обходилось безъ подарковъ: и когда, за исключеніемъ Голендухи Демьяновны, которая, отъ присутствія трехъ совершенно разнохарактерныхъ существъ, до-смерти устала, не успѣвая соображаться то съ тѣмъ, то съ другимъ; измучилась, выбилась изъ силъ и за-

дремала, совѣтъ всталъ и отправился за рѣку Воронежъ; тогда въ карманъ Савишны переползли изъ рукъ Германна цѣлебныя травы и баночка, а президентъ, онъ же и магистратскій секретарь, онъ же и дьячекъ, получилъ удостовѣреніе отъ мудраго аптекаря, что не всякій жиръ полезенъ для волосъ, а особенно для косички, и что для сего предмета онъ принялетъ ему бальзамъ выписной, съ магическимъ прозвищемъ «Мадашкарское масло», отъ котораго на весь магистратъ будетъ разливаться благоуханіе ѳиміама. Сверхъ того, и за перевозъ указной алтынъ былъ заплаченъ Германномъ; наконецъ, садясь въ лодку, Германнъ поддержалъ подъ-ручку, не только Савишну, но и Андроника. Они усѣлись, а Германнъ объявилъ, что онъ, изъ почтительности къ своимъ заступникамъ и благодѣтелямъ, никакъ не сядетъ. О! лесть, неисчетное богатство! На нее можно купить и то, чего и въ продажѣ не бываетъ.

—

V.

Какъ у всякой колдуньи есть свой колдунъ.

Вмѣсто собранная сила больша есть.
Vis conjucta major.
Эмблема 374.

Вотъ уже пятый годъ я всеусерднѣйшее собираю свѣдѣнія о Цыганахъ, столь романическомъ народѣ въ старое время; а теперь проза нашего вѣка уничтожила всѣ поэтическія стороны этого индійскаго племени, которое нѣкогда обманывало

папу, королей, и нѣмецкіе магистраты и французскіе парламенты съ такою же легкостью, съ какою теперь продаетъ хромыхъ и слѣпыхъ клячъ за лошадей чуть не арабскихъ. Утративъ свой вольный, разгульный характеръ, свою пеструю, веселую жизнь, оно унизилось до англійскаго комфорта и, на казнь и ужасъ ушей девятнадцатаго вѣка, даетъ публичные концерты въ Филармонической Залѣ одной изъ самыхъ музыкальныхъ столицъ Европы. O tempora! o mores!.. Такъ, на глазахъ нашихъ, разрушается романтизмъ, который хотя и созданъ въ наше время усиліями также особеннаго племени, въ родѣ индійскаго, однако же нѣтъ сомнѣнія, что онъ существовалъ только до своего созданія или, какъ говорилъ Андроникъ Евстафьевичъ, до своего возсозданія. Въ старое время, Цыгане, какъ сказано, принадлежали къ чисто-романической партіи, особенно за рѣкою Воронежемъ.

Лодка, съ драгоцѣннымъ грузомъ и съ мачтой, которую изъ себя представлялъ Германнъ, ловко извивалась между тяжелыми байдарами, или воронежскими барками, которыя несли аммуницію и продовольствіе во всѣ новыя крѣпости по Хопру и Воронежу, и пристала къ небольшой деревенькѣ, или слободѣ. Цыганскіе таборы расположены были нагахъ въ двухъ стахъ за этой слободой на песчаномъ возвышеніи, между Воронежемъ и рѣчкой Песчанкой. Въ ближайшемъ таборѣ шелъ торгъ лошадьми и разною рухлядью: это былъ собственно цыганскій базаръ; а прочіе таборы—части жи-

лыя и спокойныя кочеваго города. Въ то время на Песчанкѣ кочевало болѣе пятнадцати тысячь Цыганъ: можно себѣ представить, что, несмотря на всѣ депутаціи, разосланныя на ярмарку и въ другія части Воронежа, здѣсь было видимо-невидимо Цыганъ. Одни проѣзжали предъ покупателями лошадей, другіе кричали: «Купи, баринъ!» и передъ любопытными глазами разнообразной публики встряхивали платокъ, шубу, серебрянный кубокъ, охотничій ножъ, даже связки баранокъ, благопріобрѣтенныхъ въ Воронежѣ у хлѣбной торговки. Въ разныхъ мѣстахъ раздавалась цыганская музыка, передъ которой плясалъ цѣпной медвѣдь, или колесомъ на рукахъ и ногахъ вертѣлся Цыганъ, или въ пляскѣ извивалась миловидная Цыганка, не разукрашенная мериносовой мантіей съ мишурнымъ галуномъ, а въ грязной рубашенкѣ, прикрытая дырявой плахтой (поэтически: епанчой). Не на Акатовѣ, а тутъ собственно, тѣснилась лучшая воронежская публика и дворяне, хотя ихъ на Воронежѣ было немного, и молодые купчики присматривали себѣ пѣвицъ, и нѣмецкіе мастеровые, съ трубками въ зубахъ, и даже пѣмецкія хозяйки съ дѣтьми всякаго возраста, и, наконецъ, нѣсколько человѣкъ солдатъ изъ полка, вступившаго въ тотъ день на Воронежъ для занятія приличнымъ гарнизономъ только-что отстроенныхъ крѣпостей. Цыгане знали, Цыгане видѣли, что на новой бригантинѣ Государь уѣхалъ въ Таврово, не только съ генералитетомъ и сподручниками, но забралъ съ собой бургомистра, оберъ-комендантера и нѣкоторыхъ

почетнѣйшихъ обывателей. Слѣдственно въ городѣ, кромѣ Андроника Евстафьевича, не оставалось ни одного непосредственнаго начальника, который бы имѣлъ какое-либо дѣйствительное на Цыганъ вліяніе. Передовые пикеты, расположенные по всему пространству болыной рѣки противъ города, тотчасъ дали знать кому слѣдовало о приближеніи Андроника Евстафьевича На скорую руку составленъ былъ тайный совѣтъ, назначены для принятія благодѣтеля послы, съ приличными дарами, состоявшими изъ трехъ рублевиковъ, куска шелковой матеріи и двухъ кусковъ полотна, да, для будущихъ дѣтей Андроника Евстафьевича, мѣшокъ сборной бакаліи. Едва показался Андроникъ на возвышенности, въ сопровожденіи дражайшей сестрицы и придворнаго своего медика, Цыгане пріударили въ бубны на всѣхъ пунктахъ; крики пѣсень слились въ ужасный ревъ, а послы подошли къ гостямъ, и кланяясь низко, предложили дары. Но Андроникъ, не обращая на нихъ никакого вниманія, шелъ дальше съ невозмутимою важностью.

— «Чтожъ ты это, братецъ?» шепнула Савишна: «Бери, коли даютъ. Вѣдь это общественное приношеніе.»

— «При всѣхъ!... Что ты, Савишна!.. Гдѣ твоя мудрость? Къ тому же военное время!»

— «Такъ я возьму, братецъ.»

— «Не моги!.. Что мое, то мое! А на твою долю будетъ! Этого мало.»

Цыгане, имѣя такой музыкальный слухъ, услышали разговоръ сестрицы и братца, и мгновенно

вмѣшались въ толпу, громко прославляя безкорыстіе Андроника Евстафьевича и возбуждая восторгъ во всемъ таборѣ.

— «Слышишь, слышишь, Савишна...» сказалъ Андроникъ:» какую-мнѣ чинитъ нечестивое племя сіе публичную и тріумфальную аппробацію?»

— «А все-таки у тебя ничего нѣтъ: ты голъ, какъ соколъ!»

— «Окажется...»

Въ это время плечистый, дюжій Цыганъ, увидавъ Германна, проворно сорвалъ съ себя шапку и низко поклонился Нѣмцу. Тотъ узналъ тотчасъ утренняго своего знакомца и сказалъ ласково:

— «Что же, другъ? Забылъ, что обѣщалъ?»

— «Марью Андревну?» сказалъ, почесываясь, Цыганъ: «Какъ же! Помню, бѣлый баринъ! Надо время, слухъ и духъ добыть, Стешкѣ доложиться.»

— «А гдѣ Стешка?» спросили всѣ трое.

— «Въ своемъ таборѣ, у своей кибитки: гостей много.»

— «Проводи!» сказалъ Андроникъ съ неописуемымъ величіемъ и Цыганъ, держа шапку подъ мышкой, и какъ то согнувшись, граціозно выступалъ передъ почетными и страшными гостьми.

Черезъ Песчанку надо было перейти по шаткимъ, опаснымъ мосткамъ, и Германнъ опять имѣлъ случай оказать Савишнѣ свою нѣмецкую учтивость. За Песчанкой, между двухъ небольшихъ деревъ, висѣла на веревкахъ рогожа; на травѣ раскинута была плахта; на ней товарный ящикъ, въ какихъ возятъ греческія конфекты; на

этомъ ящикѣ сидѣла Стешка, воронежская пиѳонисса, въ странномъ костюмѣ. На головѣ у нея былъ красный, яркаго цвѣта, платокъ, повязанный на восточный ладъ, и обшитый по концамъ золотою бахрамой; на самомъ темени въ эту чалму воткнуты были павлинья перья, штукъ шесть; серги мѣдныя, но такой длины, что послѣднія звенья болтались на обнаженныхъ плечахъ; грязная рубаха, хотя и тонкаго полотна, покрывала нѣсколько станъ ея и руки чуть не до локтей; костюмъ довершался полосатой юбкой, сшитой изъ бархатныхъ, глазетныхъ, суконныхъ и шелковыхъ полосъ. Этотъ занимательный пестрый костюмъ облекалъ женщину, которая сама была еще интереснѣе: ей было подъ-тридцать лѣтъ; выразительное, круглое лицо было смугловато, но ужъ вовсе не имѣло того коричневаго, грязнаго колорита, который, по многимъ свидѣтельствамъ современниковъ, въ цвѣтѣ цыганскаго лица составляетъ достоинство: бархатный пушокъ пробивался по всему лицу Стешки, но примѣтенъ былъ только тогда, когда на него падалъ солнечный лучъ и полнымъ свѣтомъ обливалъ ея голову. Ротъ былъ немножко широкъ, губы толстоваты, но пріятно сложены: цвѣтомъ онѣ были, какъ прозрачная спѣлая вишня. Нечего грѣха таить, надо правду говорить, Стешка была съ усами: они пробивались, какъ у молодаго мальчика лѣтъ шестнадцати, и ни мало не безобразили вполнѣ прекраснаго лица. А глаза, такъ глаза. Если бы я былъ романистомъ, откололъ бы я насчетъ этихъ черныхъ, блестящихъ глазъ та-

кую фигуру, что всѣмъ журналамъ стало бы страшно! Прибавьте ко всему этому умѣренное, благообразное дородство: необыкновенно сильныя, костистыя и съ тѣмъ вмѣстѣ полныя руки,—и вотъ вамъ Цыганка Стешка. Гостей, правда было много; гостинцевъ еще больше, потому что неотвязные молодые люди старались перещеголять одинъ другаго и обиліемъ взоровъ, и вздоховъ, и сладкихъ рѣчей, и подарковъ. Но Стешка сидѣла, опустивъ свои чудные глаза, закрытые большими черными рѣсницами, и глядѣла на какую-то страшную фигуру, которая, въ изорванной рубахѣ, прикрытая также не совсѣмъ опрятнымъ кафтаномъ, босая, лежала у ногъ Стешки на травѣ и не спускала черныхъ, но глупыхъ глазъ съ красивой пиѳониссы.

— «Матушка-Стешка, голубушка, загадай про нашу пропажу....» говорила какая-то старуха, стараясь взглянуть на Стешку черезъ плечи молодыхъ людей, окружавшихъ плотною стѣною красавицу.

— «Не кричи, баба!» заговорила лежачая страшная фигура басомъ: «Погоди! Время не пришло. Цѣлый день гадать нельзя. Вотъ, какъ найдетъ на нее, тогда подвернись ей на глазокъ: все разскажетъ.»

Въ это самое время проводникъ подбѣжалъ къ походной палаткѣ и закричалъ:

— «Дорóгу отцу нашему и благодѣтелю, Андронику Евстафьевичу! Дорогу и многія лѣта!»

Страшная фигура вскочила и стала натягивать

халатъ; Стешка также привстала и шепнула что-то молодому человѣку, который стоялъ возлѣ нея, опершись на дерево, и, казалось, только и ожидалъ удобнаго мгновенія, чтобы переговорить съ нею.

— «Отстань!» продолжала Стешка говорить тому же молодцу, нагнувшись, какъ-будто чего-то искала возлѣ своего ящика: «Отстань! Я тебѣ не наемная пѣвица! Меня деньгой не сманишь: деньги и любовь — вода!»

— «Стешка!... душа моя!... я женюсь на тебѣ!»

— «Не вѣрю.»

— «Сегодня, коли хочешь.»

— «Хочу.»

— «Не обманываешь?...»

— «Нѣтъ. Только Армусъ меня зарѣжетъ. Видишь, слова не даетъ сказать? Нарочно меня людямъ на-показъ держитъ, чтобы подарки брать, чтобы людей сманивать; а уйдутъ люди, Стешка знай-плачетъ въ кибиткѣ. Ты хорошъ и пригожъ; можетъ-быть и не лукавишь; только я сказала тебѣ, въ домъ чужой не пойду невѣстой, а женой. Ну, отлегла душа моя! Поиелъ Армусъ дьячку на встрѣчу. Только бы изъ табора уйти! Да у него глаза волчьи, и когти волчьи.... Баричъ ли ты, али прикидываешься, мнѣ все-равно.... Только помни, на чемъ я порѣшила; да....»

Но Стешка не могла продолжать; Армусъ ее кликнулъ: «Стешка сюда!» — и Цыганка, словно пава, пошла, поплыла; народъ только раздавался,

да приговаривалъ: «Ай да Стешка! ай да красавица!» И въ самомъ дѣлѣ, баричъ не могъ налюбоваться на колдунью. То былъ точно молодой помѣщикъ изъ тамбовскаго уѣзда, лошадей на Воронежѣ у Цыганъ покупалъ, на службу по старому обычаю собирался, снаряжалъ себѣ барскій походный обозъ. Случай его на Стешку навелъ: не купилъ Посвистовъ ни одной лошади; на Акатовѣ всѣ лучшіе платки, всякія ткани, даже мѣховъ часть толикую искупилъ; все Стешкѣ отнесъ. Смотрѣлъ за нимъ Армусъ въ оба, да не усмотрѣлъ; Стешкѣ баричъ полюбился; такъ тутъ, не только Армусъ, да и Аргусъ, въ дуракахъ останется.

Посольство ожидало Стешку въ отдаленіи. Андроникъ зналъ всю власть свою на берегахъ Песчанки, но передъ Стешкой какъ-то ему было всегда неловко. Красота ли, или душевныя качества Цыганки имѣли на него какое-то истинно волшебное вліяніе, а можетъ-быть, что всего вѣроятнѣе, въ душѣ его таился языческій страхъ; онъ боялся ея всезнанія. Не углубляясь въ причины, скажемъ только, что онъ принялъ Стешку весьма почтительно.

— «Степанида Ильинишна!..» сказалъ онъ не совсѣмъ твердымъ голосомъ: «Резоны, то есть, причины, бываютъ разнаго сорта, то есть, рода. Одинъ изъ такихъ генеральныхъ, то есть, главныхъ, резоновъ повелѣваетъ мнѣ просить у тебя аліанса, то есть, союза, противъ нѣкоторыхъ интересовъ, то есть, дѣлъ.»

— «Знаю, знаю...» сказала Цыганка: «зачѣмъ пришелъ.»

— «Что!.. Ты уже знаешь?.. Видно тебѣ супружникъ твой на рукахъ пересказалъ. Армусъ! Индискреція твоя достойна наказанія.»

— «Полно, милостивецъ!» сказала Стешка: «полно вздоръ городить! Вотъ, подитка сюда одинъ: я тебѣ на ушко все и разскажу, да и съ придачей.»

— «Ай да умница!» подумалъ Армусъ: «Какъ въ духѣ да въ ударѣ, такъ она самого оберъ-коменданта осѣдлаетъ. Да оберъ-комендантеръ не что: вотъ, если бы она этого крючка, поборщика, піявицу поганую, змѣю подколодную, въ руки приняла, да всякимъ страхомъ бы его отъ насъ отвадила!.. Въ нанкѣ ходитъ, а по субботамъ, ночью, цѣлую лавку всякаго добра ему въ лодкахъ тащатъ... Ай да Стешка! Такъ и вижу по кафтану, что страхъ на него находитъ; такъ и вытягивается: словно вѣтромъ его подмываетъ... Надо этихъ попутчиковъ заговорить, чтобы Стешкѣ не помѣшали.»

Охъ, Армусъ, то, да не то! Отвела Стешка благодѣтельнаго Андроника далеко въ кусты, да и говоритъ:

— «Если ты пришелъ у меня службы просить, убей, ничего для тебя не сдѣлаю.»

Андроникъ сдѣлалъ извѣстное движеніе, замѣченное и Армусомъ.

— «А помоги мнѣ, все улажу.»

Новое движеніе.

— «Ну, что жъ? поможешь?»

— «Степанида, Степанидушка! тебѣ ли объ этомъ спрашивать? Ты знаешь, я благодѣтельный человѣкъ! Вотъ, съ коихъ поръ лежитъ указъ, чтобы васъ на пять верстъ отъ рѣки отогнать; ну, что-жъ? Лежитъ, а исполнить не трудно: теперь военное время...»

— «И надо исполнить, Андроникъ Евстафьевичъ, и надо!» сказала Стешка.

Тутъ ужъ всякое описаніе будетъ невѣрно. Андроникъ отступилъ въ ужасѣ, остановился въ родѣ Колоса Родосскаго и разверзъ руки и ротъ. Стешка продолжала:

— «Надо ихъ, разбойниковъ, воровъ, обманщиковъ, по-дальше! Знаешь ли, что они затѣяли? За всѣ твои поборы, что ты по субботамъ съ нихъ правишь, когда у тебя родится сынъ или дочь..» Стешка остановилась.

— «Ну!.. Сынъ или дщерь?,»

— «Украсть и продать въ татарщину!»

У Андроника прильпе языкъ къ гортани; потомъ, по всѣмъ костямъ пошелъ трусъ и раздался скрежетъ зубовъ. Наконецъ, съ яростью возгласилъ онъ:

— «Горе тебѣ, язычница! Ты будешь свидѣтельствовать противу нечестивыхъ софамильцевъ, то есть, сродничей твоихъ!»

— «Нѣтъ, не буду! Я все это угадала по-своему. А если бы ты меня послушался, было бы лучше...»

— «Гласи!»

— «Выдай меня замужъ.»

Андроникъ отплюнулся и сказалъ:

— «Что ты это, идолопоклонница, морочишь меня, что ли?»

— «Никакъ, Андроникъ Евстафьевичъ! Я знаю что ты человѣкъ благодѣтельный; мнѣ отъ тебя ничего не нужно: только скажи мнѣ, чего ты отъ меня хочешь.»

Андроникъ ей разсказалъ все дѣло съ магистратскою подробностью. Терпѣливо выслушала его Степка и заплясала, прищелкивая пальцами. Этотъ припадокъ радости показался Андронику приступомъ къ колдовству: онъ зажмурился и сталъ креститься.

— «Полно, полно, Андроникъ Евстафьичъ! Чудо, золото, не случай! Только, гляди, не оплошай! Отпусти меня къ Ковригину съ Савишной, а муженька въ таборъ придержи... А завтра указомъ ихъ...»

— «Матушка Степанида, да что же тогда? Субботу развѣ ужъ изъ недѣльныхъ дней вовсе выкинуть, что ли?»

— «Ты только ихъ пугни, для вида. Тебѣ же лучше: они тебѣ завтра...»

— «Матушка, да завтра и такъ суббота. Нѣтъ, ужъ позволь, въ воскресенье...»

— «Нельзя, право, нельзя, Андроникъ Евстафьевичъ! И что-жь за бѣда! Можешь указомъ пугать два дня сряду... У насъ теперь не простое время, ярмарка; вчетверо больше дохода; такъ за что же тебѣ свою часть терять?»

— «Вчетверо?.. По рукамъ, Степанидушка, по рукамъ! Тати, во истину тати! А вчера еще жаловались, что ни какого торга нѣтъ! Горе тебѣ, племя вавилонское! Прійдутъ вои чуждіе и разграбятъ сокровищницу твою... По рукамъ!.. Грядемъ!..»

— Ну, я готовъ, Стешка!..» сказалъ Армусъ, лукаво улыбаясь, потому что замѣтилъ печальный и разстроенный видъ Андроника: «Пойдемъ въ городъ, какъ начальство указываетъ.»

— «Пойдемъ!» сказала Стешка, спокойно снимая съ дерева настоящую голубую епанчу, опушенную красивымъ соболемъ; закуталась и подошла къ Андронику.

— «Ну, что-жъ? Пойдемъ! Я готова.»

— «Грядите вы съ Савишной, не медля; а мы съ Армусомъ потолкуемъ о важномъ казусѣ, то есть, случаѣ, и прійдемъ за вами. Ступайте! Время дорого.»

— «Какъ прикажешь...» сказала Стешка: «Ты у насъ начальный. Пойдемъ, Савишна!»

— «Постой!.. Нельзя!» кричалъ Цыганъ: «Безъ себя не пущу!»

— «Умолкни!.. Грядите, донележе васъ не изжену тростію.»

Хотя у Андроника трости никакой не было, однако-жъ угроза подѣйствовала: женщины ушли, а Андроникъ, поймавъ за воротъ Цыгана, началъ гласомъ великимъ:

— «Контрибуцію!»

— «Что, батюшка, Андроникъ Евстафьевичъ, милостивецъ нашъ и благодѣтель?»

— «Даръ, приношеніе, за визиту мою, то есть, посѣщеніе.»

— «Возьми что хочешь, только пусти меня за женой! Шутка ли, середь бѣла дня на Акатово, гдѣ подлиналъ больше нашего.»

— «Въ презенціи Савишны нѣсть опасности! Не безчесть сестры моея, а нето взыщу штрафъ, то есть, пеню.»

— «Чего же ты хочешь?»

— «Миролюбія и бесѣды!.. Укажи мнѣ, гдѣ какой таборъ стоитъ, какимъ прозвищемъ титуловать его надлежитъ, гдѣ у васъ сокровищница, почему въ рапортѣ, то есть, доношеніи твоихъ депутатовъ, показанъ доходъ ординарный, а на самомъ дѣлѣ у васъ вчетверо всякаго прибытка? Пунктъ второй: какіе умыслы имѣете вы противъ того, кого еще и на свѣтѣ нѣсть? Пунктъ третій: кто навелъ на супружницу мою, многолюбезную Голендуху Демьяновну, безплодіе? Пунктъ четвертый: отчего оберъ-комендантерскій указъ доднинѣ не исполненъ, и вы пребываете на Песчанкѣ? Далѣе, пунктъ пятый: вралкахъ и возжаждахъ... Поднеси чего нибудь!»

И Андроникъ Евстафьевичъ опустился на престолъ Сѣнки, а весь таборъ пришелъ въ волненіе, все забѣгало, захлопотало о трапезѣ для благодѣтельнаго человѣка вообще, и для Цыганъ въ особенности.

VI.

Какъ иногда одинъ хорошъ, а другой лучше.

Какъ подумаешь, что иногда случается въ одинъ день, то не можешь не удивляться, какъ исторія огромнаго царства можетъ вмѣститься въ нѣсколько томовъ. А я знаю многія, даже философическія, исторіи, со всѣми воззрѣніями, причинами, поводами, послѣдствіями и результатами, въ двухъ а ужъ много въ трехъ томахъ!.. Съ одной стороны, удивительно; но ужъ за то, съ другой стороны, не удивительно, что изъ подобныхъ книгъ ничему нельзя научиться: я знаю даже такихъ людей, которые, съ помощію этихъ исторій, совершенно разучивались и теряли послѣднія свѣдѣнія, пріобрѣтенныя было въ школахъ и отъ чтенія историческихъ матеріаловъ. Кажется, довольно событій случилось на Воронежѣ въ эту знаменитую пятницу, но солнце еще высоко. То ли еще окажется! По отбытіи Савишны за Воронежъ, въ домѣ Ковригина десятникъ, отъ имени городничаго, привелъ и поставилъ на квартиру офицера, господина Фона, съ тремя лошадьми, двумя деньщиками и одною повозкою. Ковригинъ защищался противъ такого нарушенія законовъ весьма слабо, потому, что не зналъ законовъ, а по зерцалу таковымъ незнаніемъ не смѣлъ отговариваться, да и потому можетъ-быть, что его крайне безпокоила судьба и болѣзнь дочери и благодѣтельныя послѣдствія, какихъ онъ ожидалъ отъ посѣщенія Стешки. Внизу, въ главной комнатѣ, накрытъ былъ столъ

и приготовлена очень порядочная закуска для Стешки и Армуса, который всегда ей сопутствовалъ. Хозяинъ принялъ офицера въ этой комнатѣ, и, когда тотъ снялъ шляпу и шпагу, положилъ ихъ на скамью и увидѣлъ на столѣ готовый обѣдъ; не говоря ни слова хозяину, подошелъ, выпилъ стаканчикъ водки, встряхнулъ головою, какъ всегда при подобныхъ случаяхъ бываетъ, и сталъ себѣ весьма спокойно закусывать. Ковригинъ съ изумленіемъ глядѣлъ на эту продѣлку, разинувъ ротъ и опустивъ руки. Фонъ въ нѣсколько минутъ до-чиста съѣлъ запасъ, приготовленный для двухъ персонъ, сѣлъ подъ окномъ, и глядя на амбары Андрея Александровича, сказалъ разсѣянно и отрывисто:

— «Пожалуй огонька.»

— «Что твоей милости надо?»

— «Огня.»

— «Середь бѣла дня огня?»

— «Да, ну, поворачивайся, когда тебѣ говорятъ! Пора и соснуть.»

Ковригинъ повиновался, и когда принесъ зажженную свѣчку, съ ужасомъ отступилъ: онъ вѣроятно бы уронилъ подсвѣчникъ, если бы нетерпѣливый Фонъ не взялъ его изъ дрожащихъ рукъ хозяина.

— «Помилуй, кавалеръ!...» едва могъ произнести Ковригинъ.»

Но Фонъ не слушалъ его, набилъ изъ кожанаго кисета трубку съ коротенькимъ чубукомъ, заку-

рилъ, сѣлъ опять у окна, и опять сталъ разсматривать амбары.

— «Кавалеръ!» началъ-было опять Ковригинъ; но Фонъ спустилъ дымчатое колечко и сказалъ безъ всякой досады:

— «Ступай къ чорту! Мнѣ больше ничего не нужно.»

Ковригинъ не былъ трусъ, а сверхъ того имѣлъ амбицію не хуже чѣмъ Андроникъ, почему и рѣшился униженно доложить, что онъ — не батракъ какой, а хозяинъ дома, первостатейный купецъ, магистратскій ратманъ, и тому подобное.

— «Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше!» отвѣчалъ отрывисто Фонъ: «Можешь себѣ хозяиничать сколько хочешь; только меня не трогай! Я терпѣть не могу курить и разговаривать, а если тебѣ скучно, толкуй себѣ пожалуй, а я буду слушать.»

Ковригинъ посмотрѣлъ на Фона съ презрѣніемъ, сѣлъ возлѣ него съ неопредѣленною гордостью, отворотился и сталъ глядѣть въ другое окно. Посидѣли они не мало; Фонъ набилъ и выкурилъ другую и третью трубку. Ковригинъ, задыхаясь отъ дыму, отперъ сначало окно, потомъ и двери.

— «Спасибо!» сказалъ Фонъ: «День такой былъ жаркій: душно!.. Эй, Семенъ! подай шинель и подушку.»

Сказавъ это деньщику въ окошко, Фонъ сталъ спокойно раздѣваться и складывалъ мундиръ, камзолъ и галстухъ на скамьѣ, возлѣ самаго Андрея Александровича.

— «Ну, хозяинъ!» продолжалъ онъ, потягива-

ясь и зѣвая: «Мухъ у тебя будто въ кухнѣ.... Плохо мнѣ будетъ спать. Нѣтъ ли у тебя комнатки по-темнѣе? А нѣтъ, такъ извини: я велю Семену ставни запереть; а ты себѣ ужъ какъ хочешь. Мое дѣло походное. У меня всегда ночь, когда спать хочется, а тебѣ, видно, жена мѣшаетъ. Что, ты женатъ?»

—«Вдовъ...» съ досадой отвѣчалъ хозяинъ.

— «Все лучше, чѣмъ холостъ. Не приведи Богъ, какая скука! Ужъ что ни говори Трофимычъ, женюсь; хоть въ Турціи, а женюсь! Ну, а дѣти у тебя есть?»

— «Есть.»

— «Много?»

— «Вотъ присталъ! Очень ему нужно.»

— «Ну, что́ жъ? много ли!»

— «Одна.»

— «Значитъ, дочь.... Взрослая?»

— «Въ началѣ третій.»

— «За мужемъ?....»

— «А, чтобъ тебя нелегкая! Вотъ привязался!... Нѣтъ, не замужемъ, и еще, чего добраго, гляди за мужемъ не будетъ.»

— «Видно, рожа скверная?»

— «Что!... Рожа скверная?... Да такой красавицы на всемъ Воронежѣ нѣтъ. Была, моя матушка, кровь съ молокомъ; да видно изъ зависти...»

Въ это время Семенъ послалъ на скамьѣ шинель, подложилъ подушку, и Фонъ растянулся.

— «Ступай, Семенъ!... Ну, такъ видно приданаго мало?»

— «Будетъ съ нее! Пока я живъ, тысячу рублевиковъ ей на каждый годъ назначилъ, домъ, и на домъ все готовое; а послѣ моей смерти, все ей; у меня другаго дѣтища нѣтъ, да и родни нѣтъ дальняя.»

— «Да что за чортъ!» вскочивъ, закричалъ Фонъ: «Отчего же никто на ней не женится? Ты, видно, борода, много важничаешь, да ломаешься: вѣдь такая невѣста нашему брату, капитану, подъ пару.»

Ковригинъ вскочилъ, услышавъ, что Фонъ имѣетъ капитанскій рангъ, потому что оберъ-комендатеръ воронежскій состоялъ въ томъ же чинѣ.

— «Какъ, ваше высокоблагородіе! Такой молодой, и ужъ капитанъ.»

— «Да чему ты это удивился? Седьмой годъ на службѣ.»

— «Да всего-то тебѣ, чай, тридцати нѣтъ.»

— «Нѣтъ, братъ, подымай выше; пятокъ накинь.»

— «А изъ какихъ мѣстъ, осмѣлюсь спросить?»

— «Изъ далекихъ! Я, какъ у васъ называютъ, выписной Нѣмецъ.»

— «Смѣкаю, батюшка, смѣкаю: изъ-за моря.»

— «Ну, моря, признаться, я ни какого не видалъ по дорогѣ.»

— «Видно, зимою изволилъ ѣхать.»

— «Твоя правда, зимою; мнѣ это и не въ догадку. Ну, да что обо мнѣ! Ты мнѣ лучше, братъ, про себя скажи. Отчего же это дочку никто не беретъ?»

—«Эхъ, батюшка, ваше высокоблагородіе! Она, видишь, испорчена колдовствомъ».

—«Испорчена колдовствомъ?..... вотъ что! Это не хорошо.... Видно, за нею ни какого присмотра не было.... Ну, нечего дѣлать, Трофимычъ, обождемъ. А я ужъ и разлакомился.... Да нѣтъ!... Нельзя!.... Товарищи такіе насмѣшники!.... Прощай, братъ! Вели-ко ставни запереть.... А жаль, что испорчена!... Ну, ступай, ступай!...»

И Фонъ повалился. Напрасно Ковригинъ всю вину приписывалъ Савишнѣ, напрасно! Фонъ захрапѣлъ. Ковригинъ печально усѣлся къ окну и глядѣлъ на калитку, откуда должна была появиться благодѣтельная фея..... Вдругъ залаяли псы; калитка распахнулась; Ковригинъ уже стоялъ на крыльцѣ и протянулъ руки къ Степкѣ, но она, пропустивъ впередъ Савишну, что-то говорила Посвистову, который, получивъ видно приказаніе, со всѣхъ ногъ бросился по улицѣ. Цыганка долго смотрѣла ему вслѣдъ, и когда онъ исчезъ изъ виду, тогда только переступила черезъ порогъ калитки и поспѣшно взошла на лѣстницу. Собаки пуще залаяли; Фонъ проснулся, и, видя что ставни не заперты, закричалъ во все горло.

—«Семенъ!... Трофимычъ!... Трофимычъ!... Семенъ!...»

Оба деньщика услышали команду и предстали передъ полу-соннаго капитана.

—«Семенъ, запри ставни! Проклятыя мухи!.. А ты чего смотришь? Знаешь, что я отдыхаю. Нѣтъ смѣтки собакъ унять. Чего они разревѣлись?»

— «Да чего разрезвились, ваше благородіе! Тутъ въ домѣ, батюшка, такой содомъ, что ни приведи Господи. Дай Богъ только переночевать благополучно; да съ разсвѣтомъ, благо, въ походъ.»

— «Какой содомъ?»

— «Да какъ же не содомъ! Дочку хозяйскую черный глазъ испортилъ.»

— «Черный глазъ!...»

Фонъ опять вскочилъ.

— «Черный глазъ, говорятъ люди. Видно по себѣ молодца присмотрѣла, а отецъ у нея крутой: не хочетъ ее замужъ выдать, пока ей два съ половиною десятка не стукнетъ. Вотъ и занылa красавица, стала чахнуть, да рваться. Простое дѣло. Можетъ, и чернаго глаза нѣтъ, а, какъ всякая молодая дѣвчонка, больно замужъ хочетъ.»

— «Ну, нѣтъ, Трофимычъ! можетъ быть, и тайная связишка есть.»

— «Что ато вы, ваше благородіе! У насъ, на Руси, такого грѣха и не вѣдаютъ. Да тутъ и по дѣлу видно, что ничего такого нѣтъ. Сама проcила Цыганку привести; а если бы знала что за собою, такъ и на порогъ бы не перепустила колдуньи: отъ нихъ, батюшка, ваше благородіе, и съ простымъ воровствомъ не укроешься.»

— «Спасибо тебѣ, Трофимычъ!»

— «За что, ваше благородіе?»

Фонъ всталъ съ походной постели и сталъ ходить по комнатѣ съ опасностью для собственнаго лба и Трофимычева, потому что, по милости Семена, только и свѣта осталось въ комнатѣ что

изъ прорѣзанныхъ въ ставняхъ сердецъ, да изъ щелокъ.

— «Какъ за что, Трофимычъ?» продолжалъ Фонъ: «Какъ за что? Право, холостьба не въ мочь приходится, а тутъ, братъ, еще не приданое, а золотое дно.... Послужилъ; подамъ въ оставку; или попрошусь на Хоперъ или въ Таврово, комендантомъ, или сюда, смотрѣть за магазинами, или за чѣмъ другимъ.... И что братъ, Трофимычъ! Теперь я молодецъ хоть куда; самъ говоришь, что ни съ языка, ни съ лица на Нѣмца не похожъ; а война дѣло опасное; того гляди на повалъ убьютъ; на всегда холостякомъ въ гробъ положатъ; а еще хуже, какъ небережно околечатъ, физіономію испортятъ, оторвутъ что-нибудь, ногу, руку. Право, Трофимычъ, кончено! Дальше уже и городовъ нѣтъ, и невѣсты не найдешь. А завтра въ походъ! Тутъ мѣшкать нечего. Только ты не уходи, Трофимычъ; стой здѣсь для куражу. А не выдастъ дочка, тогда, Трофимычъ, мы ему дадимъ себя знать..... Тсъ! По лѣстницѣ идутъ»

И точно, кто-то, не шелъ, а бѣжалъ изъ свѣтелки. Андрей Александровичъ кричалъ:

— «Погоди, погоди, Стешка!»

— «Нечего батюшка, ждать! Вою подноготную тебѣ сказала. Неослушаешься, бѣда будетъ! Увидишь, бѣда неминучая! Трехъ дней не проживетъ! А ждать нельзя. Добрый баринъ; я твой обычай знаю: въ амбаръ запрешь, а мнѣ самой замужъ хочется!»

Такъ прокричала Цыганка въ сѣняхъ, сбѣжала

съ крыльца, въ калитку; тамъ стояла удалая тройка, съ небольшой, но красивой колымагой. Кто-то высунулся изъ колымаги, принялъ Стешку за руки, свиснулъ, и тройка понеслась къ особенному удивленію Ковригина и не меньшему Савишны.

— «Ну что, Савишна?»

— «Ну что, Андрей Александровичъ! Благо узлы распутали; знаешь теперь, какой недугъ и какъ пособить.»

— «А стыдъ какой! За Нѣмца выдать!.. Провались она, вѣдьма проклятая! Да какъ страшаетъ! Видишь, трехъ дней не проживетъ!»

— «Куда, батюшка! Дай Богъ и три дня: чуть духъ переводитъ. Стешка правду говоритъ: затомилась. Да самъ ты спрашивалъ у Машеньки: Хочешь за мужъ? — «Умру, коли не отдашь!» — За Нѣмца? — «За Нѣмца.» — Да за какого же я тебя Нѣмца отдамъ? — «Поищи, найдешь! На Воронежѣ нѣмецкихъ женишковъ разъ, два, и обчелся...»

— «А Стешка!.. Хоть-бы разсказала на порядкахъ. Прійдется опять за нею посылать.»

— «Ну, ужъ если такъ, Андрей Александровичъ, такъ и я должна тебѣ сказать, что Стешка на большое колдовство отъ насъ поѣхала; будетъ верстъ тридцать отсюда; куда, не сказывала, только говоритъ, что раньше семи дней ни какъ ей быть назадъ нельзя.»

— «Вотъ тебѣ разъ!.. Ну, а какъ я, да не того Нѣмца ей засватаю?..»

— «Ну, для этого Стешки не надо. Тутъ ужъ Маменька сама смѣкнетъ.»

— «Правду ты говоришь. Лишь бы Нѣмецъ: А полюбится, такъ и тотъ!.. Такъ знаешь что Савишна? Поди-ка ты, смани Машеньку въ садъ. Пока что будетъ, надо ей провѣтрится, а не то, пожалуй, она Нѣмцу не полюбится.»

— «Вотъ что правда, то правда!»

И Савишна отправилась въ свѣтелку, а Ковригинъ трепетною стопою, вступилъ въ темную комнату, гдѣ оставилъ капитана спящимъ; но къ удивленію, нашелъ его въ полномъ костюмѣ; Трофимычъ что-то затягивалъ.

— «Довольно!» сказалъ капитанъ: «Ступай, ставни отвори!»

— «Да не хотите ли, батюшка, ваше высокоблагородіе...» сказалъ Ковригинъ униженно: «эта изба у меня на солнцѣ; а въ опочивальнѣ всегда прохлаждаться можно; и, для подкрѣпленія силъ, туда что-нибудь принесутъ изъ погреба.»

— «Вы у меня хозяинъ, а я постоялецъ: повиненъ слушаться.»

— «Что вы это, батюшка, ваше высокоблагородіе, чиниться изволите? Будьте какъ дома! Пожалуйте!»

— «Извольте, извольте, батюшка! Трофимычъ, не отставай!»

— «Погодите, ваше благородіе...» шепнулъ Трофимычъ, когда вошли въ другую свѣтлую комнату.

— «Что тамъ такое?»

— «Позвольте... сей часъ...»

И Трофимычъ рукавомъ, съ великимъ усердіемъ, уничтожилъ дорожную пыль со всей одежды Фона.

— «Волоса-то, волоса!» продолжалъ Трофимычъ: «Поправьте. Словно возъ сѣна на головѣ. Не взрачно.»

Фонъ кое-какъ привелъ въ порядокъ свою шевелюру.

— «Того... еще, ваше благородіе... не держите рукъ по швамъ. Вѣдь это не передъ полковникомъ. Вы дѣлайте, какъ будто вы полковникъ, а невѣста капитанъ.»

— «Спасибо, Трофимычъ, спасибо! Учи, учи!»

— «И ногъ въ шеренгу не держите, а будто на маршъ-маршъ.»

— «Спасибо.»

— «И рожу не мѣшаетъ, знаете, такъ скорчить, какъ вы дѣлаете, когда я къ вамъ съ графинчикомъ прихожу.»

— «Знаю, знаю!»

И Фонъ вошелъ въ опочивальню гоголемъ.

— «Въ самомъ дѣлѣ...» сказалъ Трофимычъ громко: «какая здѣсь прохладность!.. и садъ!..»

— «Да, и садъ!» повторилъ Фонъ.»

— «Фруктовый, батюшка...» подхватилъ Ковригинъ: «больше двухъ десятинъ земли подъ нимъ; и уже есть, того, и нѣкоторые, такъ-сказать, яблоки... ранніе. — Машенька! а Машенька!» крикнулъ Ковригинъ, отворивъ окошко: «сорви съ яблони своей парочку, которые поспѣлѣе, да подай сюда!»

Фонъ потянулъ за полу Трофимыча и шепталъ ему совсѣмъ осторожно:

— «Гляди, гляди, какая красавица!»

— «Видно сейчасъ, что хозяйская дочь...» подхватилъ Трофимычъ.»

— «Какъ же-съ, дочка моя, Марья Андреевна Ковригина, единородная. За нею все послѣ меня и останется. Хоть и въ раннемъ возрастѣ, да на яблоню свою похожа: скороспѣлка!»

Марья Андреевна подала черезъ окошко яблоки, взглянула на Фона, покраснѣла и убѣжала.

— «Такъ и есть!» подумалъ Ковригинъ: «Такъ и есть! Суженый! Такъ и ожила, какъ увидала!... И надо же, проговорила сколько времени! Женихъ на дворъ, и прошелъ недугъ. Да тутъ и Степки не надо было. Экое диво, право!»

— «Господинъ Ковригинъ...» сказалъ Фонъ, вникаясь и не спуская глазъ съ аллеи, куда побѣжала Маленька.

— «Что прикажешь, ваше высокоблагородіе?»

— «Я человѣкъ военной...»

— «И такого высокаго ранга!.. Не гнѣвайся батюшка, если я чѣмъ не угодилъ, или по-началу необычно обошелся. Мы люди темные; гдѣ намъ порядки знать!.. Не взыщи, пожалуй!»

— «То есть, я хотѣлъ сказать; то есть, я холостъ, жены не имѣю.»

— «Ахъ, батюшки-свѣты! Стоитъ тебѣ кличъ кликнуть, такъ сколько ни есть на Москвѣ боярышень...»

— «Не то!.. Видишь, въ Турціи невѣсть нѣтъ.»

— «Да и гдѣ тамъ быть невѣстамъ? Можно ли, чтобы у такаго бусурманскаго племени невѣсты были! Чай, у нихъ и женщинъ совсѣмъ нѣтъ. Вотъ у насъ купцы бываютъ на Воронежѣ, такъ говорятъ, что городъ въ три Воронежа, а все бородачи, вотъ какъ мы, да мальчишки, а женщины за деньги не увидишь.»

— «Не то!... Такъ видно прійдется мнѣ здѣсь въ Воронежѣ....»

— «Что такое, батюшка! Да въ Воронежѣ невѣстъ мало; почитай двѣ три; бурмистерскія дочки—еще недоростки. Есть, говорятъ, у Сизобрюхова дочка, да мы не видали, а свахамъ, батюшка, не вѣрь! Всего лучше, какъ своимъ глазкомъ подмѣтишь; такъ ужъ безъ обману!»

— «Не то!... Я уже видѣлъ....»

— «Кого ты видѣлъ, батюшка? Кого ты видѣлъ?... Не успѣлъ на Воронежъ прійти, ужъ и видѣлъ!... Ахъ ты, удаль молодецкая! А мнѣ такъ казалось, будто ты, окромя нашей Маменьки, никого еще не видѣлъ изъ женскаго пола.»

— «Всеконечно....»

— «Такъ что жъ?»

— «Какъ что?...»

— «Я не знаю....»

— «Да и я не совсѣмъ....»

— «Какъ не совсѣмъ!» закричалъ Трофимычъ: «Что это, право! Какъ со мной говорить изволите, такъ, небось, ни языкъ ни рука не заикаются, а тутъ пустое дѣло такое, а рѣчи словно цѣдить. Право, Господи прости! я за васъ стану Марью

Андреевну сватать! Ну, что, борода, теперь знаешь?»

Ковригинъ въ свою очередь оторопѣлъ: сватовство было слишкомъ неожиданно; гаданье исполнилось такъ скоро; честь велика; одна бѣда, что Нѣмецъ. Но жизнь Марьи Андреевны стоила такой жертвы. Конечно, если бы не опасность жизни, Ковригинъ ни на какую честь не посмотрѣлъ бы; но въ такой крайности, въ какой былъ Ковригинъ, ему казалось, что этотъ Фонъ прямо съ неба свалился. Но съ другой стороны ни какъ въ такихъ случаяхъ нельзя, и не должно, показывать своей радости: а то еще Нѣмецъ, того гляди, Богъ знаетъ, что о себѣ задумаетъ! Надо быть очень осторожнымъ, сохранить надлежащую магистратскую важность и не нарушить, по-крайней-мѣрѣ видимо, старинныхъ обычаевъ. Положеніе ужасное! Да и кто онъ, этотъ Фонъ? Только и зналъ о немъ Ковригинъ, что онъ имѣетъ капитанскій рангъ, а больше ровно ничего. Даже фамилія тестю неизвѣстна. Спросить.... страшно! чего добраго, еще разсердится! А не спросить, нельзя.... Продолжительное общее молчаніе дало время Ковригину порядкомъ надуматься и пріискать приличныя средства къ выходу изъ такого затруднительнаго состоянія.

— «Знаешь, Трофимычъ....» сказалъ Ковригинъ: «рѣчь твоя все одно что обухомъ по лбу! Я нынче по новому обычаю живу. Безъ дочки не могу на такую честь отвѣтъ дать. Надо Машенькѣ доложиться. Такъ ужъ позволь, чтобы все

было на порядкѣ; надо ей всю подноготную сказать, и кто, и по имени, и по отчеству, и какимъ прозвищемъ прозывается, и если есть какія за женихомъ художества или другія статьи, такъ и о семъ надо невѣстѣ вѣдать, поколику, какъ говоритъ Андроникъ Евстафьичъ, то ей принадлежитъ.»

— «Зовутъ меня, по-русски Васильемъ Иванычемъ Фономъ.... Ну, и все тутъ! Больше я и самъ за собою ничего не знаю.»

— «Только и надобно, Василій Ивановичъ, ваше высокоблагородіе, только и надобно! Пожалуйте въ чистую избу; а я туда и дочку кликну. — Эй, Маша! а Машенька! поди сюда!» кликнулъ Ковригинъ черезъ окошко, и всѣ вошли въ чистую избу, гдѣ открылось дѣйствіе предлежащей главы.

Духомъ явилась Машенька съ Савишной. Увидавъ чужихъ гостей, она вскрикнула, будто перепугалась; а совсѣмъ не перепугалась, а такъ, сдѣлала съ нарокомъ, ради дѣвичьей скромности. Фонъ стоялъ передъ нею на вытяжку, и ни какъ не могъ распутать ни ногъ ни рукъ, какъ ни понуждалъ его къ тому Трофимычъ. И съ Ментора и съ Телемака потъ ручьемъ валилъ. Но рѣшительное мгновеніе наступило, и Фонъ, который слыхалъ, что въ любви надо изъясняться на колѣняхъ, упалъ на колѣни передъ Марьей Андреевной. И Ковригинъ и Савишна бросились подымать его, а Марья Андреевна на этотъ разъ вправду перепугалась.

— «Ахъ, батюшки-свѣты что съ нимъ сдѣлалось? Чай, ушибся.»

— «Ничего, матушка Марья Андреевна!» подхватилъ Трофимычъ: «это отъ любви.»

— «Отъ любви?... Ахъ, онъ бѣдненькой! Я-то еще ничего: держусь на ногахъ; а онъ такъ и растянулся!»

— «Ничего-съ!» сказалъ Фонъ, нѣсколько приходя въ себя: «ничего-съ; маленько пришибъ колѣно.... да ничего-съ! до свадьбы заживетъ.»

— «А кого же твоя милость любитъ такъ изволишь?» спросила Савишна, кобенясь по обычаю.

— «Какъ кого! Да это, кажется, ясно!» сказалъ Фонъ.

— «Конечно ясно!» прибавилъ Ковригинъ.

— «Марью Андреевну!» пояснилъ Трофимычъ.

— «Меня!... Машеньку!...» воскликнули наши дамы.

— «Вотъ тебѣ разъ!» продолжала Савишна: «Зачѣмъ же ты не полюбилъ ее прежде? Теперь ужъ поздно!»

— «Какъ поздно!» воскликнули всѣ, не исключая и Машеньки, которая оттащила Савишну къ окну, да и шепчетъ ей: — «Что ты, Савишна, одурѣла, что ли? За Гаврилу выдадутъ ли еще, или нѣтъ, а ужъ за капитана, да еще за такого хорошенькаго, не посмѣетъ батюшка поперечить.»

— «Ахъ ты, переметчица! Тебѣ лишь бы замужъ!» воскликнула Савишна.

— «А ты хоть стара, а сейчасъ бы вышла за капитана....» сказала Машенька, со злостью ущипнувъ Савишну такъ больно, что у той слезы на глазахъ выступили.

— «Ну, племячко! нечего сказать! Ни стыда, ни обычая!»

— «Полно, полно, Савишна!» сказалъ Ковригинъ: «Суженаго конемъ не объѣдешь! Ну, что, Машенька? Василій Ивановичъ тебя сватаетъ. Что сказать ему?»

— «Скажи, батюшка. Ты лучше вѣдаешь.»

— «А я ему скажу: ладно?...»

— «А мнѣ какое дѣло! Вѣдь ты отецъ. Самъ знаешь.»

— «Ну, такъ я скажу: ладно.»

— «Ладно, такъ ладно: я во всемъ тебѣ послушна.»

— «Ну, такъ по рукамъ, Василій Ивановичъ! Вотъ тебѣ моя Машенька съ рукъ на руки.»

Успѣхъ ободряетъ. Фонъ совершенно пришелъ въ свою тарелку и безъ дальнѣйшихъ церемоній поцѣловалъ Марью Андреевну, потомъ такъ прижалъ къ храброй груди своей Андрея Александровича, что у того косточки захрустѣли; тогда отправился къ Савишнѣ, но Савишна съ ужасомъ отъ него попятилась.

— «Что ты это, батюшка!» кричала она: «при всѣхъ цѣловаться лѣзешь. У насъ нѣтъ такого обычая.»

— «Не хочешь?... Богъ съ тобой! И мнѣ-то не очень хочется съ тобою цѣловаться: рожа у тебя не взрачная; да не хотѣлъ обойти и обидѣть.... Ну, любезный тестюшка, дѣло уладилось, да не совсѣмъ; надо итти къ командеру, указа просить, чтобы жениться позволилъ.»

— «Да что онъ тебѣ, отецъ, что ли?»

— «Не отецъ, а полковникъ. Дѣло служебное. Да ужъ это пустяки; съ разу позволитъ. Словно барабанъ какой, онъ то и дѣло толковалъ мнѣ на Москвѣ: «Женись, Василій Иванычъ, женись!...» Вотъ обрадуется!... Трофимычъ, пойдемъ!»

И Фонъ съ Ментором отправился къ полковнику.

—

VII.

Какъ бѣшенство заразительно.

Не могу молча горѣти.
Nec celatur ignis.
Эмблема 253.

Ковригинъ, проводивъ жениха за ворота, собралъ всю артель на дворъ и разослалъ всѣхъ къ дальнимъ своимъ родственникамъ и къ именитѣйшимъ знакомымъ, оповѣстить о помолвкѣ дочери своей съ высокоблагороднымъ капитаномъ, царскимъ воеводой, и прочая, и просить всѣхъ и каждаго завтра, вмѣстѣ съ женихомъ и невѣстой, хлѣба соли откушать. Въ это время Савишна и Машенька оставались въ чистой избѣ. Машенька предавалась вполнѣ своей радости, но Савишна изрыгала потокъ разнообразной брани.

— «Ахъ ты, страмница, страмница! Мнѣ теперь и носа показать нельзя никуда.»

— «И не нужно, и ничего показывать. Теперь я изъ свѣтелки вылечу на волю!.. Капитанша, ишутка ли! Пожалуй, меня еще оберъ-комендантершей сдѣлаютъ на Воронежѣ: то-то заживу!.. И

шутка ли! Что я была?.. купчиха, да и полно! А теперь буду военная... Онъ, кажется, такой добрый, тихой. Не пропадетъ даромъ твое ученье; приму я его въ руки!..»

— «Сладишь ты съ такимъ медвѣдемъ! Въ гробъ тебя вколотитъ.»

— «Небось, Савишна! Ты сама говорила: «Только сначала поверни круто: будетъ шелковой!..» Какъ только обвѣнчаемся, такъ таки на другой день, первая, я драку и заведу.»

— «Ахъ, ты грѣховодница! Такъ ты, видно и Гаврила Андреевича не любила!.»

— «Какъ не любить! Да развѣ при одномъ другаго любить нельзя?.. Вѣдь ты, Савишна, кажись, трехъ за-разъ любила. Мнѣ лишь бы Нѣмецъ. У нихъ для женъ обычай лучше: на волѣ живутъ; что хотятъ, то и дѣлаютъ; по улицамъ не покрывшись ходятъ; съ мужчинами безъ опаса разговариваютъ; никто дурнаго и не подумаетъ. Вотъ почему, Савишна, мнѣ за Нѣмца хотѣлось.»

— «Полно, Маша, такія страсти разсказывать.»

— «Что, Савишна, знать, завидно? Вотъ теперь ты и выходи замужъ за Гаврилу Андреевича, коли возметъ. А чай, расходится, какъ услышитъ; чай, тебя, Савишна, со злости искусаетъ, да и Стешкѣ достанется. По-дѣламъ! Пусть, не умѣючи, за дѣло не берется.»

— «Вотъ дьяволъ въ юбкѣ!»

— «Говори себѣ, Савишна, что хочешь, а я себѣ военная капитанша — и кончено!»

Въ это самое время въ избу со вздохомъ во-

шелъ Ковригинъ. Больно ему было выдавать дочку за Нѣмца: да и что подумаютъ, что говорить начнутъ злые языки? И не ловко оно: постоялецъ... Какъ онъ засватался? И безъ свахи: это зазрительно! и въ одинъ день: не успѣлъ и полдня пробыть! А, главное, Нѣмецъ... И Ковригинъ крѣпко раздумался... Вдругъ залаяли псы, на дворѣ зашумѣли люди, и въ избу вбѣжалъ, едва переводя дыханіе, Армусъ.

— «Гдѣ Стешка?» закричалъ Армусъ неистово, и бросился къ Савишнѣ.

Всѣ перепугались, а больше Савишна.

— «Батюшка, Андрей Александровичъ, гдѣ Стешка! Помилуй, не погуби! гдѣ Стешка?»

— «Какъ, гдѣ? Была у меня: погадала, разсказала, дѣло уладила, да и уѣхала.»

— «Уѣхала!.. Какъ уѣхала?»

— «За тридцать верстъ куда-то, въ барской колымагѣ, на больное колдовство.»

Армусъ схватилъ зубами шапку и сталъ ее терзать, топая ногою.

— «Уѣхала!» стоналъ онъ: «уѣхала!.. Обманщица! Лунавая!.. А я, олухъ, и не досмотрѣлъ!.. А сердце сказывало: «Не пускай Стешки одной, не пускай совсѣмъ, не слушай совѣтчиковъ; они дурное дѣло на моего благодѣтеля затѣваютъ.» Такъ и вышло. Чай Стешка тебя тутъ пугнула и смертью и всякимъ зломъ?»

— «Нѣтъ, ничего! Спасибо ей, съ-разу угадала.»

— «Что угадала?.. За Нѣмца?»

— «А ты какъ знаешь?»

— «Какъ не знать, когда все съ уговора сдѣлано.»

И Цыганъ, въ припадкѣ злобы и бѣшенства, сказалъ Ковригину-все; но Цыганъ, какъ ни золъ, а все Цыганъ; про Андроника ни слова.

— «Милостивецъ; кормилецъ!» заключилъ Армусъ: «Видишь, я тебѣ все сказалъ. Помоги же и ты мнѣ: выхлопочи мнѣ указъ Стешку искать. Знаю, знаю, кто ее у меня стянулъ! Доищусь я до всего, только ты мнѣ помоги!»

Но Цыганъ поступилъ неразсчетливо: Ковригинъ, въ свою очередь, пришелъ въ бѣшенство, приказалъ скрутить Цыгана и посадить въ амбаръ, какъ участника въ заговорѣ; Савишну изгналъ со всякимъ поруганіемъ изъ дома, и, когда она еще въ калиткѣ оказывала приличное сопротивленіе, Ковригинъ присовокупилъ къ словамъ нѣсколько толчковъ, и Савишна, поруганная, побитая, пришла также въ бѣшенство, съ громкими ругательствами и угрозами, пустилась вдоль по улицѣ, а Ковригинъ принялся за дочку.

— «Видишь, смиренница! вздумала за Нѣмца!.. Дамъ я тебѣ Нѣмца!.. За артельщика своего Андрюшку выдамъ, за магистратскаго сторожа; а ужъ Нѣмца не видать тебѣ, озорница!.. Отца обманывать!.. На отца сговариваться!.. Пошла въ свѣтелку! Посидишь ты у меня теперь на привязи, лица человѣческаго не увидишь... Пошла!»

— «Не хочу! Жениха дождусь.»

— «Не хочешь по добру, такъ я тебя за косу!..»

Машенька пришла въ бѣшенство, уцѣпилась за двери обѣими руками, и сопротивлялась всѣмъ усиліямъ Ковригина гораздо успѣшнѣе Савишны. Безъ сомнѣнія она бы не выдержала продолжительной борьбы, но Фонъ съ Трофимычемъ возвратился отъ полковника и еще въ калиткѣ кричалъ:

— «Андрей Александровичъ! Андрей Александровичъ! Самъ полковникъ сейчасъ къ вамъ будетъ.»

Ковригинъ оторопѣлъ, выпустилъ изъ рукъ несчастную жертву, а та шасть на крыльцо, да и разскажи все жениху. Тогда капитанъ, и даже Трофимычъ, пришли въ бѣшенство и напали втроемъ, вмѣстѣ съ Машенькой, на Ковригина съ такимъ азартомъ, что тотъ пятился, пятился, и допятился подъ самые образа.

— «Вздоръ!» кричалъ Фонъ: «Подавай мнѣ завтра же и невѣсту и приданное! Я надъ собой всякому бородачу шутить не позволю! Не я буду, если я не велю Трофимычу сходить за полковымъ фельдшеромъ и бритвой бороды твоей не сниму. У тебя въ бородѣ вся честь, а у меня своя, капитанская.»

— «Батюшка, ваше высокоблагородіе!..»

— «Молчать! тутъ разсуждать нечего. Завтра невѣсту и приданое, или завтра же бороду долой!.. Я на походѣ: мнѣ некогда; я такъ и полковнику сказалъ. — «Когда свадьба, Василій Ивановичъ?» — Завтра, ваше высокоблагородіе, а то я полка догнать не успѣю. — «Ну, говоритъ полковникъ: Государь, отъѣзжая, наказалъ мнѣ оставить въ

Воронежъ роту солдатъ: такъ вотъ и кстати. — Покорнѣйше благодарю. — «Видно, невѣста очень понравилась?» — Ужасть какъ понравилась: малина, просто малина! — «Ну, такъ я у васъ посаженымъ отцомъ, а сестра моей жены матерью.» — Много обязанъ. И вѣкъ не забуду. — «Я васъ не удерживаю, капитанъ. Пріятно побыть съ невѣстой; передъ свадьбой есть о чемъ поговорить.» — Есть о чемъ, ваше высокоблагородіе. Очень пріятно. Какъ прійду, тотчасъ ужинать сядемъ. Не угодно ли и вамъ, ваше высокоблагородіе? Хозяинъ человѣкъ богатый; его не разсоритъ; а ужъ мы васъ уѣстимъ. — «Пожалуй.» — Много обязанъ! — Вотъ я и прихожу по-скорѣе, чтобы распорядиться; а онъ тутъ драку завелъ, разбойникъ!... Я тебя уйму! Всю мою роту на твой дворъ поставлю. Далъ слово, такъ и держись... Трофимычъ гляди за нимъ. А мы съ вами, Марья Андреевна, пойдемъ по хозяйству хлопотать. Надо полковника какъ слѣдуетъ принять, по чину. Пойдемте же, Марья Андреевна.»

— «Пойдемте, Василій Ивановичъ!»

— «Куда же мы пойдемъ, Марья Андреевна?»

— «На кухню, Василій Ивановичъ...»

— «Нѣтъ, я въ погребъ, а вы на кухню, Марья Андреевна!»

— «Ахъ, какой вы умница, Василій Ивановичъ!»

— «А какая вы красавица, Марья Андреевна!»

— «И вы тоже, Василій Ивановичъ.»

— «Не могу безъ слезъ смотрѣть на нихъ!» ска-

залъ Трофимычъ: «Вотъ будто самъ женюсь! Не такъ ли, Андрей Александровичъ?»

— «Такъ-съ!» отвѣчалъ въ полголоса Ковригинъ, сидя подъ образами, и обѣими руками держась за драгоцѣнную бороду.

—

VIII.

Что можетъ въ одну ночь произвести дѣятельность человѣка благодѣтельнаго.

Вотще безъ ситнля.
Sine fomite frustra.
Эмблема 327.

Уже вечерѣло. Андроникъ Евстафьевичъ давно воротился вмѣстѣ съ другомъ и благодѣтелемъ своимъ. Оба усѣлись, подъ образами, за столъ, и Голендуха Демьяновна, съ Палашкой, начала присылать съ кухни оладьи съ творогомъ, да похлебку съ пол-курицы, да баранину, обжаренную на восточный манеръ, наконецъ, вмѣсто десерта, и сама пришла. Благодѣтельный Андроникъ былъ совершенно счастливъ, устроивъ другу такую великую помощь, и пресытясь всякою пищею, утолилъ жажду цѣлымъ кувшиномъ квасу.

— «Дунка!» сказалъ онъ: «Мудрый не отдыхаетъ! Не творитъ дѣла, такъ мудрствуетъ о суетѣ міра сего. Но, для того чтобы мудрствовать достойно, квасъ немощенъ: подай настоки!»

И бутылочку настойки уничтожила мудрая бесѣда; и Андроникъ сталъ крайне откровененъ.

— «Гаврило Нѣмчинъ!» возгласилъ онъ: «Зобъ есть недугъ велій, но бѣдность паче и горшае

всего! Сотвори себѣ сокровищницу, и тогда зри спокойно на треволненіе міра сего. Какъ-только вступишь въ законное супружество, потребуй отъ тестя златницъ и сребряниковъ. Сорочекъ, убрусовъ и всякаго тряпья не бери. А не дастъ, мнѣ исповѣдуй горе твое: и домъ оттягаемъ, если онъ, какъ нѣкій оселъ, упрется и не восхощетъ раздѣлить съ сыномъ своимъ стяжаніе земное.... Сокровищницу, Гаврило, яко же азъ сотворихъ! Всякаго цыганскаго и городскаго добра у меня теперь на многіе таланты сребра лежитъ, и, мудръ бо есмь, хочу оставить міръ, то есть, магистратъ, понеже наступаетъ безвременье и строгое наблюденіе странниковъ, то есть, постороннихъ людей. Хочу купить себѣ домъ на выѣздѣ, огороды завести и жить въ вертоградѣ моемъ съ миромъ и съ Голендухой Демьяновной, а паче того, въ другомъ градѣ, а и того паче, на самой Москвѣ. Здѣ всегда опасность угрожаетъ: могутъ концы оказаться; невсегда бо можно магистратскія дѣла погружать въ воду... Вкусимъ!»

И послѣднія капли настойки исчезли. Послѣ толикихъ подвиговъ, Андроникъ впередъ восхищался сладостнымъ сномъ, который долженъ былъ непремѣнно осѣнить его; но Домна Савишна вбѣжала съ крикомъ и проклятіями.

— «Вотъ и видно, Дроня...» кричала она: «что болванъ! Выпустилъ Стешку, а Цыганъ все и выболталъ; Андрей Александровичъ разсердился, да меня по боку, а Машеньку постояльцу своему, капитану отдалъ.

— «Что?.. какъ?..»

Счастіе и спокойствіе благодѣтельнаго человѣка разрушились. Чѣмъ больше онъ съ другомъ своимъ разспрашивалъ Савишну, тѣмъ болѣе убѣждался въ невѣроятной истинѣ, что Марья Андреевна потеряна для Германна навсегда, что Савишна изгнана съ поруганіемъ и побоями, и что помочь бѣдѣ не возможно. Неутѣшный Германнъ рвалъ на себѣ волосы, и отчаяньемъ своимъ приводилъ въ отчаяніе и друга своего. Голендуха Демьяновна вторила Германну ужаснымъ воемъ. Савишна не могла проглотить своей обиды и заклинала Андроника изобрѣсти какое-либо средство, чтобы порядкомъ насолить обидчику.

— «Ужъ ты не будешь мнѣ братомъ; Андроникъ Евстафьичъ...» кричала она: «если этому грѣховоднику, подлипалѣ, не заплатишь за меня. Негодный, этакой! Какъ я по-моложе была, такъ проходу отъ него не было, а теперь?..»

— «По ребрамъ дланію!» прервалъ Андроникъ.

— «Кулакомъ, кулакомъ!.. А прежде, бывало... Говорить только не приходится; а ужъ если бы польза какая отъ того была, я бы на себя наговорила и того, чего и не было.»

— «Что, что, Савишна!.. Ты дерзаешь?.. Ты предъ судомъ не устрашишься и не пойдешь вспять?»

— «На все готова! Хоть на весь Воронежъ опозорь, все за одно! Ужъ больше страму не будетъ.»

— «А если потребуютъ присяги?»

— «Присягну!»

— »Услышьте слово великое!»

Всѣ притихли. Андроникъ продолжалъ:

— «Ты, Гаврило Пѣмчинъ, иди къ отцу и сиди дома смирно. Ты, Савинна, приходи заутра, а у меня не ночуй: да не будетъ зазрѣнія. Можешь у кого изъ роденьки нашей эту ночку провести. Гласи всѣмъ, что Марья Андреевна дщерь твоя и что ты на бракъ ея съ тѣмъ постояльцемъ не соизволяешь, и что, того ради, Ковригинъ, соблазнитель твой и злодѣй, въ нетрезвомъ видѣ помолвилъ дщерь твою съ тѣмъ пришельцемъ, а тебя избилъ нещадно. Учини себѣ на тѣлѣ красныя и синія знаменья, а заутра иди въ магистратъ съ доносомъ; чуть свѣтъ, Палашка бумагу принесетъ; а вопросятъ, кто писалъ, отвѣтствуй, писарь въ воеводской канцеляріи, а имярекъ его не знаешь. Ты — доносъ, а я — просьбу подамъ. Посмотримъ, какъ Ковригинъ и гдѣ обвѣнчаетъ Машу съ пришельцемъ: узримъ! А отъ стыда всею сокровищницею не откупится. Ино времени мало. Творите по глаголу моему!.. Ступайте, бѣгите: да не узрятъ насъ вкупѣ.»

Напрасно всѣ пристали къ Андронику съ вопросами, какъ это онъ все сдѣлаетъ: Андроникъ только улыбался, натягивая нанковой халатъ и подпоясываясь набивнымъ платкомъ. Одѣлся Андроникъ, опустилъ въ глубокіе карманы свои два полуштофа, и ушелъ. Германнъ и Савинна также ушли. Около полуночи уже, Андроникъ возвратился домой съ тріумфальной миной, бросилъ на

столъ какія-то книги, а самъ добылъ изъ ларя, бумагу, перо и чернилы, и принелъ писать. Писалъ онъ, писалъ; выпилъ онъ кувшина три квасу въ промежуткахъ; уже давно утро на дворѣ, а благодѣтельный человѣкъ пьетъ, улыбается и пишетъ. Часу въ шестомъ утра, полусонная Палашка отнесла бумагу къ Савишнѣ, которая ночевала у родныхъ, по-близости. Воротилась Палашка, и Андроникъ снарядилъ ее въ путь къ бургомистру съ другою бумагой. Благодѣтельный человѣкъ, отправивъ посольство, спряталъ принесенныя книги въ ларь, заперъ ихъ на ключъ, обвязалъ себѣ шею и голову мокрыми ручниками, улегся на постели, и сталъ охать такъ громко, что у сосѣдей было слышно. Голендуха Демьяновна также разохалась, но утихла, когда Андроникъ сказалъ ей:

— «Душка! а Душка! Ты не бойся! Это я такъ, нарочно; я здоровъ: только надо говорить, что отъ магистратскихъ дѣлъ расхворался.»

Между тѣмъ Палашка достигла до бургомистерскаго дворца. Тамъ уже всѣ были на ногахъ, потому что уже было не рано, а больше потому что бургомистръ только-что возвратился изъ Таврова, куда проводилъ Государя, и разсказывалъ: какъ Государь изволилъ, на пути, надъ его бородой забавляться, а какъ Меньшиковъ обѣщалъ сдѣлать такъ, что больше надъ бородой его, бургомистерской, никто не будетъ смѣяться. Разсказъ бургомистра былъ прерванъ въ самомъ интересномъ мѣстѣ приходомъ Палашки. Какъ самъ Ан-

дроникъ, такъ и всѣ домочадцы его, допускались къ бургомистру безпрепятственно и немедленно, потому что подобныя явленія никогда безъ особенной нужды не происходили.

— «Что тамъ такое, Палашка?» спросилъ бургомистръ съ видимымъ безпокойствомъ.

— «Андроникъ Евстафьевичъ занемогъ, съ ногъ свалился, слегъ; только вотъ это ночью написалъ, такъ и бухъ на постель! Очень худъ!»

—«Господи, Боже мой!» возопилъ бургомистръ: «Пропали наши головушки! А тутъ время такое нужное; ярмонка; войска проходятъ на войну; Государь по-близости.... Ужъ какъ онъ себѣ хочетъ, Андроникъ Евстафьевичъ, а хворать нельзя. Поди, Палашка, скажи ему, что никакъ нельзя; пускай, себѣ похвораетъ зимнимъ временемъ, а теперь, право, не можно:.. Поди, поди по-скорѣй, Палашка, да скажи, что я изустныхъ указовъ царскихъ съ полдюжины привезъ. Надо всѣ еще сегодня исполнить. Я ужъ и сторожа послалъ, чтобы господъ членовъ по-скорѣе въ магистратъ созвалъ. Такъ скажи Андронику Евстафьевичу, пусть онъ болѣзнь отложитъ, да прямо въ магистратъ идетъ... Ну, ступай же, Палашка.»

— «Да возьми же писаніе.»

— «Право не возьму! Это, вѣдь я знаю, лепортъ о болѣзни. Какъ я лепортъ въ руки, такъ ужъ Андроникъ Евстафьевичъ не встанетъ. Нельзя ему встать: отлепортовано. Ужъ это, Палашка, не въ первый разъ онъ насъ на мель са-

жаетъ... И за что же разгнѣвался? Право, если вчера его кто обидѣлъ, такъ ужъ вѣрно не я; а вѣдь это онъ мнѣ, не кому иному, солитъ; вѣдь я бурмистеръ.... Ахъ, да! чуть было не забылъ! Бояре на кораблѣ смѣяться изволили надъ сертукомъ Андроника Евстафьевича; а впрочемъ хвалили его и говорили: «По всему видно, способный человѣкъ; дѣла у него по магистрату въ большомъ порядкѣ; да долженъ быть плутъ первой руки.» А я на это: «Борони Богъ! Честнѣйшая душа.» А они: «Да ужъ не говори, борода! Взятки беретъ.» А я: «Борони Богъ, посуловъ ни какихъ, а по благополучномъ окончаніи дѣла, правая сторона подарочкомъ его не обойдетъ, да это не зазрительно...» Такъ видишь, Палашка: чтобы страму не было! Отнеси ему отъ меня конецъ добраго сукна: пусть кафтанъ себѣ по-чище сошьетъ; да для Голендухи Демьяновны, да ужъ и для тебя, Палаша, по платочку. Эй, жена! принеси-ка! Такъ сдѣлай Божескую милость, моя красавица, подыми-ка его! Вѣдь я знаю, что онъ больше Голендухи Демьяновны тебя жалуетъ: ты у него, что единородная дочь.... Вотъ, отнеси все это домой, а я въ магистратѣ буду поджидать его.»

Палашка отправилась домой, а бургомистръ прямо въ магистратъ, гдѣ уже нашелъ всѣхъ членовъ на своихъ мѣстахъ. Усѣлись. Бурмистеръ объявилъ царскіе указы. Но Андроника не было, и некому было написать кому слѣдуетъ объ исполненіи тѣхъ указовъ. Съ стѣсненнымъ сердцемъ ожидали всѣ появленія благодѣтельнаго человѣка,

поглядывая то на часы, то на двери. Отворились и двери: вошла Палашка.

— «Ну что? идетъ?» спросилъ бургомистръ.

«Лежитъ!» отвѣчала Палашка, и собраніе ахнуло.

— «И не встанетъ?»

— «Послалъ Голендуху Демьяновну за Гавріломъ Андреевичемъ Ландышевымъ и говоритъ: «ужъ если онъ вылечилъ зобъ, такъ мою голову ему ни почемъ; а ты Палашка, ступай въ магистратъ, отдай мою просьбу отцу моему и благодѣтелю, а сама возвращайся въ домъ мой спѣшно, да не отъидетъ духъ мой отъ толикія немощи.» Такъ вотъ писаніе, а я бѣгу. Шутка ли, если онъ безъ меня умретъ! Тогда мнѣ отъ сестрицы достанется.... Простите, пожалуйте!»

И Палашка, положивъ на столъ передъ бургомистромъ просьбу, убѣжала во-свояси. На смѣну ей, въ присутствіе ввалилась Савишна, поклонилась иконѣ, потомъ судилищу, и подала бургомистру жалобу.

— «Что такое, Савишна, что такое? Какое у тебя можетъ быть тутъ дѣло?» спросилъ бургомистръ.

— «А вотъ, изволь, батюшка, глазкомъ бросить: тамъ все стоитъ.»

— «Не разберу. Закорючекъ тутъ такихъ наставлено, что, я думаю, самъ Андроникъ Евстафьевичъ втупикъ станетъ. Глянь-ко ты, Андрей Александровичъ: у тебя глаза по-острѣе».

— «Стану я разбирать писанія всякой вѣдьмы...»

отвѣчалъ Ковригинъ, и передалъ доносъ слѣдующему члену. Бумага обошла кругомъ стола и, не разобранная, воротилась въ бургомистровы руки.»

— «Да ты на словахъ разскажи, Савишна, о чемъ ты просишь.»

— «Нѣтъ, батюшка! Знаю я, слыхала довольно, что значитъ въ судѣ на словахъ жаловаться. Нѣтъ! Савишну на этомъ не поймаешь! Изволь-ка читать, да рѣши по закону. А тамъ все докладно написано.»

— «Что ты будешь дѣлать, безъ Андроника Евстафьевича! Да кто же тебѣ писалъ, Савишна?»

— «Писарь въ воеводской канцеляріи.»

— «Ну, пишутъ же въ воеводской канцеляріи! Хоть бы одно слово можно разобрать. Посиди, Савишна, въ той избѣ, а мы попытаемся еще за Андроникомъ послать... Эй, сторожъ! сходи за секлетаремъ; скажи, что присутствіе ожидаетъ, а не то... Да что ты ему скажешь! Онъ угрозъ ни какихъ не боится. Болѣнъ: онъ по закону и правъ, и лепортомъ себя очистилъ: и что онъ тутъ пишетъ въ лепортѣ?..»

Бургомистръ развернулъ бумагу Андроника: она была написана такъ четко, будто печатная.»

— «Вотъ почеркъ!» воскликнулъ бургомистръ: «Сейчасъ видно, кто пишетъ. Боярскій почеркъ! и кривульки какія благородныя!.. Ну, прочтемъ, что онъ пишетъ; благо что коротко... Что?.. Уволить?.. Уволить Андроника Евстафьевича по болѣзни!.. Что онъ одурѣлъ, что ли?.. Развѣ онъ умеръ?.. Не увольнять его, не увольнять! Пусть служитъ!..»

— «Не увольнять!» воскликнули всѣ члены.

— «Да что же мы теперь-то будемъ дѣлать? Ужъ царскіе указы я передалъ изустно кому слѣдуетъ, а бумаги опосля пришлемъ, какъ Андроникъ оздоровѣетъ. Но прочія дѣла: вотъ загвоздка!»

— «А прочія дѣла...» прервалъ Ковригинъ: «порѣшимъ ужо, на той недѣлѣ. Сегодня сыграемъ у меня свадьбу, денька три попируемъ; а къ тому времени и Андроникъ Евстафьевичъ оздоровѣетъ.»

— «Что ты это, Андрей Александровичъ? Чтоже, трое сутокъ магистратъ будетъ стоять впустѣ?»

— «Да что мы будемъ дѣлать безъ Андроника Евстафьевича!»

— «И то правда!.. Нечего дѣлать, отложимъ присутствіе... Эй, сторожъ, позови Савишну!»

Пришла Савишна.

— «Просьбу твою мы принимаемъ; но за отвѣтомъ приходи въ середу на той недѣлѣ: по дѣлу требуются справки.»

Савишна лукаво улыбнулась, поглядѣвъ на Ковригина съ нѣкоторымъ торжествомъ, и, поклонясь судилищу, вышла. Магистратъ въ разныхъ разговорахъ досидѣлъ до урочнаго часа. Къ концу засѣданія бургомистръ и говоритъ Ковригину:

— «Право, дивно все это, что ты намъ тутъ разсказываешь; да ужъ и то правда, капитанъ — не шутка: для всего Воронежа будетъ покровительство. Долго ли ему до боярскаго званія! Нынче въ бояра можно дослужиться. Тогда всему Воронежу такая честь и вездѣ защита! Напрасно тужить изволишь. По-мнѣ, такъ на тебя счастье

ливмя льетъ. И не спорь: такъ-таки сегодня къ вѣнцу, а то еще передумаетъ, чего добраго! Жаль, что я въ церковь не успѣю: съ указами царскими провожусь до вечера; ну, а ужъ вечеркомъ явлюсь прямо на пиръ. Жаль, что Андроника не будетъ. Некому и здравія возгласить прилично, некому бесѣду учредить и устроить. Безвременье, истинное безвременье! Ну, время прошло, Андроникъ не явился. Разойдемся!»

И разошлись.

—

ГЛАВА X и ПОСЛѢДНЯЯ.

Какъ благодѣтельный человѣкъ не выдержалъ своего характера и оздоровѣлъ прежде времени.

Не твоимъ ноздрямъ духъ.
Non tibi spiro

Эмблема 416.

Германнъ сидѣлъ у постели больнаго друга и поилъ его лекарствомъ изъ аптекарскаго полуштофа. Голендуха, по рецепту Германна, купно съ Палашкой, готовила обѣдъ изъ трехъ блюдъ: щи съ полу-гуся, кашу съ грибами, и вторую половину гуся на жаркое.

— «Дивный настой!» говорилъ больной: «Благовоненъ, злаченъ и вкусу льститъ, паче меду... Великія бѣдствія въ день и часъ сей совершаются въ судилищѣ. Ни единъ отъ судій не можетъ уразумѣть, чего проситъ Савишна. Пусть докажетъ Ковригинъ, что Марья Андреевна ему дщерь. Отецъ Павелъ умре; свидѣтельство изъ прихода не вы-

дано; а метрическія книги здѣ, въ семъ ларѣ! Костыль былъ пьянъ мертвецки и не зрѣлъ, како сотворихъ похищеніе. Такъ-то, другъ мой и благодѣтель! Не втунѣ излечилъ еси зобъ у супружницы моея: какъ волій Нѣмчинъ, ты уравумѣлъ, что я человѣкъ благодѣтельный.»

— «Да будетъ ли изъ всего этого толкъ, Андроникъ Евстафьевичъ?» сказалъ Германнъ печально:» Стоитъ ли хлопотать еще о такой невѣстѣ? Не вѣрю я Савишнѣ; а она ужасы разсказываетъ про Машеньку: будто съ-разу такъ и повѣсилась капитану на шею.»

— «Великая лжица — моя сестрица! Со злости, ты знаешь, на себя напраслину взводитъ. Самъ подумай, можно ли, чтобы такая персона, то есть, особа, какъ ратманъ Ковригинъ, присталъ къ Савишнѣ, когда она и въ молодости не была краше какъ нынѣ?.. Постыдно, да намъ всё-равно. Доносъ подамъ; книги подъ замкомъ; свадьбы не будетъ; а тамъ поглядимъ и узримъ... Вотъ и Савишна вернулась изъ судилища: слышу гласъ ея... Ну, что, сестрица?»

— «Ахъ, батюшки-свѣты! Вѣдь онѣ уже вѣнчаться поѣхали!..»

— «Кто?..»

Андроникъ вскочилъ и продолжалъ кричать гласомъ великимъ: — «А доносъ?.. А ты убоялась подать его?.. Не остановила подвига супостатовъ нашихъ?»

— «Подала, батюшка-братецъ, подала, да никто его не читалъ!»

— «А зачѣмъ же ты не настояла?»

— «А зачѣмъ ты накостылялъ писаніе такое, что никто слова не разобралъ?.. Такъ, посидѣли, посидѣли, да и разошлись. Я мимо Ковригина двора проходила, а тамъ и полковникъ и разные гости въ церковь собираются. Я постояла, да и дождалась, пока женихъ уѣхалъ.»

— «Не допустимъ!» закричалъ Андроникъ: «Грядите за мною!»

Воронежъ пришелъ въ великое и справедливое удивленіе, когда увидѣлъ на улицахъ торжественное шествіе Андроника къ бургомистру, въ сопровожденіи Савишны, Германна и стаи мальчишекъ. Онъ шелъ съ обвязанными головой и шеей многими ручниками, въ канифасной куртки и безъ сапоговъ. Спутники съ трудомъ могли догнать его, и то уже на порогѣ бургомистрова дома. На счастіе Андроника, бургомистръ тогда окончилъ обѣдъ свой; лошади были заложены; онъ собирался куда-то ѣхать. Увидавъ Андроника, вся семья вскочила и съ крикомъ разбѣжалась въ испугѣ; бургомистръ отрухнулъ, а Андроникъ, остановясь передъ нимъ въ приличной позитурѣ, возопилъ:

— «Начальникъ града сего! Что сотворилъ еси? Чего ради не прочиталъ доноса Савишны и допустилъ бракосочетаніе единородной дщери ея съ принцельцемъ?»

— «Ахъ ты, Господи! Какая у тебя злая горячка, Андроникъ Евстафьевичъ!.. Какой бредъ у тебя глупой!..»

— «Бредъ?.. Нѣтъ! я болѣнъ, но принялъ спа-

сти тебя отъ посмѣянія. Говорю тебѣ толкомъ: та жалоба Савишны надѣлаетъ намъ неисходныхъ хлопотъ: зачѣмъ же ее не прочитали? Я правъ: я лежалъ на одрѣ недуга и о томъ донесъ тебѣ; а ты градоначальникъ... Спѣши скорѣе во храмъ Господній и властію своею недопусти до беззаконія. Машенька Ковригина — дщерь Савишны: такъ гласитъ доносъ. Пусть прежде Ковригинъ очиститъ себя отъ сего показанія; пусть докажетъ законными доводами, что она не дщерь Савишны; пусть представитъ документы, то есть, бумаги; но, пока все это не рѣшено, нельзя быть браку.»

— «Ахъ, какой же ты, Андроникъ Евстафьевичъ! Такъ зачѣмъ же ты хвораешь? Откуда мнѣ все это знать! Поѣдемъ же въ соборъ, или гдѣ они вѣнчаются. Можетъ быть, еще успѣемъ. Только ты пріодѣнься.»

Ручники въ-мгновеніе слѣтѣли съ головы и шеи Андроника. Подали ему сапоги, кафтанъ и шляпу. Кафтанъ былъ маленько коротокъ и широкъ, но всё-таки въ немъ Андроникъ былъ несравненно благовиднѣе, чѣмъ въ нанковой хламидѣ. Сѣли они въ бургомистерскую таратайку; Савишнѣ и Германну приказано было не отставать, и послушныя жертвы мудрости благодѣтельнаго Андроника побѣжали за таратайкой рысью, отчего у Савишны съ первой улицы духъ занялся, и она должна была шажкомъ продолжать путешествіе, а Германнъ не отставалъ. Вотъ и церковь: на паперти тма народа; выходятъ изъ церкви. Таратайка остановилась. И бургомистръ и Андроникъ побѣд-

нѣли. Съ ужасомъ посмотрѣли они другъ на друга: помочь дѣлу было поздно.

— «Ну!» сказалъ бургомистръ: «ну Андроникъ! Что ты будешь дѣлать?»

— «Не все еще погибе!..» отвѣчалъ Андроникъ: «Пока было можно, я творилъ Гаврилу Немчину всякое добро. Не моя вина, и надо концы въ воду. Съ тобой денегъ?»

— «Со мной.»

— «Подай!..» И Андроникъ разорвалъ его въ мелкіе куски.

— «Что ты дѣлаешь?..»

— «Творю миръ и тишину на Воронежѣ. Грядемъ на встрѣчу новобрачнымъ, грядемъ! Я человѣкъ благодѣтельный: не хочу зла ни кому. Грядемъ!»

Андроникъ выпилъ первый; за нимъ бургомистръ. Они подошли къ паперти въ самое то время, когда новобрачные выходили изъ церкви, въ сопровожденіи полковника и знатнѣйшихъ гостей. Андроникъ, снявъ шляпу, низко наклонился и не разгибаясь сталъ говорить:

— «Отъ лица градоначальника, и собственной своей персоны, приношу мое поздравленіе съ благополучнымъ учрежденіемъ чрезъ бракъ законнаго супружества, которое есть всякому человѣку верховный интересъ, то есть, выгода и блаженство. Съ одра болѣзни воздвигся я, да принесу мой комплиментъ, то есть, поздравленіе, и того ради облачился въ лучшую одежду мою, которую градоначальникъ, по столь торжественному или паче

тріумфальному случаю, пожаловалъ на бѣдность мою. Вѣдаю, что судьбѣ угодно было таковому празднеству положить препоны; но я возстахъ отъ одра и ополчихся на нихъ всѣми законами, — и будетъ миръ и тишина. Но на столь великой радости, достойно есть учинить нѣкое знаменіе благорасположенія и щедрости: того ради просимъ Андрея Александровича, купно съ градоначальникомъ, принять въ милость и любовь прежнюю Савишну, нашу родственницу, а Цыгана Армуса немедля сдать мнѣ на руки, для произведенія надъ нимъ надлежащаго слѣдствія и примѣненія законовъ. Гаврило же Андреевичъ да не усомнится въ любви и разположеніи нашемъ, и съ сокрушеннымъ сердцемъ да изречетъ гражданскую притчу: «На нѣтъ и суда нѣтъ!» такожде: «Плетью обуха не перешибешь!» такожде многія другія, того же содержанія, и вмѣстѣ съ нами да принесетъ новобрачнымъ поздравленіе.»

— «Отъ души поздравляю жениха съ такою невѣстой!..» сказалъ Германнъ со злобной улыбкой: «Очень радъ, что не мнѣ досталась.»

— «Ахъ ты, пилюля нѣмецкая!» сказала Марья Андреевна безъ малѣйшаго смущенія: «Мы съ Савишной пошутили, а онъ и за-правду задумалъ.»

— «Правду сказать...» прибавилъ счастливый Фонъ: «такая роза не по твоему рангу и не по твоей рожѣ. Пойдемъ!»

— «Милости просимъ къ намъ, Андроникъ Евстафьевичъ!..» сказала Марья Андреевна, садясь въ полковничью колымагу.

— «Неотмѣнно предстану!» низко кланяясь, отвѣчалъ Андроникъ.

Всѣ разъѣхались. Бургомистръ осыпалъ Андроника благодарностью за прекращеніе столь запутаннаго дѣла, и принялъ подъ особенное свое покровительство несчастную Савишну, которую и повезъ къ Ковригину въ своей таратайкѣ. На паперти остался только Германнъ и Андроникъ.

— «Все къ лучшему!» сказалъ Германнъ, съ глубокою грустію: «Какъ обманчива красота женщины!»

— «О! какъ ты мудрствуешь справедливо, Гаврило Нѣмчинъ!»

— «Роза?.. Хороша роза!..»

Андроникъ протянулъ руку и заключилъ:

— «И потому мудро гласитъ гражданская притча: нѣсть рожанаго цвѣту безъ тернія.»

МОНТЕКИ И КАПУЛЕТТИ

или

ЧЕРНЫШЕВСКІЙ МИРЪ.

Историческій анекдотъ.

I.

Калужской посадъ и губернскій городъ Калуга— не одно и тоже, хотя послѣдній и стоитъ нынѣ на мѣстѣ перваго; хотя и таже Ока, тѣже рѣчки Калужка, Березуйка, Яченка, Жировка и теперь въ Калугѣ, хотя тѣже буераки, все тоже, да не то. Въ 1721 году Калужская провинція, составляла часть Московской губерніи, а Калуга была большимъ посадомъ, съ двадцатью церквами и многимъ множествомъ купцевъ и мелкихъ торговцевъ; огромный оврагъ, образуемый рѣчкой Березуйкой, раздѣлялъ почти весь посадъ на двѣ части: Градскую и Заверхскую. Каменный мостъ, съ 28 каменными на немъ лавками, соединялъ обѣ части города и служилъ сборнымъ мѣстомъ краснобаевъ, публичнымъ гульбищемъ и центромъ торговли. Не смотря на столкновеніе торговыхъ пользъ и выгодъ, Калужскій посадъ наслаждался гражданскою тишиною и порядкомъ. Во всякомъ торговомъ го-

родѣ, непримѣтно образуется купеческая аристократія; возможность располагать большими капиталами доставляетъ большія средства къ обогащенію и вводитъ мелкихъ купцевъ и торговцевъ чуть не въ кабалу своему заимодателю; такъ случилось и въ Калугѣ. Въ городской части купецъ Сбиркинъ выстроилъ себѣ дворъ, который однимъ объемомъ уже обнаруживалъ непомѣрное богатство хозяина. За-верхомъ купецъ Яблочкинъ, разсердился за расточительность на Сбиркина и построилъ точно такой же дворъ, да въ придачу поднялъ изъ яра воду деревянными жолобами, такъ что на всю За-верховскую часть достало этого водопровода; а надо замѣтить, что въ этомъ оврагѣ течетъ *здоровецъ* вода, въ которой, хотя кромѣ известковыхъ частицъ нѣтъ ничего особеннаго, но городская гордость приписывала ей цѣлительныя, чуть не чародѣйствующія свойства. Довольно того, что этотъ подъемъ здоровца на гору, не на шутку огорчилъ Сбиркина; онъ взялъ да и построилъ у самаго моста харчевню; а Яблочкинъ у того же моста только на своей сторонѣ погребокъ, для продажи разныхъ дозволенныхъ питей, а пуще пьянаго кваса, который запрещенъ въ царствованіе Екатерины II. Пусть бы себѣ богатые люди дурачились, а то и бѣдные туда же; въ харчевню Сбиркина ни одинъ Заверховскій житель нейдетъ: въ погребкѣ не увидишь ни одного Городскаго. Великолѣпный мостъ съ двадцатью осьмью каменными лавками опустѣлъ совершенно; только проѣзжіе пользовались этимъ мостомъ, а свои по

обоимъ концамъ соберутся, да гурьбой и поютъ пѣсни обидныя, тѣ про Заверховскихъ, а тѣ про Городскихъ. Бѣда, если кому изъ Заверховскихъ приходилось ѣхать въ Тулу; того гляди, городскіе мальчишки грязью забросаютъ, или взрослые дубьемъ проводятъ; возникла ненависть, которую можно сравнить только съ ненавистью двухъ знаменитыхъ въ Исторіи, еще справедливѣе сказать, въ Литературѣ, фамилій Монтекки и Капулетти. Въ этомъ сравненіи тѣмъ больше правды, что Городскіе—Заверховскихъ, вездѣ, гуртомъ, называли Яблочкиными, а тѣ Городскихъ Сбирскими. Ни на той, ни на этой сторонѣ, никто не понималъ, за что и какъ произошелъ такой странный разрывъ; но это не мѣшало ненависти усиливаться до такой степени, что родство свойство и сватовство потеряли свои привиллегіи; тесть не ѣздилъ къ зятю, жена къ матери, словомъ — Монтекки и Капулетти, Ромео и Юлія,—и кончено!

Да, Ромео и Юлія!—И вотъ какимъ образомъ:

Въ 3 верстахъ отъ Калуги лежало Государево Ново-Спасское село, изъ котораго, по указу еще Царя Алексѣя Михайловича, повелѣно было крестьянамъ переселяться на Калужскій посадъ и записываться въ тамошнее мѣщанство; переселеніе производилось медленно, такъ, что первые рекрутскіе наборы при Петрѣ Великомъ застали въ Ново-Спаскомъ селѣ не мало крестьянъ, и забрали между прочимъ въ солдаты Ильюшку Самовалова, молодаго мужа молодой Аксеньи и отца двухъ малолѣтнихъ дѣтей Андрюшки и Павлушки Само-

Наловыхъ. Въ первыхъ же походахъ, смѣтка, расторопность и ничѣмъ неустрашимая храбрость Самовалова отличили его отъ товарищей и доставили капральство. Илья себѣ на умѣ; перенялъ скоро военный промыслъ со всѣми тогдашними его принадлежностями, и какъ Самовалову прилучилось воевать въ странахъ богатыхъ и денежныхъ, то онъ и перехватилъ того сего, а больше золотыхъ разныхъ монетокъ, собственно не изъ корыстолюбія, а пуще потому, что эта военная добыча требовала весьма мало мѣста и вполнѣ согласовалась съ походнымъ положеніемъ солдата. Случись Самовалову попасть на корабли въ дессантное войско, случись побывать и въ Швеціи; далеко зашелъ на чужую сторонку; пуля его въ правую ногу обидѣла; отнесли его на корабль, отвезли въ Питеръ, вылечили, да за увѣчьемъ и многолѣтней службой домой отпустили. Не нашелъ Самоваловъ въ селѣ своемъ ни жены, ни дѣтей, ни сосѣдей; всѣ на Калужской посадъ перебрались; на Калужскомъ посадѣ неузналъ Самоваловъ ни жены ни дѣтей; Аксенья старухой стала, а Андрюха пребольшимъ Андреемъ; Павлушка также было поднялся, да не дорослъ до брата; сталъ въ ширину рости. Аксенья какъ умѣла, такъ и пристроила дѣтокъ: одинъ у Сбиркина кучеромъ служилъ, а другой самъ въ ямщики пошелъ; и не было такихъ лошадей во всей Калугѣ, которыхъ Павлушка сразу на всемъ бѣгу не осаживалъ Не понравилось Самовалову дѣтское ремесло.

— «Андрюха!» сказалъ отецъ въ первое сви-

данiе съ семействомъ: «Ступай ты къ своему командиру и возьми абшидъ?»

— «Какой абшидъ?»

— «Неумничать! Теперь я у тебя командиръ. Дѣтямъ стараго и заслуженнаго капрала не приходится въ кучерахъ у бородачей служить. Ступай, подай въ отставку!..»

— «Какъ, батько, ты велишь отъ Сбиркина отойти?»

— «Экой безтолковой! Ужъ если въ отставку подать, такъ надо и отойти.»

— «Да я не знаю, батька, какъ это сдѣлать?»

— «Какъ сдѣлать! Сказалъ:—благодарствуй за службу, отецъ вернулся;—поклонился, да и былъ таковъ.»

— «А если Сбиркинъ осерчаетъ?...»

— «Да какъ онъ смѣетъ сердиться; не его дѣло! Ступай, Андрюха!...»

— «А коли Сбиркинъ не пуститъ?..»

— «Да какъ онъ смѣетъ не пустить? не его дѣло... Ступай!»

Жалостно посмотрѣлъ Андрей на отца, да и пошелъ, повѣся голову, его волю править. А Илья капралъ осмотрѣлся; плохая изба, бѣдность во всемъ, и шти у Аксеньи плохіе и платье дурное, и образокъ одинъ только, да и тотъ въ темномъ углу чуть примѣтенъ сталъ, такъ почернѣлъ; вотъ Илья почесался въ затылкѣ, взялъ костыль въ руки и пошелъ съ Аксиньей по городу бродить; осмотрѣлъ городъ, да и воротился къ оврагу, гдѣ

здоровецъ вода течетъ; сталъ на заверховской сторонѣ, ударилъ костылемъ въ землю и молвилъ:

— «Тутъ, матушка капральша, туть будетъ нашъ домъ; городская земля, солдату даромъ отведутъ; а ужъ чудовое мѣсто; такихъ мѣстовъ и за моремъ я мало видалъ; а это чей домъ на той сторонѣ?»

— «Сбиркина!»

— «Важный домъ! Мы съ нимъ одинъ другому въ глаза смотрѣть будемъ! А это кто, возлѣ насъ, строится?»

— «Яблочкинъ, здѣшній купецъ.»

— «Важно! Богатый сосѣдъ ничего неуворуетъ! Надо мнѣ съ нимъ знакомство повести: чай цѣны знаетъ; по сосѣдски поможетъ; до обмана не допуститъ... Ну, да утро вечера мудренѣе. До завтра!»

—

II.

Илья капралъ прибылъ въ Калугу, какъ изъ нѣкоторыхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ явствуетъ, въ то время, когда городская ненависть была въ самомъ началѣ; ему легко было получить избранное мѣсто, еще легче построить домъ и познакомиться со всѣми именитѣйшими лицами Городской и Заверховской части; небольшаго труда ему стоило войти въ дружбу къ Яблочкину, котораго Илья полюбилъ отъ души; денегъ оставалось еще довольно у стараго солдата; онъ и завелъ торгъ, а такъ, какъ говорится, онъ былъ уже тертый калачъ, то и торги у него пошли на сла-

ву; Павлушка въ торговомъ промыслѣ оказывалъ необыкновенные успѣхи, но за то Андрей,—этотъ рослый, красивый и смѣтливый малый, оказался ни къ чему негоднымъ; куда дѣвалась память и веселость; глаза его запали, онъ глубоко вздыхалъ и никто не могъ догадаться о причинѣ. Илья капралъ каждое утро съ обоими сыновьями отправлялся на рынокъ; проводилъ тамъ не малое время, оставлялъ Павлушку съ Андреемъ въ лавкѣ, а самъ уходилъ на мостъ, куда еще собирались старики съ обѣихъ частей посидѣть и поболтать о томъ о семъ... Завидѣвъ издали капрала, старики съ удовольствіемъ потирали руки и обтягивали пояса, въ ожиданіи какого либо разсказа, на что Илья капралъ былъ неистощимъ и большой мастеръ; примѣчая между стариками пріятное и лестное для него нетерпѣніе, Илья издали грозилъ имъ костылемъ и публика уже смѣялась. Такъ подходилъ онъ однажды утромъ къ дорогому мосту; но къ удивленію, многочисленная публика не обращала на него никакого вниманія; напрасно грозилъ онъ имъ костылемъ, топалъ короткой ногой, покрикивалъ. Никто его не видѣлъ, не слушалъ... «Что за диво!» подумалъ онъ и прибавилъ шагу; на самомъ мосту стояла курьерская телѣжка; на ней сидѣлъ солдатъ и что-то разсказывалъ; разсказъ его прерывался громкимъ крикомъ: Ура!.. Илья капралъ добѣжалъ на мѣсто и по привычкѣ прикрикнулъ вмѣстѣ съ другими «ура», самъ не вѣдая почему... Привычный къ военнымъ восклицаніямъ, голосъ его отдѣлился отъ сильныхъ

купеческихъ голосовъ... Всѣ вскрикнули: Илья Кузьмичъ! Въ это время курьеръ толкнулъ ямщика, тотъ стегнулъ лошадей и тележка укатила по дорогѣ въ Тулу...

— «Слышалъ ты, Илья Кузьмичъ?» спросилъ Яблочкинъ.

— «Какъ же не слышать? Чай за Окой было слышно, какъ вы безъ толку, безъ ладу ревѣли.»

— «Да не о томъ, Илья Кузьмичъ! Видишь тутъ курьеръ такую диковину разсказалъ, что еслибы на немъ не было царскаго мундира, такъ, признательно сказать, надо бы въ нѣкое сумнительство придти въ разсужденіи такого извѣстія...»

— «А что онъ разсказывалъ?»

— «Это ужъ ты, Илья Кузьмичъ, порѣши; ты всѣхъ нашихъ супостатовъ знаешь, такъ тебѣ, такъ сказать, можно быть въ извѣстности про то...»

— «Да про что?»

— «Какъ про что? Будто ты не слышалъ, кавалеръ разсказывалъ, будто батюшка Государь со Шведской короной замирился...»

— «Сказки! Пустяки! Кабы онъ сказалъ, что батюшка Государь Короля, Королеву и все Шведское государство въ полонъ взялъ, было бы похоже на правду... А то миръ! Нѣтъ, сосѣдушка, не такая это война... Самъ подумай, двадцать лѣтъ слишкомъ война идетъ, такъ какъ же ей въ одинъ годъ кончиться?»

— «Твоя правда, Илья Кузьмичъ! Твоя правда! Поди, вѣрь, какъ разъ въ дураки попадешь: такъ

это мы задаромъ ура кричали? Эхъ, надулъ кавалеръ!»

— «Отъ чего же и надулъ!» замѣтилъ капралъ: «Съ дороги его сномъ изломало: ему во снѣ и причудилось, что миръ сталъ, а онъ и повѣрилъ самъ, что будто на яву видѣлъ.»

— «Экіе сны бываютъ!»

— «Такое ли еще прилучается! Вотъ не дальше, какъ мнѣ самому чудо, не чудо, а причудилось дивное дѣло...»

— «Батюшка, Илья Кузьмичъ, разскажи!..» закричали многіе.

— «Пожалуй, только присядемъ! Чай вы слыхали про князя Аникиту Ивановича Репнина? Я у него въ Бутырскомъ полку ракомъ щеголялъ; въ красномъ мундирѣ ходилъ; не зналъ Государь кого на встрѣчу Шведскому Королю послать; думалъ, раздумывалъ, да и говоритъ:— Дай красныхъ съ Репнинымъ пошлю!—Да и послалъ, да князю въ подмогу еще восемь пѣхотныхъ, да пять драгунскихъ полковъ прикинулъ. Зѣлье не войско; иной пороху отродясь не нюхалъ; каждой пулѣ, будто ядру, кланяется; у всѣхъ лыжи подъ ногами, а глаза на караулѣ; такъ и глядятъ въ лѣсъ; другой бы заплакалъ, еслибы ему въ команду такое войско привели, а князь только парикомъ тряхнулъ, да и прибралъ ихъ въ ежевыя рукавицы; незнаю какъ это у него дѣлалось,а походишь съ нимъ мѣсяцъ, другой, такъ заецъ богатыремъ станетъ. Ужъ такая у него была привычка. Вотъ мы и пошли Короля искать; а тотъ и самъ не любилъ прятаться; жарахъ на насъ со всѣмъ

войскомъ словно волкъ изъ лѣса; хотѣлъ за разъ проглотить. «Шутишь:..» сказалъ князь: «подавишься!» и повелъ насъ на бой. Мѣста на томъ концѣ нашего царства лѣсныя; земли мало, а какая есть, все полянами идетъ; князь такой задалъ трезвонъ, что Короля и одурачилъ; тому въ голову пришло будто въ лѣсу вся русская сила; онъ то своихъ поприберегъ, а мы тоже въ лѣсъ, да въ другую сторону, да опять принялись за Шведа... Дошло до Короля... Онъ на насъ бѣгомъ, а мы вѣдь не у чужихъ, на своей сторонкѣ, гдѣ прыжкомъ, гдѣ ползкомъ, подъ самой его фатерой на привалъ стали, кашицу сварили, да и расхлебали; пока вернулся Король, мы ужъ были далече. Видитъ Король: плохая встрѣча! Думаетъ себѣ; этакъ они меня и въ гости къ себѣ не пустятъ, а проводы справятъ. Давай выживать насъ изъ лѣса; а намъ въ полѣ крѣпко нехотѣлось; а пуще князю, потому что за наше удальство и смѣтку, прислалъ Государь князю «спасибо!...» Только прикинулъ: «Князь, держи ухо востро! На счастье, говоритъ, не изволь полагаться; счастье, что жестяной пѣтухъ на нѣмецкой крышѣ. Береги людей!» Тутъ прилучись Нѣмецъ пришелъ, онъ у нашего Царя служилъ, за фельдмаршала; Репнинъ волей неволей, хоть и былъ уже тогда генераломъ отъ пѣхоты, а начало старшему подай; нѣмецъ по своему, по нѣмецки, подумалъ, да и говоритъ: «Опасно тутъ подъ самымъ Шведомъ стоять; сказано: своего берега держаться; пойдемъ назадъ!» Вотъ мы и пошли, голову повѣсивъ. Случись по-

томъ, такъ черезъ годокъ, али и по больше, лѣтомъ, подъ Головчиномъ, мы опять сошлись со Шведомъ; самъ фельдмаршалъ Шереметевъ начало держалъ; разставилъ насъ стариковъ на лѣвомъ крылѣ, князь былъ съ нами, да не старшимъ, опять дали намъ въ набольшіе другаго нѣмца; то же у нашего царя за фельдмаршала служилъ; стоимъ мы на мѣстахъ всю ночь; передъ нами рогатки, позади рѣчки и лѣсъ; къ утру пошелъ не то дождь, не то туманъ, дрянь такая право, что и гнилой осени не надо; своихъ не видишь; правду сказать и насъ то къ утру не много осталось; то и дѣло бѣгаютъ къ Князю, да у него солдатъ выпрашиваютъ, тамъ мостъ приберечь надо, тамъ до брода Шведа не пускать, тамъ за пушку боятся; мало, мало насъ осталось, а тутъ ни свѣтъ ни заря, глядимъ, изъ тумана со всею Свейской силой, будто изъ земли, выходитъ Король. Мы и закричали: «Ахъ ты Шведъ, куда ты лезешь?!» Тутъ ему прямо въ глаза пушки картечью брызнули; не слушаетъ, идетъ; Князь послалъ къ нѣмцу, чтобы въ одно мѣсто сойтись; ужъ не знаю почему, только тотъ за-фельдмаршалъ не принелъ, а мы и попались въ просакъ. Мы то съ княземъ еще ничего, а новички, такъ гурьбой къ лѣсу и потянули. Обрадовался Король, да семь пушекъ у насъ и стилиснулъ. Видитъ князь, бѣда, шпагу на голо, да тѣхъ-то бѣглыхъ новичковъ на мостъ не пускаетъ; прикололъ одного-другаго; сами видятъ, что отъ Шведа коли и уйдутъ, такъ ихъ всѣхъ князь при-

колетъ; со страху вернулись, съ перепугу построились, да съ княжой команды, давай вмѣстѣ съ нами стрѣлять. Пошла потѣха. Такъ и жаримъ, дружно! Строй подойдетъ къ намъ плотный, а отходитъ будто частоколъ, изъ котораго мальчишки колья растаскали. Шведъ сердится; слышимъ, какъ по своему, по свейски, всякую брань загинаетъ; да изъ пустяковъ горячится; мы пули, будто кормъ курамъ, сыплемъ. Разгулялись больно, безъ оглядки разстрѣлялись; глядь, зарядовъ не хватаетъ. Сами видимъ, что бѣжать стыдно, а на мѣстѣ Шведъ насъ, какъ куропатокъ, заберетъ; говоримъ князю, тотъ на насъ надулся, да самъ лучше нашего дѣло разумѣетъ. Перекрестился и велѣлъ отступать... А надо вамъ знать, что на каждаго молодца по семи вороговъ, а восьмой за пазухой. Правдивъ былъ князь; что солдату, что фельдмаршалу, одинаково говорилъ; языка на разные лады не ломалъ; вотъ и обнесли князя передъ Государемъ; говорятъ, подъ Головчиномъ даромъ Шведу семь пушекъ отдалъ; Государь указалъ суду быть; судьи и обрадовались; Государь хотѣлъ закона, а судьи свою волю справили; всякой свою обиду на счеты князю и положилъ; каждый ему другую вину придумалъ; засудили въ рядовые. Какъ пришелъ батюшка князь ко мнѣ въ капральство солдатомъ, я такъ съ цѣлымъ взводомъ и заплакалъ; хотѣлъ я ему на свой страхъ, всякую льготу дѣлать; куда, не смѣй! Всякую солдатскую службу, лучше старыхъ служивыхъ, исправляетъ... Не долго въ опалѣ та-

кому орлу тосковать досталось. Не далече отъ Пропойска... чай Пропойскъ знаете?... Такъ на большой дорогѣ тамъ есть дрянная деревушка: Лѣсное; шли мы за Шведомъ по пятамъ; тотъ Шведъ Королю велъ большое войско и всякой казны множество за собою тащилъ. Заскочили мы ему дорогу. Онъ больно на себя понадѣялся. Мы подъ Голицынымъ въ самой серединкѣ стояли, тутъ и Государь съ Меньшиковымъ и Брусинымъ (Брюсъ) поѣхалъ осмотрѣть супостата, а Голицынъ подошелъ къ нашему князю. Никогда они прежде въ ладу не были, а тутъ Голицынъ говоритъ князю что-то тихо про войну и совѣта проситъ; тотъ ему что-то сказалъ. Голицынъ и отъѣхалъ, нахмурясь, и сталъ на свое мѣсто. Тутъ Государь прискакалъ; говоритъ: «Шведы идутъ! Ребятушки, побейте Шведа!» «Побьемъ, надежа Государь?» и пошло дѣло аховское; послѣ Полтавы, такого дѣла у насъ не было; и Полтавское потому такъ гладко съ рукъ сошло, что мы подъ Лѣснымъ руку набили. Просто вамъ сказать, малина! Князь Голицынъ всѣхъ удивилъ. Куда ни пойдетъ, будто гора валится, такъ Шведа и приплюснетъ. Гдѣ онъ покажется, такъ самъ одинъ за цѣлый полкъ стоитъ; здоровъ, нечего сказать; отъ одного его голосу стали Шведы бѣгать; разчесалъ онъ ихъ; тутъ, по командѣ Царя, и мы впередъ маленько двинулись, и такъ пришлось, что мое капральство возлѣ самаго Царя стало. Князь началъ было что-то говорить, да и запнулся. Государь на него посмотрѣлъ, да будто про себя

спрашиваетъ: «Что такое, я недослышалъ!» Князь пріободрился и говоритъ: «Государь, ты я чай самъ видишь, что Шведовъ противу насъ почитай вдвое. . А позади пѣхоты, казаки и калмыки стоятъ. Дрогнетъ пѣхота; надо ей придать храбрости... Вели колоть всѣхъ, кто подастся назадъ!...»

— «Товарищъ!» замѣтилъ Государь: «я еще отъ тебя отъ перваго слышу такой совѣтъ и чувствую, что мы не проиграемъ баталіи!»

— «За чѣмъ проигрывать?» подхватилъ князь; «только съ горяча про насъ забылъ Голицынъ, а Бутырцы бы теперь пригодились....»

— «Справедливо!» сказалъ Петръ Великій.

— «Такъ и скомандуй, надежа Государь, да благослови!»

— «Съ Богомъ ребятушки!» И послалъ насъ Государь въ самый жаръ...

— «Слышите, товарищи!» крикнулъ князь, дорогой: «Самъ Государь благословилъ насъ.»

И нечего сказать, досталось супостату; часовъ шесть, если не больше, били мы Шведа; наибольшій ихъ, правда унесъ ноги, и за то я чай каждый день по три раза молился, что удалось хоть самому уйти. Окружили мы Голицына, тутъ и Государь прискакалъ, кричитъ на Голицына: «Левъ! Левъ! сражался какъ левъ!» да поймалъ Онъ его за голову, цѣловалъ, да потомъ и давай его жаловать: и генералъ-поручикомъ и алмазами, нажаловалъ, нажаловалъ, да и говоритъ: «Ну чего еще хочешь? Говори, все сдѣлаю!»

— «Прости Репнина!» сказалъ Голицынъ на всю армію. Тутъ Государь не выдержалъ, давай опять цѣловать Голицына: «Спасибо тебѣ, Михайло!» говоритъ Царь: «Спасибо тебѣ за Репнина, много благодарствую: за эту рѣчь дарю тебѣ восемь сотъ дворовъ! Аникита Иванычъ!..» кликнулъ Государь: «Поди сюда, ко Мнѣ! Тутъ твое мѣсто!»

Что они ужъ тамъ дальше говорили, нельзя было разслушать; чай больше часу всѣ мы ура кричали, будто опять на голову Шведовъ побили. — Праздникъ сталъ по всему войску. Три дни поздравленіе князю носили. Вотъ видите, какое на свѣтѣ бываетъ....»

—

III.

Илья капралъ давно пересталъ говорить, а Калужское купечество все еще слушало....

— «Только-то!» наконецъ произнесъ Яблочкинъ: «А гдѣ же диво, что тебѣ причудилось?...»

— «Диво? А вотъ въ чемъ диво. На канунѣ дѣла подъ Лѣснымъ, я почитай всю продѣлку съ княземъ во снѣ видѣлъ!»

— «Быть не можетъ!» воскликнули нѣкоторые изъ Сбиркинской партіи....

— «Ужъ коли Илья Кузьмичъ разсказывать изволитъ....» замѣтилъ Яблочкинъ: «такъ не могло быть иначе. Вѣдь не кто другой, онъ самъ во снѣ видѣлъ....»

— «Мало ли чего? Вотъ и я вчера во снѣ ви-

дѣлъ, что у тебя на крышу къ дому денегъ не хватило....»

Громкій смѣхъ поддержалъ оскорбительную рѣчь Сбиркина.... Яблочкинъ не на шутку обидѣлся....

— «У тебя, не бось, занялъ! Я братъ не люблю нагибаться, чтобы воды зачерпнуть, а ужъ не то, чтобы кому займами кланяться....» Яблочкинъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ на водоподьемъ....

— «Я воды не жалую; у меня, и про чужихъ людей, въ харчевнѣ, пиво водится.... Ужъ гдѣ воду Богъ провелъ, тамъ ей и быть; а подымать ее къ себѣ въ избу, ради прихоти, грѣхъ; отъ лѣни, чего на умъ не взбредетъ.... Да Заверховскіе всѣ лѣнтяи, дѣло извѣстное....»

— «Нѣтъ, братъ, Городскіе и не лѣнятся, а съ нашей стороны, что годъ, на бѣдныхъ, съ каждаго двора милостыню правятъ; у насъ нищихъ нѣтъ! А тамъ у васъ все нищіе....»

— »Потому что ваши — барышники; на дорогѣ сидятъ, да торгъ отбиваютъ.»

— «Полно ссориться!» крикнулъ Илья Кузьмичъ.

— «Да какая тутъ ссора. Пусть мы и нищіе, а Заверховскіе все же въ моей харчевнѣ сидятъ....»

— «Такъ вотъ же я ни ногой за мостъ!»

— «Да не потому, братъ, что не хочешь, а потому, что такого обидчика дубьемъ проводятъ....»

— «Такъ вотъ же нарочно пойду!»

— «Не пойдешь!»

— «Пойду!» И Яблочкинъ пошелъ на градскую сторону; Сбиркинъ со своими забѣжали ему дорогу; Заверховскіе бросились на помощь Яблочкину. Пошла свалка. Напрасно Илья капралъ унималъ купечество и рѣчью и костылемъ.... Драка завязалась не на шутку; на громкій крикъ сражающихся, сбѣжались съ обѣихъ сторонъ вспомогательныя силы; откуда ни возьмись и Андрей и Павлушка, очутились на мосту и приняли участіе въ сей гражданской баталіи. Павлушка, не долго думая, хлопъ самого Сбиркина, да такъ угодилъ, что тотъ съ ногъ свалился, и вѣроятно бы не всталъ уже съ моста, потому что въ этомъ мѣстѣ Яблочкиныхъ больно много прибыло; но Андрей оттолкнулъ брата, поднялъ на руки Сбиркина и понесъ, къ общему удивленію, къ новымъ Сбиркинскимъ хоромамъ. Это зрѣлище прекратило сраженіе.... Яблочкины отступили съ негодованіемъ, Сбиркины съ угрозами; Илья Кузьмичъ остался одинъ посреди моста, махалъ костылемъ и кричалъ во все горло:

— «Ну, пѣтухи, нечего сказать! Насилу, на великую удалось мнѣ ихъ унять! Смирно! Слушай! По домамъ!»

Но толпы противниковъ не слушали команды, не расходились. Яблочкины осыпали проклятіями и ругательствами Андрея и требовали, чтобы онъ сейчасъ принесъ назадъ Сбиркина, а Сбиркины у воротъ дома его, также требовали, чтобы имъ выдали Андрея. Напрасно Илья капралъ бѣгалъ съ конца въ конецъ моста и уговаривалъ; Сбир-

кины оттолкнутъ его, а Яблочкины обругаютъ, да и полно.

Между тѣмъ домочадцы наполнили хоромы Сбиркина плачемъ и рыданіемъ; пуще всѣхъ рвалась и плакала Наташа, семнадцатилѣтняя дочь его.... Отецъ побитый и разбитый, лежалъ безъ чувствъ на постели; Андрей положивъ тяжелую ношу, отступилъ и съ умиленіемъ смотрѣлъ на дорогую Наташу, для которой онъ служилъ кучеромъ у Сбиркина; объ ней тосковала душа его и образъ его печально измѣнился отъ этой тоски; для нея онъ вынесъ отъ неминуемой гибели главнаго врага своего.... Послѣднее событіе въ конецъ разрушило его надежды; невидать ему болѣе Наташи. Такъ ужъ за одно, подумалъ, дай же нагляжусь на ненаглядную и пойду въ солдаты.... Думалъ, да глядѣлъ; глядѣлъ, да и заплакалъ на взрыдъ. По Сенькѣ шапка, по молодцу и голосъ; отъ его плача—вся семья затихла; Наташа забыла и про отца, да къ Андрею.

— «Что съ тобой, Андрюша?» молвила, а сама буракъ-буракомъ стала, побагровѣла.

— «Ахъ, Наталья Семеновна!» рыдая, сказалъ Андрей: «Умирать приходится!...»

— «Какъ умирать?...»

— «Отъ тоски по тебѣ, Наталья Семеновна. Прощай!»

И Андрей бросился было на крыльцо, а тамъ Сбиркины съ дубьемъ его ждали.... Съ крикомъ бросились на Андрея; черезъ открытыя двери увидѣла Наташа, въ какой опасности Андрюша;

и дѣвичій стыдъ и обычай позабыла; выскочила на крыльце, да и кричитъ: «Никто не смѣй!» Да Андрея за руку, да въ избу, а тутъ Семенъ Семеновичъ и очнись.... Видитъ, глазамъ не вѣритъ, дочка самаго злаго врага выручаетъ; вѣдь это братъ родной разбойника Павлухи; и боль и раны позабылъ Сбиркинъ; схватился съ постели, да къ Андрею съ кулаками, да кричитъ: «Держи его, лови, эй, сюда молодцы!...»

— «Сюда, Андрюша!» закричала дочь, не хуже батюшки и увела его изъ избы въ другія двери; Сбиркинъ и Сбиркины къ тѣмъ дверямъ; заперты; давай ломать.... «Погодите!» кричитъ Наташа: «Я и такъ отворю.... Вотъ вамъ....» И точно отворила двери.

— «Гдѣ онъ?» кричитъ мужской полъ...

— «Пошелъ домой!» отвѣчаетъ Наташа покойно: «Я его черезъ садъ въ оврагъ провела. Чай онъ уже за рѣчкой!»

— «Ахъ ты стрампица!» завопилъ Сбиркинъ и съ своею толпою бросился въ садъ, но къ общей досадѣ, Андрей подымался ползкомъ по крутому утесу къ отцовскому дому, вскарабкался, сталъ на ноги у себя въ саду, да снявъ шапку, низко Сбиркинымъ и поклонился... Это произшествіе можно взять катастрофой всей драмы; съ этихъ поръ мостъ опустѣлъ окончательно; Илья капралъ, дня три или четыре сряду, приходилъ въ обычное время на мостъ, садился на свое мѣсто; ждалъ собесѣдниковъ, никто не являлся; пересталъ и капралъ ходить на мостъ; между двумя частями

города прекратилось совершенно всякое сообщеніе. Прошло не мало времени, Илья Кузьмичъ замѣтилъ тоску Андрея; уговаривалъ, усовѣщивалъ его признаться, но тотъ молчалъ, или жаловался на грудь, на голову — и капралъ, видя единственное средство вылечить сына женитьбой, пошелъ къ сосѣдямъ, съ тѣмъ другимъ перемолвилъ, да и объявилъ Андрею, что засваталъ за него племянницу Яблочкина, дородную и достаточную невѣсту...

— «Такъ за правду ты меня сгубить хочешь?» спросилъ Андрей, не своимъ голосомъ.

— «Не сгубить, а женить...»

— «Не могу я жениться. Не хочу...»

— «Врешь! Противу отцевской воли не изволь ходить!» сказалъ Илья: «и кончено. Не такихъ упрямыхъ давалъ мнѣ Аникита Иванычъ въ капральство; какъ моей палки раза два отвѣдаетъ, станетъ шелковый! Такъ смотри Андрей; не вели ты мнѣ старину вспоминать. Трость-то капральская со мною!»

— «Отецъ ты родной!..»

— «Молчи! По артикулу за отвѣты наказаніе будетъ вдвое... Поѣлъ въ свою горенку и сиди тамъ смирно, а ужъ я самъ все улажу и покончу. Поѣлъ!»

Самоваловъ отвелъ Андрея въ избу его, повторилъ обѣщанія и увѣщанія, да и отправился на бесѣду въ новооткрытый погребокъ Яблочкина. Тамъ онъ нашелъ почти всѣхъ именитѣйшихъ людей Заверховской стороны въ живомъ разговорѣ...

— «Вотъ-те разъ!» говорилъ одинъ: «Да можетъ быть онъ на Калугу не поѣдетъ...»

— «Да какъ же ему миновать Калугу, когда онъ отъ самого Царя въ Орелъ ѣдетъ; вѣдь я не съ чужихъ словъ говорю, а мнѣ все это гренадеры его разсказывали. Въ Маломъ Ярославцѣ денька два пробудетъ; тутъ у него по близости вотчина есть; управится, и прямо въ Орелъ...»

— «Ахъ ты бѣда, право! Вѣдь онъ енералъ, и говорятъ большой Царскій слуга...»

— «Кто такой?» спросилъ Илья Кузьмичъ, опускаясь въ погребокъ.

— «Вотъ кто знаетъ!» закричали многіе голоса: «Спросимъ, спросимъ!»

— «Что такое?»

— «Да вотъ Илья Кузьмичъ; ѣдетъ изъ Питера въ Орелъ Григорій Петровичъ Чернышевъ. Ты чай знаешь, большой онъ Царскій слуга или нѣтъ?»

— «Да какой на немъ чинъ?..»

— «Енеральской!»

— «Ну, такъ какже небольшой? Послѣ другихъ большихъ чиновъ, этотъ самый первый; больше и ранги нѣтъ; енеральская ранга одна, только прикладъ разный; вотъ какъ изъ бригадѣровъ кто выйдетъ, его уже и возьмутъ въ генералы. Тутъ онъ служи маіоромъ, поручикомъ, потомъ анчефомъ, а ужъ анчефъ чуть чуть не фельдмаршалъ; а фельдмаршалы тоже разные бываютъ: за-фельдмаршалъ пониже, а фельдмаршалъ на-чисто, это уже братцы послѣднее генеральство; тутъ и стой; дальше и дороги нѣтъ...»

— «Такъ что же? Можетъ статься, Чернышевъ себѣ хоть и енералъ, да только маіоръ...»

— «Все равно, братцы, енералъ такъ енералъ; съ Государемъ говоритъ...»

— «Что ты это, Илья Кузьмичъ! Мало ли енераловъ, такъ всѣ съ Государемъ и говорятъ...»

— «Всѣ — до одного! Это ужъ такой чинъ, для того и сдѣланъ; а то сами подумайте, съ кѣмъ же Государю было бы и бесѣду вести, и компанію держать; скучно стало бы...»

— «Правда твоя, Илья Кузьмичъ! Такъ ужъ сдѣлай дружбу, не откажи, присовѣтуй, какъ намъ такому больному царскому слугѣ встрѣчу справить! Денегъ теперь подносить не указано. Такъ мы его хлѣбомъ да солью поздравимъ...»

— «Медку только да баранковъ подкиньте! Такъ насъ съ Аникитой Иванычемъ въ разныхъ городахъ встрѣчали.»

— «Ну, медку и баранковъ... А еще не надо ли чего? Не прикинуть ли по штукѣ холста, да по штукѣ ситцу.»

— «Неуказано! Право неуказано, а ужъ развѣ, лѣтняго времени ради...» замѣтилъ Яблочкинъ самодовольно: «золотую кружку Здоровца съ моего водоподъема...»

— «А если онъ!..» подхватилъ одинъ изъ собесѣдниковъ: «Сбиркинскаго обычая держится; воды не пьетъ; такъ чтобы не обидѣлся.»

— «Какая тутъ обида! Нашъ Здоровецъ — даръ Божій; разный недугъ гонитъ...»

— «А если гость здоровъ, такъ гляди, что бы за что дурное не принялъ!»

— «Ну такъ поставимъ на подносъ другую кружку съ пивомъ изъ моего погреба!» сказалъ Яблочкинъ: «да жалѣть нечего, можно и ратафіи...»

— «Конечно ратафіи!» замѣтилъ Илья капралъ: «Какой енералъ станетъ пиво пить; вѣдь это все одно, что брага; и для простаго человѣка пиво пить можно ради бѣдности одной; а высшей рангѣ — оно не пристойно.»

— «Быть по твоему, Илья Кузьмичъ! Только теперь надо придумать распорядокъ; первый подносъ, пожалуй, я понесу, а второй — кто?»

— »Пусть Илья Кузьмичъ несетъ!» закричало нѣсколько голосовъ.

— «Эхъ вы, головы, головы!» прервалъ Яблочкинъ: «а кто же будетъ рѣчь держать; гдѣ рѣчь, тамъ иной разъ надо и рукой подмахнуть, а подносъ того гляди вывалится...»

— «Твоя правда, твоя правда, сосѣдъ! Да небудь у меня еще костыля, такъ я бы справился, а то и костылемъ управлять, и подносомъ и рѣчью... не берусь...»

— «А ужъ рѣчь отхватаешь чай важную? Что ты ему скажешь, Илья Кузьмичъ?»

— «Да что я ему скажу? Здраствуй батюшка енералъ! Именитые люди со всего Калужскаго посада вышли къ тебѣ встрѣчу править, хлѣбомъ солью поздравить. Здравья желаемъ, ваше превосходительство!»

— «Только-то! Эй смотри, Илья Кузьмичъ, обидится! Того гляди еще плюнетъ; скажетъ, было чего за этимъ изъ города выходить, могли это и на паперти соборной сказать. Ужъ коли говорить, такъ говорить, чтобъ уши у него разбѣжались...»

— «Да ужъ полно, сосѣдушка, меня учить! Это у меня только для начала, а тамъ дальше я его уважу; часъ на дворѣ продержу. Ахнетъ, какъ заслушаетъ...»

— «Сдѣлай дружбу, Илья Кузьмичъ, красныхъ словъ не жалѣй! Мы то тебя всего прослушали, а енералъ чай никогда такого неслыхивалъ. Знаешь, ты уже на встрѣчѣ, про военныя старыя дѣла что ни есть ему разскажи, вотъ я чай обрадуется...»

— «Да что-бы разсказать? про Полтаву, али Переволочну, али про Лѣсное, Калишь... Чай онъ это все знаетъ; ну, да не бойтесь, что ближе подъ руку попадетъ, то я ему и разскажу. Останется доволенъ!»

— «Все кажется на ладъ идетъ! Одного боюсь, чтобы до городскихъ не дошло. То-то будетъ любо! Мы енерала встрѣли, проздравили; а городскіе Царскаго слугу прозѣвали. Такъ смотрите же ребята, что бы какъ ни есть...»

— «Да развѣ птица имъ эту вѣсть черезъ оврагъ перенесетъ, а ты знаешь, наши за мостъ, будетъ скоро годъ, никто не ходитъ.»

— «Далъ бы то Богъ, что бы не узнали; намоетъ имъ енералъ голову; да можно, Илья Кузьмичъ, и въ рѣчи намекъ на нихъ бросить, что-де

заважничались, старшихъ не уважаютъ, то да се, знаешь, этакое...»

— «Молчи, молчи, сосѣдушка! Говорятъ тебѣ, уважу. Да чтобы разумомъ раскинуться, не худо бы, знаешь, енеральской ратафіи отвѣдать. Чай съ перваго глотка угадать можно, что не для простаго народа придумана.»

— «Да ужъ не куда нило. Эй, ратафіи!..»

И собесѣдники совѣщались до поздней ночи; всѣ распоряженія сдѣланы; на колокольню, которая стояла на самомъ выѣздѣ, отправленъ Павлуха, яко расторопнѣйшій и сильнѣйшій; сонъ его не возьметъ, глаза завидятъ енеральскій поѣздъ далече, звонить не наказано, что бы городскіе не заслышали; а велѣно веревку протянуть на колокольню; ту веревку привязать за руку сторожу; какъ дернетъ Павлуха веревку, тотъ сторожъ, толкни другаго сторожа, тотъ другой бѣги по улицѣ, да покрикивай, а въ каждомъ переулкѣ свой сторожъ; тѣ пріударятъ въ доски, весь народъ собирайся на Московскій конецъ и поджидай Яблочкина... Важно уладили дѣло. Илья Кузьмичъ видно ратафіи перехватилъ, пришелъ домой, поставилъ Андрея середь избы, да и давай ему свою завтрашнюю рѣчь повторять:

— «Да что ты, Андрюша!» сказалъ Илья Кузьмичъ, окончивъ рѣчь: «Что-жъ ты стоишь, будто простой мужикъ? Вѣдь ты у меня теперь енералъ, т. е. за енерала. Вотъ ты мнѣ и отвѣчай!»

— «Да что же я тебѣ отвѣчать стану?»

— «Какъ что? Спасибо, ребятушки, за хлѣбъ за соль! Ну!»

— «Спасибо ребятушки за хлѣбъ за соль! Ну!»

— «За вашу красную рѣчь и проздравленія.»

— »За вашу красную рѣчь и проздравленія.»

— «И вамъ того же желаю!»

— «И вамъ того же желаю!»

— «Ради стараться, ваше превосходительство!»

— «Ради стараться!..»

— «Экой ты, глупой, вѣдь это ужъ мы кричать будемъ! Мы крикнемъ, а онъ скажетъ: Ну, нѣтъ ли у васъ какой до меня просьбы... Есть, скажу я, какъ небыть. Вотъ я батюшка, командѣръ, хочу сего дня старшаго сына женить. Будь отцемъ роднымъ, посиди за меня... А онъ и скажетъ на это: Изволь! Солдатъ солдату поневолѣ другъ... Ухъ, ты, батюшки, и тебѣ честь на всю Калугу. Сбиркинъ съ досады трехъ дней не проживетъ. Уморю, не я буду, уморю... Что ты, Андрей...»

— «Ничего!» отвѣчалъ Андрей, присѣвъ на прилавокъ: «Ничего! Да развѣ твой гость такой больной человѣкъ? Можетъ быть и ты его слушаться долженъ?»

— «Какъ же не долженъ! Все одно, что отца роднаго, такъ какъ ты меня... Ну, Андрей, правду тебѣ сказать, у меня все готово; только голова что-то тяжела; надо соснуть, чтобы завтра лицемъ въ грязь не ударить. Ну, ступай съ Богомъ, потерпи до завтра, прощай!»

Илья капралъ пошелъ спать, а Андрей бросился въ садъ, и самъ не свой, глядѣлъ со слезами на освѣщенныя окна Сбиркиныхъ хоромъ. Лѣтняя темная ночь зажглась безчисленными звѣздами... Но къ общему и взаимному удивленію обѣихъ сторонъ, во всѣхъ домахъ, и по ту и по сю сторону оврага, горѣли огни; одинъ Андрей не замѣчалъ этой небывалой странности; до самаго утра просидѣлъ онъ на высокомъ утесѣ и глядѣлъ на яркія окна... Но раздался благовѣстъ къ заутренѣ. Андрей очнулся и сталъ раздумывать о своемъ положеніи. Жениться на неизвѣстной ему племянницѣ Яблочкина, онъ не имѣлъ никакой охоты; впрочемъ онъ ненавидѣлъ ее всею душою, ненавидѣлъ себя и готовъ былъ броситься съ утеса, при одной мысли объ этой свадьбѣ. Думалъ Андрей, раздумывалъ, и наконецъ на что-то рѣшился... Рѣшился — но вниманіе его увлечено было необыкновеннымъ шумомъ на обѣихъ сторонахъ посада; по всѣмъ переулкамъ стучали въ доски, изъ домовъ валилъ на улицу старъ и младъ, и все это стремилось на Московскую дорогу; за-Верхомъ стало тихо; съ утеса своего Андрей видѣлъ, какъ сосѣди и ближніе и дальніе слились въ одну толпу и пошли за городъ; не успѣлъ Андрей проводить ихъ глазами, какъ на мосту показались городскіе въ праздничныхъ одеждахъ. Сбиркинъ тащилъ передъ собой огромный подносъ, покрытый парчею; миновали они мостъ и потянулись также по Московской дорогѣ... Андрей оглянулся; въ саду Сбиркина, въ открытой бесѣдкѣ, стояли жен-

щины и глядѣли на встрѣчальный ходъ; голова у Андрея закружилась; ноги подогнулись, оступился онъ и съ камня на камень побѣжалъ внизъ, какъ будто влекомый невидимой силой. Напрасно хватался онъ за кустарники; они вырывались изъ рукъ, бросались ему въ глаза; онъ бѣжалъ далѣе и дальше и наконецъ упалъ въ быстрыя волны Березуйки. Какъ бы то нибыло, это полу-воздушное путешествіе совершилось довольно благополучно; онъ ушибъ только ногу, когда уже свалился въ воду, и то ушибъ слегка; но опасность въ какой онъ находился, самое паденіе, которое оптически казалось смертельнымъ, все это вырвало изъ устъ Наташи пронзительный крикъ; она бросилась по дурной лѣсенькѣ, выбитой въ утесѣ къ источнику, и прибѣжала на помощь къ Андрею въ самое то время, когда онъ подымался изъ воды...

— «Что съ тобой, Андрюша!» кричала она: «Чай больно ушибся?»

— «Самъ Богъ насъ свелъ, Наталья Семеновна, что бы уже больше никогда не видаться!»

— «Это почему? Дастъ Богъ наши помирятся...»

— «Никогда! Да и что мнѣ миръ! Меня хотятъ женить сегодня...»

— «И меня, Андрюша!» закричала Наташа и залилась слезами. «И меня хотятъ выдать замужъ сегодня! И женихъ то не здѣшній; изъ Малаго Ярославца; вчера пріѣхалъ и про енерала разсказалъ; ахъ Боже мой, чай теперь Семенъ Семенычь проситъ гостя въ посаженые...»

— «Не увижу я твоей свадьбы, Наталья Семеновна! Вотъ те Христосъ, не увижу. Иду по доброй волѣ въ солдаты! Противу этого и у отца нѣтъ воли. Прощай!»

— «Не бывать моей свадьбѣ, Андрюша! Коли такъ, я иду въ монастырь; видно онъ ужъ для меня нарочито на нашей сторонѣ и выстроенъ...»

— «Да изъ чего-же ты замужъ не хочешь? Развѣ другаго любишь?..»

— «А ты, Андрюша?...»

Обое смутились, долго не могли взглянуть другъ на друга, помолчали, да и вздохнули разомъ; вздохнули и будто сердце сердцу вѣсть подали.

— «Погоди, Наталья Семеновна! Видно и эту мысль Богъ послалъ... Прощай!»

— «Куда ты, Андрюша?»

— «Боюсь опоздать... До свиданія!»

И Андрей поползъ вверхъ съ особенной поспѣшностью, еще разъ поклонился изумленной Наташѣ съ утеса, и пропалъ между построекъ своего двора.

Андрей не шелъ, а бѣжалъ къ Московскому концу, но тамъ уже церемонія была кончена. Григорій Петровичъ Чернышевъ шелъ по улицѣ пѣшкомъ; по правую отъ него руку, хромалъ Илья капралъ; по лѣвую, съ ноги на ногу переваливался Сбиркинъ. Горожане шли за ними; но партія съ партіей не смѣшивалась; они тѣснились къ бокамъ улицы такъ, что по пространству ихъ раздѣлявшему, ѣхали экипажи Григорія Петровича совершенно свободно, и еще бы могли ѣхать дру-

гіе въ рядъ съ ними; партія Сбиркиныхъ ила веселѣе, за то Яблочкиныхъ опустивъ голову, повѣся носъ, изъ подлобья поглядывала на Илью Кузьмича...

— «Видишь, краснобай!» шепталъ Яблочкинъ своимъ; «На мосту глотку деретъ, будто масломъ смазана; какъ начнетъ разсказывать, подумаешь, что города одинъ бралъ, а тутъ, запнулся на первомъ словѣ, на второмъ подавился, а третьяго енералъ и недождался... Самъ сталъ говорить! На похвальбу горазднъ, а на дѣлѣ — курица мокрая! Чай и въ сраженіи нигдѣ не былъ; а ногу видно съ пьяна гдѣ ни есть повредилъ; колесомъ проѣхало, али какъ бѣжалъ отъ супостата, такъ отъ страха свихнулъ... А глупымъ людямъ пыль пустилъ въ глаза... Рана! Вишь рана! И вы тоже, дурачье, всякому пройдохѣ вѣрите!.. Чай и деньги-то гдѣ ни есть въ тихомолку стащилъ. Уважилъ! А теперь, какъ не надо, слышь, съ енераломъ равнымъ голосомъ бесѣдуетъ. Поганецъ! Пусть себѣ Здоровецъ самъ съ оврага подымаетъ... А своего не дамъ, на порогъ не пущу; да еще племянницу за такого же озорника отдай! Видишь... Грибъ съѣшь! Не отдамъ!.. Храбрись, храбрись, чванься!.. Не отдамъ! Вотъ тебѣ!»

Яблочкимъ и не зналъ, что въ это самое время Илья капралъ унаровилъ Григорія Нетровича въ посаженые попросить. Чернышевъ изъявилъ согласіе; это ободрило Сбиркина; тотъ туда же. Чернышевъ опять согласился и въ этихъ разговорахъ воинелъ на постоялый дворъ, гдѣ ямщики станцію

держали. На дворъ Чернышевъ остановился; обѣ партіи, никакъ не смѣшиваясь, окружили его; гренадеры, бывшіе при Чернышевѣ, хлопотали около экипажей, которые также въѣхали на дворъ...

— «Ну, спасибо, спасибо!» сказалъ Григорій Петровичъ: «Много доволенъ! Хорошо, что дѣло позволяетъ у васъ погостить. Благо теперь въ адмиральтецъ-коллегіи за миромъ дѣла стало меньше. Могу день другой на Калугу поглядѣть и вашему житью-бытью присмотрѣться...»

— «Какъ, батюшка-командиръ!» спросилъ Илья Кузьмичъ, не выдержалъ: «Такъ миръ за правду сталъ?»

— «Такъ вы объ этомъ и не слыхали? Экая глушь, а кажется отъ Москвы и двухъ сотенъ нѣтъ. Миръ, да еще какой! На славу, первый въ свѣтѣ миръ!»

— «Да ужъ какому и быть съ такимъ Царемъ! Чай больше ста городовъ за Государемъ осталось.»

— «Будетъ побольше!»

— «Ахъ, досадно, что меня не было! А все жаль, что войны нѣтъ. Знатное дѣло — война!»

— «Да и мнѣ что-то сдается, что вся Калуга войну любитъ, и вотъ все хотѣлъ спросить, отъ чего не всѣ горожане мнѣ одну и туже хлѣбъ-соль вынесли?»

Всѣ молчали, потупивъ голову.

— «Видно вы меня, дѣтушки, не отъ сердца встрѣтили, коли не хотите мнѣ признаться отъ чего это приключилось?»

— «Отъ ссоры, батюшка командѣръ!» сказалъ твердымъ голосомъ Андрей, выступая впередъ.

— «Какъ отъ ссоры!»

— «Да вотъ старики про межъ собой стали тягаться: кто кого богаче? а мелочь за ними пошла; завелась вражда не на животъ, а на смерть; больше году наши за мостомъ не были, а тѣ за-Верхъ не ходили. Охъ, батюшка командѣръ, не будь той вражды, не женилъ бы меня отецъ, не выдавалъ бы Сбиркинъ своей дочери замужъ, насильно. А все ссора!..»

— «Ссора?..» спросилъ Григорій Петровичъ гнѣвно: «Ссора? Одного города жители, одной церкви христіане, одного Государя подданные, и въ такой враждѣ! Такъ-то вы исполняете законъ Божій и Государеву волю! Вотъ я васъ! Дамъ я вамъ ссориться! Гей! Плетей!..»

Магическое слово привело всѣхъ присутствующихъ въ ужасъ; они не знали вѣрить ли ушамъ своимъ, да по неволѣ повѣрили уже глазамъ, потому, что гренадеры собирались приступить къ исполненію генеральскаго приказанія. Нечего дѣлать. Какъ снопы повалились купцы въ ноги Чернышеву и завопили; «Помилуй, батюшка, помилуй!»

— «Васъ миловать — мнѣ, старому слугѣ царскому? Вы мятежники! И въ примѣръ другимъ, васъ должно наказать безъ пощады!»

— «Вотъ-тѣ Христосъ, не буду!» вопилъ Сбиркинъ...

— «Батюшка генералъ надъ генералами!» кри-

чалъ Яблочкинъ: «помилуй, не наказывай неповинныхъ! Съ чего онъ на меня взъѣлся? Онъ меня обидѣлъ...»

— «Не вѣрь, батюшка, государь милостивецъ! Яблочкины чуть меня до смерти не уходили...»

— «Да ужъ мнѣ тутъ разбирать некогда!» сказалъ Григорій Петровичъ: «На то есть Государевъ судъ и расправа, а ссориться и враждовать я васъ отучу.»

— «Не будемъ, не будемъ!» кричали и Сбиркины и Яблочкины хоромъ.

— «Грѣхъ васъ и простить; да и кто поручится, что вы при мнѣ помиритесь, а потомъ пуще поссоритесь. Нѣтъ, безъ острастки въ вашемъ мирѣ проку не будетъ. Вы все одно, что Шведы...»

— «Поклянемся и присягнемъ!»

— «Ну, пожалуй! Только въ послѣдній разъ! Слышите, въ послѣдній разъ! А заслышу про ссору, такъ изъ Питера указъ привезу; ужъ тогда плетей вамъ мало будетъ; всѣхъ разошлю; все гнѣздо до тла раззорю... Эй ты, какъ тебя зовутъ, добрый малый, что на ссору мнѣ пожаловался?»

— «Андрей Самоваловъ!..»

— «Попроси протоіерея, пусть потрудится, пожалуетъ сюда со крестомъ и Евангеліемъ. Надо ихъ на вѣки замирить...»

И обѣ стороны принесли присягу никогда не ссориться.

— «Ну, теперь, родные, поцѣлуемся!»

И вся толпа давай цѣловаться и съ Григорьемъ Петровичемъ и между собою...

— «Видите, головы!» приговаривалъ Илья Кузьмичъ: «я вамъ толковалъ, и костылемъ грозилъ; не хотѣли уняться, до страму и дожили!..

— «Хорошъ и ты!» сказалъ Чернышевъ, цѣлуя Самовалова... «А зачѣмъ сына насильно женить хочешь?»

— «Ахъ, батюшка командѣръ! Да чѣмъ же я виноватъ, что Сбиркинъ за него своей дочери не отдаетъ; а холостому жить не приходится...»

— «Да что ты, Илья Кузьмичъ...» перебилъ Сбиркинъ: «да ты развѣ Наташу за Андрея сваталъ? Мнѣ Андрей съ самаго моста, что̀ родной человѣкъ...»

— «Батюшка Семенъ Семеновичъ!» закричалъ Андрей, обнявъ Сбиркина: «Не откажи! И Наташа меня любитъ...»

— «Ну, любитъ, такъ и дѣлу конецъ!..» сказалъ Григорій Петровичъ: «Не даромъ меня оба въ посаженые сегодня просили. Ну, родные, пойдемъ же невѣсту поздравлять... Чай она, бѣдная больше васъ всѣхъ сегодня томится. Мирить, да утѣшать мое дѣло. Пойдемъ!..»

И вся Калуга поздравила Наташу, которая на первыхъ порахъ совершенно оторопѣла; но когда вслушалась въ чемъ дѣло, предалась непомѣрной радости, забыла рангу и званіе Григорія Петровича и горячо его поцѣловала.

— «Вотъ этотъ поцѣлуй...» сказалъ Григорій Петровичъ: «понадежнѣе всѣхъ вашихъ. На немъ

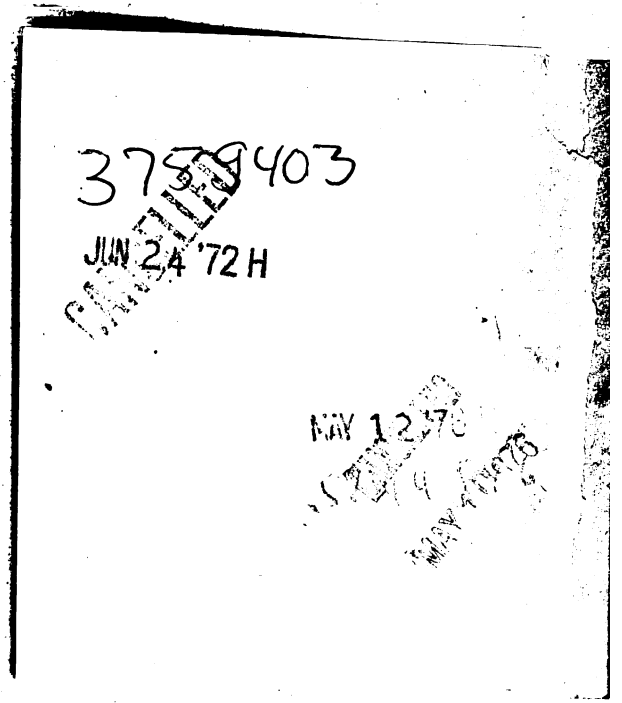
построю миръ въ Калугѣ. Молодые дѣти мои, берегите ваших горожанъ! Чуть зашумаржаютъ, пишите ко мнѣ! Я сей часъ съ указомъ пріѣду.»

Въ тотъ же день сыграли свадьбу и въ тотъ же день Григорій Петровичъ уѣхалъ въ Орелъ. Съ тѣхъ поръ до нынѣ Калуга наслаждается миромъ; теперь онъ сталъ уже въ привычку, а въ первые пятьдесятъ лѣтъ послѣ этого произшествія, тишина и спокойствіе Калуги — назывались *Чернышевскимъ миромъ*.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ:

I.

I. Авдотья Петровна Лихончиха . . . стр. 1.
II. Жанъ Батистъ Людо . . . . . » 32.
III. Новый Годъ . . . . . » 153.
IV. Аврора Галигаи. . . . . » 201.
V. Надинька . . . . . » 252.
VI. Полковникъ Лесли . . . . . » 289.
VII. Психея . . . . . » 389.
VIII. Благодѣтельный Андроникъ . . . . » 437.
и IX. Монтекки и Капулетти или Черныше-
вскій міръ . . . . . » 536.


3729403
JUN 24 '72 H
MAY 12 '72